Цена свободная

ИНДЕКС 73274

Дорогие друзья!

Продолжается подписка на наш журнал.
До конца 1992-го и в 1993 году мы предполагаем опубликовать следующие произведения:

Виктор АСТАФЬЕВ.
Рассказы.

Василий БЕЛОВ.
Год великого перелома
(третья, заключительная часть романа-хроники).

Леонид БОРОДИН.
Божеполье. Повесть.

Олег ВОЛКОВ.
Воспоминания.

Александр Зиновьев.
Смута. Роман.

Николай КЛЮЕВ.
Каин. Поэма, извлеченная из архивов ОГПУ-НКВД-КГБ.

Владимир КРУПИН.
Как только, так сразу. Повесть.

Станислав КУНЯЕВ.
Сергей Есенин.
Из серии "Жизнь замечательных людей".

Владимир ЛИЧУТИН.
Новый исторический роман.

Юрий ЛОЩИЦ.
"UNION". Роман.

Николай ПОПКОВ.
Чужая песня. Повесть
(предисловие Валентина Распутина).

Борис МОЖАЕВ.
Изгой. Роман

Юрий ОТРЕШКО (Ю. М. МАКСИМОВ).
Цензура. Записки профессионала.

Святослав РЫБАС, Лариса ТАРАКАНОВА.
Похищение генерала Кутепова. Роман.

Александр СЕГЕНЬ.
Гибель маркера Кутузова.
Интересная, но печальная повесть.

Борис СПОРОВ.
Письмена тюремных стен. Повесть.

Николай ФОМЧЕНКО.
Когда придут наши. Повесть.

Стоимость подписки на первое полугодие 1993 года по центральному каталогу 90 рублей.

Наш современник, 1992, № 9, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК

№9 1992

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№9 1992

К читателям журнала "Наш современник"!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вы держите в руках уже девятый номер журнала. Как видите, редакция делает все возможное, чтобы в нынешнем году, вопреки дикому разгулу цен на бумагу, типографские и почтовые услуги, все наши подписчики по-прежнему ежемесячно получали журнал по цене 2 рубля за номер (а что сегодня значит два рубля, коробок спичек стоит дороже). Поверьте, достается это нам непросто. Чтобы покрыть наши убытки, мы искали и продолжаем искать меценатов, увеличили зарубежную подписку, создали при журнале издательство (уже в этом году читатели получат "Историю русского масонства" Б. Башилова, отдельное издание романа И. Головкиной – Римской-Корсаковой "Побежденные", другие книги).

Огромную помощь продолжаете оказывать и вы, наши читатели. На страницах 66-й и 130-й этого номера мы публикуем списки пожертвователей.

Обращаемся ко всем друзьям журнала, к предпринимателям, богатым промышленникам, отечественным банкирам, ко всем, кому близок "Наш современник", оказать нам всемерную поддержку. Кто имеет возможность и желание пожертвовать на издание, может перечислить деньги на следующий счет: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул., коммерческий банк "Пресня Банк", р/с №2609704, МФО 201144, МП "Русло" – для нужд журнала "Наш современник".

Телефоны для справок 200-24-24, 928-32-16.

Мы надеемся, что вы, наши читатели, оцените неимоверные усилия редакционного коллектива и сохраните верность журналу, оформите подписку на журнал "Наш современник" и на 1993 год. Стоимость журнала на 1-е полугодие по центральному каталогу 90 рублей (без учета местной цены).

Мы выживем, только ощутив поддержку друг друга.

Редакция журнала "Наш современник".

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей Российской Федерации
и трудовой коллектив редакции

№9 1992

ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПИСАТЕЛЕЙ
МОСКВА

Содержание

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Зав. секретариатом **З. С. Гуляевская**
Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **С. А. Артамонова, М. В. Масленникова.**

Адрес редакции 103750. ГСП. Москва, Цветной бульвар, 30 Телефоны: 200-24-24 (главная редакция); 200-23-88 (отдел прозы); 200-23-07 (отдел поэзии); 200-24-28 (отдел очерка и публицистики); 200-24-70 (отдел критики); 921-43-59 (секретариат); 200-23-05 (факс).

Сдано в набор 10.06.92 г. Подписано к печати 19.08.92 г.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Высокая печать.
Уч. печ. л. 16,8. Усл. кр-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,78 Тираж 184782 экз. Зак. 1480

ИПО писателей. 103750. Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»:
123826. ГСП. Москва, Д-317. Хорошевское шоссе, 38.

ДЕЛО ПРОТИВ СМУТЫ

«Круглый стол» русских предпринимателей

Валерий НЕВЕРОВ,
президент концерна «Гермес»

Почему же ныне верх одерживает именно та модель предпринимательства, которая в массовом сознании ассоциируется лишь со спекуляцией, нечестностью и ведет к социальным потрясениям? Одна из причин такого положения дел в том, что отечественный производительный предприниматель поставлен в невыгодное положение относительно как перекупщика, так и иностранного предпринимателя. Налоги сейчас как будто специально рассчислены так, что производить становится совершенно невыгодно, в то время как перекупщик получает сверхприбыли. Этот дисбаланс как раз и определяет общественную нестабильность. А в нестабильных условиях действительно серьезный зарубежный предприниматель опасается вкладывать деньги в нашу экономику. В итоге к нам приезжают деловые люди хотя и рисковые, но мало заинтересованные в стабильном сотрудничестве, желающие сорвать куш побыстрее.

Кроме того, одним из пагубных следствий такой политики является чрезмерное завышение курса доллара к рублю — оно совершенно не соответствует реальности. Даже самый грубый подсчет показывает, что если, скажем, взять всю совокупность нашего национального богатства и оценить ее в долларах, а затем разделить на количество находящихся в обращении рублей, то рубль получится еще и дороже доллара. Надо понимать, что отношение доллара к рублю в коммерческой сфере весьма отличается от положения в сфере производства — в коммерческой это, допустим, 1:100, а в производственной — едва ли не наоборот. Так, месторождение нефти в рублях сто́ит столько же, сколько в долларах, если не меньше. Занижение, искусственное занижение курса рубля в коммерческой сфере очень опасно, оно, распространившись на производственную сферу, может привести к тому, что огромная часть наших национальных богатств будет продана за бесценок.

Владимир Ульянов-Ленин много писал в своих работах о том, как отнимать и делить. Но я не нашел ни одной строчки о том, как производить. Тем же, в сущности, занято ныне и правительство Гайдара — они везде говорят, как регулировать цены, но — ни слова о том, как менять весь хозяйственный механизм.

Кроме того, нельзя не удивиться поведению российских средств массовой информации по отношению к курсу рубля. Недавно был момент, когда этот курс стал повышаться. И что же? Российское телевидение тут же заявило: мол, ребята, это ненадолго, не обнадеживайтесь. Естественно, такие заявления могут играть весьма существенную роль в финансовой сфере. И курс рубля вновь резко упал. Можно, впрочем, и задаться вопросом: кому выгоден этот искусственно заниженный курс? Я полагаю, что либо мелким спекулянтам, продающим доллары, невесть откуда у них взявшиеся, либо дельцам покрупнее, «проворачивающим» операции по схеме «рубли — товар — доллары — рубли». Всему же остальному нашему населению этот курс более чем невыгоден.

Разработанное гайдаровской командой и Международным валютным фондом освобождение цен на энергоносители автоматически ведет к резкому повышению цен на все другие товары, поскольку нефть прямо или косвенно потребляется везде — все, что движется в технике — механизмы, машины, — все движется в конечном итоге благодаря нефти. Поэтому при освобождении цен на нефть автоматически возрастает и ее себестоимость, и нефтяники не успевают за этим повышением. Скажем, в январе госцена нефти была 350 рублей за тонну, а себестоимость 750 рублей. Сейчас, если отпустить цены на нефть — до 2—2,2 тыс. руб./т, то себестоимость станет около 3 тысяч рублей. И поэтому выход из этого замкнутого круга только один: это акционирование и продажа части акций нефтяных предприятий за валюту, но — при этом должно быть нормальное отношение рубля к доллару. Кроме того, если мы получим возможность действовать на внешнем рынке, то, я уверен, наш концерн сможет составить конкуренцию и западным фирмам на самом Западе. Нужно сломать тот образ, будто лишь мы нуждаемся в наших западных партнерах, в их кредитах и т. д. При нормальном развитии экономики Запад не меньше заинтересован в нас. И задача российских предпринимателей в том, чтобы это сотрудничество сделать выгодным России.

Владимир СТЕПАНОВ,
председатель правления Русского национального банка

У нашего банка с вашим журналом больше объединяющего, нежели разделяющего, — в первую очередь, конечно, это работа в направлении возрождения тех традиций, которыми мы дорожим, а также переустройство того общества, с которым ни вы, ни мы не согласны.

Людей, с которыми мне доводится общаться, я условно делю на романтиков и прагматиков. Исторически сложилось так, что мы, славяне, в силу наших традиций по складу характера больше романтики. И в нашем предпринимательстве это довольно сильно чувствуется — такой наш характер накладывает свой отпечаток и на принимаемые решения, и на проекты, в которых мы участвуем, и даже на деловые взаимоотношения. Тот исторический момент, который мы ныне переживаем, с прагматической точки зрения, конечно, может выглядеть положительно для каких-то предпринимательских, рыночных шагов, однако я более склонен назвать его смутным временем. Отсутствие конкретной сильной власти, полная децентрализация управления, разрыв не только хозяйственных, но любых, вплоть до человеческих, связей — все это резко противоречит той красивой картине «светлого будущего», которая в очередной раз нарисована народу и в которую он в очередной раз романтически поверил.

Собственно говоря, на то, что ныне творится в стране, народ должен был бы уже весомо ответить. Однако есть существеннейшая разница между понятиями «население» и «народ». К сожалению, у нас за последние 75 лет посредством геноцида из народа сделали население. И не надо идеализировать брежневские времена: ведь и тогда наше население по сравнению с западными странами было нищим. Сегодня оно стало лишь более нищим. А от того, живет ли население в большей или меньшей нищете, само качественное состояние нищеты не исчезает. Поэтому реакция на сегодняшнюю смуту могла бы последовать только от народа, лишающегося естественного уклада своей жизни (как это, собственно, и было после 1917 года), а не от того населения, которое из искусственных рамок одной нищеты попало в столь же искусственные рамки другой. Однако сегодня, в процессе политизаций, затрагивающей в том числе и национальные вопросы, население вновь может превратиться в народ. Процесс нового формирования народа — это процесс формирования совокупности мыслящих людей, способных подняться, встать над текущим бытом и осознать национальные интересы и приоритеты.

Здесь можно привести пример подхода Русского национального банка, да и других русских предпринимателей к этим процессам. Мы на данном этапе активно финансируем те социологические службы, которые заняты изучением общественного мнения всего населения России. (По этой причине, кстати, мы отказались быть спонсором службы Н. Бетанели, выступающей в телепрограмме «Итоги», поскольку эта служба опрашивает в основном москвичей, чем искажает реальную картину действительности.) Нас интересует действительное мнение населения России и о ценах, и о текущих политических процессах, и самое главное — выраженная в этом общественном мнении готовность людей реагировать на происходящую смуту.

Нам часто задают вопрос о том, почему Русский национальный банк не финансирует ни одну политическую партию и таким образом не желает активно участвовать в текущей общественной жизни. Я бы охарактеризовал сегодняшний политический спектр как во многом опереточный — во всем этом спектре я не вижу пока той силы, которую можно было бы всерьез оценить и связать с ней те национальные приоритеты, которые разделяет Русский национальный банк. Наверное, нужно сначала пережить этот период смуты, после которого на политическую арену смогут выйти действительно реальные силы, люди, обладающие реальным восприятием действительности и несиюминутных нужд народа. Сегодня же зачастую национальные приоритеты являются конъюнктурным фактором, какие-то представители номенклатуры пытаются претендовать на лидерство в национальном движении, не обладая для этого ни способностями, ни знаниями, а самое главное — не соответствуя духу этого растущего движения. Движение, которое соответствует национальным интересам России, должно быть авторитетным, представительным, то есть включать представителей всех слоев общества, и, что немаловажно, уметь действовать активно в политике, знать ее закономерности. Такое движение, на мой взгляд, может возникнуть и, более того, неизбежно возникнет только тогда, когда население вновь осознает себя народом. А это сегодня — осознание разрушенности того дома, в котором мы жили, нашей великой страны, осознание безысходности сегодняшнего положения. И когда такое общественное сознание сформируется, сумеет выработать именно позитивную программу, программу нашего возрождения, тогда такая политическая сила, которая соответствует национальным приоритетам России, неизбежно возникнет.

Позитивная программа нового движения должна, по-моему, апеллировать ко многим положительным моментам, которые были и в советской истории. При всем том колоссальном зле, которое большевики причинили нашему народу, хотя бы в вопросе государственности, им нужно отдать должное, как отдавали его, кстати, многие русские эмигранты, да и разумные политики Запада. Государственность после смуты 1917 года была воссоздана, и наша страна вновь обрела чрезвычайно весомый международный авторитет, авторитет великой державы. Хотя здесь необходимо оговориться, что, к сожалению, в советской истории был утерян духовный стержень государства, что и превратило его в тоталитарного монстра. Не государство начинало служить человеку, а было наоборот, поэтому, если говорить о необходимости воссоздания государственности, надо сразу же ставить вопрос о том, что это государство должно соответствовать интересам личности, а значит, и национальным интересам.

За нашими плечами такая огромная история, которая и дает уверенность в завтрашнем дне, не бытовую какую-то уверенность, а, я бы сказал, бытийственную. Уверен: все то, чего мы лишились и экономически, и геополитически во время нынешней смуты, неизбежно будет восстановлено. И те политики на Западе, которые не хотят это понять и подхлестывают явления смуты, жестоко просчитаются — тем тяжелее наш ответ будет в конечном итоге для них. Тот баланс интересов народов России, который был найден на рубеже XIX—XX веков, с исторической неминуемостью будет найден и ныне — на рубеже XX и XXI веков. Каким войдет русский народ в XXI век? — это сегодня вопрос номер один.

Анатолий МАКСИМОВ,
вице-президент Фонда развития предпринимательства

Мне 25 лет. Предпринимательством занимаюсь уже года три. Сразу же скажу, что в политических вопросах и в философии бизнеса я недостаточно компетентен, это — не мои темы. Моя конкретная работа и сфера интересов — это непосредственно сделки и та деловая информация о текущих событиях, которая необходима моей фирме чисто практически.

Недавно наш Фонд учредил несколько очень перспективных, по-моему, организаций. В частности, это Русская вексельная компания и Русская инвестиционная корпорация. Но те события, которые произойдут (или не произойдут, что тоже результат) к выходу этого номера журнала, станут решающими для существования этих организаций и им подобных. Или внутренняя конвертация рубля произойдет, или же нет.

То есть существует два возможных пути. Первый, о котором говорит Гайдар, — немедленно осуществить эту конвертацию. К чему это может привести? Будет приток валюты. Те 6 из 24 миллиардов долларов, которые обещает Запад нам дать в свободную реализацию, — это очень мало. Мы их так быстро проедим, что никто не успеет оглянуться. Тем самым это приведет к полному развалу нашей промышленности. То есть у западных стран будет возможность скупить здесь все на корню. В частности, это будет касаться тех отраслей, которые наиболее конкурентоспособны, прежде всего — военно-промышленного комплекса. Собственно, здесь уже «процесс пошел». Так, «Боинг» выделил 150 миллионов, чтобы задушить авиазавод в Ульяновске, который выпускает технику мирового класса. Кроме того, масса товаров уходит контрабандой, что при полном развале наших таможенных служб вполне естественно.

А второй вариант, который противоречит политике Гайдара, поддержанный, кстати, союзом наших коммерческих банков, — это отложить конвертацию рубля на 2—3 года. Сделать денежную эмиссию. Тогда появятся наличные деньги. А появятся деньги — появятся наши, внутренние, дешевые кредиты, а появятся кредиты — появится производство. Мы, русские предприниматели, сможем наладить производство внутри своей страны, но для этого нужно время. Сейчас все кому не лень ругают перепродажи, посредничество. Но если человек начинает с нуля, у него нет каких-то связей и т. д., единственное, что он мог бы сделать реально для начала своего дела, — это что-то продать. Самое главное — чтобы перепродажа не становилась системой. Это уже не предпринимательство. Кроме того, постоянно перепродавать — это даже невыгодно. Поэтому необходима следующая стадия, дающая гораздо большую прибыль, это — производство. В производство надо вкладывать деньги, но вкладывать не куда попало, а в наиболее конкурентоспособные и перспективные дела. Тогда и появится товар, который будут покупать пусть и не в странах Европы и Америки, а хотя бы в развивающихся странах. Вот когда это произойдет, тогда можно спокойно вводить конвертируемый рубль.

Но, к сожалению, я думаю, правительство остановится на первом варианте — и тогда крах экономики неизбежен. Банковская картотека уже сегодня исчисляется даже не миллиардами, а триллионами рублей! Если взять мою родную Карелию, то там 98% предприятий «висят» на картотеке, у них нет денег, им банки дают в долг на зарплату. Вы понимаете — это крах...

Пугают, что эмиссия повлечет за собой инфляцию. Но инфляция сегодня и так уже огромная и более того — политика Гайдара с его попытками остановить инфляцию все равно ни к чему не приводит, но только бьет по производству. Инфляция в тех условиях, в которых мы оказались, — это меньшее зло по сравнению со скупкой всей нашей промышленности Западом. Если в стране не будет денег, все наши лучшие КБ и институты, все то, на чем стояла мощная советская промышленность, либо полопается, либо пойдет с молотка, либо лучшие технократы уедут из страны. Вот бюро Микояна разрабатывает двигатель

шестого поколения для реактивных самолетов. У них нет несчастных трехсот миллионов, чтобы закончить работу над ним. А у американцев такой двигатель уже стоит, самолеты с ним летают. В итоге, если недавно наши шли на три года вперед в этих работах, то сейчас на полгода (в лучшем случае) отстают. Конструкторы ходят к нам, у них не только на разработку — на зарплату денег нет...

Таким образом, если восторжествует гайдаровская политика с явно различимой в ней тенденцией к экономическому краху, русским производственным предпринимателям ничего не останется, как защищать свои интересы, а значит, и интересы своей страны, политическими методами. Но это, как я уже сказал, лично в мою компетенцию не входит.

Владимир БАЛИЦКИЙ,
доцент, кандидат технических наук,
член московского городского совета
Конституционно-демократической партии

Вопрос о месте и роли предпринимательства чрезвычайно сложен и многосторонен, он имеет даже и религиозные решения. В Евангелии сказано, что нельзя служить Богу и маммоне одновременно. Однако мне представляется важным выделить такой аспект: чем является богатство (маммона) — самоцелью или же не более чем средством в этой жизни? Первый ответ на этот вопрос сурово — и совершенно справедливо, на мой взгляд, — заклеймен не только в Священном писании, но и в мировой культуре: достаточно вспомнить образы Скупого рыцаря у Пушкина или бальзаковского Гобсека.

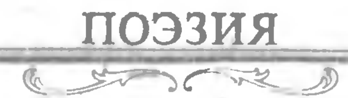
Но я бы призвал внимательно и проницательно оценить другую евангельскую притчу о том, что богатому войти в царство небесное так же трудно, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. В Иерусалиме есть чрезвычайно низкие и узкие городские ворота, которые так и называются — Игольное Ушко, через которые действительно может пройти, а точнее — проползти верблюд. Не эти ли ворота подразумевал Спаситель? И если остановиться на таком понимании, станет понятным поведение зажиточных русских купцов, которые, приходя в храмы, ставили к иконам самые дорогие свечи, истово вымаливая себе прощение за безусловно ощущаемый ими грех богатства.

Совместимо ли богатство и христианская мораль? Думаю, что да, — но только когда богатство и процесс его воспроизведения считается средством созидания в этой жизни. Созидательную роль частной инициативы в дореволюционной России ныне вряд ли кто возьмется абсолютно отрицать. Этой инициативе мы обязаны развитием русской промышленности и сельского хозяйства, достижениями в научно-технической области, которые вывели Россию к началу XX века в пятерку наиболее развитых стран. Именно на эту инициативу и рассчитывал великий наш реформатор — Петр Аркадьевич Столыпин...

Сегодня, когда у нас вновь начинаются рыночные отношения в экономике, чрезвычайно важно за накоплением материальных благ не забыть о духовной сфере. К сожалению, и сфера духа ныне испытывает к себе во многом лишь потребительское отношение населения, тогда как в настоящей, дореволюционной России это было совершенно наоборот. Русские традиции предпринимательства исходили именно из христианских основ жизни общества.

Мало кто знает, увы, что многие и по сей день стоящие и в Москве, и по всей России больницы построены на средства именно предпринимательского сословия. Среди русских предпринимателей всегда существовало неписаное правило меценатства и благотворительности. Они строили храмы и приюты, театры и школы. А чего стоит одна Третьяковская галерея!

Ныне моральные основы общества крайне подорваны, на перепутье находится и возрождающееся предпринимательское сословие. Впрочем, слово «возрождающееся» следует, на мой взгляд, отнести далеко не ко всем предпринимателям. Ведь суть многие из этого формирующегося слоя людей мыслят чисто механистически, исповедуют лишь западные, в основном американские, ценности образа жизни, строят свое действительно самоцельное, а значит, и богопротивное богатство, на спекуляции и прямом воровстве, причем некоторые действуют по принципу «жить на Западе, грабить в России». Излишне говорить, что подлинным возрождением предпринимательства этот процесс назвать нельзя. Но есть и другие предприниматели, вынужденные ныне трудиться в чрезвычайно тяжелых условиях, которые обладают государственным, патриотическим сознанием, хранят верность нашим историческим, духовным традициям, понимают, что без гармоничных отношений в обществе не будет у нас стабильности, а значит, и основы для нормальной предпринимательской деятельности. Поэтому насущным вопросом должна ныне стать, на мой взгляд, разработка своеобразного морального кодекса российского предпринимателя (помимо, конечно же, необходимых юридических положений), в котором найдут свое отражение те традиции русских деловых людей, которые обеспечивали им уважение общества.



БОРИС СИРОТИН



СМЯТЕНИЮ НАПЕРЕКОР...

Весна-91

Поднимается чад от земли,
С первой бабочкой солнце играет...
Ныне душу свою закали
Недоверьем к родимому краю.

Ни земле и ни солнцу не верь,
А тем более бабочке этой:
Прежних вёсен весна не новей —
Та же истовость свиста и света.

Впрочем, тем она ныне нова,
Что терзает тоской и зевотой...
И работа в стране — не до пота,
А вполсилы, спустя рукава.

Пролетели вчера журавли,
Чистит селезень яркие перья.
Пусть их — сердце свое закали
Равнодушием и недоверьем.

Проступает бело по утрам —
И особенно светел сегодня —
Над далекими купами храм,
Церковь Преображенья Господня.

Там с крестов разом стая ворон
Поднялась — звоном вспугнуты птицы,
Только этот рассыпчатый звон
Тщетно просит нас преобразиться.

Что-то горькое бродит в крови,
Что-то грустное сердце пророчит,
И привычное слово любви
С уст сегодня срываться не хочет.

Устоялась в душе пустота
И пред вешним теплом не сдается,
Лишь порой дальний просверк креста
Отражается в ней, как в болотце...

* * *

На земле моей распри и ссоры,
Созывает волчица волчат.
И, бросая свирепые взоры,
Нам с окраин народы кричат.

Нет, конечно, кричат не народы,
А радетели хитрые их.
Но в ушах уже целые годы
Злой — и вместе растерянный — крик.

СИРОТИН Борис Зиновьевич родился в 1934 году в оренбургской деревне. Работал техником-термистом и конструктором на заводах, корреспондентом в районной и областной газетах. Автор многих поэтических сборников. Член Союза писателей. Живет в Самаре.

А ведь было положено волку
В стародавние дикие дни
Брать дитятей зубами за холку,
Коли вдруг разбредутся они.

А они эвон как расшалились,
Мать свою забывают щенки.
Насосались — и вот отвалились,
У самих нынче в пасти клыки.

* * *

В Переделкине осень, валится листва,
И порой ощущенье такое,
Что уснул Карабах, не бушует Литва, —
Даль полна золотого покоя.

И еще ощущенье: что рядом Москвы
Как бы нет, есть лишь эта равнина,
Что отзывчиво внемлет паденью листвы
И с душою слилась воедино.

Ах, Равнина Великая, нежной тоской,
Укрывающей свежие раны,
Благодатным туманом повей, успокой
Сопредельные шумные страны.

Те, что были вчера продолженьем
твоим,
Зыбясь дюнами, высясь горами...

В Переделкине осень, и воздух творим
Легким, пряным куреньем, как в храме.

И душа, усыхая, горючим песком
Рассыпаясь вослед за державой,
Исцеляется утренним ясным леском,
И напомнит ей клен златоглавый,

Что не всюду листва пропадает в грязи,
Гибнет в слякоти сей непристойной,
Что горит куполами и дышит вблизи
Город гордый и первопрестольный.

Нет, не вынет копья он из пасти змеи,
А осенние эти просторы
Не забудут былые деянья свои,
Натыкаясь на дюны и горы.

Город-91

1

Вот весенний распахнутый город,
Затуманенно-солнечный вид.
Но и слово забытое — «голод» —
Вдоль неубранных улиц сквозит.

Грязный снег и забитые урны,
И трамваев разболтанный ход,
И на площади — грозный и бурный,
Многорукий, безликий народ.

А за городом брошенной девой
Загрустила, притихла земля.
Не дождаться ей скорого сева, —
Видно, снова под власть ковыля...

Вновь седою старухой бесплодной —
В древний сон до неведомых пор:
Коль уж гнев пробудился народный,
Значит, будут и голод, и мор...

2

— Ах, типун на язык тебе, дошлый,
Бесполезный народу пиит!
В твоей речи, занудной и пошлой,
Сладострастие смерти звенит.

Проживавший до этого сиро,
Без отдачи хватавший взаймы,
Как же ты оживился средь пира,
Средь веселья во время чумы!

Не хранитель ты древних заветов,
А червяк, разрушающий дом.
После митинга книжки поэтов
Соберем мы и дружно сожжем!

3

— Я и сам задыхаюсь от злости
На себя. В пасть святого огня
И меня, бесполезного, бросьте,
Может, будет вам свет от меня!

Может, этот распахнутый город
Отряхнется от гневных забот,
Ибо ныне воистину голод,
Ибо холод вселенский грядет!

И пока сохраняются связи,
И в цене еще свет и покой,
Вылезайте же, люди, из грязи,
Из толкучки своей городской.

Хоть и с правой ноги, хоть и с левой
Выходите в пустые поля,
Где лежит в ожидании сева
И в печали стареет земля.

* * *

На ста ветрах истории простужен,
Истрепанный в безрадостной борьбе,
Ты никому становишься не нужен,
А в том числе — и самому себе.

Твой быт в семье не сладок и не гладок,
Родные насмехаются уже,
Не ведая, что ты блюдешь порядок
Наперекор смятению в душе.

Но, как бы ты ни расставлял предметы
Вокруг себя, блюдя покой и лад,
Везде хаоса проступают меты,
Они уже в лице твоем сквозят.

И женщина, которая столь пылко
Тебе навстречу всю себя несла,
Глядит с непостижимою ухмылкой
Из своего небрежного угла.

И это все исчерпаны вопросы,
На них ответа ты не получил,
И древний лик Великого Хаоса
Сквозит промеж расчисленных светил.

* * *

...А если над Волгой стоят облака,
То белого-белого цвета,
И лишь подсиненные снизу слегка —
От Волги, наверное, это.

А если над Волгою дождик пройдет,
Роняя счастливые всхлипы,
То сразу запахнут, как сотовый мед,
Огромные влажные липы...

Давно б задохнулся я, жизнь проклиная,
В своей обособленной клети,
Когда б не врывались порою в меня
Великие мелочи эти.

Они пробивают глухую броню,
Души оживает берлога
И долго хранит, прикоснувшись к огню,
Счастливую память ожога.

Вот тем и живу, жизнь порой нелегка,
Да кто же доволен ей ныне...
Но пышно над Волгой стоят облака,
Горячего неба святыни.

* * *

Храм у Царева кургана,
Сторож нам дверь отворил,
Самую чуточку пьяный,
Ласково он говорил

О богомазе Сереже,
О прилежанье его...
Храм воскресили, но все же
Пусто в нем как-то, мертво.

Купол и в ликах, и в звездах,
И Серафим шестикрыл.
Только Божественный Воздух
Стены пока не омыл.

Да, постарался Сережа,
Но в глубине тишины
Нет еще тоненькой дрожи
Некой надмирной струны...

Скоро ль народ наш услышит,
Что его Мать позвала,
В двери войдет и надышит
В хладные стены тепла?

В знак, что Любовь постоянна,
А небеса не пусты,
Храм у Царева кургана
Скромные поднял кресты.

* * *

Когда — в новый раз — нацепляли медаль золотую
Ему на пиджак и о новых деяньях просили,
Конечно, выл ветер, на русских пространствах лютуя,
И смех раздавался... Но только ли это — Россия?

Россия молчала и лишь неподвижно глядела,
Как кто-то там копья ломает в тоске и отваге,
Глядела душа ее — белое царское тело
Лежало покойно в больном ледяном саркофаге.

Глядела душа — отовсюду неслось: «Аллилуйя!»
Вослед старику, что садился порой мимо кресла...
А тело лежит до сих пор... Может, Божьего ждут поцелуя
Уста ледяные, чтоб плоть засветилась, воскресла...

А те, кто ломал перья гнева в тоске и отваге,
Кто за океаном иль в мудрой, спокойной Европе
Сейчас пребывают, — им флаги, бараки, овраги
Мерещатся ночью... распадки, алмазные копи.

И образ России они от себя отгоняют,
«Чур, чур меня!» — громко и жалко кричат среди ночи,
И в небо глядят, и на яркие звезды пеняют,
Поскольку им мнятся татарские жгучие очи.

И что там ни делают — спорят, смеются ли, плачут,
Иль тонко клевещут, иль просто хлопочут о благе,
Без русской судьбы ничего они в мире не значат,
Без царского тела, что спит в ледяном саркофаге.

ПРОЗА

Ирина ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА)

ПОБЕЖДЕННЫЕ

Глава восемнадцатая

Надежда Спиридоновна наконец устроилась более или менее сносно: на деньги, высланные Микой за продажу гравюр, она поставила в своей комнате печурку, а на те, что получила за продажу каракулевого сака, вставила вторые рамы и запаслась дровами.

Тимочка был здоров и тоже очень доволен печкой; клопов и тараканов в этой избе не было (в противоположность предыдущей, из которой они бежали), мужчин тоже, к счастью, не было! Хозяйка попалась женщина тихая, честная и аккуратная; она мыла Надежде Спиридоновне пол по субботам и безотказно подавала ей утреннее молоко. Картошка и керосин у Надежды Спиридоновны были заготовлены на всю зиму; длинные нити хорошеньких боровичков, собственноручно собранных в ближайшем лесу, висели около печки рядом с такими же нитями луковиц; порядочная сумма денег оставалась еще нетронутой. Таким образом, предстоящая зима Надежду Спиридоновну не слишком пугала, и она уже начала надеяться, что мытарства ее кончились... И вдруг — неожиданное осложнение!..

В этот злополучный день она вышла прикупить себе около булочной хлеба не раньше не позже, как за час до своего обеда; в Заречной слободе на перекрестке — там, где был сложен тес, — сидели на досках несколько женщин с котомками; одна из них, еще совсем юная, подняла в эту минуту голову...

«Какое одухотворенное лицо у этой девушки!.. Кого она мне напоминает? — подумала Надежда Спиридоновна, оборачиваясь, чтобы взглянуть еще раз на этот прозрачный лоб, длинные темные ресницы и иссиня-серые глаза, которые как будто бросали тени на нежные веки. — Ах, Боже мой! Да ведь это молодая жена Олега Дашкова — поручика Его Величества лейб-гвардии кавалергардского полка! Как она изменилась!..»

В первую минуту Надежда Спиридоновна обрадовалась встрече; ей представилось, что Ася приехала по поручению Нины и привезла ей денег, масла и сахару; поэтому, когда Ася бросилась к ней, она почти нежно обняла ее и поцеловала; тотчас, однако, выяснилось, что ситуация иная в корне: помощи ждут от нее, от Надежды Спиридоновны, и отказать немыслимо — все эти женщины в самом безвыходном положении, и

Окончание. Начало в №№ 1—8 за 1992 год.

все ее круга: фамилии, французские фразы и упоминания о Государыне Императрице не оставляли сомнений! Если бы ее окружили деревенские женщины, она, не церемонясь, разогнала бы их, но светский такт несчастной генеральши, эти деликатнейшие уверения и извинения, эти «Entre nous soit dit»[1] и «Vous avez raison, chére amie»[2] обезоружили старую деву. Она повела к себе завшивленных и голодных дам. Никогда еще в жизни человеколюбие Надежды Спиридоновны не поднималось до такого пика!

Но хватило этого человеколюбия только на одни сутки.

Уже на следующее утро, воспользовавшись минутой, когда Надежда Спиридоновна вышла на погреб с крынкой сметаны, старая генеральша подошла к Асе и, целуя ее в лоб, сказала:

— Нам придется теперь же покинуть дом вашей родственницы: мы, разумеется, ей в тягость. Вы сами отлично видите, что она даже не пытается это скрывать. Не вздумайте, пожалуйста, уходить с нами из каких-либо товарищеских чувств: ваше положение совсем другое.

В эту минуту вошла Надежда Спиридоновна.

— Chére amie, — обратилась к ней с улыбкой Панова, — мы вам чрезвычайно благодарны за ваше гостеприимство, но пора ведь и честь знать! Вашу милую Асю мы, разумеется, вам оставляем, а сами постараемся подыскать себе постоянное жилье.

Надежда Спиридоновна пробормотала из вежливости две-три фразы и поспешила проститься.

«Почему именно Надежда Спиридоновна!» — с тоской думала Ася.

В самом деле: почему в этом глухом, забытом Богом Галиче Ася встретилась не просто с какой-нибудь случайно знакомой доброй женщиной, а именно с этой Надеждой Спиридоновной?..

Утро.

— Что это ваша Сонечка так плохо спит? Никогда, в самом деле, покоя нет из-за этого ребенка!

— Извините, пожалуйста, Надежда Спиридоновна. Она только раз пискнула: она мокренькая была! Я ее на руках закачала, лишь бы она скорей умолкла.

Надежда Спиридоновна спускает ноги с кровати, Ася кидается к ней.

— Ни к чему это! Я отлично сама могу достать мои туфли: я ставлю их всегда на одно и то же место и нахожу ногами безошибочно.

Ася отскакивает от нее к Славчику.

— Осмотрите повнимательней белье ребенка: наверное ли не осталось вшей? За воротником поищите. Ведь это самое большое бедствие, какое только можно вообразить.

— Нет, нет, Надежда Спиридоновна, ничего не осталось. Ведь я все белье намочила сначала в керосине, потом перестирала и каждую складку прогладила горячим утюгом. Ничего не осталось.

— К чему вы так кутаете ребенка? Что это за фуфайки? Мальчишку закалять следует. Как замечательно закаляли нас в Смольном — каждое утро до пояса холодной водой. Точно так же и мальчиков в корпусах.

— Я вовсе не кутаю: муж запрещал мне это с первого же дня. Но Славчик все время выскакивает в сени, он с насморком, а в сенях ниже нуля — там вода замерзает.

— Кстати, в сенях у вас сложена гора мокрых пеленок; скоро от детских пеленок деваться будет некуда.

— Я сегодня все выстираю. Я вчера не успела. Вы ведь видели...

— Всегда одно и то же! Отчего я все успеваю?

Ася молчит.

[1] «Между нами говоря» (*франц.*).
[2] «Вы правы, мой друг» (*франц.*).

— Накрывайте стол, а я пойду в сени мыться; мне семьдесят два, но я моюсь всегда ледяной водой и никаких простуд не боюсь.

Через десять минут, совершив свое героическое омовение, Надежда Спиридоновна возвращается в комнату.

— Так и есть! Стол, конечно, не накрыт! А вы ведь уже знаете, что я имею обыкновение садиться ровно в восемь. Я своих привычек менять не намерена.

— Извините: Сонечка опять запищала. Сейчас все будет готово!

Ася бросается к деревенскому погребу с посудой.

— Зачем вы этот хлеб на стол кладете? Спрячьте обратно — есть краюшка почерствее: подавать надо в порядке очереди. А кофе я заварю сама: вы не знаете, сколько ложек надо засыпать, чтобы было достаточно крепко. Смотрите: ваш Славчик схватил мой флакон. Ребенок должен знать, что чужие вещи он трогать не смеет, и воспитывать ребенка надо с самого начала. Запомните!

Дощатый кривой стол наконец накрыт заштопанной, но прекрасной затканной скатертью «из прежних»; около места Надежды Спиридоновны ее любимая севрская чашка и серебряный кофейник, а на нем «матрена», разодетая и вышитая ее собственными руками. Оттенок благодушия разливается по лицу Надежды Спиридоновны, когда она усаживается на свое хозяйское место, обозревая стол. Эта молоденькая Дашкова хоть и невыносима своей бестолковостью и вечно пищащими младенцами, но в отсутствии субординации ее никак нельзя упрекнуть: она пододвинула ей под ноги скамеечку, а за столом сидит выпрямившись, прижав локти и опустив глаза, как только что выпущенная институтка: видно по всему, что она прошла строгую школу воспитания и с детства приучена уважать старших.

— Налить вам кофею, Ася?

— Пожалуйста, Надежда Спиридоновна, — и Ася берется за сахарные щипчики.

— Как? Вы в кофе сахар кладете? Вы, стало быть, в кофее ничего не понимаете! Натуральный кофе — благороднейший напиток, но он должен быть крепкий и горький; вся его прелесть как раз в благородной горечи. Возьмите теперь ложку меда — это деревенский, настоящий; я ходила за десять километров в Цицевино. А масло закройте колпачком — пусть останется нам на завтра. Здесь масла достать нельзя — я сама сбиваю его и подбавляю морковного сока. Человек должен все уметь делать. Истинное величие духа в том и состоит, чтобы никогда не опускаться и не изменять своим правилам. Бабушка ваша, кажется, отличается твердостью духа и, разумеется, благородством манер — вот берите пример с нее, а то теперь молодежь даже в лучших семьях разучилась себя держать. Нина и та в последнее время стала слишком непринужденна: при каждом готова на смех и на слезы, юбка короткая и всегда бегом, как девчонка. А ведь наш род очень древний.

Ася молчит.

— Очень древний, а со стороны матери еще древнее: генеалогическое древо наше корнями уходит в Рим — мы ведь от Сципионов.

Ася с робким изумлением поднимает на Надежду Спиридоновну глаза.

— А ваш род?

— Дашковы, кажется, от Рюрика, а Бологовские... не знаю, не помню... Знаю, что герб наш — олень и башня — вышиты бисером у бабушки на подушке.

— Рюрик... Что такое Рюрик по сравнению со Сципионом!.. — задумчиво отзывается Надежда Спиридоновна, подымая глаза к потолку.

После второй чашки кофе Надежда Спиридоновна любила что-нибудь вспомнить и рассказать...

— Первый раз за границу я ездила еще с отцом и братом, молодой девушкой. Мы провели месяц в Ницце — очаровательный город! В то лето там было много русских. Один гвардейский офицер сделал мне тогда предложение, но мой отец отказал ему в моей руке, поскольку офицер этот оказался игрок и уже спустил в Монако свою подмосковную. Позднее я ездила в Лозанну с братом и маленькой Ниночкой, а в Германии я бывала несчетное число раз в сопровождении одной только Нюши. Тогда это было очень просто: сунешь дворнику пять рублей, и он на другой же день принесет себе заграничный паспорт. Видели вы Сикстинскую мадонну? Я, бывало, садилась на кресло напротив картины и подолгу не спускала глаз. Рафаэль гениально запечатлел на полотне младенческое очарование и тонкую прелесть материнства.

— Мерси, Надежда Спиридоновна. Разрешите мне встать: время кормить Сонечку.

— Суета всегда с вами какая-то: не поговоришь, не посидишь спокойно. Зачем вы сливочник этот схватили?

— Немножно молока... девочке...

— В этом сливочнике — утреннее: для меня и для Тимура. Возьмите вчерашнее вон из той кастрюли. Оно еще вполне свежее. Надо вам сегодня же поискать комнату. Я уже с неделю твержу одно и то же.

— Я и сама очень хочу переехать. Я ведь понимаю, что вам неспокойно с моими детьми. Отделите меня, пожалуйста, хоть в хозяйстве. У меня нет лишних денег и запасов провизии. Мне было бы удобней самой покупать и стряпать... а то я... мы все на ваш счет...

— Глупости: ни в каком случае я не хочу, чтобы моя комната походила на коммунальную кухню. Пока вы не выехали, вы — моя гостья. Только я вас прошу повнимательнее относиться к моим требованиям: вы вот брали совок мусор подобрать, а назад не поставили...

Ночь.

— Опять сморкаетесь? Что это вы за привычку взяли плакать по ночам? Думаете, я не слышу? Только задремлешь — и непременно помешаете или вы, или ваша Соня.

Тимур и тот казался отвратителен Асе: было что-то слишком самоуверенное в той важности, с которой он укладывался на свое излюбленное место на лежанке или брезгливо лакал свое утреннее молоко; фыркая на Славчика, он, казалось, сознавал превосходство своего положения; казалось, он наушничает хозяйке. Однажды, оставшись с ним наедине и встретившись с его желтыми круглыми глазами, Ася не выдержала и сказала:

— Подлиза, интриган, любимчик! Никогда еще не встречала таких злых, сухих и мелочных, как ты и твоя хозяйка!

Кот смотрел на нее не мигая и как будто говорил: «А я передам кому следует!»

Раза два Асе удалось вырваться из дома и обегать соседние дворы в поисках комнатушки, но тщетно! В одном доме комната подвернулась было, но как только хозяева узнали, что у нее два младенца, тотчас отказали. Времени на более обстоятельные поиски не хватало.

Еще недавно ей казалось, что вещи не имеют большой цены и терять страшно только людей... теперь она начала думать иначе: насколько легче было бы ей в своей собственной комнате, там, у себя, где ласка исходила от каждого предмета! Она могла бы свободно поплакать, спрятавшись в бабушкино кресло со знаменитой подушкой; помолиться все за тем же шкафом; утром взять детей к себе на две составленные рядом кровати и покувыркаться с ними; никто не посмел бы ее одернуть, сколько бы Сонечка ни плакала, а согревая молоко, она могла схватить любую кастрюльку! Там, в ее спальне, в кресле-качалке, остался сидеть, растопырив лапки и вытаращив глаза-пуговки, ее старый любимец — плюшевый мишка с оторванным ухом. Мадам, обладавшая большой фантазией, уверила ее когда-то, что игрушки иногда оживают, согреваемые духом человека, — они становятся «полуживыми»; мысль эта, заброшенная в сознание девочки (очевидно, с целью продлить интерес к игрушкам), сделала то, что Ася в продолжение еще многих лет считала одушевленным своего мишку и до последнего времени не могла вполне

разделаться с этой уверенностью... Она во что бы то ни стало хотела взять медведя с собой, уже воображая его на ручках Сонечки; но в минуту съезда, в слезах выходя из квартиры, забыла — он так и остался, бедный, в качалке, а новые обитатели, может быть, выбросили его на помойку. Хоть бы маленький Павлик взял его себе. Как-то теперь Павлик? Он начал ходить в школу — учится, наверное, плохо и получает оплеухи... Без нее никто его не пожалеет...

Спустя дней десять после водворения у Надежды Спиридоновны Ася получила денежный перевод от Елочки, которой сообщила свой временный адрес. С деньгами в руках она робко приблизилась к Надежде Спиридоновне.

— Я вам должна... мы все время питались за ваш счет... Теперь я получила деньги и могу с благодарностью...

Старуха выпрямилась.

— Денег от вас я получать не желаю. Ася, я возражений не потерплю. Поберегите эти деньги на свое переселение. Как обстоит дело с комнатой? — И, выслушав информацию, прибавила: — Ну, разумеется! Быть в соседстве с детьми — маленькое удовольствие!

Ася вздохнула: с некоторых пор она постоянно чувствовала себя виноватой в том, что у нее есть дети! Тем не менее то достоинство, с которым Надежда Спиридоновна отвергла все расчеты, произвело на Асю впечатление. Впрочем, все добрые чувства рассеялись в тот же вечер, когда в шкафу, который Надежда Спиридоновна держала обычно закрытым на ключ, мелькнул большой коробок, полный крупных, отборных яиц. Она прятала их от Аси и, видимо, ела тайком. Ася почувствовала, как щеки ее запылали — ей стало досадно и противно.

На следующий день Надежда Спиридоновна снова отправила ее на поиски жилья. Пробираясь в валенках с сугроба на сугроб вдоль канав в фиолетовых сумерках, Ася удивлялась пустоте улиц — за глухими заборами, казалось, не было вовсе никакой жизни! Тощая собака рылась в мусорной куче, и Асе вспомнилась Лада.

Внезапно слуха ее коснулись звуки «Чиарины», доносившиеся из окон невысокого деревянного дома. Она остановилась, схватившись за колья калитки. Играл несомненно дилетант, но играл «с душой», незаученно, сначала «Карнавал», а потом — «Крейслериану».

Дом, ее родной дом, милые родные лица, милые родные комнаты, любовь, ласка, музыка — все, что уже не вернется никогда. Она не знала, сколько времени простояла тут! Музыка смолкла, а она все не двигалась, погруженная в горькие думы...

С деревянного крыльца на пустой заснеженный дворик вышел человек, тоже в валенках, в полушубке и ушанке, и подошел к калитке.

— А я, кажется, неплохо играл сегодня, — весело сказал он.

— Я не ожидала, что здесь зазвучит Шуман, — смущенно пробормотала Ася.

— А я не ожидал, что в этой дыре найдутся квалифицированные слушатели. Рояль этот вывезен из дворянского особняка и стоит в пустой зале здешнего клуба; я выхлопотал у заведующего разрешение приходить играть на нем, что и вам советую сделать, если владеете инструментом. — Он окинул ее взглядом: — «Пятьдесят восьмая» наверно?

Ася молча кивнула.

— Стало быть, товарищи по несчастью. Разрешите представиться: Кочергин Константин Александрович, врач. Жена моя у нас на квартире держала эсеровский центр, и по этому случаю сижу в этой дыре, хотя ни одного эсера в глаза не видел. Ну, а жена запрятана еще дальше, и о ней уже пять лет не имею сведений. Ну, а вы, очевидно, за отца? Или за мужа?

Ася безнадежно махнула рукой и выбралась из сугроба на тропинку.

— Куда вы торопитесь? Давайте помузицируем вместе, отведем душу. У меня кое-какие ноты там сложены. Вы в четыре руки играете?

— Играю, но я не могу задерживаться — у меня дети.

— Дети?

— Да, двое.

— Да сколько же вам лет?

— Почти двадцать три года. Я побегу. С детьми моя grand-tante, она на меня рассердится.

— Постойте, подождите, ну, подождите же! Дайте ваш адрес. Вы, по-видимому, себе еще не представляете, какая дыра этот Галич: человек здесь находка! Кроме того, не забывайте, что я — врач и могу пригодиться при случае. Хотите, я пропишу рыбий жир и витамины вашим малышам? При себе рецептных бланков у меня сейчас нет, но если вы зайдете в поликлинику, где я работаю, я вам устрою это.

Когда на следующее утро Ася попросила разрешения сбегать на полчаса к доктору, с которым познакомилась накануне, Надежда Спиридоновна так и подскочила:

— Как?! Вы с мужчинами знакомитесь? Я вас отпускаю поискать крова, а вы изволите флиртом заниматься, сударыня? Вздумаете, чего доброго, сюда неведомо кого приводить! Имейте в виду: я мужчине не разрешу перешагнуть порог моей комнаты! Если желаете заключать легкомысленные знакомства — вон из моего дома! — Крючковатый подагрический палец вертелся около самого лица Аси.

Напрасно Ася старалась объяснить, что не помышляла о флирте: Надежда Спиридоновна успокоилась только после того, как вынудила у нее обещание не идти за рецептами. Видя, что Ася от обиды расплакалась, она сочла нужным ей пояснить:

— Испорченной я вас не считаю, можете не обижаться. Вы, очевидно, просто дурочка: вам не шестнадцать лет, и вы могли бы уже понять, что ни один мужчина никогда ничего не делает для женщины без задних мыслей. Как же можно доверять таким существам?..

Кочергин напрасно в это утро метался от пациента к окну в маленьком кабинете местной поликлиники.

Тем не менее в гороскопе Надежды Спиридоновны было написано, что порог ее девственной кельи мужчина все-таки переступит.

Славчик начал «кукситься», по выражению любезной grand-tante, и на следующее утро оказался в жару. Ася испугалась, что ребенок схватил воспаление легких; Надежда Спиридоновна полагала, что это всего-навсего грипп, но грипп, как заболевание заразное, опасен для окружающих. Предосторожности ради Ася переместила Сонечку подальше — на лежанку, к великому негодованию Тимура, сердито горбившего спину.

Надежда Спиридоновна была очень недовольна случившимся.

— Этого еще недоставало! — повторяла она, прохаживаясь взад и вперед по комнате с озабоченным и хмурым видом. Ася исподлобья пугливо взглядывала на нее. Днем температура поднялась до тридцати девяти. Стряхнув градусник, Ася молча с решительным видом подошла к своему ватнику, висевшему у двери, влезла в валенки и повязалась платком.

— Куда? — сурово спросила ее Надежда Спиридоновна.

— За доктором, — сдержанно ответила Ася. Она уже приготовилась к буре, но Надежда Спиридоновка промолчала; очевидно, она учла, что в этот раз ей Асю не остановить, и, как женщина умная, решила, что не следует зря тратить свой порох.

Этот человек появился в избе у перепуганных женщин как добрый гений: надувшемуся и заплаканному Славчику он прежде всего устроил из пальцев «козу рогатую», потом пощекотал ему ладонь и, напевая «сороку-белобоку», забрал ребенка на руки и совершенно незаметно выслушал и выстукал маленькие грудь и спину. Запущенная в горло ложка вызвала было горькую обиду со стороны Славчика, очевидно, пожалевшего о преждевременном доверии к чужому человеку, но новый

доктор его легко успокоил рассказом про кота в сапогах, после чего Славчик снова пожелал вернуться к нему на колени.

Не спуская ребенка с рук, Кочергин давал свои наставления: по его мнению, у Славчика был бронхит, с которым надо было как можно скорей покончить, чтобы он не перешел в воспаление.

— Если есть банки, давайте! Я сейчас поставлю. Нет? Хорошо, я сейчас принесу свои и, кстати, в аптеку забегу за лекарствами и скипидаром. Вы сами чрезвычайно изнурены, Ксения Всеволодовна, я достану вам глюкозу, аптекарь меня знает. А вам, Надежда Спиридоновна, не нужно ли чего-нибудь? Кости болят? Спирта Лори у нас в аптеке, конечно, нет, но у меня дома была бутылка — я захвачу. Итак, отправляюсь, не тратя времени даром.

Вернулся он очень скоро и, продолжая забавлять Славчика сказками и прибаутками, поставил ему банки, после чего, освидетельствовав маленькую Сонечку, объяснил, в каких дозах следует ей давать витамины и рыбий жир. Надежда Спиридоновна была приятно поражена обходительностью и вниманием нового доктора, даже решилась показать ему пораненную лапу Тимура, которую Кочергин удивительно ловко промыл и перебинтовал, несмотря на фырканье «интригана».

Уже надев тулуп и стоя с ушанкой в руках у низенькой двери в сени, Кочергин говорил:

— Завтра после работы я забегу узнать, как дела, и сделаю опять банки. Микстуру я заказал и принесу с собой да еще прихвачу вам ваты и марли для маленькой. Нет, нет — я с сыльных не беру денег: мы товарищи по несчастью, ни в каком случае!.. Да, я с детьми умею: у меня тоже сынишка, но я его не видел уже три года — он в Ленинграде с моей тещей...

Ася выскользнула в сени и, появившись снова на пороге и в упор глядя на Надежду Спиридоновну, сказала:

— Чайник уже вскипел...

Надежда Спиридоновна поняла ее маневр.

— Останьтесь выпить с нами чаю, — выговорила она волей-неволей, но новый доктор окончательно завоевал ее расположение тем, что отказался сесть за стол — он уверил, что ему до вечера надо сделать еще один визит. Прощаясь, поцеловал руки Надежде Спиридоновне и Асе.

Когда, проводив врача до крыльца, Ася вернулась в комнату, Надежда Спиридоновна торчала сухой палкой около колыбели Сонечки и низким, хриплым голосом, почти басом, напевала ей, картавя, французскую песенку:

Ainsi font, font, font
Les petites marionettes,
Ainsi font, font, font,
Les jolies petites fillettes.
Ainsi font, font, font,
Trois petits tours et puis s'en vont...[3]

На следующий день опасность воспаления легких у Славчика миновала. Кочергин принес крупу, сахарный песок, сало, яйца.

— Мне пациенты суют, — оправдывался он.

Ася подошла забрать свертки и обрывающимся голосом прошептала:

— Я вам так благодарна... Вы так добры... не знаю, чем смогу отплатить вам...

Славчик топал ножками на ее коленях, и она, обнимая сына, говорила:

[3] Так пляшут, пляшут, пляшут
Маленькие куколки,
Так пляшут, пляшут, пляшут
Хорошенькие девчушки.
Так пляшут, пляшут, пляшут,
Три круга отплясали —
и ушли... (*франц.*).

— Ну вот, теперь мой зайчонок скоро поправится: мама будет давать мальчику-зайчику овсяную кашку и гоголь-моголь...

Прижимаясь щекой к горячей щечке ребенка, Ася подняла глаза на Кочергина, который приготавливал в эту минуту горчичник; он смотрел на нее. И что-то было в этом взгляде. Что-то мужское и хищное.

Когда вернулась Надежда Спиридоновна, Ася показала ей коробок с яйцами, принесенными Кочергиным:

— Это будет вам и Славчику.

Старуха несколько смутилась:

— Заботьтесь о ребенке, у меня есть свои.

И с этого дня стала варить себе по парочке, каждый день пересчитывая остаток. Стоя над кастрюлей, в которой кипели яйца, она всякий раз читала по три раза «Отче наш», что у нее служило, по всей вероятности, меркой времени. Это неудержимо раздражало Асю: разве как рецепт для варки яиц дал эту молитву милосердный Иисус Христос?

Через несколько дней Асе пришлось выйти вместе с Кочергиным, чтобы зайти в аптеку, сам Кочергин торопился к пациенту. Едва лишь они вышли на темную улицу, как, овладев ее рукой, он сунул ей в варежку тридцатирублевку.

— Нет, Константин Александрович, ни за что! Возьмите обратно!

— Послушайте, я это делаю ради детей, — сказал он, останавливаясь, — я отлично вижу всю безвыходность вашего положения. Мне заплатили за визит; я обычно отказываюсь от оплаты, а в этот раз принял, имея в виду отдать вам. Здесь есть небольшой базарчик — сбегайте туда завтра утром: там продают мед, молоко, квашеную капусту, свинину. Поймите: все это необходимо и для вас, и для Славчика, и для малышки.

— У вас своя семья, а мне помогает одна добрая душа, мой друг, — все еще отбивалась Ася.

— Простите нескромный вопрос: этот друг — женщина или мужчина?

— Женщина.

Они помолчали.

— Возьмите ваши деньги, Константин Александрович.

— Нет, не возьму! Странный народ женщины! Если бы я раскатился к вам в день ваших именин в Петербурге с корзиной роз или флаконом духов, вы приняли бы не колеблясь, хотя это стоило бы много дороже. Но когда я прошу принять деньги, чтобы накормить больного ребенка, вы оскорбляетесь!..

— Я не оскорбляюсь — я не хочу. Как я потом рассчитаюсь с вами?..

Он насвистел какой-то мотив и прибавил:

— Вот чего вы опасаетесь.

— Я не понимаю вас, — отметила Ася.

— Узнали фразу, которую я насвистел вам?

— Нет.

— Нет так нет. А может быть, и припомните...

Тридцатирублевка все-таки перешла в руку Аси.

Уже ночью, лежа без сна и напряженно прислушиваясь к дыханию детей, Ася вспомнила вдруг мотив, который насвистел ей Кочергин, — Римский-Корсаков, «Царская невеста», второй акт: «С тебя — с тебя немного: один лишь поцелуй!..» И опять женский инстинкт шепнул ей: «Осторожней!» — точно так же, как женщинам другой категории этот же инстинкт шепчет: «Поднажми!» или: «Здесь клюнет!»

Она теперь уже знала биографию этого человека. Ему было около сорока; он не был аристократом и, узнав фамилию Аси, сказал: «Я не из этого числа». Однако он насчитывал за собой несколько поколений с высшим образованием. Диплом врача он получил весной 1914 года и сразу же попал на фронт молодым ординатором; во время гражданской войны продолжал работу в госпитале на территории красных; был аре-

стован чекистами по обвинению в намерении перейти линию фронта; о последнем событии он рассказывал так:

— Прозябали мы в великолепной тюрьме, голодные и полуживые, без всякой надежды выбраться; каждый день кого-то из нас уносили в тифу. В одно утро заглянули к нам чекисты и вызвали нескольких человек на работы по очистке города; среди них — моего товарища, который лежал без сил в злейшей цинге; я вызвался отработать за него. Привели нас в солдатские кухни, велели мыть полы и воду носить, а повара попались ребята хорошие и накормили нас до отвала. На следующий день, как только чекисты сунули нос в камеру, все мы как один повскакали: «Меня возьмите, и меня, и меня!» Да только новой партии не посчастливилось: целый день уборные чистили и маковой росинки во рту не было! Потом начали меня водить под конвоем в дом к одному крупному великолукскому партийцу, у которого жена лежала в тифу. Я набил себе руку на ранениях, а в терапии был тогда слаб — ие уморить бы нечаянно, думаю, пропадет тогда моя головушка!.. Поправилась она на мое счастье, и партиец этот в благодарность похлопотал о пересмотре моего дела. Весной двадцать второго года меня за «отсутствием улик» выпустили наконец на Божий свет. Квартира моя за эти годы пропала, и мы с женой оказались в самом бедственном виде; я все лето босой по визитам ходил да собирал грибы на похлебку; осенью меня угнали на тиф, а жена в это время была в положении. Уезжая, я просил прежнего денщика, с которым мы вместе застряли в Великих Луках, позаботиться о моей жене. Когда я вернулся, моя Аня рассказывает, что Миколка наш снабжал ее бесперебойно и с ним она была сытее, чем со мной. «Как это ты сорганизовал?» — спрашиваю. А он вытянул руки по швам и, тараща на меня глаза, отрапортовал: «Так что, ваше благородие, воровал-с!» Такими-то развлечениями баловала нас жизнь при советском режиме. В царское время мне за блестящий диплом полагалась заграничная командировка... вот тебе и командировка, вот тебе и карьера!.. Тюрьма, голод, ссылка — всего перепробовал!

Ася уже знала, что политика не играла большой роли в жизни этой семьи — эсеркой была всего-навсего свояченица Кочергина. Это были такие же жертвы террора, как ее собственная семья. По мере того как она привыкала к Кочергину, он становился ей все симпатичнее. Дружеская простота его обращения, его забота и отеческая ласка к детям отогревали ее мало-помалу, точно он дышал теплом на замерзающие в снегу зеленые росточки, а его шутливо-оптимистический тон сообщал ей бодрость. Было только одно, что ее пугало в отношениях с ним, — взгляд, который она время от времени перехватывала. Этот взгляд вместе с мотивом из «Царской невесты» и «нескромным вопросом» внушал ей опасения.

Глава девятнадцатая

Рождество приближалось... В одно утро, когда Ася вышла во двор, она увидела деревенские сани-розвальни, убогую лошаденку со спутанной гривой и бородатого крестьянина, который ходил вокруг саней, похлопывая рукавицами; рядом вертелась кудлатая шавка. Выяснилось, что деревенский экипаж этот со всей свитой приехал за Надеждой Спиридоновной.

Укутываясь в платки и телогрейки для предстоящего путешествия, старая дева объяснила Асе, что некоторое время прожила в деревне в десяти верстах от города, где у нее сложились самые хорошие отношения с хозяевами. В город она переехала только ради того, чтобы быть ближе к аптеке, рынку и почте, а главное — вследствие необходимости являться два раза в месяц на отметку в комендатуру. Теперь она едет к прежней хозяйке погостить несколько дней.

— Я давно собиралась, так уж лучше поеду теперь. Не скрою, что дети мне очень досаждают. Я не могу больше выносить вашу вечную суетню и писк. Может быть, доктор поспособствует вам в поисках помещения? В конце концов, я вовсе не обязана оказывать постоянное гостеприимство.

Она заперла на ключ кофр и шкафчик и подошла поцеловать опущенную голову Аси.

Надежда Спиридоновна положительно умела ладить с крестьянами. Может быть, даже ее скопидомство было по сердцу мелкому собственнику-середняку?

В этот вечер Кочергин не торопился к пациентам и сам сказал:

— Я очень озяб и с радостью бы погрелся чаем, если вы захотите меня напоить.

Самовар, принесенный хозяйкой, уже кипел на столе, и Асе показалось, что было бы слишком неблагодарно выгнать человека на мороз. Разговаривая с увлечением о музыке, он засиделся. По-видимому, в нем, несмотря на все несчастья, еще не вытравился дух энтузиаста-интеллигента, жаждущего трудиться на благо народа, — он стал уверять Асю, что их общий долг — несколько оживить и встряхнуть здешних обывателей, а именно: организовать музыкальные вечера, на которых он и Ася могли бы знакомить местную публику с классическими и русскими произведениями. Заведующий клубом, конечно, пойдет им в этом навстречу... В другое время такой разговор, может быть, и заинтересовал бы Асю, но теперь, одолеваемая своими печалями и тревогами, она едва слушала Кочергина и наконец решилась напомнить, что уже скоро двенадцать!.. После таких слов он тотчас поднялся, но, прощаясь с ней у порога, задержал ее руку в своей и сказал:

— Я заболел — меня фаланга ужалила! Уже три ночи я не сплю: прелестное женское лицо меня преследует.

Ася смотрела мимо него в темные сени и молчала, только чуть сдвинула пушистые, как у осы, брови. Он с минуту всматривался в это лицо, в котором не было и тени улыбки, молча поцеловал ее руку и перешагнул порог.

Итак, она не обманулась! Боже мой, как это неудачно, как досадно, какие вносит осложнения!.. Придется оттолкнуть человека, который сделал ей так много добра, который был так великодушен и отзывчив! Может быть, придется вовсе разорвать с ним! А ведь она так одинока здесь... Страшно даже вообразить себя без его дружеской помощи.

Следующий день был Сочельник. Где вы, где вы, давние Сочельники из теплого, уютного и веселого детства?.. С утра в залу не пускают — там стоит елка, которую зажгут вечером. Мвма уехала за украшениями на кустарный базар. Мороз разрисовал все стекла на больших окнах, выходящих на Неву. В комнатах поэтому рано наступает таинственный полумрак — там, где не зажжены люстры. Во время прогулки в своей белой шубке и белом капорчике за ручку с мадам она видит в ярко освещенных витринах елки и зайчиков на снегу под ними — это обостряет ожидание. На Большой Конюшенной и на Ямской елки стоят длинными рядами, точно ты попала в густой лес...

Каким восторгом полна минута, когда двери залы наконец открываются и детям разрешают войти и увидеть волшебное дерево! Оно отражается в больших зеркалах, и кажется, что стоят вереницы елок. Она смотрит на вершину, где вифлеемская звезда, но она знает, что внизу под зелеными ветками спрятаны подарки, и ей уже хочется залезть туда и вынуть их. Какие бывали игрушки! Теперь она уже никогда не видит таких! Однажды она получила избушку на курьих ножках и заводную бабу Ягу, которая ходила вокруг, потрясая клюкой! А эта чудная кукла Люба, у которой ресницы были, как у нее самой, которая говорила «мама», а одета была в меховое манто, муфточку и шапочку, совсем такие, как носила ее собственная мама! Как раз в тот Сочельник братишка Вася получил в подарок полное обмундирование

семеновского офицера и к рождественскому ужину пошел в эполетах и с шашкой. Папа объяснил, что за ужином не принято сидеть вооруженным, и велел отцепить шашку. Ужин — постный: подают только рыбное и кутью, а потом пряники, пастилу и орехи, которые так весело щелкать. А ночью, прежде, чем заснуть, она выползает из-под одеяла на ковер; осторожно, очень осторожно, чтобы никто не услышал, и читает молитву о волхвах и звезде. Ей хочется в темноте и тишине явственнее ощутить святость вечера. Жаль, что, сколько бы она ни смотрела наверх, она видит только темный потолок, а не те белые чарующие ангельские крылья, которые наполняют все небо в эту ночь! Печальный вздох тонет в мыслях о завтрашнем дне; завтра — елка у бабушки, где всегда бывает большое собрание детей, елка, лотерея и волшебный фонарь, а дядя Сережа дирижирует детской кадрилью и игрой в «золотые ворота». Сколько прелестных детских лиц — знакомых и дорогих — мелькает в анфиладе освещенных комнат! Вот кузен Миша — кадетик, вот лицеист Шура со своими круглыми черными глазами, вот Леля — она самая нарядная и хорошенькая со своими золотистыми кудрями; она танцует соло в костюме Красной Шапочки. На третий день опять елка, на этот раз в Мраморном дворце — у тети Зины.

И за всеми этими подарками, огнями, угощеньем и музыкой Асю чарует любовь и ласка, которые льются из всех глаз и наполняют собою все голоса... Ей не приходит в голову, что сияние детской талантливой души накладывает собственные блики на все окружающее и золотит все и всех вокруг себя. Даже теперь — в двадцать три года — это ей не приходит в голову!..

К вечеру душевная боль усилилась. Дети уснули; хозяйка дома — молодая степенная девушка — ушла из своей половины, расстелив повсюду чистые половики и заправив лампадки. В избе установилась полная тишина; только часы тикали. Ася села на покрытый пестрым половичком табурет под большими старинными часами, вывезенными Надеждой Спиридоновной, и слезы ее полились ручьями... Одна!.. Погибли все, кого она любила, все!.. Счастье, которое все детство ее манило обещаниями и шло к ней — огромное, светлое, лучистое, — оказалось таким недолгим!.. Семейный очаг разрушен. Одна всю жизнь, одна с двумя малютками, всеми забытая, в глуши, в ссылке, в нищете!.. Вот он — «безнадежный путь», которому она так гордо бросила вызов!.. Бедные малютки! У них никогда не будет праздников! Глушь, вьюга, изба, деревянная скамейка, сальная свечка, черный хлеб — вот какой у них Сочельник! Нет отца, нет бабушек и дедушек — некому их баловать. «Мы здесь совсем одни. Константин Александрович... он добрый, он умеет вносить бодрость и оживление, но он — чужой...»

К мыслям ее о Кочергине примешивалась странная горечь — неужели непременно нужно было влюбиться? Неужели нельзя было, ну, хотя бы ради детей, остаться просто хорошими друзьями? А вот теперь холодное равнодушие, с которым она выслушала его признание, конечно, уязвило его — больше он не придет. Если бы хоть Лада была здесь и сунулась к ней черным скользким носом...

Славчик проснулся и внезапно встал в постельке, глядя на мать круглыми, осовелыми со сна глазами. Она вскочила и порывисто прижала его к себе.

— Мальчик, милый! Мама тебя любит и за себя и за папу! Мама не даст тебе быть несчастливым! Славчик, знаешь, твой папа был большой, замечательный человек! Когда-нибудь я расскажу тебе, как он любил родину!.. — шептала она, не надеясь, что ребенок сможет понять ее, и целуя бархатную шейку, которая пахла скипидаром.

Богатырский удар в дверь заставил обоих вздрогнуть.

За дверью, весь в снегу, стоял Кочергин.

— Я, как Дед Мороз, весь белый, с елкой в руках. Сейчас мы ее зажжем для Славчика. Вот и свечки — я их у одной богомольной пациентки выклянчил. Они нам послужат, коли елочных нет. Эти пряни-

ки мы развесим, а вот и подарок — лягушка заводная, она моему Мишутке принадлежала; я забрал, уезжая, и все таскаю в кармане... пусть теперь перейдет к вашему. Вытирайте теперь слезы и несите мне топор — я заделаю елку в крест, а вы тем временем ставьте самовар, если умеете... Пусть наперекор судьбе и у нас и у ребенка будет счастливый вечер.

Славчик вытягивал шейку, выглядывая из постели, — ему уже был знаком этот голос.

Есть поступки, вознаградить за которые невозможно и которые женщина не сможет забыть, но всегда страшно оказаться благодарной мужчине!

Только бы не начал он опять говорить о своей любви, только бы у него хватило великодушия и такта оставить ее чувства в покое, понять, что сейчас она любить не может, что ее душа — сплошная рана! Она начинает опасаться этого человека — он не должен был говорить тех слов, которые сказал вчера, — из уважения к ее горю и к собственной жене, не должен!

Чего бы она только ни отдала, чтобы елочку эту принес Олег, — половина горя ушла бы из ее жизни!

Она колет на коленях лучины и вытирает потихоньку слезы, которые бегут и бегут... Счастливой теперь она не может быть! Этот доктор все-таки не понимает всей глубины ее горя!

Но Славчик, несомненно, счастлив был в этот вечер. Он сидел на коленях у Кочергина и доверчиво смотрел на него. Потом он устал скакать и радоваться и заснул внезапно, стоя на коленях и уткнув мордашку в подушку, задком вверх.

Мужчина и женщина остались вдвоем. Наедине друг с другом. Он взял ее руку, приложил к своим губам.

— У вас есть жена, Константин Александрович, — сказала Ася.

— Моя жена!.. Жестоко то, что вы говорите! Раз десять я запрашивал о ней гепеу и всякий раз получаю только один ответ: «умрет — известим». Сколько же времени можно оплакивать разлуку? Я потерял надежду на встречу, а у вас и самой слабой надежды нет.

— Все равно — я не хочу!.. У меня... да: у меня нет надежды, но ваша жена еще может вернуться; недопустимо, чтобы человек, вырвавшийся *оттуда*, — измученная, больная, усталая женщина — узнала, что ее не дождались, что уже есть другая...

— Ксения Всеволодовна, ведь я бы, как отец, любил ваших детей!

— Я знаю. Вот этому я верю. Спасибо, Константин Александрович, но разве... разве вы не можете любить их без... тайных встреч со мной?

— Нет, мне слишком тяжело будет вас видеть. Если вы не согласитесь быть моей, я буду просить перевода в другой город.

— Ну, это решать можете только вы сами, — ответила Ася, — не трогайте меня, Константин Александрович, пустите.

Но он притянул ее к себе сильной рукой. Ася увернулась и бросилась к лежанке, на которой спал Славчик. «Около ребенка не посмеешь!» — сказал ее взгляд. Он действительно не сделал ни шагу вперед.

— Константин Александрович, спокойной ночи! Если хотите остаться нашим другом, приходите завтра, а теперь уже поздно — идите.

Он медлил. Затем глубоко вздохнул и повернулся к двериз

— Быть по-вашему, я ухожу.

Через минуту он крикнул из темных сеней:

— Как у вас тут щеколда открывается? Не разберу.

Ася выскочила в сени со свечой и, поставив ее на крышку бочки с водой, подошла к задвижке. В ту же минуту она была опрокинута на пачку соломы, сложенной в углу у двери: он подмял ее под себя. Извиваясь под ним вьюном, она отчаянно брыкала его ногами и била кулаками в грудь и в лицо; потом перехватила его руку и впилась зубами ему в палец, изо всех сил сжав челюсть. Он вскрикнул и выпустил

ее. В ту же секунду она вскочила и бросилась к себе, защелкнув перед его носом задвижку. В доме наступила тишина.

В Асе все клокотало от негодования.

До сих пор все знакомые ей мужчины относились к ней с рыцарским уважением. Ни Олег, ни Сергей Петрович не разрешали при ней ни одной сальной шутки, ни одного рискованного анекдота. Она вспомнила, как Шура, прощаясь с ней, сказал: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим!» Она вспомнила даже Валентина Платоновича в Москве на лестнице. Но этот доктор...

Ноги и руки ее ныли, утомленные борьбой, щеки горели; она сознавала себя победительницей — чувство собственного достоинства все разгоралось.

В доме было по-прежнему тихо — ушел или притаился?

Вдруг она услышала нерешительный стук в дверь; через несколько минут он повторился, более настойчиво. Она не отзывалась.

— Ксения Всеволодовна, в вашей комнате остался на комоде ключ от моей комнаты, — послышался его голос.

Ася взяла ключ и швырнула его в узкую щелку, после чего тотчас снова захлопнула дверь.

— Ксения Всеволодовна, Бога ради, впустите меня на минуту. Клянусь жизнью моего сына, вам не угрожает ничего!

Ася распахнула дверь и, стоя на пороге с заложенными за спину руками, надменно взглянула на своего противника. Тот рухнул к ее ногам.

— Простите! Я обезумел! Это был бред! Вы защищались, как львица! Умоляю простить, и пусть все будет по-прежнему. — Он обнял ее ноги.

— Я прощу вас. Но... забыть такую вещь нелегко... Между друзьями должно быть доверие, а я теперь...

— Вы суровы! Ведь я прошу прощения; я поклялся... вы помните, чем я поклялся? Что может быть дороже собственного ребенка?

Теплая волна толкнулась в сердце Аси.

— Да, вы правы — я не великодушна! Вот сейчас я в самом деле прощаю! Если вы жалеете меня и детей, — голос ее задрожал, — будьте нашим другом, но с тем, чтобы даже разговоров о любви не было. Или — уйдите вовсе! Это будет очень грустно и для меня, и для вас, а все-таки лучше, чем то, что предлагаете вы. И в том и в другом случае я всю жизнь с благодарностью буду вспоминать, что вы вылечили моего Славчика и устроили ему эту елку в этот печальный Сочельник.

Она протянула руку; Кочергин поднес ее к губам молча и встал. В ту минуту, когда он нахлобучивал свою ушанку, она увидела, что укушенный палец был замотан носовым платком, который весь промок от крови. Она почувствовала, как больно сжалось ее сердце, когда дверь за ним затворилась.

Ей показалось, что именно с этой минуты она стала большая, взрослая — ее юность и опека над ней старших кончились навсегда!

Утром пришлось упросить хозяйку дома покараулить детей, чтобы иметь возможность уйти на розыски; Надежду Спиридоновну можно было ждать со дня на день, а она все еще не подыскала себе помещения и без ужаса не могла вообразить, с каким лицом предстанет пред грозной теткой.

Ей покоя не давало одно впечатление: Славчик, забившись в угол, с робостью следит за Надеждой Спиридоновной, прохаживающейся по комнате. Он не чувствует себя здесь дома, он уже переживает унижение, а ведь впечатления, которые ложатся на детскую душу, часто неизгладимы. Олег никогда бы не допустил, чтобы сын его вырос забитым и робким.

Пользуясь тем, что вырвалась из дому, она зашла к Пановой, которая однажды уже навещала ее и приглашала в свою резиденцию. Резиденцией этой оказался пустовавший дровяной сарай без окон, с продувными щелями. Старая генеральша целый день то собирала хворост, то топила времянку, которая однако же не могла нагреть помещения — за ночь стужа всякий раз устанавливалась заново, и вода в ведре покрывалась корочкой льда. Панова тотчас усадила Асю пить чай на опрокинутом деревянном ящике, заменявшем собой стол, и вытащила для гостьи все, что было у нее в закромах — кружку квашеной капусты, несколько печеных картошек и буханку пшеничного хлеба, а единственное яйцо поручила отнести Славчику. Все эти деликатесы она получила от председателя райисполкома, с дочерью которого занималась французским. Эта забота старой дамы лишний раз подчеркнула в глазах Аси черствость Надежды Спиридоновны.

От Пановой Ася отправилась к агенту огепеу. Она заявила, что намерена перебраться с детьми в деревню. Агент, вопреки ожиданиям, довольно равнодушно ответил:

— Являться на перерегистрацию вы обязаны, и притом в точно указанный срок, а жить в пределах района вы можете где хотите. Обязываю лишь предъявить прописку, чтобы в случае неявки мы могли безотлагательно навести справку.

Надежда Спиридоновна появилась на следующее после этого утро и вполне одобрила план Аси, быть может, попросту желая отделаться от обременительной гостьи, которую слишком неудобно было выгнать со двора.

Ася уехала в тот же день, несмотря на горячие возражения Пановой, которая прибегала специально, чтобы попытаться отговорить молодую женщину от такого рискованного шага.

Кочергин не появлялся — как в воду канул! Уезжая, Ася напрасно обводила глазами бедный дворик и заваленную сугробами пустую улицу, по которой ее волокла убогая Савраска.

Глава двадцатая

Жилая зона и зона оцепления; обе окружены высоким двойным забором, опутаны колючей проволокой; вдоль всего забора — распаханная полоса; по углам — вышки с часовыми; у ворот в зоны — проходные с дежурным; внутри жилой зоны — мужские и женские бараки, столовая, кухня и больница; в зоне оцепления — мастерские; в обеих зонах — ни одного дерева: предусмотрено приказом, чтобы часовые с вышек могли беспрепятственно обозревать территорию лагеря.

Выход за зону — только под конвоем. Лагерь — не штрафной: внутри каждой зоны передвижение свободно, в бараках стражи нет, не возбраняется обмениваться фразами.

Подъем — в шесть утра; завтрак в столовой, перекличка и развод на работы: в час — обед; в семь — ужин; в десять — отбой ко сну; между ужином и отбоем — свободное время; перед обедом и перед отбоем — повторные переклички. Барак — длинное деревянное здание с решетчатыми окнами и кирпичной печью; вагонная система нар верхних и нижних с узкими проходами; голые доски — ни матрацев, ни простыней; под головами — бушлаты и сапоги; барак кишмя кишит клопами и вшами; вещи заключенных частично тут же, частично в «каптерке». Дневальные метут пол и топят печи; барак переполнен до отказа — спят даже на досках, переложенных наподобие моста с одной верхней нары на другую; человек никогда не остается наедине с самим собой; тишины нет даже ночью — тот храпит, тот кашляет, тот охает, тот плачет или шепчется... Шаги и перекличка патруля у дверей...

Заключенные в этом лагере различных категорий, с различными сроками; «пятьдесят восьмых» здесь называют «контриками», а уголов-

ных — «урками»; есть еще «бытовики», составляющие среднюю прослойку в обществе заключенных, — растратчики, прогульщики и прочие нарушители трудовой дисциплины.

Присутствие уголовного элемента невыносимо для обвиненных по пятьдесят восьмой. Непозволительная и совершенно безнаказанная грубость конвоя наиболее болезненна для них же, как для людей более щепетильных, нежели уголовники.

Конвойных в лагере называют «стрелками» и «вохрами» (от слов «вооруженная охрана»). В огромном большинстве это представители нацменьшинств.

Лелю в первое же утро на разводе определили в бригаду по обкалыванию льда на «лежневке» — так называли в лагере узкие дороги, проложенные к соседним лагерям и штрафным пунктам в различных кварталах этого же леса, а также к поселку, где было сосредоточено управление лагерями и жили все вольнонаемные служащие. В лагере этом валили лес, но весьма значительная часть заключенных была, разумеется, занята на обслуживании нужд лагеря — в столовой, в кухне, в больнице, при дорогах и транспорте.

Тотчас же оказалось, что работа Леле не под силу — лом был слишком для нее тяжел и валился из рук; конвойные ее немилосердно понукали, угощая придирчивыми окликами:

— Будешь ты у меня шевелиться? А ну, поторопись немножко, придурка! У, барахло буржуйное!

Возвращаясь в этот первый день в барак, она вытирала себе варежкой глаза при мысли, что завтра ее ожидает другой такой же день и что силы ее падают, а впереди несчетное количество все таких же дней!

К тому же у нее тотчас установились враждебные отношения с урками. Спустя несколько часов по прибытии в лагерь она сделалась свидетельницей следующей сцены: на одной из верхних коек барака сидела, болтая спущенными вниз голыми ногами и задевая ими головы проходящих, женщина — ярко размалеванная, с рыжими растрепанными волосами. Подошел огромный, грубо высеченный детина и, отпустив неприличное ругательство, стянул ее за голые ноги на пол и набросился с кулаками. Леля выскочила из барака с криком:

— На помощь! На помощь! Человека бьют!

Подоспели конвойные и выволокли дерущуюся пару. Тотчас со всех нар повскакали урки и окружили Лелю, называя «сволочью».

— Он ее приревновал, а твое какое дело?! Ты чего вылезла? Зачем натравила?! — галдели они вокруг растерявшейся девушки.

Леля только тут узнала, что вход мужчинам в женский барак, а женщинам в мужской запрещен настрого, как и любовные свидания, и что выдать встречу мужчины с женщиной (даже если встреча эта протекала далеко не в любовных тонах) считается поступком настолько же предательским, как на свободе — донос в гепеу.

В этот же вечер несколько урок разыграли в карты сапожки Лели — та, которая проиграла, должна была их украсть и вручить той, которая выиграла. Не обнаружив утром любимых сапожек, Леля пришла в ярость, которой после сама удивилась.

— Обворовать заключенного, своего же товарища по несчастью! Отнять у человека последнее! Подло, бессовестно! — в болезненном раздражении повторяла она около умывальников, где толпились все обитательницы бараков. Подошел стрелок с командой строиться и следовать в столовую, и, не давая себе труда взвесить последствия, Леля громко отчеканила:

— Товарищ стрелок, составьте акт: меня обворовали! Этого не должно быть между заключенными. Я протестую и требую, чтобы нашли виновного.

Рыжая урка — огромная татуированная девка в косынке, надетой как-то боком, — встала против Лели и показала ей два пальца, а потом провела ими по своей шее; одновременно сзади кто-то очень выразительно сжал Леле локоть. Она обернулась и увидела два озабоченных лица.

— Перестаньте, перестаньте! Замолчите! — быстро зашептали обе женщины. Леля растерянно смолкла; конвойный обернулся:

— Выходи, кого обворовали! Чего писать-то?

В ответ была тишина. Конвойный осклабился:

— Раздумала баба жаловаться! Оно и впрямь — промолчать-то вернее будет! Эй, строиться! Пошли.

Уже немолодая дама с громкой двойной фамилией — жена морского офицера с царского крейсера «Аврора» — и другая, дочь лютеранского епископа, обе долго увещевали Лелю, стараясь объяснить ей положение вещей:

— Знаете ли вы, что значат два пальца? Угроза вас убить — убить, если вы будете продолжать обращаться к конвою. Раз навсегда запомните — натравливать на урок конвой немыслимо! Они найдут способ отомстить. Приходится молча переносить все их штучки. Кстати, если присмотреться, урки не все отвратительны и бывают иногда хорошими товарищами, — говорила бывшая морская дама.

— Жизнь здесь ни в грош не ценится! — говорила Магда, дочь епископа, — я в лагере уже второй раз; в том — в первом — урки разыграли в карты голову начальника лагеря: проигравшая должна была его убить и убила. Никогда не угрожайте им и не подчеркивайте разницы между собой и ими.

Ложась в эту ночь спать и закрываясь с головой, Леля крестилась:

— Террор у́рок!.. Этого еще не хватало!

Ночью она проснулась от толчка и громкого шепота возле своего уха. Мгновенно покрывшись холодным потом, она села, испуганно озираясь. Она занимала верхнюю нару в углу и дорожила этим местом: там была щель между бревнами, из этой щели дуло, но зато и вливалась струя чистого воздуха; вплотную с ней было место молоденькой урки Подшиваловой; это была почти девочка, со смазливым личиком, она еще в средней школе спуталась со шпаной и стала наводчицей в воровской шайке. Леля увидела ее сейчас перешептывающейся с мужчиной, в котором узнала одного из конвойных — так называемого Алешку-стрелка; это был сын донского казака, высланного в эти края при расформировании Войска Донского. Многие контрики удивлялись, что Алешка был зачислен в штат, имея репрессированного отца. Леля едва только успела подумать, что делает Алешка здесь в такой поздний час, как увидела, что конвойный снимает шинель; вслед за этим он без дальнейших церемоний положил эту шинель на нее, слегка отодвинув ее при этом локтем, а сам навалился на Подшивалову, которая обхватила его обеими руками. Вся кровь прилила к щекам Лели.

— Вы как смеете? Что за бесстыдство! Вы здесь не одни! — возмущенно воскликнула она.

Стрелок прищурился:

— Ишь, важная какая! Ну, а где ж бы это нам остаться вдвоем, скажи на милость, а?

С одной из нар поднялась страшная голова рыжей урки Лидки Майоркиной; при слабом свете тусклой лампы под потолком лицо ее с белесоватыми глазами казалось лицом Горгоны.

— Кто тут бузит? Сахарная интеллигенция опять!.. Святая, подумаешь, выискалась!.. Сама-то ты не баба, что ли? Подожди — проучим! Урки-бабы, раскурочим ее, чтобы не зазнавалась!

Леля уткнулась в подушку.

На ее счастье, в это же утро, едва проиграли зорю, в барак вошли два рослых конвойных и направились прямо к Лидке Майоркиной.

— Складывай живо свои шмотки и одевайся. Приказано тебя переправить в другой лагерь. Транспорт уже дожидается.

Последовала новая безобразная сцена: урка визжала, плевалась и

ругалась неприличными словами, а вслед за тем разделась догола, очевидно, в знак протеста; конвойные вызвали для подкрепления еще двух рослых стрелков и живо закатали в байковое одеяло и перевязали веревками татуированную красотку, после чего вынесли ее на руках из барака, несмотря на отчаянные визги и барахтанье.

— Чего ради так сопротивляться? Не все ли равно, который лагерь? — спросила Леля соседку.

— У нее полюбовник здесь, да и в штрафной, хоть до кого доведись, неохота! Ей за буйство уже давно грозили переводом в штрафной, — ответила та. Леля подошла к окну и увидела отъезжающие сани, в которых лежала спеленутая фигура, прикрытая рогожей, словно покойник.

— Вам посчастливилось с переводом Майоркиной. Это вас Господь Бог хранит, — шепнула Леле около умывальников дочь епископа.

Сухощавая фигура и обнаженные виски Магды напоминали Леле Елочку.

— Что такое «раскурочить»? — спросила Леля.

— Это их блатной жаргон... обокрасть, наверно... — ответила Магда.

— Вы слышали, что было ночью? — спросила опять Леля.

Изнуренное лицо этой немолодой уже девушки залил румянец.

— Не будем осуждать наших меньших сестер и братьев. Они, может быть, не имели в своем детстве тех облагораживающих влияний, которые имели мы. Пусть сам Господь судит их судом праведным, — ответила Магда.

В это утро стрелок, приготовившийся сопровождать партию по скалыванию придорожного льда, сказал, указывая на Лелю:

— Товарищ начальник, эту я не возьму — ползет, как улитка! Вся партия из-за ее плетется. Ломом тоже еле шевелит; всю норму, поди, им сбивает. Беда с таким барахлом. Вот хоть бригадира спросите...

Бригадир, интеллигентный человек из числа «пятьдесят восьмых», в свою очередь прибавил:

— Вполне согласен с мнением стрелка. Мне кажется, что эта заключенная слишком слаба физически для такого вида работы. Бригада наша считалась ударной, и нам за это положено внеочередное письмо, а теперь мы можем сорвать нашу норму ударников.

Леля бросила на бригадира взгляд затравленного зверька, не понимая, что тот ведет дело к ее же пользе. Гепеушник толкнул ее в сторону врача, присутствовавшего на разводе в обязательном порядке:

— Ты! Медсантруд! Определи-ка трудоспособность!

Врач — тоже из заключенных — увел Лелю в свою щель, выслушал ее жалобы и, потыкав стетоскопом в ее грудь, объявил, что она годна только на «легкий» труд ввиду туберкулезного процесса и сильного невроза сердца.

С этого дня Лелю определили дежурить в землянке у котла и поддерживать разведенный под ним огонь. Несколько в стороне, в сарае, стояли бочки с горючим, и когда приезжали машины, Леля выдавала им бензин и горячую воду и записывала количество выданных литров. Леля очень сомневалась, чтобы пропитанный нефтью воздух был полезен для ее легких, но молчала, потому что работа в землянке требовала меньшей затраты сил и удавалось иногда подремать, уронив голову на счетоводную книгу, в промежутках между заездами шоферов. В час дня, заслышав призывной гудок, она шла с ложкой получить чашку «баланды», как называли в лагере суп, который привозили из жилой зоны, для тех, кто работал в зоне оцепления; вечером питание происходило в общей столовой.

Скоро у Лели завелись приятельские отношения со стариком-пекарем из бытовиков. Он пришел к ней раз поклянчить керосинцу на растопку печи и повадился понемногу приходить с бутылкой каждый день, а Леле приносил ржаную краюху. Она прятала ее за пазуху и приберегала для свободных минут, а потом ела по маленьким кусочкам, смакуя, но никогда не выносила из землянки, опасаясь вопросов, откуда у нее такая драгоценность.

Перепадали куски ситного и от Алешки.

— Бери, недотрога! Молчи только! — сказал он раз.

Леля вспыхнула:

— Мне подкупа не надо! Я не доносчица: я за то и сижу, что отказывалась выдавать!

— Разговорчики! Уж сейчас и закипело ретивое! Ешь, коли голодная, — отрезал стрелок.

Некоторые из контриков находили, что Алешка был мягче остальных — пожалуй, Леля была согласна с этим.

Подшивалова хвастливо заявляла соседкам:

— Работенка у меня нонече завелась совсем-таки блатная!..

Ее водили на переборку овощей, и всякий раз она протаскивала в кармане то брюкву, то морковь и всегда угощала Лелю. Вахтерам вменялось в обязанность обыскивать возвращающиеся с работ бригады, но вне присутствия командного состава гепеу процедура эта иногда сводилась к проформе, а Подшивалову, как любовницу своего же товарища, обыскивали еще небрежней, чем остальных.

«Я — плохой товарищ!» — думала Леля, принимая подачки Подшиваловой и вспоминая те, которые получала от пекаря... Но недоверие к уркам слишком прочно гнездилось в ней! Эта самая Подшивалова там — в Ленинграде — выслеживала дам в дорогих мехах, а после звонила в квартиры и тихим голоском говорила: «Откройте, пожалуйста, я только хотела узнать...» А рядом с ней стояли громилы с топорами. Леля гнала от себя такие мысли. Оказаться во вражде со всем бараком, ни в ком не находить ни сочувствия, ни заботы — это было слишком страшно! Самые утонченные дамы — вроде княжны Трубецкой — держали себя с урками приветливо и просто, не подчеркивая классовых отличий. Другого выхода не было! Острота чувств притуплялась, даже беспокойство за близких понемногу исчезало, падая на дно души... Смертельная усталость покрывала все чувства, окутывая серой дымкой. В дырявых валенках и ватнике, уже списанном за негодностью с лагерного инвентаря, подпоясанная чулком, с запрятанными под платок кудрями, бледная до синевы, Леля не думала теперь ни о красоте, ни о личном счастье — было только одно постоянное желание: лечь и поспать.

В одно февральское утро она колола лучинки на коленях около своего сарая, когда вдруг услышала громкий начальственный возглас:

— Ну, чего опять стряслось? К проволочному заграждению, что ль, бросилась?

Леля обернулась: в двух шагах от нее стоял один из старших начальников, оклик его относился к стрелку, который проходил мимо и нес на руках женщину в лагерном бушлате; руки ее безжизненно свисали вниз, длинная коса мела снег...

— Стрелять, что ль, пришлось? — снова запросило начальство.

Вохр остановился.

— Не-е! Како там стрелять! Лес валили, надрубили дерево, прокричали по форме: отойди, поберегись! — а она стоит и ворон считает, ровно глухая... Зашибло, видать, насмерть... Может, и нарочно подвернулась, потому — несознательность.

— Сам ты зато больно уж сознателен! Ладно, разбирать не станем, почему и отчего, — спишем в расход, а тебе, брат, выговор в приказе влепим: за год уже пятый случай, что в твое дежурство беспорядок. Нечего стоять тут всем на поглядение — в мертвецкую! А врача все-таки вызови — пусть констатирует.

На вечерней перекличке после того, как произнесли: «Кочергина Анна!» — ответа не последовало. Выкликающий повторил имя. Легкий

шепот прошел по рядам, а потом один голос выговорил, словно через силу:

— Деревом на работе убило.

А один из стрелков подошел и что-то сказал шепотом. Движение руки — списали! Дочь епископа, стоя рядом с Лелей, вытерла глаза.

— Еще молодая: только тридцать два года, — шепнула она, — была без права переписки, очень по семье тосковала... Кому-то горе будет, если известят... а может быть, и не дадут себе труда посылать уведомление.

— А не самоубийство это? — спросила Леля.

— Нет, нет! Что вы! У нее ребенок, мать, муж. Она не пошла бы на такой грех. Даже в мыслях не надо ей этого приписывать, — торопливо заговорила Магда.

«Да неужели же самоубийство в таких условиях можно считать грехом?» — подумала Леля.

Вечером, едва только Леля улеглась на своей наре, как услышала голос Магды:

— Спуститесь, Елена Львовна! Я прочту молитвы за погибшую. Собралось несколько человек.

Леля свесила вниз голову:

— А урки? Они нас не выдадут?

— Думаю, не выдадут. Во всяком случае, помолиться за ту, которая еще вчера была с нами, — наша прямая обязанность.

Утром имя Кочергиной уже не упоминалось на перекличке, но Леле бросилось в глаза, что Магда чем-то чрезвычайно расстроена. Не может утешиться по Кочергиной? А может быть, неприятности по поводу чтения отходной? — подумала Леля и передернулась при мысли, что ее видели стоящей рядом с Магдой и крестившейся. А вдруг — штрафной лагерь или штрафной пункт? Во время развода не было возможности подойти и заговорить; работали и обедали в разных зонах; только за ужином, в столовой, Леле удалось подойти к Магде. Из расспросов выяснилось, что в каптерке, где работала Магда, пропало несколько чемоданов со всем содержимым.

— Это, конечно, урки! Их работа. Конвойные не осмелятся, — повторяла в слезах Магда.

Мимо проходил в эту минуту заправила всех урок — красивый молодой человек, окончивший пять классов в общеобразовательной школе. В лагере его все называли Жора. Он приостановился, увидев Магду в слезах.

— Ты что тут мокроту разводишь?

Леля бросила на него недоброжелательный взгляд, а Магда сказала кротко:

— У меня несчастье, Жора! Я заведую каптеркой, а за эту ночь пропало несколько чемоданов. Подумай, в каком я положении! Пожалей меня, Жора, помоги мне!

Молодой человек задумался, мысленно что-то взвешивая; Магда судорожно сжала руку Лели.

— Попробую кое-что предпринять. Выжди немного, плакса, — и он отошел, напевая.

После окончания ужина, когда Леля и Магда выходили из столовой, Жора подошел к ним и конфиденциально сказал:

— Поищите в куче снега за дизентерийным бараком, и молчать у меня...

В лагере снег был не тем нетронутым чистым покровом, который так прекрасен в полях и в садах, — здесь он был весь посеревший, загаженный, заплеванный, истоптанный, словно опороченный. После каждого нового снегопада через день или два он уже чернел заново.

Едва лишь девушки шагнули в сугроб, как тотчас наткнулись на что-то твердое.

— Здесь, здесь! — радостно воскликнула Магда.

Леля оглянулась на крылечко черного хода больницы, где стояли метла и лопата.

— Хорошо бы эту лопату. Я сейчас попрошу, — и быстро вбежала в сени, где не оказалось ни души; она постучала наугад в одну из дверей, которая тотчас отворилась.

— Аленушка?! Ты?! — и мужские руки протянулись к ней; не успела она опомниться, как попала в объятья Вячеслава и разрыдалась на его груди.

— Родная моя! Ведь вот где встретились! А я не знал, что ты здесь. В Свердловске переформировали весь этап, и я думал, что уже навсегда потерялись твои следы! Изнуренная какая... уж не больна ли? Я ведь тогда ходил к тебе в тюрьму... так я жалел тебя, что сердце пополам рвалось. Очень я тебя полюбил, забыть не мог, хоть ты и прогнала меня, моя красавица гордая! Я уж свиданье выхлопотал, но тут-то меня и засадили — тоже контру мне приписали.

— Вячеслав... так много несчастий... моя мама умерла... Олег расстрелян, Ася в ссылке... и меня ведь тоже сначала к расстрелу... Я сидела в камере смертников, а теперь осуждена на десять лет!

— И я на десять. Не плачь, ненаглядная, не помогут слезы! Вот теперь встретились, хоть и украдкой, а будем видеться, поддержим друг друга... Может, и дотерпим вместе!

Она подняла на него глаза — изменился и он за два с половиной года: побледнел, похудел, потерял юношеский вид. Тяжелые переживания, как резец художника, прошлись по этому лицу — придали ему осмысленность и завершенность.

— Вячеслав, я очень часто вас вспоминала... я совсем, совсем одинока... О, я теперь уже не гордая... это все позади!

Его губы прильнули к ее губам.

— Я боюсь... войдут, накроют... крик подымут... — прошептала она, вырываясь.

— Светик мой, Аленушка! Я ведь осведомлялся о тебе в женском бараке... но одна бытовичка уверила меня, что никакой Нелидовой нет. Здорова ли ты — уж больно прозрачная и худая!..

— Нездорова, сил нет, еле двигаюсь! Вот легла бы и не встала... лихорадит меня и тоска заела... Уж лучше б умереть.

— Глупости, Алена, умереть всегда поспеем! Не вырывайся: одни ведь мы... Ты на какой работе?

— Выдаю шоферам горючее; я в зоне оцепления, в землянке, что за мастерскими. А вы... а ты?

— Ну, я фельдшером, разумеется! В инфекционное попал — к тифозным и дизентерийным. Надо нам придумать способ видеться. У нас госпиталь обслуживают только заключенные... много хороших людей — помогут. Больные тяжелые у нас, очень тяжелые, а медикаментов почти нет, и питание негодное. Смертным случаям мы счет потеряли; по двенадцати часов работаем, измучились. Я, знаешь, сам дизентерией заразился: месяц пролежал, думал — не встану, кровавая была. Будь осторожна! Смерть хозяйничает в лагере. Санитарное состояние никуда не годится! Строчим докладные записки, да никто внимания не обращает — точно речь о собаках, а не о людях! — Он вдруг выпустил ее руку: — Идут!

Смерть хозяйничает в лагере!.. Леле тотчас представилось, что в одном из грязных углов барака притаился страшный призрак и высматривает себе жертву.

Появился санитар.

— Ты куда, Славка, сыворотку подевал?

Леля только тут вспомнила о Магде.

— Можно мне взять у вас лопату? — спросила она.

— Бери, девушка, только на место потом поставь.

Леля выскочила на крыльцо и тотчас попятилась: мимо нее по про-

ложенной в снегу дорожке шли два важных гепеушника с нашивками и кобурами.

— Надо попросить у товарища Петрова штук пять попов в сторожевую роту на склады. Лучше попов никто у нас не окарауливает,— говорил один другому.

Магда тоже замерла в снегу по ту сторону дорожки.

Черная ворона села на серый снег...

Глава двадцать первая

Она любима! Что же будет? Любовные свидания, как у Алешки с Подшиваловой?.. На это она не пойдет, а он слишком ее уважает, чтобы предложить ей это! А как иначе? Подшивалова рассказывала ей об одной парочке в бригаде по переработке овощей: во время перекура парочка эта забиралась в огромный чан, в то время как все остальные садились на землю, прислонясь к нему спиной, и зубоскалили, окликая иногда любовников... А недавно в женском бараке вохры стащили с верхних нар ее приятеля, уже старого повара, и публично срамили, а затем перебросили его в соседний лагерь — почти со всеми пáрами кончалось именно так.

Или отказаться от встреч вовсе? Но впереди столько лет! Слишком мало вероятности, чтобы оба дожили до выхода из этого проклятого места. Если насильно затушить вспыхнувший огонек, не останется опять ничего — пропадай тогда жизнь!.. Любовь, одна любовь привязывает человека к существованию в этих чудовищных условиях!

Она попросила у Подшиваловой обломок зеркала и взглянула на себя: еще красива! Углы губ несколько опустились, щеки впали, но черты сохранили свой изящный чекан, а глаза как будто тронуты тушью от утомления и бессонницы; челки нет, но непокорные пряди выбиваются на лоб из-под уродливой косынки; худая — кости ключиц выступают на впалой груди, но в этом своеобразная грация... Еще красива, хотя в красоте этой уже меньше девичьей свежести... Еще нет ни морщин, ни складок, однако в чем-то неуловимо сказывается пройденный мученический этап. Пожалуй, она стала даже интересней с этой печатью скорби в лице! Он сумеет оценить этот новый отпечаток, он не остановится ни перед чем, он — смелый, предприимчивый, настоящий мужчина, как Олег, он что-нибудь придумает, он найдет выход!

И тем не менее день прошел, а они даже мельком не взглянули друг на друга, а ведь каждый их день словно у смерти отвоеван! С наступлением ночи ей делалось страшно в бараке; она озиралась на темные углы, точно и в самом деле ожидала увидеть скелет с косой.

Кто заразный, кто обреченный? Может быть, уже она сама? Вот сегодня ее опять искусала вошь, возможно, тифозная... Неужели она умрет прежде, чем... Не дай, Господи, умереть прежде любовного свидания!

Всю ночь она ворочалась на жестких нарах, томление переполняло грудь.

Утро началось с неожиданной неприятности: ее сняли с привычной работы и перебросили в бригаду по повалке и трелевке на место выбывшей Кочергиной; в сарай с горючим назначалась Подшивалова. Леле не раз случалось говорить с Подшиваловой о преимуществах своей работы, и та, видимо, пустила в ход свой блат, чтобы заполучить это место. Врачебное заключение значило очень мало для тех, кто ведал распределением.

— Ну, и подлая же ты, Женька! — сказала она Подшиваловой, передавая ей в конторе счетоводную книгу и ключи.

— А я-то и пальчиком не шевельнула — честное ленинское! Вот те Христос! — затараторила та, словно из лукошка посыпала. — Переборка овощей, вишь ты, кончилась; надо нас было рассовать по местам; ну, мой хахаль и постарался; обещал поднажать, чтобы устроить меня на хлеборезку, а вот, пожалуйте в сарай с горючим! Я еще намылю ему шею, коли он проворонил лакомый кусочек, болван этакой! Не злись, Лелка: коли попаду на хлеборезку, стану тебе таскать кусочки.

Леля только рукой махнула и вышла из конторы.

Погнали далеко за зону строем в сопровождении стрелков. Мужчины валили и пилили лес, а женщины собирали сучья: надо было наколоть и нащипать определенное количество вязанок из дранки. Вохры — все тот же Алешка и узкоглазый мусульманин Косым — очень мало обращали внимания на женщин, но зорко стерегли мужчин. То и дело слышались их оклики:

— Куда, куда, господин хороший? Не отдаляйся! — вопил Алешка. — Шагай обратно! Сам не рад будешь, коли запалю в рожу! То-то же.

Мусульманин был не так многословен:

— Цэлюсь! — орал он с места в карьер.

Этот вохр сам отсидел в лагере за неудавшуюся родовую месть, а по окончании срока был зачислен в конвой; в отпуск он собирался ехать на родину, чтобы снова мстить. Некоторые из контриков — в том числе Магда — пытались его отговаривать, напоминая, что он снова попадет в лагерь и уже на более долгий срок, но в ответ получали только: «Убью!»

При лагере была фотография, называемая «мордопысня»; мусульманин снялся в этой мордопысне голым, с двумя револьверами, и показывал эту карточку в каптерке, уверяя, что послал такую же своему врагу в качестве грозного напоминания.

Леле до сих пор не приходилось видеть этого стрелка, и теперь его свирепое гортанное «цэлюсь!» заставляло ее каждый раз вздрагивать.

С работой и без понуканья приходилось торопиться, поскольку норма была очень жесткая. От непривычки к физическому труду на воздухе и на ветру Леля измучилась не меньше, чем в свой первый день.

По окончании работы, выходя из столовой в уже жилой зоне, она увидела Вячеслава рядом с незнакомым юношей в очках; оба прохаживались по двору между кухней и столовой. Вячеслав еще никогда не появлялся здесь в эти так называемые свободные часы (между ужином и отбоем). В медицинской работе, при необходимости ночных дежурств, расписание, естественно, было свое, подведомственное врачам; этим же, вероятно, можно было объяснить и то, что до сих пор они не встречались. Во всяком случае, появление Вячеслава теперь на лагерном дворе показало Леле, что он ищет способа подать весточку. И в самом деле: через несколько минут юноша в очках приблизился к скамье, на которой она сидела около женского барака, и, прислонясь к стене и глядя вперед, а не на нее, сказал:

— Разрешите представиться: Ропшин, биолог; здесь работаю лаборантом; контрик, разумеется. Вячеслав Дмитриевич просил передать вам записку. Уроните, пожалуйста, платочек: я вам его подниму и одновременно передам письмо.

Леля сорвала с головы косынку, и записка оказалась в ее руке.

Она не чувствовала себя шокированной вмешательством третьего лица, понимая необходимость предосторожности. Напротив — ободрилась при мысли, что вокруг их любви сомкнулся защитный круг тактичных, доброжелательных людей.

Вячеслав писал на рецептном бланке: «Аленушка! Завтра сразу после ужина подойди опять к черному крылечку инфекционного барака. Я буду там. Завтра дежурит врач, с которым мы друзья: он обещал уступить мне свой закоулок. Все из персонала, кто будут в этот час, в заговоре. Твой В.»

Дрожь пробежала по жилам Лели. Она сама не знала, была ли то дрожь страсти или робости. Страшно, чтобы не накрыли, страшно войти к заразным, страшно, чтобы как-нибудь не сорвалось!.. У нее была при себе маленькая иконка Божьей Матери, которая обычно висела у изголовья Зинаиды Глебовны; приготовляя к передаче теплые вещи, Ася за-

шила эту иконку за подкладку; Леля нащупала и в удобную минуту, подпоров подкладку, извлекла образок и старательно прятала его от любопытных глаз. До сих пор она еще ни разу не молилась и дорожила образком больше как воспоминанием о матери. В этот вечер, убедившись, что соседи заснули, она вытащила икону.

— Как читается этот тропарь, который любит Ася? Погибающим... Нет, не припомнить! Защити от чудовищной злобы, спаси от преследований, голода и заразы... Хоть раз в жизни пролей на меня божественное милосердие. Хоть один раз! Я почти не верю и все-таки прошу!

Потускневший, потемневший лик был мертвенно неподвижен... Что это: кусочек ли безжизненной материи или обладающая благодатью и тайной силой реликвия?.. Запечатлелась ли на ней частица материнской любви и бессмертна ли эта любовь?..

Мама! Мамочка! Видишь ли ты свою дочку здесь, на соломе, в тюремном бушлате, завшивленную, больную? Видишь ли ты, как она одинока? Она не может молиться святым, не умеет! Ты скорее услышишь! Ты всегда была так кротка и терпелива со своей капризной, взбалмошной дочкой, ты всегда ее жалела за то, что мало выпало ей на долю счастья... Вымоли ей сейчас хоть часочек радости, вымоли мужские поцелуи — она бредит ими уже столько лет, и все нет и нет любовного огня. Нельзя же просить о нем Бога, а тебя — можно! Мама Зиночка, кроткая мученица, бедная мама Зиночка! Так мало видела ты заботы, так мало ласки... Никогда твоя дочь не осведомлялась, сыта ли ты, хотя отлично видела, что лучшие куски ты отдаешь ей; никогда не спрашивала тебя, не слишком ли ты устала, когда ты стирала белье и мыла пол, а она болтала и гуляла с Асей. И все-таки она тебя любила! Часто, очень часто накипало в ней тоскливое желание припасть к тебе, покрыть поцелуями твои руки... Но что-то мешало: глупая сдержанность там как раз, где ее не нужно! Страх показаться сентиментальной или ребячливой. Прости за это!.. Только когда тебя не стало, она поняла, чем была для нее твоя любовь! Если ты жива — помоги, обереги. Призови себе на помощь Божью Матерь — тебя Она услышит... Завтра... Завтра!

Глааа двадцать вторая

— Аксиньюшка, самовар на столе! Иди чайку выпить, — крикнула из сеней старая крестьянка в кацавейке и повойнике.

— Спасибо, Мелетина Ивановна! Сейчас Сонечку укачаю и прибегу, — отозвалась из светелки Ася и через несколько минут, перебежав холодные сени, нерешительно взялась за скобку двери. — Одни вы, Мелетина Ивановна?

— Одна, одна, не бось. Иди садись под образа. Я тебе налью чашечку. Заснули твои-то?

— Спят.

— Ну, и слава Те, Господи! Сынок твой больно потешный, Севолодна! Намедни, как ты к бригадиру вышла, все около меня вертелся — расскажи да расскажи ему про кота-воркота, а сам наперед уже кажинное слово знает, даром что трех лет нет. Ноне че я ему расскажу уж про козлика и семерых волков.

Ася задумчиво смотрела на струйку самоварного пара, поднимавшегося к низкому бревенчатому потолку.

— Он сказки любит, — тихо отозвалась она.

— Гляжу я на тебя, Севолодна, и ажно сердце за тебя болит: никогда-то ты не улыбнешься, не засветишься. Оно конечно — вдоветь тяжело, особливо на первых порах, да с детьми; ну, да без горя кто живет, родимая? А твое-то горе, смотришь, еще поправимое — молода ты, да пригожа лицом, еще не один присватается; дети у тебя не пригульные — умный мужик в укор их тебе не поставит. Малость поуспокоишься и снова молодухой станешь. А коли будешь с утра до ночи печалиться, высохнешь раньше времени, что тростинка. Нельзя так, моя разлапушка. Лицо твое тоже дар Божий.

— Мелетина Ивановна, не утешайте меня. Спасибо, что жалеете, но... Я свое горе закрыла на ключ, и когда его касаются, мне еще больней делается.

— А поплакать-то, Аксиньюшка, другой раз лучше, чем в себе горе вынашивать. Немая скорбь, затаенная, всего, вишь, страшнее; сказывают, точит она человека, что червь.

— Не жаль. Пусть точит.

— Чего зря мелешь? Тебе такие речи не к лицу — у тебя дети. Парочка твоя больно уж хороша. Вечор Сонюшка глазы на меня таращит, что совеныш маленький. Не устоит, говорят, горе там, где слышен топот детских ножек. Ты в Бога-то веруешь?

— Верила... верю! — и как будто далекий солнечный блик скользнул перед ее глазами, когда она произносила эти слова.

— Ну, так и не греши. Великий грех — смерть призывать. Это тебя враг мутит. Я вот, вишь, всех похоронила, с нелюбимой невесткой осталась и в своей избе уже не хозяйка, а все живу. А для чего живу — в том Господняя тайна: Он Один знает, когда кому срок. Я тебя в церковь следующий раз с собой возьму. Только далеконько от нас теперь церковь. Надо бы лошадь у бригадира выпросить — безлошадные мы теперь. Я другой раз захожу на колхозную конюшню, да как покличу: Гнедой, Гнедой! — так он сейчас ко мне и дышит мне на руку. Захирел, бедный, запаршивел, что дитя беспризорное. Без дела да без ухода стоят они, наши лошади. Вот оно, горе горькое!

Они помолчали.

— Вот погоди, Севолодна, придет весна; зазеленеют наши леса, запоют пташки; станем ходить с тобой по ягоды и по грибы. Сторона наша лесная, привольная, оно конечно — места глухие: кто до городской жизни охоч, того здесь тоска возьмет, а только наши леса очинно хороши.

— А волков нет у вас?

— Как не быть волкам — есть! Зимой по деревенской улице другой раз проходят. Намедни еще я ночью на крыльцо вышла — показалось мне, что овцы в овчарне завозившись, — ан, гляжу, за плетнем два волка снег вынюхивают. Видала ты пса хромого, рыжего? Побывал у волка в лапах. А позапрошлой зимой девушку у нас заели. И всего-то пошла она в овин на краю поля; и фонарик при ей; да, видать, укараулили: гляжу это я в оконце, в поле-то темно, и только видать мне, как закрутился ейный фонарик — скользит ровно уж по земле, и прямохонько к лесу. Пока похватали топоры да выскочили, ее уж и загрызли. По следам было видать, что двое вцепились; одного она ослепила — как поволокли ее, видать, пальцами ему глаза проткнула; тут же его и выловили, а другой убежавши. Так и сгибла, пропала девушка. Ну, да это зимой, а летом уходят они подальше да поглуше — гулять без опаски можно.

— А по той дороге а Галич, куда мне иа отметку ходить, нету их?

— А там нетути. Феклушка моя почем зря бегает. Та дорога, видишь ли ты, проезжая: со всех наших деревень по ей к Галичу плетутся, другой раз и грузовик проедет. Потому и никто их там не видывал, ни с кем еще беды не бывало; не бойся, Севолодна. А вот скоту нашему очинно от волков достается. Слыхала ты когда, Аксиньюшка, как скот от волка обороняется? Мне пастухи сказывали: коровы — те, как волка зачуют, сейчас в круг, рогами кнаружи, а телят в середину, и кажинная корова на рога волка принимает. Ну, а лошади обратно — задними ногами кнаружи, а мордами внутрь, и встречают волка копытами, а жеребятки-то в ихнем кругу промеж морд запрятаны. А как волк от их копыт поумается, так выходит к ему на единоборство самый что ни на есть крепкий конь и его добивает. У скота, вишь, свой разум. Это человек по гордости своей только думает, что бессловесная тварь не смыслит. Погляди в глаза хоть нашей Бурене...

— Мелетина Ивановна, а как решено с Буреной? Неужели в самом деле будут колоть? Она у вас такая кроткая и глаза печальные... у моей собаки такие были.

— Ох, и не говори, Аксиньюшка! Корова и добрая и разумница, да только больная, и проку от ее уже давно никакого, а у нас в колхозе корова и всего-то одна. Приключись с ей болесть опосля теленочка. Я, знаешь, все подстерегала, как ей родить, потому как я при ей в коровницах. Да не устерегла: заснула, а как на зорьке подошла — теленок уже подле ей, и она начисто его вылизала и сиси ему уже дала. Мне б его и отобрать сейчас, да я на старости больно жалостлива стала: дай, думаю, оставлю на денек; пусть попоит молочком родное детище. Так день ото дня и откладывала, а как пришли за им из колхоза — сама и наплакалась: веришь ли, только вошли наши парни, тотчас смекнула она, что за им, — загородила свое детище, роги навострила, глаза выпучила; хоть и не подступайся! А опосля-то, как увели, — мычит, слышу, да так жалостно! Слезы по морде катятся, есть перестала... а там и хворь на ее напади. Председатель орет, что корова вовсе порченая и что только на мясо она и годна, потому она быка, вишь, не принимает. А мне ровно бы и жаль, коли зарубят Бурену, очинно она понятлива, хоть и с норовом: невестка сядет, бывало, доить, так и всякий раз впустую — не дается она ей, зажимает, вишь, молоко. Та и досадует и ругается. Один раз с прутом вошла: ну, говорит, Бурена, отхлестаю я тебя, коли будешь упрямиться. И положи тот прут возле ей, а Бурена как швырк его копытом. Ну, а сяду я, да как начну приговаривать: дай молочка, родимая! Ну-ка, дай, моя хорошая! Так сейчас и надо́ю ведро. Вот она, наша Бурена, какая. — И Мелетина Ивановна утерлась косынкой.

— Мелетина Ивановна, как вы думаете, что ответит мне председатель?

— А кто его знает, чего ответит. Повремени — узнаешь. Слышала я, сказывали, что колхозную почту тебе нельзя доверить, потому как ты на подозрении у них... Председателю из города о тебе передано.

— Ах, вот что! Вот что! Не доверяют! Ну, тогда пусть возьмут меня к коровам и овцам на скотный двор — я животных люблю. А то так на полевые работы...

— А мне сдается, Севолодна, не рыпайся ты, сиди смирно. Не для чего тебе и вовсе лезть в колхоз; платят у нас копейки; мукой выдали — на месяц только хватило, а картофель так вовсе гнилой — скормила поросенку. Колхозными трудоднями никто у нас не кормится; да и много ли ты, родимая, трудодней выработаешь? Погляди-ка на свои рученьки — силы в их, видать, никакой; опять же и детей тебе оставлять не на кого. Пустое это дело! Вот кабы ты шить умела...

— Не умею, Мелетина Ивановна! Иголку терпеть не могу! Ничего не умею! Уж такая бесталанная уродилась.

— А кто тебе, Аксиньюшка, деньги высылает? Вечор, слышала я, получила ты пятьдесят рублей?

Ася объяснила происхождение денег.

— Ну, и бери, пока дает. Брать от крестной на сиротку не зазорно. Аль не хватает?

— Не хватает. Мне бабушку поддержать надо: ей уже семьдесят, а она совсем одна в чужом месте, в Самарканде. Там у нее даже комнаты нет — угол на веранде. Там всю веранду заселили ссыльными, которым некуда деться. Сестра в лагере, в казарме, под конвоем... она голодает... ей бы надо посылку выслать. Лучше не рассказывать — у меня горе со всех сторон. Живого места в душе нет. — Ася встала. — Сейчас ваши вернутся. Я пойду к себе — ваша невестка меня не любит.

— Зависть у ей к тебе, Севолодна! Уж такой она человек. Мне от ее тоже житья нет с тех пор, как я сына похоронила. Погоди: еще с полюбовником своим со двора меня сгонит.

Дети спали. Славчик разметал ручонки и лежал поперек постели. Сонечка лежала еще туго спеленутая. Сердце Аси всегда сжималось,

когда она смотрела на свою дочку: Славчик видел так много любви и заботы в первые два года своей жизни, а это крошечное существо едва не осудили на уничтожение, она пришла как лишняя, как ненужная; ей не выпало даже радости и пососать материнскую грудь, и Асю постоянно грызла тревога, что девочка не вырастет здоровым, полноценным ребенком. «Мы будем водить ее в коротких платьицах, а на головку ей завязывать огромный бант» — портрет этот, нарисованный отцом Сонечки, неразрывно связывался с дорогими игрушками и красивыми большими комнатами, в которых порхает девочка-бабочка, а не с этой прокопченной избой, которая завалена до самых окон сугробами!

Постояв над спящими детьми, Ася подошла к оконцу и, заложив руки за голову, посмотрела на темный дворик, потом перевела взгляд на горку белья, отложенного для починки. Она накинула платок и выбежала на занесенное снегом крылечко. Деревенька из шести дворов расположилась в середине большого леса, который тянется до самого Галича. Старые русские места, где жил Иван Сусанин и где скрывался в своей вотчине Михаил Романов. Лес подступает к деревеньке со всех сторон; он весь теперь белый, весь неподвижный, и над ним ярко сияет звездное небо. Сретенские морозы в эту зиму были не хуже крещенских. Как хороша та планета над лесом! Умершие — там, в этих звездных мирах.

В глубине ее души жило смутное желание попасть в церковь — войти в полумрак под купол с его таинственной высью и шорохами, вдохнуть воздуху, в котором, казалось ей, застыли вместе с запахом ладана невидимые кристаллы молитвы, найти где-нибудь в боковом приделе икону Скорбящей, перед которой всегда кто-то распростерт ниц, прикоснуться губами к Пречистому Лику, склонить колени, укрепить свечечку и заплакать... «Помяни... за раннею обедней мила друга, верная жена!» Но она была лишена возможности даже помянуть своего друга — она не могла ни на минуту отлучиться от детей. К тому же церковь в соседнем селе была теперь закрыта — все та же «мерзость запустения на месте святом». Оставалось только целовать свой крестик, засыпая. Кто знает, может быть, по ночам ее душу уносят из тела в заоблачные просторы — не туда, где «праведные сияют, яко светила», думалось ей, — в иные, менее совершенные круги, где блуждают такие, как Олег, — призываемые к покаянию и самоочищению, и, может быть, там они встречаются и молятся вместе, и так же вот горит свечечка, колеблемая веянием крыльев... Может быть!.. Но просыпаясь, она не помнила ничего и чувствовала себя всегда покинутой и одинокой, и в этом именно — казалось ей — заключается ее очень большое несовершенство.

Яркий свет залил землю в утро Сретения Господня; он струился потоками. Увидев эти солнечные лучи, затоплявшие белые снега и темные сосны в белых опушках, Ася не утерпела и, оставив у колодца ведро, выскочила за калитку. Она запахнула на ходу ватник и платок и побежала к лесу, увязая в сугробах.

На минуту... хоть на минуту, пока дети спят. Солнце совсем мартовское, и как будто уже весной пахнуло! Клест... вот там клест на ветке шишку дерет... А снегири так и звенят! Вот потому-то она и хотела в деревню. Теперь скоро начнется капель, она увидит проталины, грачи пойдут по талому снегу... весна, обновление! А человеческая душа, которая вся во власти горя, обновляется ли человеческая душа? Возможно это на земле? Или только *там*, после смерти?..

Она закинула голову, глядя на вершины берез и сосен. Лучи еще были косые — утренние — и шли по макушкам; внизу — синие тени; вокруг — тишина и свет!..

— Сегодня Твой праздник, Господи. В этом свете чудится мне частица Твоего сияния — он особенный: озаренный, нездешний, легкий! Мне радостно смотреть! Серое облако стояло так долго, а сегодня вдруг свет. Спасибо Тебе, милый Иисус Христос, что Ты вспомнил обо мне в этот день и что Твои лучи нашли меня так далеко, в лесу, в этой избушке... Я уже ничего у Тебя не прошу, Господи, — да будет воля Твоя,

а не моя! Прости, что я на Тебя роптала; я забыла, что одно чудо Ты все-таки совершил для меня — Сонечка осталась жива в этом страшном лагере наперекор всем опасениям! Эту молитву Ты исполнил — одну, но очень большую. Я только сейчас вдруг вспомнила, вдруг поняла. «Благодарю Тя, Господи Боже мой, яко не отринул мя еси грешнаго, но общника мя быти святынь Твоих сподобил еси...» — читают на благодарственном молебне. Сегодня благодарю я.

Не хотелось опускать головы, не хотелось отрываться от затоплявшего света; это тепло в груди и в душе было слишком отрадно; так бывало иногда в детстве! В душе ее зашевелилось неясное, но дорогое воспоминание: ей было лет пять... однажды утром она осталась одна в детской, и вдруг словно раздвинулись стены, и солнечный свет затопил комнату... Окна выходили на южную сторону, и солнце часто бывало здесь, но в этот раз оно было раньше и ярче обычного; за оконным стеклом забились голуби... это тоже бывало не раз, но нынче они затрепетали... Солнечный свет делался все ярче и ярче... она бросила кукол и встала, почувствовав на себе Чей-то взгляд. И вот голос, похожий на голос матери, сказал за ее спиной: «Не бойся, так бывает, когда смотрит Бог!» Она вся сжалась и благоговейно задрожала... Длилось минуту и ушло... больше ничего не было! Странно только, что, когда на другой день она заговорила о случившемся с матерью, та не могла понять, о чем толкует девочка, и уверяла, что не заходила утром в детскую. Надевая перстни на пальцы, она рассеянно прибавила: «Фантазируешь или приснилось...» С тех пор ни разу не пробовала Ася касаться словами этой сокровенной минуты и чем старше становилась, тем с бо́льшим благоговением думала о ней. Утренняя светлая легкость и радость на молитве, посещавшие ее иногда, напоминали ту минуту, но никогда не достигали такой силы... Го́лоса и сегодня не было, но излучения воспринимались такими же, что и в то незабываемое утро.

«Вот люди не верят в возможность общения с Высшими, а как это просто! Прилетит, прольется и улетит... — думала она, стоя по-прежнему с запрокинутой головой, как зачарованная. — Дух дышит, где захочет! О, это, конечно, не Бог, но Кто-то из Святых... Призвать эту минуту нельзя и удержать тоже; не от меня это зависит, как за роялем. За что мне даются такие дивные минуты?»

Назади ее сознания тихо брели музыкальные мотивы...

«Что мне припоминается? «Китеж»? Да, это из «Китежа»: голоса райских птиц и Феврония в светлом граде. О, за что же эта радость, чем я Богу угодила?!»

Клавир «Китежа» и фуги Баха лежали у Аси в чемодане, в избе под лавкой: собираясь в ссылку и спешно укладываясь, она и Елочка обсуждали и мысленно взвешивали каждую вещь, так как количество багажа было строго ограничено; тем не менее она все-таки сунула в чемодан потихоньку от Елочки несколько папок, отлично сознавая нелепость этого поступка, но чувствуя себя не в состоянии расстаться с откровениями на музыкальном языке.

Когда она возвращалась к дому, все так же увязая в сугробах, вокруг все выглядело уже несколько иным. Она не знала, что именно так будет: после минуты озарения на очень короткий срок зрение всегда приобретало особую зоркость и ясность — как будто снимались мутные очки. Снег и синие полосы на нем выглядели особенно девственными; голубь, ворковавший на крыше крылечка, говорил, по-видимому, о только что случившемся — он-то, конечно, все знал; на лице Мелетины Ивановны, встретившей ее в сенях, морщинки расположились так, что подчеркивали ее кротость, а чело ее было увенчано скорбной ясностью; в собственной маленькой горнице установилась особая прозрачность, образок старца Серафима у постели словно светился, а на личике спящей дочки почило выражение священной тишины, которое не всегда в одинаковой мере было доступно взгляду матери.

Когда она стала собирать на стол, то увидела, что и на белой скатерти, и на глиняной кринке с молоком, и на круглом деревенском хлебе лежит благая, светлая печать.

Глава двадцать третья

Каждое утро, подымаясь на заре вместе с Мелетиной Ивановной и умываясь ледяной водой из маленького рукомойника, висевшего на крыльце, Ася перебегала двор, пожимаясь от холода, и закладывала в ясли Бурене охапки сена. Потом, схватив глиняную кринку, шла на другой конец деревни за молоком к старому деду, который еще держал свою индивидуальную корову. Это были лучшие минуты в течение дня: на улочке не было еще ни души; подымавшееся солнце золотило верхушки леса; утренний заморозок щипал щеки; снегири звенели в придорожных вербах; по подмороженной дороге прыгали голуби и воробьи и возились около маленьких луж, вздувавшихся от ветра; чистота воздуха и уже по-весеннему светлого неба лилась ей в грудь. Она положила себе за правило читать по пути «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся!» и «Верую» — ведь это было единственное время дня, когда она могла сосредоточиться на своих мыслях, а ей хотелось сохранить в душе светлый след и поддержать себя в уверенности, что жизнь ее и детей в руках Божиих. Золотисто-розовый край неба ассоциировался у нее со словами: «Да приидет царствие Твое» — как будто лучи эти лились из тех обетованных мест, где оно уже наступило.

Старый дед наливал ей в кринку молока — в долг до двадцать пятого, и добавлял уже от себя пахты в отдельный горшочек. Когда она прибегала домой, Славчик, обычно уже проснувшийся, кувыркался в постели; маленькие ручки протягивались к ней; она одевала сына с песенками и поцелуями. Первая трапеза обычно проходила жизнерадостно — она чувствовала себя освеженной молитвой, а Мелетина Ивановна, которая растапливала с утра печь, великодушно предоставляла ей горячую воду для мытья детей и угощала ее красиво подрумяненным картофелем из деревенского чугуна. Славчик отличался хорошим аппетитом теперь, когда оказался на воздухе, — он выпивал чашку молока и съедал две или три картошки; отрадно было смотреть, с какой готовностью открывался этот маленький ротик! Остаток картофеля она приберегала ему на вечер, перемешивая его с пахтой, а сама довольствовалась куском хлеба и кипятком. Сонечке в рожок отливала двести граммов молока, и это при пятиразовом кормлении составляло за день литр. Днем Ася варила немного пшена, которое у нее было поделено на несколько ровных порций с расчетом, чтобы хватило до двадцать пятого, другой крупы не было. Обедали в два часа, и Славчик успевал до вечера снова проголодаться — тогда в этот открывающийся очаровательный ротик можно было положить только кусок, оставленный себе на вечер. Настроение падало по мере того, как иссякали запасы дневного рациона.

— Славчик! Это нельзя трогать, положи на место. Играй в свои игрушки. Стой, стой, куда ты? Сядь, посиди немножко. Что ты опять взял в ручки? Запомни: в ротик нельзя брать ничего, кроме того, что дает мама. Ну, о чем ты опять? Гулять? Ты видишь, мама стирает. А почему штанишки мокрые? Фу, как стыдно!

Интонация ее становилась понемногу все более усталой и печальной. Когда наступал вечер и щебет Славчика наконец умолкал, она, уложив обоих младенцев и прибираясь потихоньку в избе, пела колыбельные совсем тихо, высоким тонким голоском; пела их одну за другой, хотя Славчик и Сонечка уже давно спали. Перебрав все любимые колыбельные, она обращалась к романсам, выбирая только самые грустные, — «Острою секирой ранена береза» Черепнина наиболее отвечал ее настроению.

Она спала теперь на гладильнике, постланном на полу, а закрывалась пледом и ватником. Невольно сравнивала она эту постель со своим прежним ложем на кровати красного дерева с полотняными простынями и кружевными наволочками. Бросаться в ту кровать было всегда радостью — перешептывание с Олегом, поцелуй, сладкая дремота... Забираться в эту постель было всегда немного холодно, и каждый раз легкий трепет брезгливости пробегал по ее телу от сознания, что постель не так чиста, как бы ей хотелось, что простыни отсыревают, а плед затаскан в лагере. Каждую ночь осаждали тревожные мысли — они подымались тучей, стоило ей только положить голову на подушку, и, несмотря на всю свою усталость, она лежала без сна до первых петухов. Голод решительными шагами приближался к ее маленькой семье! Мечтой ее стало иметь мешок своей картошки, но, сколько она ни обходила крестьянские избы, никто не соглашался с ней поделиться — все уверяли, что расходуют последнюю; может быть, так было на самом деле, а может быть, опасались, что она не достанет денег и не сможет рассчитаться. Запустить руку в собственный мешок, испечь и съесть сколько захочешь и когда захочешь — начинало представляться ей верхом счастья! Даже казалось иногда, что грустные мысли станут уже бессильны, если сесть за хорошо накрытый стол. С тоскою думала она, что Славчик не получает высококалорийных питательных веществ. В этой разоренной колхозом деревне почти ничего нельзя было достать, но и то немногое, что было, она все равно не могла купить! Сметана водилась только в одной избе и была дорогой; яйца можно было купить только поштучно, и они тоже были дороги. Пойти в город раньше срока специально за деньгами? Но это удлинит следующий отрезок времени: от похода в город до получения перевода от Елочки, который мог прийти не раньше десятого числа следующего месяца, — вытащишь хвост, голова увязнет!.. При наличии долгов за молоко ей не могло хватить на две недели той суммы, которую она предполагала занять у Надежды Спиридоновны или Пановой.

В одно утро произошло как раз то, чего она опасалась: Мелетина Ивановна картофель не пекла, а сварила овсяную кашу и не поделилась с ней, может быть, потому, что дома была Феклушка. Асе при ее скудном рационе этого оказалось довольно, чтобы остаться совсем голодной. У нее не хватило воли, чтобы придерживаться установленных ею же порций при варке пшена, в этот день и на следующий она сварила двойную дозу, и пшено кончилось. Отыскивая выход из создавшегося положения, она ухватилась за мысль переговорить с бригадиром. Стоя посреди улицы и глядя на его избу, она тем не менее не решалась войти, когда вдруг увидела его приближающимся к своему дому с уздечкой в руке. Надо было воспользоваться моментом.

— Добрый день, Тимофей Алексеевич! — сказала она и по-крестьянски низко поклонилась, полагая, что это будет уместней протянутой руки, с которой крестьяне никогда не знали, как им поступать. — Я вас хотела попросить... Очень трудно мне... Не можете ли вы уступить... продать... мешок картошки? Может, у вас в колхозе есть лишняя? Я рассчитаюсь, как только получу деньги. Если же нельзя мешок, хоть два или три кило... Я и крупе рада буду... Мне детей кормить нечем.

Даже дыхание зашлось у нее в груди — таких усилий стоила ей эта маленькая речь. Бригадир помолчал, оглядывая ее недоброжелательным взглядом.

— Диковинная ты, Аксинья Всеволодовна! За дурака ты меня, что ли, почитаешь? Денег у ей нет! Да промеж нас ты самая что ни на есть богатая: ну, который из нас разом столько денег в кулаке зажмет? И не слушать бы мне тебя вовсе, да уж куда ни шло: завтра два наших мужика в город едут, езжай и ты с ими на дровнях. Нам надоть спосылать кого-нибудь из баб мясом поторговать, а как будто, смотришь, и некого. Мы завтра корову колем. Мы за эту работу тебе на мешок картошки денег выделим. Там же, на базаре, и закупишь, а мясо ужо раскромсаем — самой разрубать не придется.

Перед глазами Аси замелькали кровавые скользкие куски.

— Благодарю вас, но я на такую работу не годна. Я не сумею. Мне торговать на рынке!.. — и невольно горделивым жестом вскинула хорошенькую головку, но тут же почувствовала всю неуместность своей гордости.

Бригадир нахмурился.

— Вот, предлагаю заработать, так небось не хочешь, а колхозное добро на тебя разбазаривай, отдавай тебе посадочную картошку!.. Не суй ты нос в наши колхозные дела и не попрошайничай тут, на колхозной улице. Экая вредная!

Ася отвернулась и побежала к дому, чувствуя себя так, как будто получила пощечину. В этот день она отвечала ребенку невпопад, а отправляясь за молоком, не в силах была прочесть любимые молитвы; как опозоренная, боясь поднять голову, перебежала она через деревню, уверенная, что из всех окон смотрят на нее и говорят: «Вот эта дурочка, эта побирушка, внучка царских сановников!» Созданные усилиями ее духа минуты созерцания были разрушены. Чувство голода становилось мучительно: Сонечка выпивала свое молоко, Славчик — остаток молока и пахту с хлебом, а на ее долю доставалось около фунта хлеба и кипяток. Она ловила себя по вечерам на голодных галлюцинациях, которые были так упорны, что она ощущала на своих губах вкус воображаемой пищи. Засыпая голодной, она часто чувствовала боль в животе. Она заметила, что ослабела: походка ее сделалась несколько неверной и шаткой, голова кружилась. Раз она взглянула на себя в зеркало и увидела на своей худой и длинной шейке странное коричневое пятно и такое же на щеке около уха... Что это могло быть? А вдруг цинга? Или пеллагра? Олег болел ею в лагере и рассказывал, что она, как и цинга, начинается от отсутствия витаминов. У нее было посажено несколько луковок в горшке на оконце — пригретые февральским солнцем, луковки уже дали зеленые побеги, и она подмешивала их в пахту для Славчика. Испуганная темными пятнами, она общипала несколько перьев и съела их сама, а потом постучала к Мелетине Ивановне, выждав, чтобы Феклушка вышла.

— Мелетина Ивановна, — сказала она, пересиливая гордость и нерешительно останавливаясь на пороге, — вы, кажется, за что-то на меня рассердились, а за что — я не знаю. Я так благодарна вам и за картофель, и за горячую воду. Без вас я бы пропала!.. Мне очень трудно. Со мной нет никого, кто бы мог мне помочь, и приходится опять обращаться к вам — я ведь знаю, какая вы добрая!..

Голос ее задрожал. Старая крестьянка молча смотрела ей прямо в лицо, и почему-то казалось Асе, что все, что она говорит, получает у Мелетины Ивановны свою особую интерпретацию, неясную ей. Мелетина Ивановна не то чтобы не доверяла, но точно отыскивала в ее словах вторичный, скрытый смысл, кроме самого простого.

— Завтра я должна идти в город на перекличку, — продолжала, проглотив слезы, Ася, — а за детьми присмотреть некому, и даже поесть им оставить нечего, кроме молока для Сонечки. Сама я очень изголодалась и ослабела... Если я не поем, я боюсь, что я не дойду. У меня в самом деле ничего нет! — И закрыла себе лицо от стыда и отчаяния.

Мелетина Ивановна не обняла ее и не прижала к груди, как сделали бы, наверное, Панова, Краснокутская и любая другая из знакомых ей дам — кроме разве Надежды Спиридоновны; она сказала:

— Присмотрю небось: голодными у меня не останутся! И спать уложу и укачаю — это уж само собой! Экая неосмотрительная ты, Аксинья! Дивлюсь я все на тебя. На́ вот борща тарелочку; хлебушка я сейчас отрежу; а утром я тебе ужо картофельных оладий подогрею — хорошие оладьи. Садись к столу.

Едва лишь Ася взялась за хлеб, как Славчик, бросив игрушки, завертелся около нее и протянул ручонки, говоря: «Дай».

«Леля хоть может съедать сама то немногое, что получает, а я спо-

койно не могу проглотись ни одного куска», — со вздохом подумала она. За последние две недели перетяжки опять пропали на ручках ее сынишки, и личико слегка вытянулось... Наблюдать эти изменения в детском лице и сознавать всю невозможность что-либо изменить — вот пытка!..

Поднялась Ася на рассвете, как только Мелетина Ивановна слезла с печи и вздула огонь, растворив печную заслонку. Спешно глотая оладьи, Ася не решалась заговорить с Мелетиной Ивановной о подробностях ухода за детьми, хотя множество указаний вертелось у нее на языке: легко можно было предположить, что Мелетина Ивановна сунет в ротик Сонечке хлебный мякиш или покормит Славчика с чужой ложки... Но, боясь обидеть старую крестьянку, Ася все-таки промолчала. Дети еще не просыпались, когда она подошла к ним уже в ватнике, валенках и платке. Она перекрестила обоих, но не поцеловала, опасаясь разбудить.

В сенях было еще полутемно; Мелетина Ивановна стояла на пороге.

— С дороги-то не сбейся: день ужо будет вьюжный — вона какая с утра пороша! — сказала она.

— Не собьюсь, я ведь уже ходила! — Ася взглянула через раскрытую дверь на крутившийся снег и еще раз обернулась на детей — ресницы ее сына еще не подымались, и выражение ангельского покоя лежало на лбу и побледневших щечках; загадочный комочек тоже был неподвижен.

— Не тревожься, уж сохраню. Люблю ведь детей-то!.. Ступай с Богом, — сказала опять Мелетина Ивановна.

Ася порывисто наклонилась и припала губами к загрубевшим мозолистым рукам...

— Господь с тобой! С чего ты это? — проговорила Мелетина Ивановна и отняла руки.

Глава двадцать четвертая

Надежда Спиридоновна в старом стеганом капоте стояла около своей распотрошенной кровати и, казалось, была чем-то расстроена.

— Ах, это вы! Не входите — вытрите сначала ноги в сенях и стряхнитесь, вы вся в снегу. Так. Теперь присядьте, только Тимура не раздавите.

Ася села на кончик стула и больше из вежливости, чем из участия, спросила:

— Как живете?

Во взгляде, брошенном на нее из-под серых, поредевших, колечками вьющихся волос, Асе впервые показалось что-то растерянное и пришибленное вместо прежнего своенравного огонька.

— Как живу? Неприятность за неприятностью! Вы еще слишком молоды, моя дорогая, чтобы понять, что переживает старый человек, когда он всеми покинут в таких тяжелых условиях. Хозяйка помещения, небезызвестная вам Варвара Пантелеймоновна, прескверную шутку со мной сыграла: такой прикидывалась тихой, богобоязненной и богомольной, и вдруг является ко мне в один прекрасный вечер, а сама тянет за руку какого-то типа в картузе и преподносит: «Я нашла себе мужчину, надоело уже вдоветь!» Как вам понравится этот откровенный цинизм? А я потому ведь и поселилась у нее, что здесь мужчин не водилось. Теперь, разумеется, вертится около своего предмета, а ко мне хоть бы глазком заглянула. Вчера я сама паутину снимала, а мне с моим склерозом нелегко лазить по табуреткам — упала и колено зашибла. Две ночи уже я не сплю — все какой-то писк и шорох; собралась с силами, приподняла немного свой матрац, вы не поверите, милая, — мышь свила гнездо и вывела маленьких!... Едва только я увидела этих голых уродцев, тотчас «в Ригу съездила»...

Ася, снимавшая в эту минуту рюкзак, почувствовала, что ею завладевает судорожный смех.

— Помилуйте, а что же Тимур-то смотрит? — выговорила она, с трудом удерживаясь, чтобы не фыркнуть.

— Тимур? — переспросила Надежда Спиридоновна. — Ах, милая, Тимур стар — мыши могут ходить возле самого его носа, и он не шевельнется, он и в молодости-то брезговал ими. Ну-с, бросилась я к Варваре Пантелеймоновне, а там сидит, развалясь за столом, рослый хам и заявляет: «Моя жена вам не прислуга, сами извольте управляться, а не нравится — съезжайте, не заплачем». А разве мне легко переезжать?

— Конечно, нелегко, а только... каждому человеку ведь хочется счастья... — начала было Ася, но глаза ее остановились на недопитой чашке кофе, около которой лежали поджаренные ломтики хлеба и два яйца. Она знала, что на гостеприимство этого дома особенно нельзя рассчитывать, но после десятиверстного перехода ей так хотелось выпить горячего, что она заколебалась — не попросить ли совершенно прямо чашку кофе, чтобы поддержать силы? Надежда Спиридоновна перехватила, по-видимому, этот голодный взгляд, тотчас подошла и закрыла кофейник «матреной».

Румянец залил щеки Аси.

Надежда Спиридоновна вытащила лист почтовой бумаги.

— Вы, конечно, знакомы с Микой Огаревым? — спросила она. — Ну-с, так вот, сей юноша почтил меня любопытным посланием... Где мое пенсне? — Старуха порылась в ридикюле и откашлялась: — Вот, слушайте: «Глубокоуважаемая Надежда Спиридоновна, а если угодно — tante'ик![4] До сих пор я самым добросовестным образом исполнял все Ваши поручения с того дня, как была выслана сестра. Но приходит, наконец, момент заговорить прямо: Ваше распоряжение распродать библиотеку моего отца исполнить отказываюсь по той очень простой причине, что считаю эту библиотеку неоспоримой, неотъемлемой собственностью. Неужели в Вашу легкомысленную головку никогда не приходила мысль, что в один прекрасный день Вы услышите от меня это заявление? Вы начнете возражать, что имеете на нее права, так как спасли ее от разгрома, когда во время гражданской войны перевезли вместе с другими вещами к себе из подлежащей заселению пустой, заколоченной квартиры отца, когда мы с Ниной пропадали в Черемухах. Не скажу, чтобы такое решение вопроса я находил великодушным, однако считался с ним, как и Нина: вспомните, что все десять лет, последующих за этим событием, Вы одна пользовались средствами с самовольной распродажи вещей; я не заговорил бы с Вами по этому поводу и теперь, если бы не последовало от Вас сигнала к распродаже библиотеки. В этом году я сам отправлял Вам денежные переводы и хорошо знаю, что в деньгах Вы в настоящее время не нуждаетесь; тем не менее я и впредь не отказываюсь пересылать Вам полностью все те суммы, которые еще будут получены из комиссионных магазинов за трюмо и отцовскую дубовую столовую. Но о библиотеке разговор кончен. На какие средства буду существовать сам, пока еще не знаю. Невеста моя полностью разделяет мою точку зрения и мои планы: книги эти призваны заменить нам университет, в то время как у Вас они покрывались пылью. Voilá! Tout[5] Ваш худородный племянничек М. Огарев».

Мика, по-видимому, пожелал возобновить прерванные военные действия. Для Аси из этих строк тотчас выступили все те притеснения, которые должен был выносить Мика в квартире у этой тетки.

— Женится! Он женится! — воскликнула Надежда Спиридоновна. — Хотела бы я знать, кто эта героиня, которая согласилась выйти

[4] Тетушка (*франц.-русск.*).
[5] Вот так! Весь (*франц.*).

за двадцатилетнего неуча и полностью разделяет его точку зрения!.. По всей вероятности, безбожница, комсомолка. Я всегда говорила Нине, что братец ее плохо кончит.

Ася почувствовала необходимость заступиться:

— Я слышала, что Мика очень благородный и умный мальчик. Слово «неуч» вовсе к нему не подходит. У него великолепные способности, и не его вина, что в университет его не приняли, а погнали в глушь. Девушка, которая с ним уехала... те, которые ее видели, говорят, что она очень интеллигентная и милая. Только порадоваться можно, что Мика теперь не один.

Но Надежда Спиридоновна не могла успокоиться:

— Хулиганское письмо! «Я — не нуждаюсь в деньгах!» В чужом кармане считать легко, а каково мне в мои семьдесят лет таскаться самой к колодцу? Библиотеку мне оценили в восемнадцать тысяч! Ну, да как угодно, племянничек, судиться с вами я не желаю!..

Асе стало жаль старуху. «Вымою ей пол и сниму паутину. Время еще есть — в комендатуре принимают до трех», — подумала она, но в эту минуту Надежда Спиридоновна разразилась следующей тирадой:

— Вот заблагорассудится — и составлю завещание в пользу вашей Сонечки. У меня еще есть золотые фамильные часы и перстенек с бриллиантом. Не пришлось бы вам раскаяться в ваших дерзостях, милейший Михаил Александрович!

Ася почувствовала себя неловко.

— Надежда Спиридоновна, не берегите вещей и лучше не пишите завещания вовсе. Вам в самом деле трудно — продайте часы и перстень. Сонечка моя вам чужая, и мне было бы очень неудобно, если бы вы обошли Мику.

Лазить по табуретам с тряпкой и скрести пол было, конечно, делом нетрудным, но достаточно утомительным теперь, когда силы были подорваны. Однако она относительно быстро закончила уборку, после чего все-таки получила чашку кофе с двумя ломтиками хлеба.

«Лучше бы и не пробовать — только еще больше есть захотелось! — со вздохом подумала она, надевая ватник и валенки. — Ну, теперь самое страшное! Господи, благослови!»

И уже на пороге повернулась к Надежде Спиридоновне.

— Я хотела вас попросить... не выручите ли вы меня небольшой суммой в долг. Я верну недели через три, как только получу перевод от Муромцевой, у которой мои квитанции от комиссионных магазинов.

Требуемую сумму язык ее отказывался выговорить.

Старуха вскинула на нее глаза.

— Вещи, милая моя, может быть, и не продадутся... Вы напрасно думаете, что это так легко и просто делается, — возразила она.

— О, я знаю, знаю, что совсем не просто, но Елочка Муромцева — вы ее видели в Хвошнях, — она принимает в нас очень большое участие — она ежемесячно высылает мне двести рублей; поэтому деньги у меня во всяком случае будут, — ответила Ася.

Надежда Спиридоновна помолчала.

— Вы видели, как пошатнулось теперь мое собственное материальное положение. Друзей, таких, как у вас, у меня нет. Хорошо, я одолжу вам двадцать пять рублей — больше не могу; но впредь учитесь жить не делая долгов. Я за свою жизнь рубля не заняла.

Она открыла ридикюль и протянула деньги.

— Благодарю, — прошептала Ася и вышла в сени. Там она постояла несколько минут в темноте, стараясь справиться с охватившим ее отчаянием — она понимала, что даже сто рублей не могли покрыть ее долгов в деревне и не оставляли ей ничего на жизнь, а эта в четыре раза меньшая сумма почти ничем не могла ей помочь. Обращаться больше не к кому! С опущенной головой, медленно, почти машинально, побрела она в комендатуру. Ссыльных в Галиче было не так много,

и около стола, где производилась отметка, она застала в этот час одну Государыню. Едва лишь они вышли вместе на улицу, та заговорила, хватая руку Аси:

— Ах, милая, милая! Ну, что делать, скажите?.. Эта... как она... классовая борьба... нас доведет до могилы! Я живу в чужих сенях под лестницей, заработка никакого. Погадала раз на картах одному красноармейцу, он доволен был, дал рубль; я — к другому, а тот наорал и потащил в райсовет; перемывали уж там мои косточки: как, мол, смею разлагать армию, да еще отбросом аристократии обозвали... Кошмар, кошмар!.. Недавно с нищими около булочной стояла, а вчера подобрала с земли на рынке три-четыре картошки, а в помойке нашла неополоснутую консервную банку; вышел недурной суп, но ведь не каждый день так повезет! Думала ли я, что буду в помойке рыться, когда встречала реверансами Государыню Императрицу в наших институтских залах!.. Талия у меня тогда была пятьдесят пять сантиметров!

Простившись с Государыней, Ася зашла к Пановой. В кривобоком сарайчике было совсем темно, а в печурке не было огня. Старая генеральша лежала на ломаной кровати, закрываясь пледом и когда-то модной тальмой на клетчатой подкладке.

— Жду вас, жду! Входите, милая. Я была уверена, что заглянете. Болею я: ноги так распухли, что встать не могу. Растопите мне, пожалуйста, печурку — там, в углу, еще остался хворост, хочется выпить горячего. На окне на блюдечке две картошки — мне соседка принесла; это для вас, я ничего не хочу. Плохи мои дела, дорогая.

Усталые, озябшие и потрескавшиеся пальцы ломали сырые сучья, пачкаясь в мелком, седом, кудрявом мху. Было все время холодно и донимала усталость; холод со странной настойчивостью пробирался в рукава и под шею, а усталость отзывалась слабостью в ногах; огонь как нарочно не разгорался.

— Странное что-то происходит в последнее время со мной: самые ничего не значащие мелочи вдруг так расстраивают и раздражают, что хочется разрыдаться или даже зарычать от досады. Никогда этого раньше не бывало, — дрожащим голосом пробормотала Ася, наблюдая за маленьким огненным языком, который прицепился было к суку, но в борьбе с сыростью начал изнемогать.

— Это ваши издерганность и усталость сказываются. Держитесь, милая; стоит немного только себя распустить — и можно в самом деле в истерику удариться. Опять погасло?

— Погасло.

— Вот что мы сделаем: выдвиньте из-под кровати мой чемодан; так; теперь откройте; видите кипу бумаг? Это письма моего мужа из Ташкента: он был в то время моим женихом. Бросьте в огонь! Мне теперь уже ничего не жаль — я умру, а их выбросят на помойку... так уж лучше сжечь. Бросайте, бросайте! Что вам делать — не знаю! Если бы я была здорова, но вы видите, в каком я состоянии, — кажется, я уже ничем не смогу быть вам полезной!..

— Екатерина Семеновна, тут, в Галиче, есть хороший доктор из высланных — Кочергин Константин Александрович. Он — великодушный человек и с ссыльных не берет денег. Вам бы надо с ним посоветоваться.

— Константин Александрович был: сердечная мышца у меня никуда не годится, а тут еще присоединился тромбофлебит. Чего же удивительного? Нам — русским женщинам — досталось так досталось! Для меня началось еще с Мазурских болот, а кончилось... отречением сына. На него я не обижаюсь — ему хотелось жить, работать, а тут — происхождение! Виновны те, которые толкнули его на это, они поддерживают режим, при котором возможны такие вещи!.. Вот я здесь лежу одна, и перед глазами у меня, как заснятая пленка, проходит вся моя жизнь. Мой отец — земский врач; гимназисткой еще я

привыкла помогать ему на приемах во время летних каникул; нас так любили и уважали во всей округе, что, когда после революции чекисты явились арестовывать отца, крестьяне пошли на них с вилами. Молодой девушкой я работала в обществе «Марии Магдалины» — мы спасали продажных женщин: это была настоящая большая работа. С началом войны — я сестра милосердия на фронте... и я — враг народа, я!.. а в чем же моя вина? Муж — генерал? Но ведь он жертвовал за Родину жизнью, всегда на передовых, в боях...

Ася подняла голову.

— Я только теперь поняла значение слов «Да будет воля Твоя» и «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», — сказала она, следуя течению собственных мыслей. Сидя на березовом обрубке, она то и дело помешивала дрова и не сводила печального взгляда со слабого пламени. Дома она тоже любила сидеть перед печкой, и тогда именно заводились у нее с Лелей самые искренние разговоры.

— Вы плачете, милая?

— Я вспомнила бабушку: может быть, она лежит, как вы, — такая же одинокая, заброшенная. Сыновья погибли, внук отрекся, а внучка... — и через несколько минут она задумчиво пробормотала слова полузабытого стихотворения:

L'orage a brisé le chêne,
Qui seul etait mon soutien...[6]

Чайник все не закипал, дрова не столько горели, сколько тлели. Было уже около четырех, когда она подала наконец старой генеральше чай, а сама съела две картошки с чужого блюдечка.

— Мне пора уходить. Я хотела выйти в обратную дорогу в два часа, а сейчас уже четыре... Мне очень грустно вас оставлять, но до сумерек надо пройти десять верст, а в шесть уже начнет темнеть.

Панова взяла ее руку:

— Простимся, милая. Мы не увидимся, я это твердо знаю. Хотите, я расскажу вам сейчас одну странную историю? Она короткая и не задержит вас. Моя покойная мать когда-то у себя в имении (как видите, дела давно минувших дней) пошла из большого дома зачем-то во флигель — хорошенький был домик, весь тонул в сирени. В первой же комнате со спущенными жалюзи перед глазами у нее в полусвете закружилась и замелькала черная бабочка...

— Да, да, есть такие! Их называют «траурницами», — перебила Ася.

— Сначала выслушайте, милый энтомолог, а название подыщем после. Мать никак не могла от нее отмахнуться, а потом вдруг потеряла из виду. Вернувшись, она при мне выражала удивление, откуда взялась бабочка в наглухо запертом помещении. В этот вечер скончалась моя бабушка. Тогда никто ничего не вообразил и не сопоставил. Спустя два года моя мать вновь, уже во сне, увидела такую же черную бабочку, которая так же кружилась перед ней. И в этот же день скоропостижно скончался ее муж, мой отец. Тогда только мы припомнили и сопоставили... И что же вы думаете?.. Пять лет тому назад, за день до того, как я получила официальное извещение о гибели моего мужа в концентрационном лагере, я сама увидела такую же траурницу. Странно — не правда ли?.. Наша семья никогда не отличалась ни нервозностью, ни мистицизмом. Моя мать была уравновешенная разумная женщина, отличная хозяйка, мать пятерых детей. Откуда этот семейный доморощенный мистицизм, это предзнаменование, привязавшееся к нам?

— Да, странно! Очевидно, *оттуда* посылают иногда предупреждение... — прошептала Ася.

---

[6] Буря сломала тот дуб,
Что один был защитником мне... *(франц).*

— Для верующего человека остается сделать только такой вывод. Я не делаю никакого, я только рассказываю. Но история-то моя еще не кончена: сейчас, как раз перед вашим приходом, я задремала, и...

Рука Аси дрогнула в ее руке.

— Опять она?

— Она. Покружилась и пропала. Очевидно, конец. Я сейчас напишу вам на этом вот клочке адрес моего сына. Напишите ему, что его мать, умирая, любила его так же, как любила маленьким; прощать мне нечего — я все поняла; фотография его у меня здесь, под подушкой. А теперь дайте я вас перекрещу; я с первого же дня нашей встречи в теплушке почувствовала к вам самую теплую симпатию. Дай-то Бог, чтобы вы благополучно выпутались из ваших трудностей. Поцелуйте меня и ступайте. Мне никого не надо. Я хочу быть одна в последние минуты, а вас ждут дети. Идите, идите — скоро начнет темнеть, сегодня пасмурно и вьюжно.

Вытирая глаза, Ася послушно вышла и, переступив порог, тотчас попала в мир белых снежинок, круживших в воздухе. Дойдя до ближайшего угла, она повернула в проулок, но проулок этот вел не на окраину, а к поликлинике.

Вот это окно; оно светится; он еще не ушел. Если она постучит, он сейчас же выбежит, поведет к себе, чтобы отогреть, утешить и накормить, проводит ее до деревни и, конечно, выручит деньгами — сколько сможет, столько и даст. Как он обрадуется, что может помочь!.. А потом он устроит так, чтобы перевести к себе детей, и своего маленького Мишутку сюда выпишет... Как бы она его любила!.. И может быть, тогда холодная нищета отступит и станет легче, спокойней, уютней и Константину Александровичу и ей... Она не влюблена в него и уже никогда ни в кого не влюбится, но она знает, что привязалась бы к нему — он ей симпатичен, почти дорог... Но...

Вокруг мело и мело; снежинки облепили ее лицо, снег падал, падал, падал... Свинцовое небо темнело.

Но... ведь взять от человека все, что только он может дать, достойно лишь при условии принести свою любовь и свою жизнь. Константин Александрович дружбу отверг и предпочел отойти вовсе, чтобы не гореть на медленном огне. Шутить его чувствами нельзя. Если она сейчас постучит, то должна будет пойти на любовную связь — иначе не может быть! Любовь!.. «Другой разбудит когда-нибудь твою страсть», — говорил Олег... А его жена? Она под конвоем, в бараке, как Леля. И вот она вернется и бросится к мужу и ребенку... Как взглянуть тогда ей в лицо и что сделать? Тогда уйти будет труднее, чем теперь. Нанести удар человеку, который потерял все, — значит добить человека. Добить...

Снег падал, падал, падал...

Асе жаль ту незнакомую женщину. Ася теперь знает, что такое горе. Ей жаль ее больше, чем себя. Жаль той непереносимой жалостью, которая ранит, как бритва.

Снег падал, падал, падал...

Что же тогда она медлит? Чего ждет? Она не хочет добивать — значит, должна уйти, и уйти надо теперь же, пока он не вышел и не увидел ее; теперь, пока не ослабела воля... Уйти.

Метет так, что глаза залепляет... Ноги почему-то слабые... Устала, устала... Олег из Соловков вот так же шел — безлюдными дорогами, в метель, в мороз. Это наш крестный путь. Пути Господни неисповедимы — так, значит, надо!.. Придут другие времена, другая культура... Какая это птица кричит? Ворон? Жутко от его голоса. Зимний путь... «Ворон, бедный, странный друг...» В лирике Шуберта есть что-то захватывающее. Гений умер с голоду на чердаке! Сегодня рано темнеет... Разумней было бы переночевать у Екатерины Семеновны, а

выйти, как только рассветет. Повернуть обратно, пока не ушла далеко?.. Но Славчик не захочет без нее ложиться, а Сонечку она вчера не купала; если еще на день отложить — начнутся опрелости... И ручки и ножки у нее такие крошечные, жалкие, слабые... Славчик в это время уже приподнимался, а Сонечка... Нет, надо прийти до ночи. Дорога торная — не сбиться; опять кричит ворон; здесь у него гнездо, наверное. На этот раз лес кажется мрачным и угрюмым. Если бы дома ждали мама или мадам и, как в детстве, уложили в белую уютную кроватку, — Ася бы тогда могла заснуть спокойно, зная, что мама рядом; спокойно — без этой мучительной тревоги, которая не проходит даже во сне, а где-то в подсознании остается... Эти рыдания, которые сотрясают во сне и от которых Ася часто просыпается... они так утомляют и надрывают груды!.. Странно — откуда они берутся? Оттого, может быть, что в течение дня она принуждает себя сдерживаться? Никогда не бывает теперь, чтобы она проснулась бодрой и освеженной — не проходит усталость; ноги и те с утра такие, как будто она прошла версты... И всегда страх — то за Сонечку, то за Лелю, то за бабушку.

Метет так, что по сторонам дороги из-за снежной завесы ничего не видно, и она не знает, прошла уже половину пути или нет... Примерно на половине стоит этот большой серый валун, точно хмурую думу думает. Кажется, его еще не было. Как бы Славчик не убежал к колодцу или за околицу; она забыла сказать, чтобы его не выпускали. Неудачная погода — очень уж заметает дорогу. Тяжело вытаскивать из сугробов ноги и снова проваливаться. Хоть бы унялся ветер, дыханье бы не перехватывало... Все еще нет камня... Надо идти быстрее — сумерки начинают сгущаться. Волков здесь нет — так все уверяли. Феклушка постоянно ходит по этой дороге — бояться нечего. Как это у Блока: «Завела в очарованный круг, серебром своих вьюг занавесила...» Будущее беспросветно — дети вырастут заброшенными, и она всю жизнь одна, всю жизнь без музыки... «Баркарола» Шуберта... Как она мечтала ее исполнить!.. А ее сочинение об ангельских крыльях?.. Оно так и пропадет неоформленным. В голове все уже давно создалось: шорох в куполе, кадильный дым, воркование залетающих голубей, потом мотивы из литургии, чтобы передать таинственность совершающегося в алтаре... А потом восторженные возгласы светлых духов — таких, как «ангел с кадилом» Врубеля... и опять таинственные шорохи, никому не зримая жизнь купола. В оркестре это бы звучало лучше, чем на рояле, но как сочинять без инструмента, без возможности сосредоточиться? Что же делается с гениями, которые не успели высказаться, а сами переполнены, как чаша? Ай! Упала... За корягу зацепилась... Теперь варежки мокрые, и за валенки набралось. Какая же она неловкая! Фу, холодно. Была бы с нею вместе Лада, ей не так одиноко было бы идти. Она и дорогу бы указала ей... Что такое? Или чудится... Кто это там за кустом? Как будто оттуда уже смотрят глаза Лады? Собака... Да — собака! И глаза скорбные... Но это не Лада — большая собака, незнакомая, и ушки острые, а у Лады висячие, мягкие. Волков здесь нет... Собачка, иди сюда, милая! Прижмись ко мне, пойдем вместе. Ты с хозяином или заблудилась? Ты голодна? Ты озябла? Что с тобой? Как она странно смотрит. Лязгает зубами... Ай! На помощь, на помощь! Волк! Пропал голос, хрипит, а звука нет. Она всегда думала, что в опасности не выкрикнет! Как защититься? Проткнуть глаза? Перочинный нож в кармане... Ослепить — жестоко... Помогите, помогите! Опять нет голоса — шипенье только. Тянет, тянет за ватник прочь от дороги! В чаще она ведь запутается и пропадет... Если укусит ногу, Асе не встать: умрет тут, в ельнике, у него в зубах!.. А дети?.. Попробовать вырваться! Кусает!.. Ай! Схватил ногу! Где же вы, все святые, все светлые? Спасите! Она никому зла не делала. Она всех любила! У нее маленькие дети! Вот палка! Ударить по морде так, чтоб не убить? Нельзя иначе! Вот тебе! На, на! Все-таки выпустил! Выпустил! Теперь бежать... скорей, скорей... Бежать, а она увязает... и

ногу больно... Господи, помоги! Опять он! Страшно! Что это? И он хромает? Подшиблен охотниками? Вперед, еще, еще вперед! Да, отстает — видно, в самом деле лапа больная! Сел на снег... Спасена! Слава Тебе, Боже! Только надо уходить, скорей уходить. Как раз посреди дороги сел... Свернуть в лес и обогнуть это место. Не встретить бы другого... Нет, нет, Сам Бог пришел на помощь. Чаща. Трудно продираться... и сугробы, и ветки... Больно щиколку... Течет вдоль ноги что-то теплое — кровь!.. До крови укусил. Нельзя теряться и ослабевать. Олег как-то раз говорил, что человек, который измучен, садиться не должен, иначе он уже не встанет. Надо идти, пока есть силы передвигать ноги. Совсем стемнело, но это потому, что в чаще. Вернуться на дорогу? Нет! Страшно!.. Мучительно ноет вся голень... Кого позвать? Кто здесь услышит? Может, все-таки сесть вот сюда, под дерево? Перевязать хоть платком ногу и передохнуть. Полный валенок крови, и сердце все еще колотится, а руки трясутся. Так, наверное, чувствует себя животное, которое преследуют охотники, а люди делают из этого забаву... Чаща такая черная... За каждой веткой как будто стоит опасность... Конверт с адресом Елочки должен быть здесь, зашит в мешочке. Надо написать... Мало ли что случится... Правда, что вьюга все следы заметает... Несколько слов и вслепую нацарапать можно... Вот — готово... «Умираю. Дети твои». Теперь упаковать — и обратно на грудь, рядом с крестом. Кажется, уже не дойти — надо подыматься, а сил нету, и кровь все не унимается. Переждать метель здесь, под деревом, а утром при солнышке попытаться дойти? Утром все будет выглядеть иначе, возможно, встретятся дровни, и ее подвезут, а сейчас и метет, и темень, и ступать нет мочи... Обнять вот сосенку и думать опять о музыке и о вечности — тогда не так страшно... В Царстве Духа ничто не должно пропасть, ничто, ничто! Там расцветает каждая творческая мысль, каждая растоптанная былинка выправится, вздохнет свободно каждое замученное животное, вот и этот несчастный волк... И Лада. В преданности Лады была красота, которая пропасть не может,—канут в прошлое только ошибки и зло. В Ладе душа была! Эта мысль о всеобщем воскресении с детства покою не дает, постоянно гвоздит мозг. Откуда это пошло? Светлая заутреня? Евангелие? «Китеж»? Кажется, предчувствие вечности поселилось в душе еще раньше. Возрождение каждого духа в каждом отдельном существе — что может быть прекраснее этой идеи?! О чем же тогда плакать! Жаль вдруг себя стало... В будущей жизни мы все духи, а теперь вдруг стало жаль земного, простого счастья! Аси — девочки, невыносимой ветреницы с косичками, Аси — молодой любимой жены уже никогда не будет! Не сидеть Асе больше у Олега на коленях, не прижиматься к его груди... Этого счастья было так мало, а Ася почему-то уверена была, что будет счастлива всю жизнь. Серебряные нити и светлые утра обещали совсем не то, что пришло... Холодно ногам... Всей становится холодно... Встать и все-таки попытаться дойти? Нет, нет — нету сил. Старец Серафим, уйми вьюгу! Если возможно — уйми вьюгу!.. «Завела в очарованный круг, серебром своих вьюг занавесила...» Смерть для каждого приходит в один назначенный день... Охватывает оцепенение, и вдруг приток новой жизненной силы, словно от магического прикосновения или от капли воды живой, как в сказке... Светлые тени, тихое сияние, золотые лучи... Облака, как на закате... Праведные поют: «Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче...» и «Светися, светися, новый Иерусалиме...»; благословляя, шепчут: «Святая святым...» Олег, милый! Его найдут на этом страшном тюремном дворе, и «сорок смертных ран» не помешают ему встать. «Там Михаил Архистратиг его зачислит в рать свою», а Ася будет слагать гимны неведомой пока гармонии... В снегу теплее, и не так бьет в лицо; как хорошо в этой ямке... В голове мотивы из «Невидимого града»... «Без свечей мы здесь и книги чтём, и греет нас, как солнышко!» А вокруг темно, совсем темно... Ни зги. Заметает... Господи, сохрани детей! Снег... снег... Вечность...

Глава двадцать пятая

Несколько урок, лежа и сидя на нарах, затянули блатную песню:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно...

Голоса звучали стройно, а скрытая тоска напева и текста просвечивала, казалось, в каждом из этих подкрашенных лиц.

— Чего зенки воротишь? Покажь рыльце! Сестренку мою Вальку ты мне напомнила, — сказал, обращаясь к Подшиваловой, молодой уголовник, пробиравшийся между нар.

— Где же теперь сестренка? — осведомилась та.

— Эх, не спрашивай! Вся-то наша жизнь — шатание бесприютное!..

— И взаправду так! Ну, а от меня держись лучше подальше: потому — занята. Не про вашего братца мое рыльце. Проваливай!

— А я и так проваливаю. Зря напутствуешь.

Подшивалова потянулась, закинула руки за голову и вздохнула. В эту минуту глаза ее остановились на Леле, которая повязывалась косынкой перед обломком зеркала.

— К хахалю опять?

— Женя, я тебя уже несколько раз по-товарищески просила не заговаривать со мной на эту тему, — ответила та.

— Ну, ступай, ступай! Кажинный по-своему с ума сходит.

Но Леля уже выскользнула из барака, не давая себе труда выслушать напутствие.

Тесное помещение дежурного врача; топчан, белый больничный шкафчик и стол. Свидания происходили обычно здесь, в те дни, когда среди дежурного персонала не было таких, в ком можно было заподозрить предателя. В распоряжении было всего полтора часа между ужином и вечерней перекличкой; туго натянутые нервы каждую минуту ожидали тревожного сигнала в виде предостерегающего стука в дверь; тем не менее иногда удавалось относительно спокойно побеседовать шепотом, лежа рядом на топчане. В этот день их никто не спугнул, и Леля устало закрыла глаза, пристроив голову на плечо Вячеслава.

— Верю, Аленушка, что измучилась ты, — говорил он, — работа под конвоем — дело нелегкое. В этом отношении мы в привилегированном положении. Наша работа особая, хоть и тяжелая. Надо попытаться устроить тебя к нам в палаты санитаркой. Мыть полы и подавать судно придется, зато не будешь под конвоем.

— Только не в инфекционное устраивай. По мне всякий раз судорога пробегает, когда надо переступать порог. Приходить к тебе я не перестану: минуты с тобой — моя единственная радость, но работать у заразных не хочу.

— Поговорю с врачами. А мы привыкли все — не боимся. Смерть — старая штука!

— Тише, милый! Есть вещи, о которых не следует даже упоминать... Скажи мне лучше, кто тот старик, с которым мы столкнулись в сенях?

— Этот человек... Я не знаю, что о нем думать! Это — заключенный епископ. В прошлом он — хирург, и здесь поставлен заведовать хирургическим отделением. Я в первый месяц попал в операционную под его начальство. Злился я спервоначалу: крестит каждый подаваемый ему инструмент; прежде чем делать надрез, произносит: «Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа!» А понемногу пригляделся — держится, вижу, с достоинством, оперирует, прямо скажем, блестяще; весь штат его уважает... В одно утро шасть к нам гепеушники: ты как смеешь, такой-сякой, религиозной пропагандой тут заниматься? А он им этак спокойно: без крестного знамения оперировать не стану; снимайте с работы вовсе, если угодно! Ну, схватили его и поволокли в штрафной. А тут как раз слегла с острым аппендицитом супруга одного из крупных начальников. Выяснилось, что операцию доверить желают только епископу Луке. Спешно тащат его назад. Подходит к операционному столу как ни в чем не бывало и опять крестит инструменты, а наши хозяева молча проглатывают пилюлю. Тут уж и я радовался со всем штатом его возвращению. Друзья мы теперь. Я привык считать мерзавцами всех служителей культа, но в этот раз... мерка не подходит!

Леля провела рукой по его волосам.

— Милый, обвинить в контрреволюции тебя, тебя!..

— Эх, кабы дело заключалось во мне одном! А то сама ведь видишь... Вот Ропшин, мой новый товарищ, обвинен за то только, что сказал где-то, будто бы стихи Гумилева предпочитает стихам нашего Маяковского. А то так работает у нас санитаркой девушка — ей и всего-то шестнадцать, — они с несколькими другими школьниками в глухом сибирском городке составили самостоятельный кружок по изучению истории партии да совместно пришли к выводу, что генеральная линия партии допустила целый ряд непозволительных ошибок. Все приговорены к лагерю, прежде чем сделались выпускниками. Вот куда нас завела бдительность. Не поверил бы, если б услышал со стороны... Людей жаль, а дéла еще больше! Это все нашим врагам на руку. Товарищ Сталин может загубить работу стольких лет! Знаешь, я не жалею, что попал сюда, — кое-что понял новое.

— Милый, ты теперь совсем иной! Когда ты так говоришь, ты кажешься мне таким же героем, каким Асе казался Олег.

— Зачем ты сравниваешь? Что может быть общего между царским гвардейцем и мной? Романтического во мне, ей же Богу, ничего. Это мы оставляем для господ офицеров. Я человек будней.

— А вот и неправда! Я лучше тебя знаю, какой ты. Мы с тобой могли бы быть очень счастливы...

— А разве мы не счастливы? Разве для счастья так уж необходимы безопасность и кровать? Я, по крайней мере, счастлив. Подожди, мы с тобой еще и на воле поживем! У нас сынок когда-нибудь будет. Вот только здоровье твое меня тревожит. Вынимай градусник. Опять тридцать семь. Как бы в самом деле не было легочного процесса. А с ногой что? Покажи. Пятна эти цинготные; у меня обе голени в таких же пятнах. Я тебе сейчас дам всходы гороха: я размочил горсточку в консервной банке. Вот, жуй.

— Ну, зачем ты встал? Ложись, поболтаем еще. Хоть немножко отогреться в твоей ласке, хоть немного забыться!..

— Пора, девочка моя. Сейчас будет отбой. Я опасаюсь, как бы строгости еще не усилились после этой истории с побегом. Слышала?

— Да. Шептались у нас вчера, что сбежал один с большим сроком. Не знаю, преследовали его или нет. Разобрать трудно, что правда, что слухи.

— Аленушка, его уже поймали. И привезли сюда вчера вечером. Он прострелен и весь изгрызан собаками, я сам видел. Епископ Лука извлек сегодня пулю. Знаешь ты, кто этот человек? Один из организаторов комсомола. Я не стану восстанавливаться в партии, когда выйду отсюда, — истинному коммунисту в ней теперь не место. Ты плачешь, Аленушка?

— Я вспоминаю человека, которого вот так же искали с собаками. Он совсем по-отечески относился ко мне, но я ничего не ценила в те дни.

— Аленушка, послушай, что я придумал: послезавтра дежурить на разводе будет Михаил Романович — врач, с которым я работаю. Скажись больною; я ему объясню загодя твое состояние и попрошу устроить тебя в госпиталь. Отдохнешь хоть несколько дней, если дело выгорит. Ну, а теперь беги, пока не хватились.

Они поцеловались.
— Вот и все наше счастье! И всего-то час! — вздохнула Леля.
— Держись, моя Аленушка! Мужества терять никак нельзя. — Вячеслав выглянул в сени и на улицу. — Никого! Беги, любимая...

На следующее утро, строясь на работу, Леля говорила себе: «Завтра, Бог даст, отдохну! Пролежать в кровати два или три дня — какое блаженство!»
Чья-то рука подтолкнула ее.
— Ступай, дэвушка, нэ задэрживай.
Она обернулась и увидела у себя за плечами конвойного Косыма.
— Карош русский дэвушка! Очень карош русский дэвушка! — сказал он с глупейшей улыбкой.
Леля прибавила шагу.
В середине работы, перетаскивая дранку, она увидела руки конвойного, протянувшиеся принять у нее тяжелую поклажу.
«Что за предупредительность!» — подумала она, заметив, что он весь расплывается в нелепой улыбке, глядя на нее в упор маслянными, похожими на чернослив глазами.
— Русский дэвушка такой гладкий!
Леля поспешно отвернулась.
Когда расходились после ужина, Подшивалова поманила ее к себе.
— Что тебе, Женя?
— Хочешь, новость скажу? Алешка мой сказывал, что конвойный Косым по тебе обмирает.
Леля невольно отшатнулась.
— Что за чепуха! Нашла о чем рассказывать! Меня любовь Косыма интересовать не может!
— Постой! Не так уж прытко! Я для твоей же пользы: ну, какой тебе от твоего хахаля интерес? Вечно ходи под страхом, что накроют, а пользы — ни крошки. Ну, а станешь с Косымом жить, сейчас поставят на блатное местечко, и хлеб будет тебе, и со стороны конвоя уважение. Сегодня они придут в барак вместе — он и мой Алексей.
— Для меня это невозможно, Женя! Можешь передать своему Алексею, что Косыму являться ко мне незачем.
— Не зазнавайся, Ленка! Больно уж ты горда! А Косым не такой человек, чтобы ему перечить: сейчас отплатит!
— Что?! Да какое право он имеет припугивать? Если я только вздумаю сообщить о его притязаниях начальству, нагорит ему, а не мне.— И, круто повернувшись, Леля отошла в сторону.
Свидания с Вячеславом у нее на этот день не намечалось — в эти часы как раз дежурила санитарка, которую подозревали как передатчицу. Тем не менее решилась сбегать в больницу и через верных людей вызвать Вячеслава хоть на минуту в сени.
В лице Вячеслава заходили скулы.
— Аленушка, держись, дорогая! Если ты будешь категорична, ему останется только уйти. Прибегнуть к насилию он не посмеет, ну, а если бы попытался — ведь ты не в лесу: кричи, рвись, подымай скандал. Им настрого запрещено жить с лишенными свободы. Не бойся поднять шум — начальство в этом случае будет за тебя. И я тебя защитить не могу, пойми и это! Если только в дело вмешаюсь я, нас как влюбленную пару моментально разъединят: штрафной лагерь — и кончено! Все будет зависеть от тебя.
Он говорил, держа в своих ее руки.
— Можешь быть спокоен: я ему не дамся, но я боюсь его мести! — прошептала Леля, дрожа.

Барак она нашла в полном смятении: стояли кучками и шептались, конвойные разгоняли по нарам. Несколькими минутами раньше срока был дан сигнал к отбою. Соседки не замедлили сообщить Леле, что только что погибла Феничка: тихая, кроткая бытовичка, которая работала сторожем у одного из складов. Стоя у дверей с железными замками, она плела обычно кружева и всегда казалась невозмутимо спокойной. Но в этот вечер она внезапно побросала спицы и кинулась к забору с колючей проволокой. Предостерегающие крики стрелков ее не остановили — сделала это только пуля. Поступок был настолько странным, что истолковываться мог только как самоубийство...
Магда сказала Леле:
— Да простит ей Бог: она сделала хуже и себе и нам! Две подряд попытки к бегству не пройдут нам даром...
Быть может, конвою нагорело за историю с Феничкой, или решено было одновременно с заключенными подтянуть и стрелков,— так или иначе, ни Алешка, ни Косым не явились в барак вовсе. Леля напрасно просидела всю ночь на нарах с тревожно бьющимся сердцем.
Как только проиграли утреннюю зорю, тотчас стало заметно, что персоналу сделаны соответствующие внушения: интонации стрелков были особенно повелительны и команды категоричны; старшее начальство прогуливалось тут и там, наблюдая за происходящим; заключенные двигались безмолвно, как манекены; проходя на свое место, Леля с вопросительным взглядом взглянула на врача, и тот одними губами успел шепнуть ей: «Не сегодня!»
Повели опять Алешка и Косым.
Леля старалась держаться подальше от Косыма, но тот улучил минутку и, приблизившись к ней, заговорил, картавя:
— Нэ бойся, дэвушка, Косыма; Косым тэбя полюбил. Будут тобэ и хлэб и дэнги, коли приголубишь Косыма!
Леля с безучастным лицом продолжала вязать дранку, хотя сердце колотилось как бешеное. Очевидно, Подшивалова еще не успела переговорить с Алешкой, и до Косыма еще не докатились слова отказа.
Тот выждал минуту и заговорил снова:
— Жди Косыма сэгодня ночью, джан. Косым придэт вмэстэ с Алэксээм.
Леля быстро выпрямилась и, собравшись с духом, отчеканила:
— Я подыму на ноги весь барак, если вы осмелитесь только это сделать! — Произнося эти слова, она не смотрела ему в лицо: ей страшно было увидеть злобу, с которой засверкают его глаза.
Когда бригада возвращалась в жилую зону, урка, разметавшая по дороге снег, крикнула:
— А без вас был великий шмон!
Что бы это могло значить?.. Леля еще не подошла к столовой, как другая урка, пробегая мимо, сказала:
— Шмон, шмон, великий шмон!
У Магды опять были красные глаза.
— Обыск в бараке устраивали,— шепнула она Леле, усаживаясь на свое место после сигнала к ужину.— Пересматривали наши личные вещи, всю солому перетряхивали. У меня забрали папочкин молитвенник — последнее, что у меня осталось на память о нем. А у вас оставалось что-нибудь в бараке?
— Икона и шерстяной жакетик.— И, говоря это, Леля тут только вспомнила, что в кармане несчастного жакета — первая и единственная записка Вячеслава! Как только закончился ужин, она тотчас побежала на свою койку — ни иконы, ни жакета (хотя последний относился к числу дозволенных вещей). Какая злосчастная звезда руководила ею, когда она в это утро отложила жакет в сторону, говоря себе, что морозы уже уменьшились и достаточно тепло в одном ватнике! Она сидела на соломе, поджав ноги и раздумывая, каковы могут быть последствия и возможно ли сбегать к Вячеславу, который должен находиться в

страшной тревоге, не будучи извещенным, как прошла ночь. «Бежать к нему опасно... слишком опасно... могут следить...»

Подшивалова прервала ее думы:

— Вот, бери, Ленка. Это твое. Я вовремя подхватила и припрятала.— Лицо глупой девочки осветилось улыбкой, рука протягивала образок.

— Спасибо тебе, Женя! Ты часто бываешь очень добра. Ты бы могла быть гораздо лучше, чем ты есть. А впрочем, это одинаково относится к нам всем, и ко мне самой в первую очередь,— ответила тронутая Леля.

— Ну, ты меня с собой и не равняй! Я еще с малолетства пропадшая. Сколько раз мне мамочка моя говаривала: «Не водись ты со шпаной, Женечка! Не доведет тебя до добра твоя шпана. Пропадешь задаром. Я за тебя, говорит, вечор за всенощной Божью Матерь, Женечка, умоляла!» А я только засвищу — да опять на улицу. Вот все и вышло, как моя мамочка запредчувствовала. Каково ей, сердечной, нонече? — Подшивалова всхлипнула.

А записка? Боже мой, где же записка?! Леля напрасно перерывала солому и ползала по полу — поиски успехом не увенчались. Недопустимое легкомыслие — сохранять такой компрометирующий документ!..

За час до отбоя ее вызвали к начальству.

— Ты с кем это шашни заводишь, а? Кто это тебе свидание назначает? Нам беременных баб в лагере не нужно. Говори: с кем путалась?

Леля помолчала, обдумывая ответ.

— Я не могу быть в ответе за то, что еще хороша и мне не дают прохода ни заключенные, ни конвой. Я ни с кем не желаю иметь дела. Спросите соседей по нарам — они вам подтвердят. Из записки еще не следует, что свидание состоялось. Понятия не имею, кто этот «В», и узнать не пробовала.

— Ишь какую гордячку разыгрывает! Коли в самом деле не путалась — назови сейчас же имя. Ты воображаешь, дуреха, что мы не сумеем выяснить? Писал, разумеется, кто-то из медицинских. Допросим двух-трех санитарок и установим. Ну, говори, или сейчас отдам приказ о переводе тебя в сорок первый квартал; тебе, наверно, уже известно, что это такое.

Леля похолодела. Штрафной... там бьют, там морят голодом, там... Они все равно узнают... слишком просто установить... И не своим, чужим каким-то голосом еле слышно выговорила:

— Фельдшер Вячеслав Коноплянников.

В бараке все провожали ее сочувственными взглядами, пока она шла на свою койку. Она не замечала ничего.

«Я его выдала! Я — предательница! Урки и те не выдают возлюбленных», — и в отчаянии бросилась на перерытую солому...

Вячеслав дежурил в палатах в этот вечер и, не находя себе места от тревоги, то и дело выбегал на черное крылечко больницы.

Сумерки сгущались, тени чернели, до отбоя оставалось только четверть часа; потом двери бараков закроются, и свидание отложится на сутки! Ему предстоит полная тревоги бессонная ночь, а потом новый день ожидания.

Она права: счастливыми быть в такой обстановке невозможно. Любовь здесь превращается в пытку. Необходимо хоть на минуту увидеться. Может быть, она на скамеечке возле женского барака? Он сбежал с крыльца, но едва сделал несколько поворотов, как в узком проходе между бараком и баней лоб в лоб столкнулся с Косымом.

— Ты что тут вертишься? Кого высматриваешь? — забывая осторожность, заорал Вячеслав.

— У! Я тобэ нэ заключэнный, чтобы на мэнэ кричать! Уложу, как пса паршивого! — зашипел Косым.

— Подумаешь, какая птица! Вот что, мерзавец: даром тебе не пройдет, коли будешь приставать к заключенным девушкам. С головой начальству выдам, а то так сами расправимся. Я не барин, не белоручка! Всему тут у вас понаучился — вот, гляди! — Вячеслав показал ему два пальца и провел ими по своей шее.— Так и знай. Понял?

— Пожаловалась! Живешь с нэю, что ли?

— Нет, не живу, но и тебе не дам! А выдашь меня начальству — я выдам тебя. Я твой разговор слышал!

Косым, блестя глазами, взялся за ружье и, слегка присев, приложился, щуря один глаз.

— Чего кривляешься? Смотреть тошно! Права не имеешь спустить курок, мы не у проволочного заграждения.

Косым перестал целиться, но медленно, кошачьей крадущейся походкой пошел к нему, покачивая ружьем.

— Не напугаешь! Заруби на носу: сунешься после отбоя в женский барак — не быть тебе живому!

Вячеслав повернулся и, обогнув здание, вышел на площадку с укатанным снегом.

Шестнадцатилетняя санитарка, о которой он рассказывал Леле, скользнула мимо него к дверям.

— Здорово, Муха! Ты с работы?

Она остановилась:

— Бегу к тебе. Сейчас будет перекличка и отбой. А к двенадцати придется возвращаться в больницу, в твой дизентерийный. Михаил Романыч приказали прийти: ночью работать некому — ваша Поля свалилась, кровавая у нее.

— Муха, выручи. Ты мою Аленушку знаешь; вот тебе рецептный бланк и карандаш — шепни ей потихоньку, чтоб черкнула мне записку, и принеси в третью палату. Ладно?

Девушка пристально на него посмотрела.

— Для тебя сделаю, а только... будь, Славка, осторожен! Меня сейчас вызывали: о тебе спрашивали... Я-то не выдала, да ведь мной не ограничатся...

— Ага! Накрыл! Стой тэпэрь! Товарищи, трэвога! Парочка! — завизжал, хватая девушку, Косым и потащил к фонарю упирающуюся Муху.

Перед Вячеславом, как из-под земли, вырос стрелок.

— Да в чем дело-то? — гаркнул Вячеслав.— Я, кажется, не в бараке, с девушкой мы не целовались, не валялись; стоять на площади как будто не возбраняется, раз отбоя еще не было. Чего орете?

Косым с неожиданным равнодушием выпустил свою добычу, и Муха скользнула в дверь барака. Вячеслав видел, как она закрылась...

Доставленная Мухой отчаянная покаянная записка Лели объяснила ему все случившееся. Он читал ее, стоя в белом халате около постели «пятьдесят восьмого», погибающего от тифа.

— Я не могу, не могу жить с этими большевиками,— бормотал умирающий в бреду.

Вздохи и стоны неслись с каждой постели переполненной больными палаты.

«Назвала мое имя? Ну и правильно! Что же ей, бедняжке, оставалось делать? Все равно докопались бы. Пахнет штрафным лагерем... Пусть уж лучше меня, только бы не ее... Она слишком слабенькая — не вынесет!»

И, сжав скулы, Вячеслав повернулся к постели умирающего:

— Давай сюда шприц, Муха. Пульс падает.

Глава двадцать шестая

Алешка и в эту ночь не появился в бараке, и Подшивалова, вздыхая, говорила:

— Нет и нет моего сокола! Строгости, видно, и до их докатились. Все-то гаечки подвинтили.

День тянулся мучительно медленно; нового прибавилось только то, что Косым шепнул Леле во время трелевки:

— Ну, ты мэнэ ещё припомнишь! Косым обиды нэ забываэт.

После обеда и переклички Муха, озираясь, сунула ей рецептный бланк. Вячеслав писал: «Сегодня меня водили к допросу. Я не отрицал, что писал тебе, но уверял, что ты свиданий не пожелала. Объявили, что переведут в штрафной. Держись. Будем надеяться, что Михаил Романович и епископ найдут способ вызволить меня оттуда. Еще раз хочу сказать, что люблю тебя и никогда ни одна девушка не покажется мне краше. Больно мне думать, что моя любовь принесла тебе только несчастье. Не забывай своего друга. Для тебя лучше не пытаться меня увидеть. Береги себя. Письмо это разорви немедленно».

Леля опустила руку с письмом и отрешенно задумалась.

Подшивалова толкнула ее в бок:

— Гляди: почту принесли; сейчас раздавать будут. Авось и нам с тобой подкинут весточку.

Леля почти безучастно вскинула глаза: посреди барака стоял гепеушник с пачкой писем.

— Почта, Елена Львовна! — крикнула ей и Магда, может быть, желая ее ободрить.

Глаза всех обитателей барака впились в равнодушного человека, выкликавшего фамилии. Свесив голову с нары, Леля в свою очередь с жадным ожиданием смотрела на пачку писем. Пока все нет и нет... Вот уже осталось только три конверта... Не будет ей ничего! Вот уже только один...

— Нелидова!

Она задрожала и сделала движение, чтобы вскочить, но письмо уже устремилось к ней через десятки протянувшихся рук. Нет, это не от Аси — почерк Натальи Павловны! Она торопливо разорвала конверт.

«Элен, бедное дитя мое! Я все еще жива, хотя со вчерашнего дня у меня затряслись голова и руки, что ты и можешь видеть по моему почерку. Вчера меня поразило известие, самое страшное, какое я только могла себе вообразить после кончины Сергея. Знаю, что оно больно поразит и тебя. Но ты должна знать, чтобы молиться о упокоении. Ася погибла, когда шла через лес на отметку...»

— Что? Что?! — громко воскликнула Леля, роняя письмо.— Да что же это наконец такое? Да сколько же можно валить на одного человека? Рехнулись вы там, на Небе, что ли?!

Все повернулись на этот исступленный возглас... Сидя на нарах, Леля сжимала руками виски, глядя на раскиданные странички широко раскрытыми остановившимися глазами.

— Что с вами, Елена Львовна?

— У вас несчастье, Елена Львовна?

— Ах она болезная! Беда небось...— послышались голоса с разных сторон.

— Оставьте! Отойдите! Не трогайте меня! У меня из-под ног ушла вся почва! Я так Ее просила! Просила о единой милости! А Она... Она... Где же Твое хваленое милосердие, Матерь всех Скорбящих? Милосердия нет даже на Небе!

Магда бросилась к ней и обхватила ее обеими руками.

— Елена Львовна, остановитесь, опомнитесь!.. Не кощунствуйте!.. Вы после пожалеете. Дорогая моя, опомнитесь, скажите скорее: да будет воля Твоя! Перекреститесь!

Старая монахиня, которую за непригодностью уже перестали гонять на работы и которая целые дни просиживала в бараке, поджав посиневшие, отекшие ноги, опустила их теперь с нар и приковыляла к Леле.

— Что делаешь, безумная? Господь, любя, посылает скорби. Не губи душу. Сатана не дремлет. Что себе готовишь? Молись скорей.

Одна из молодых напустилась на старуху:

— Отойдите вы с вашими глупостями, святоша!.. Девушка в истерике, ей помочь надо, а вы запугиваете.

— Тише, тише, не ссорьтесь! — перебила в слезах Магда.— Да не зайдет солнце в гневе ее и вашем! Только любовью нашей мы можем ей сейчас помочь!

Другая молодая женщина подошла к Леле с полными слез глазами и, силясь говорить спокойно, сказала:

— Я тоже получила очень горькое известие: мой муж пишет, что не хочет более ждать и нашел себе другую подругу. Мне, наверно, сейчас не легче, чем вам. Поддержим друг друга.

Но Леля повторяла только:

— Оставьте меня, оставьте! Мне никого не надо! Я в черную дыру проваливаюсь! — и вырывалась из удерживающих ее рук.

Наконец она устала кричать, устала биться и затихла. Магда положила ей на лоб мокрый платок и села рядом. Леля уже не обращала внимания; в бараке напрасно шикали друг на друга, указывая на нее,— она не спала, она впала в оцепенение, сломленная усталостью.

Уже во второй раз в ее жизни огненными зигзагами внедрялась в ее сознание мысль, что она не умеет ценить того, чем обладает! Вчера еще она считала себя несчастной, имея любовь двух таких людей, как Вячеслав и Ася. Если возможно было загадывать о выходе из лагеря, о конце срока, то только с надеждой на любовь сестры, на ее неистощимую нежность и ласку. Теперь — черная дыра, она словно бы уже раскрывается перед ее глазами...

Перед самым рассветом она забылась в тяжелой дремоте, из которой ее вывели звуки рожка.

Первой ее мыслью было: «Жить не для чего. Чем тянуть эту лямку, лучше в самом деле кончить, как кончили Феничка и Кочергина».

Разбитая, с тяжелой головой, она через силу поднялась с койки и никому не смотрела в глаза, как автомат, проделывая ряд необходимых движений.

После переклички она встала в обычное построение по четыре человека в ряд, чтобы следовать на трелевку. «Если я теперь не сумею и струшу — я полное ничтожество!» — думала она.

Прочитали обычную формулировку с угрожающим финалом:

— Шаг вправо, шаг влево считаю побегом; стреляю без предупреждения.

Алешка и Косым — один впереди, другой сзади — повели бригаду к месту работы.

Вышли за зону. Уродливые казармы и колючая проволока остались позади. В лицо повеяло чистым полевым воздухом; вдали зазеленела тайга; белые снега были залиты солнцем.

«Нельзя откладывать, нельзя... Надо теперь же, пока идем строем, пока открытое место... Небо по-весеннему светлое сегодня и голубое, голубое... Ну... Господи, благослови!»

Она стремительно вырвалась из строя и бросилась в сторону.

— Стой! — неистово завопил Алешка, а товарищи по бригаде подхватили каждый по-своему:

— Елена Львовна, остановитесь! Нелидова, вы себя губите!

И вдруг затихли... Все замерло... Должно быть, стрелки прицелились.

Она не оборачивалась и набавляла скорость, делая вид, что направляется к лесу, и перепрыгивая через рытвины.

— Рехнулась ты, что ли, Аленка! — Голос Алешки-стрелка по-человечески дрогнул.

«Так он еще не целится, этот дурак?.. Что же он медлит?»

И вот другой голос — гортанный и резкий — рассек воздух:

— Цэлюсь!

«А! Вот оно! Теперь кончено — смерть. Господи, помоги! Сделай

так, чтобы разом, чтобы скорее!» — поднялось со дна ее души, как последняя молитва.

Она закрыла глаза, но не остановилась. Удар!

Ропшин вошел в дизентерийную палату и взял Вячеслава за локоть:

— Вячеслав, на правах друга... Ведь мы с тобой друзья? Вячеслав, я знаю, как ты всегда мужественен, но... там опять принесли носилки... Выйди в приемный покой.

Это был четвертый выстрел за месяц, четвертая смерть, помимо дизентерии и тифа, уносивших жертву за жертвой.

В этот же вечер в лагере вспыхнула забастовка.

В женском бараке ничего не было известно о готовящемся. За ужином внезапно один из мужчин поднялся и сказал в самодельный рупор:

— Друзья заключенные! Не работать, пищу не принимать! Требуем комиссию из Москвы для пересмотра нашего режима и смены начальства и конвоя. Чем солидарнее мы будем, тем быстрее добьемся уступок, и да не найдется между нами штрейкбрехеров.

Это говорил политический — бывший эсер, побывавший перед тем в Соловках, где в одну из забастовок сам отрубил себе в виде протеста палец.

Восстание было подхвачено дружно, хотя многие втихомолку досадовали и шептались по углам.

Говорили: «Это все затевают «с большими сроками», которым терять нечего». Говорили: «Им-то легко все поставить на карту, а нам? Вот как прибавят накануне выхода еще лет по пять — каково-то будет?»

Тем не менее равнялись на товарищей и старались держаться, может быть, опасаясь расправы со стороны уголовников, которые в большинстве присоединились к бастующим.

Комиссия прибыла только через две недели, когда многие из заключенных, обессиленные голодом, уже не вставали со своих нар.

Конвой и кое-кого из начальников сменили; санитарное состояние было несколько улучшено: в частности, приняты меры против цинги; но режим и питание в основном остались те же.

Эсер, возглавлявший восстание, был расстрелян, а наиболее активные участники переведены в штрафные пункты; среди них — бывший красный партизан, бывший коммунист Вячеслав Коноплянников.

Такие же, как он, бывшие партийцы говорили о нем: «Этого человека ничто не сломит. Если он выберется из лагеря живым, он будет в рядах тех, кто обновит партию».

Другие, из «пятьдесят восьмых», говорили: «Это человек, который нужен России. Если ему суждено отсюда выйти, он окажется среди тех, кто вернет нам Родину. Мы еще услышим о нем».

Урки говорили: «Парень что надо! Эх, жаль миленка!..»

О хрупкой девушке с золотыми волосами ничего не говорили — ее забыли очень скоро, и только Магда в течение некоторого времени шептала в своих молитвах:

— Спаси, Господи, душу грешной рабы Твоей Елены. По великой Твоей милости прости ей самоубийство и незаконную связь с мужчиной.

ЭПИЛОГ

ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

3 января. Наступил 1937 год. Интересно, каким он будет? Какие новые заботы и тревоги он принесет? А вдруг — радости? Пока же я органически не досыпаю: каждое утро приходится подыматься в 7 часов. Пока приведу себя в порядок, добужусь детей, присмотрю за их умыванием да застегну на них все пуговки, пройдет по крайней мере час. Потом надо готовить утренний завтрак, а он у нас не обходится без историй — то молоко разольется, то который-нибудь из детей язычок прикусит или обожжет, то приходится ставить в угол Славчика за непослушание, а чаще всего за то, что дразнит Соню; хлопочу, хлопочу, а сама даже поесть не успеваю. Сегодня, когда я расчесывала кудряшки Соне, Славчик завопил из кухни: «Тетя Елочка! Молоко пузнтся, через край ушло!» Бросаюсь в кухню, а Славчик уже мчится мне навстречу и, столкнувшись со мной, набивает шишку о дверь. В результате я опоздала на работу.

12 марта. Думать некогда, грустить тоже некогда... Верчусь, как белка в колесе. Мысли все сконцентрированы на мелочах, как бы дети не простудились, как бы Славчик не ушибся, как бы Сонечка благополучно приняла рыбий жир. Дневник в загоне — писать можно только после того, как улягутся дети, но, во-первых, я каждый вечер неодолимо хочу спать, а кроме того, всегда остается множество незаконченных дел; всю жизнь я терпеть не могла домашние хлопоты и вот попала в самую их гущу! Мне помогают Аннушка и та дама, смолянка Марина Сергеевна. Кто она Олегу? Помню, она пришла ко мне и сказала: «Дайте мне хоть один раз в жизни сделать хорошее дело»,— и отрекомендовалась приятельницей Нины. Живет она неподалеку от нас, в проходной комнате, рядом с еврейской семьей, на которую очень жалуется. Живет только на то, что вяжет шерстяные вещи потихоньку от фининспектора и подбирая себе клиентуру из людей своего круга. И тем не менее отказывается брать с меня деньги, хотя каждое утро и гуляет с детьми, и тренирует их по-французски с десяти до двух, пока я на службе.

2 июля. Сонечка очаровательна, ресницы у нее до полщеки, как у Аси, а кудряшки, подвязанные бархаткой, придают ей вид девочки с иллюстрации к «Ангелу любви». Из жалкого червячка вышла чу́дная бабочка, только здоровье у нее слабенькое — часто простужается. Сегодня утром она проснулась, прижалась ко мне спутанной головкой и шепчет: «Тетя Елочка, одень меня; мои медвежишки проснулись и куколки проснулись, надо их покормить. Потом, когда я вырасту большая и вырастут мои ножки и мое платьице и мое пальтишко, тогда я...» И обнимает меня обеими ручонками, а щечки со сна розовые. Она очень любит песенки — очевидно, унаследовала музыкальность Бологовских; всегда просит спеть ей, но мои таланты в этой области уже известны. Надо будет попросить хоть Марину Сергеевну сыграть ей на рояле детские песенки Цезаря Кюи. Славчик — тот распевает во весь голос; к моему вящему ужасу, он где-то подхватил какую-то ужасную красноармейскую песенку и горланит ее сегодня что есть мочи. Очень уж он воинственный — все с палками и с барабанами возится; знает наизусть «Бородино» и воображает себя генералом двенадцатого года. Вот сейчас вбежал в комнату и кричит Соне: «Багратион, что же ты?! Наполеон уже в кухне около самой Москвы, отчего же ты не командуешь?» А девочка растерянно таращит на него свои огромные глаза, которые так напоминают глаза Аси, что судорога сжимает мне горло. Невыносимый беспорядок они всегда учиняют в комнате — я только и делаю, что прибираю и складываю игрушки.

17 сентября. Сегодня сослуживец мой Михаил Иванович — бывший военфельдшер — остановил меня в коридоре и, подмигивая, рассказал про вечеринку у своего товарища: на этой вечеринке партийцы подвыпили и ударились в воспоминания о добром старом времени вплоть до водосвятия на Неве с «Елицы во Христе крестистеся» и о великолепных басах диаконов. Кто-то предложил: «Давайте-ка, братцы, пропоем обедню». И пропели! Да еще всю, до конца. А потом «Боже наш, слава Тебе» грянули!.. Зато сегодня все хмурятся и не смотрят

друг на друга... Дорого бы, наверно, дали, чтобы взять обратно нежные воспоминания, обнаружившие «преступное» нутро каждого!

5 ноября. Поднимается новая волна террора. Сталин обезумел. Если бы те, которые мне были так дороги, не пострадали тогда,— они были бы схвачены теперь! А я и тут забыта! Я — дочь «скромной сельской учительницы», я — «исправная производственница», поглощенная заботами о детях,— признана, по-видимому, безопасной за незаметностью... Мне хочется расхохотаться! Люди боятся ходить друг к другу в гости, вырывают и жгут альбомные карточки, письма и записки... Многие не раздеваются на ночь в ожидании гепеу, а я... Я все еще смотрю на мой дневник и берегу его! Да — хочется расхохотаться!..

12 ноября. Когда говорят друг другу по телефону: «Она нездорова», понимай — арестована! Когда говорят «уезжает», понимай — в ссылку! Комиссионные магазины переполнены, летят за бесценок целые квартиры; за пятьдесят рублей можно купить красное дерево и несколько предметов дорогой утвари. Любовницы гепеушников появляются между отъезжающими и выторговывают себе чудесные вещи, которым цены сами не представляют. Сегодня на улице я была свидетельницей грустной сцены: в такси усаживалась дама с младенцем и согнутой подагрой старухой; провожающие грузили в автомобиль чемоданы, двое плакали... На мой вопрос ответили: «Ссылка!»

Очень некрасивую роль играют жакты, которые, желая заселить ту или иную комнату своими родственниками или лицами, вручившими им взятку, фабрикуют доносы, а так как доносы у нас не проверяются — результаты самые печальные! В соседней со мной квартире старому ученому уже с месяц назад вручили предписание немедленно выехать, но тот слег с инфарктом. И вот примерно раза два в неделю к ученому засылают милиционера за разъяснением: встал ли он и когда сможет выехать? Ученый и милиционер подружились; жена ученого поит милиционера чаем с грушевым вареньем; ученый лежит, добродушно созерцая мирную картину из жизни бесклассового общества, а милиционер объясняется в чувствах: «Я тебя, Иван Николаевич, завсегда помнить и уважать буду, потому — душевный ты человек! Пошли тебе, Господи, здоровьица и успеха на чужом месте!»

Этой ночью ученого увезли-таки, и сегодня с утра в квартиру переезжает семейство весьма подозрительное.

О Леле Нелидовой никаких известий! Не знаю даже, жива ли она. Уже три раза я запрашивала гепеу, но в ответ получаю только: «В случае смерти вы будете поставлены в известность». Так ли? Они и родственников-то почти никогда не извещают.

15 ноября. Да! Большевизм оказался не окоропреходящим, насильственно перенесенным на нашу почву и чужеродным, по существу, явлением. Не было бы в нем ничего органически нам свойственного, он бы не удержался. Приходится с этим согласиться! Если хоть одно зерно среди господствующих теперь идей и приложения их на практике находится в родстве с извечным Ликом и заброшено в нашу действительность свыше, тогда даже этот чудовищный большевизм принесет в будущем свои плоды, но... есть ли это зерно? Вся муть и вся порочность всплыли сейчас на поверхность, как пена в котле с грязным бельем. Прекрасный Лик исполнен скорби...

18 ноября. Получила письмо от Юлии Ивановны; она в деревне под Муромом, куда была выслана после убийства Кирова, когда в массовом порядке — целыми поездами — стали высылать людей с дворянскими фамилиями, даже неродовитыми. Кирова убил цвет партии, а может быть, и сам Сталин (о чем втихомолку говорят все), но в ответе почему-то оказалось русское дворянство! Жаль, если это письмо потеряется. На всякий случай переписываю его сюда, в дневник:

«Моя милая Елочка! Можете вы себе представить всю глубину моего одиночества на окраине глухого городка, без рояля и без учеников? Я готова жить в прокопченной избе, спать на скамье с клопами и питаться пшенной кашей, но мой инструмент мне необходим как воздух. Вы знаете, каким ударом для меня было в свое время увольнение меня за фамилию из числа профессоров консерватории? Мне казалось, что в техникуме я не найду талантов! Судьба однажды уже отняла у меня любимого ученика — юноша, в котором я видела будущего Гофмана, погиб во время мировой войны. Но когда я получила Асю, я вновь обрела свое место во Вселенной. Талант этой девушки примирил меня с жизнью. Я снова стала смотреть на действительность с ожиданием. Никто, кроме меня, не сумел оценить Асю: ни эта холодная аристократка-бабушка, ни влюбленный муж, ни консерваторская профессура, ни даже наш прославленный маэстро. Я не могу простить Дашкову брака с Асей. Он должен был понять, что она — талант, который следует поберечь, как редкую жемчужину. А он со своим майн-ридовским прошлым вторгся в ее жизнь, сделал ее матерью в 20 лет и вдовой в 23, и вот уже нет моей жемчужинки! Видит ли она *оттуда,* что старая больная учительница не может ее забыть и грезит наяву игрой ее волшебных ручек! Не забуду никогда, как она исполняла один этюд Шопена и одну из его мазурок... Закрою глаза и слышу. Пришлите мне хоть ее фото, чтобы я могла взглянуть на это лицо, прежде чем сама отойду в вечность. Моя жизнь на закате, и пусть бы скорей догорал последний луч! Слишком много прекрасных воспоминаний и слишком тяжела действительность! Как сладкий сон — путешествие с мужем по Европе, концерты лучших мастеров, Италия, Париж, а потом преподавание в консерватории в дни ее славы — Римский-Корсаков, Глазунов... все закатилось! Из моего окошка я могу наблюдать только баб в зипунах и слышать их крикливые голоса у колодца. Мрак окутывает меня со всех сторон. Не забывайте меня хоть вы и скажите мне «Вечная память». Ваша старая Юлия Ивановна».

19 ноября. На могиле Аси, наверно, намело горы снега, и ни одна живая душа не повесит венка на бедный деревянный крест... К нему и тропинки, наверное, нет. В самом деле: кому из местных аборигенов придет в голову, какое исключительно одаренное и одухотворенное существо нашло себе упокоение в этой безвестной могиле?

22 ноября. Устаю, очень устаю. Старая я, что ли, стала? Как будто еще не стара — 36 лет, а между тем я постоянно хочу спать. Всего вернее, что я попросту переутомлена. Давно уже прошло то время, когда, возвращаясь из клиники, я в полном одиночестве спокойно пила чай, а после тотчас садилась за книгу или за дневник. А теперь... По дороге со службы бегу по магазинам и уже с полной сеткой мчусь домой, а дома меня уже ждут дети, которых приводит к этому часу Марина Сергеевна. И потом уже не присесть до ночи. Я должна быть очень благодарна Аннушке и Марине Сергеевне — без них я бы не справилась с двумя детьми и со службой. Аннушка раза два в неделю обязательно зайдет постирать на детей или вымыть пол, причем ни за что не возьмет ни рубля, да еще лакомств притащит — то горячих пирожков с капустой, то пышек на молоке, а уходя, забирает с собой в починку белье и чулочки. Она уверяет, что ей Сам Бог велит позаботиться о сиротках теперь, когда она осталась совсем одинока. Это я еще могу понять, но вот Марина Сергеевна... Ее отношение остается для меня загадкой! Достоевский вот говорит: «Идти было некуда, а ведь надо же каждому человеку куда-нибудь идти». Дети Марину Сергеевну любят, и, кажется, больше, чем меня,— мне ведь от каждой привязанности достаются рожки да ножки. Это уже всем известно.

25 ноября. Подвиг меня избегает! Воображению рисовались грозные события, решающие жизнь моей страны. И я среди тех, кто не жалеет собственной жизни, — в партизанском ли отряде, снова ли в госпитальной палате — это уже все равно!.. Может быть, молчание под пытками в гепеу; может быть, отчаянно смелая разведка и смерть

среди костров и бивуачных палаток... Жизнь принесла совсем другое — подвиг, как и любовь, прошел мимо!..

26 ноября. Странные бывают минуты в жизни человека: иногда точно ответ внезапно получаешь на свои самые сокровенные мысли. И притом через случайные, казалось бы, внимания не стоящие слова постороннего человека. Кто посылает этот ответ? Сегодня Марина Сергеевна принесла красненький шерстяной свитер, который связала для Сонечки, и когда я выразила тревогу, что она тратит на детей слишком много времени безвозмездно в то время, как сама существует только на вязание шерстяных кофт и варежек, и притом потихоньку от соседей, она сказала: «Не беспокойтесь за меня: дети эти — единственное, что еще привязывает меня к жизни и что мне удалось сделать полезного и хорошего. Я свою жизнь построить не сумела и сделала несколько грубых ошибок, одну за другой. Например: я сделала аборт и до сих пор не прощаю себе этого. Славчик... он почти ровесник моего несуществующего ребенка — около года разницы...»

28 ноября. Ого! Донос на меня! К счастью, в местком на службе, а не прямо в большой дом. Вызывали вчера за объяснением. Я не растерялась и сразу перешла в контратаку:

— Донос, очевидно, состряпан гражданкой Дергачевой — моей соседкой. Прошу учесть, что между нами произошла ссора по поводу недопустимой неаккуратности гражданки Дергачевой в кухне. Я — ответственная за чистоту, и позволила себе сделать гражданке Дергачевой замечание; она раскричалась и при всех угрожала мне. Допросите свидетелей.

Председатель месткома улыбнулся и сказал:

— Так-так, учтем. Не тревожьтесь, представьте письменное объяснение. В доносе упоминается, что вы плевали на советскую газету. Коли вы принесете справочку, что страдаете бронхитом с мокротой, мы подошьем ее к делу. Мы ведь знаем, что вы — ценный работник, и общественница, и гражданка хорошая: чужих детей на воспитание взяли. Нельзя же и ребятишкам снова сиротами остаться.

Вскоре мне стало ясно, что донос действительно исходит от милейшей соседки. Справку я, разумеется, представила — хотя бронхитом не страдаю, — и предместком обещал поставить на этом деле крест. Он, по-видимому, значительно мягче, чем предыдущий (тот, который травил покойного дядю Владимира Ивановича и Лелю). Трудно поверить, что кончилось благополучно. Кто же кого охраняет — я детей или они меня? Пока я туда бежала, чего только не передумала, но дневник все-таки не уничтожила.

29 ноября. Мне самой судьбой положено изнывать от ревности: сегодня я видела, как Сонечка обняла Марину Сергеевну и прижалась щечкой к ее лицу; ко мне она так не ласкается. По-видимому, на моем лице отразились взволновавшие меня чувства, так как Марина Сергеевна сказала: «Эти малыши не способны еще понять все, что вы для них сделали. Им мил тот, кто их забавляет. Но поверьте, что со временем они вас оценят». Я — по-своему резко — перебила: «Мне вовсе не нужно их благодарности!»

Марина Сергеевна рассказывала, что получила недавно письмо от Нины Александровны, которая здорова и находится в условиях сравнительно неплохих: она постоянно выступает на вечерах самодеятельности и праздничных концертах лагерной сети. И всегда имеет большой успех. Начальник лагеря выхлопотал ей, как артистке, дополнительный паек; по его же приказу ее регулярно помещают на несколько дней в лазарет, чтобы поддержать ее силы и голос. Она не ожидала, что среди этих чудовищ могут находиться люди, которые ценят талант! В письме Нины Александровны есть интересная подробность: она и два других заключенных-музыканта, сыгрываясь по вечерам, проделывают это обычно в маленьком пустующем сарайчике, чтобы не попадаться лишний раз на глаза конвою. Скоро они заметили, что едва лишь они

возьмутся за инструменты, тотчас из-под стены выползает маленькая ящерица и присаживается в уголке слушать. Ящерица обладает музыкальностью; и, по-видимому, большей, чем я! Нина Александровна уверяет, что это факт, много раз проверенный, и что они все трое очень хорошо запомнили и полюбили маленького слушателя. Если бы собака или кошка — еще бы можно понять, но пресмыкающееся!..

30 ноября. В этом году у нас впервые за все время советской власти досталось и евреям. В первые годы после революции они были в чести — очевидно, в качестве угнетенного нацменьшинства (и жадно штурмовали командные высоты науки, искусства и управления, пользуясь удобным моментом оттеснить русских). В тридцатые годы почти каждый директор хоть сколько-нибудь крупного учреждения носил еврейскую фамилию; председательствовали на собраниях тоже евреи, а еврейские сынки и дочки заполнили вузы, так как русскую интеллигенцию губили анкеты, а пролетарская часть населения еще не успела подготовить кадры. Но самостоятельно мыслящие головы, особенно среди интеллигентов, пугают Сталина, кому бы они ни принадлежали, а может быть, героический грузин испугался сионских мудрецов и вообразил, что наше еврейство поддерживает связь с международными сионистами? Ведь ему везде мерещатся тайные организации, которых он панически боится. Так или иначе, террор нежданно-негаданно прихватил и евреев. Вчера на службе врач-еврей, который, видно, мне доверяет, как и многие (хотя я на доверие никому не напрашиваюсь), вздумал жаловаться на угнетение, причем сказал: «Это особенно неожиданно после того равноправия, которое проводилось в тридцатые годы». На это я очень выразительно отчеканила: «В тридцатые годы проводилась классовая борьба, и если евреев не запирали в концлагеря, это еще не означает, что эти лагеря были пусты». Удивительная способность у этой нации подымать переполох, как только дело дойдет до них, а как легко и безжалостно еврейские администраторы увольняли, косили и заменяли русских своими в эти самые тридцатые годы!..

4 декабря. Приезжала Мэри Огарева — жена Мики. Я не сразу ее узнала, поскольку видела давно. И только дважды: на панихиде и на квартире у Аси. Двадцать четыре года; волосы гладко зачесаны, пробор ниточкой; черные, умные, живые глаза; продолговатое лицо; темное платье с белым воротничком, никаких украшений. Просила у меня разрешения переночевать, ибо в Ленинграде у нее теперь никого вовсе нет. (В коммунальной квартире это не так просто при наличии правительственного распоряжения не предоставлять убежища ни на одни сутки никому, кроме лиц с командировочным удостоверением, которое предъявляется управдому.) Тем не менее я разрешила: уж слишком неудобно было ей отказать. Она к тому же в положении, сколько я могла заметить. Приехала она по церковным делам — с поручением к Митрополиту Ленинградскому (привезла ему иконы и письма). Тайная церковная почта. Смело!

После завтрака тотчас исчезла по дипломатическим поручениям и явилась только к вечернему чаю. На другой день опять пропадала и вернулась за час до отъезда. Кроме пакетов, которые принесла от епископа, притащила с собой книги, из Микиной библиотеки, оставшиеся частью на сохранении у Аннушки. Багаж получился настолько тяжел, что я уже собралась провожать ее на вокзал, боясь, чтобы она себе не навредила, но тут как раз появилась неизвестная мне особа, присланная «Владыкой» (как они говорят). И они ушли вместе. Очень неосторожно, а по отношению ко мне даже нетактично давать мой адрес чужому человеку. Я не спала после этой эскапады всю ночь, опасаясь, как бы их не выследили и не нагрянули ко мне. Обошлось, к счастью. Вот Мэри эта, кажется, сумела превратить свою жизнь в подвиг нераздельного служения идее. Она знает что делает. Наверно, она и Мику-то держит в руках. Хочу записать разговор, который имела с ней

за вечерним чаем, когда уже заснули дети. Заговорили о современности, и она сказала:

— У нас сейчас преобладает сила разрушения и укрепился отрицательный нигилистический дух, так гениально предсказанный Достоевским. Но эти силы долго не могут царствовать. «Придет день — Господь повелит нечистому духу выйти из тела России». Нашей Восточной Церкви предстоит оживить и обновить христианство. Господь послал ей мученичество, чтобы очистить ее и приуготовить к великой миссии. Именно России суждено повернуть к свету ход мировой истории.

Я была приятно поражена силой убеждения и восторженной верой этой девушки и узнавала частицы собственных заветных мыслей. Мне была чужда лишь эта церковность. Я спросила:

— Да разве в церковной среде найдутся одинаково с вами мыслящие идейные люди?

Она отвечала:

— Великое множество! Надо только пожелать найти. Иначе в самом деле просидишь в углу всю жизнь в полной уверенности, что вокруг одно лишь ничтожество! Мне вот везет: я только оглянусь — и вижу! Я — жена ссыльного; отец мой погиб в лагере; у меня нет ленинградского паспорта и ни одного метра собственной площади, но я ни за что бы не согласилась уехать из России. Где-нибудь в Америке я задохнусь. Прошлым летом мы с Микой предприняли очень трудное путешествие в Сибирь, на Обь; там в маленьком селении живет один высокообразованный и просветленный человек, ссыльный. Мы нашли его почти умирающим, но успели все-таки многое от него почерпнуть. Он дал нам много, очень много знаний по части эзотерического христианства. Он сам был счастлив получить учеников на смертном одре. Он говорил, что видит в этом милость Божию. Он об этом молился, тут-то мы и пришли!.. Мика не мог оставаться долго — его отпуск заканчивался, а я осталась дольше, чтобы помочь чем могу старому христианину при переходе в иной мир. Когда я называла его «учитель», у него всякий раз в глазах мерцали слезы...

Появились они в хижине, где умирал ссыльный, наверно, так же, как появились однажды у меня — в высоких сапогах, с рюкзаками за спиной, держась за руки и обмениваясь сияющими улыбками... Другие бы на их месте на курорт поехали... Оригинальная пара (без желания оригинальничать!).

6 декабря. Забытый всеми старик в заброшенной хижине молится, чтобы Бог послал ему учеников прежде, чем он отойдет в вечность... Ему прискорбно уносить с собой в могилу богатство своих мыслей. Он молится, а на пороге уже показывается молодая пара. Сегодня мое воображение во власти этих образов.

8 декабря. Затирает с деньгами. На сверхурочные дежурства не хватает времени, а в долг брать не в моих привычках... Из каких средств отдавать? Ломбардов боюсь как огня... Остается экономить и экономить... У меня есть Сонечкины драгоценности — серьги Дашковых и перстень с бриллиантом от Надежды Спиридоновны,— но я считаю себя не вправе их тронуть. Пианино продать нельзя: Сонечку уже скоро можно начинать учить. Остаток библиотеки — своей и Бологовских — берегу для Славчика. Там есть книги, которые не достать теперь ни за какие деньги, например: Владимир Соловьев, Гумилев, Гофман, Метерлинк, Гюисманс...

22 декабря. Две недели провела в больнице имени Раухфуса у кровати Сонечки, она захватила дифтерию, и так как врач не сумел распознать вовремя, прививка была сделана только на вторые сутки, вследствие чего явилась опасность для жизни; сейчас она, слава Богу, уже миновала. Надеюсь сегодня выспаться после стольких бессонных ночей. Голову так и клонит, глаза слипаются. Горячие щеки... полураскрытый ротик... потный лоб... к которому прилипли колечки волос... Сколько я видела больных и умирающих, но ребенок, выращенный собственными усилиями, такой маленький и очаровательный... потерять такого ребенка... Какое счастье, что опасность уже позади!

23 декабря. Я на квартире одна. Сонечка еще в больнице, Славчик — у Марины Сергеевны. И чем дольше он там останется, тем безопаснее. Меня же по-прежнему ничто неймет, даже дифтерийная палочка.

Странно, однако, оказаться без детей... Пустота, тишина... Растут и роятся думы, как бывало прежде. Их, видно, плодит и питает именно эта тишина. Олег... В последнее время я думаю о нем гораздо реже... в силу занятости, наверно. Олег — герой моей юности, прошлых и грядущих — воображаемых — битв. Многое изменилось с тех дней и в моей жизни, и в окружающей меня действительности. Я чувствую, что сознание мое неудержимо ширится и растет, точно мне вспрыснули в мозг дрожжи. Мне кажется, это находится в связи с тем отрешением от эгоизма, к которому меня принудили обстоятельства. Многое хочется сказать.

Я девочкой была, когда совершенно самостоятельно нащупала мыслями мистический лик России — великий Дух Нации в извечном ее значении. В те дни представителем его на земле казался мне Император, которого я воображала впереди полков на белом коне, на манер Скобелева. Позднее я связала идею Родины с белогвардейским движением; я и теперь преклоняюсь перед героизмом многих тысяч белых и офицерскими атаками, но мессианская идея, руководившая лучшими из них, уже умерла. Пролитая за эту идею кровь, может быть, послужит искупительной жертвой; она не получила свою награду здесь, но по ту сторону жизни, я верю, зачтется и будет принята на алтарь любви к Родине, как и кровь красноармейцев — таких, каким был, например, Вячеслав.

Большевизм... Процесс этот самобытен и глубоко органичен. Он слишком значителен, чтобы насильно — вмешательством извне — притушить его. Я вынуждена прийти к мысли, что и в нем должны быть черты все того же дорогого мне лика, конечно, страшно искаженные. Диктатура пролетариата — омерзительная, роковая ошибка революции, осложнившая надолго пути России. А сейчас даже и этой диктатуры нет, а только диктатура Чудовища. Но святое тело России все-таки здесь, и я не могу допустить даже в мыслях, чтобы его растерзали на части, как Господнюю ризу. В случае войны я... с большевиками! Я не знаю, как у меня рука повернулась написать эти строчки, но так я прочла в своей душе! Сейчас нет другого правительства, которое могло бы охранить наши границы, а на большую страну неизбежно набрасываются хищники. Россия в муках рождает новые государственные формы и новых богатырей, для которых все классовое уже должно быть чуждо, как дворянское, так и пролетарское, одинаково. Я ошибалась в сроках великой битвы, я ошибалась в источнике новой силы. Никакой реставрации, никакой антанты! Россия спасет себя сама, изнутри. «Закат!» — говорит Юлия Ивановна. За закатом придет рассвет!

> Сердце будет пламенем палимо
> Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
> Стены Нового Иерусалима
> На полях моей родной страны!

Слезы сжимают мне горло. Наступит ли день, когда откроются двери тюрем и лагерей и будут возвращены все, кто безвинно принял страдание? Боюсь, что это будет еще нескоро, и те, о ком я думаю, не доживут до этой минуты, как не дожили Олег и Ася. Это будет началом «света с Востока». Тут мои чаяния сливаются с чаяниями Мэри и Мики.

24 декабря. Сегодня мне снился огромный костер, котел над ним и Чудовище, которое помешивало в котле половником. Вокруг в молчании стояло множество народа. Светило только пламя костра; в котле что-то трещало, кипело и плавилось; я думала: это плавятся наши жизни, но должно же быть тайное оправдание, та или иная сверхчеловече-

ская цель в этих гекатомбах жертв? И вдруг я увидела у котла Асю: она была вся прозрачная, в голубых тонах, со светлым лбом; Чудовище захохотало, схватило ее за косы и швырнуло в котел. Я проснулась в ужасе... но, раздумывая, пришла к мысли, что в этом сне есть связь с моей идеей об искупительных жертвах — жертвах всесожжения.

25 декабря. Перечитываю Гумилева и думаю об Олеге. Его образ неизменно вырастает за такими строчками:

Память, ты слабее год от году,
Тот ли это, или кто другой
Променял веселую свободу
На священный долгожданный бой.
Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.

В этих строчках дан образ человека, который весь захвачен любовью к Родине и ради нее не жалеет собственной жизни. Надо внедрить в Славчика ощущение личности отца через эти строчки. Я уже давно сказала себе, что буду говорить с ним в день, когда ему минет 18 лет. До этого дня я буду молчать — это я умею! Я не хочу разменивать больше мысли на мелкую монету прежде, чем они будут ему понятны все в целом. Я являюсь ближайшим другом его отца — это большая гиря на чаше моего влияния. Это должно помочь мне уберечь Славчика от растлевающего духа времени — безверия и шкурничества.

Я в будущем передам Славчику этот дневник! Образ его отца запечатлен в нем почти на каждой странице: с момента первой встречи в госпитале до дня казни; я цитирую его слова, его мысли. Это портрет человека в страшный, переломный момент истории, когда ему довелось существовать и действовать. Читая, Славчик пройдет все этапы наших надежд, разочарований и мук и подойдет вплотную к идее очищения и обновления Родины.

Мудры Божественные пути! Я любила безнадежно, но любовь эта, очевидно, будила во мне творческие силы, а от любимого человека мне оставался только флакон духов... И творческие силы эти клокотали в моей груди бесплодно. Тогда дано было человеку этому как бы из мертвых воскреснуть на четыре только года, с тем, чтобы дотерзать мое сердце, но одновременно оставить мне два сокровища, неизмеримо более ценных, — двух младенцев! Теперь у меня есть кому передать мои мысли и силы, кому передать дело Олега. Славчик должен стать достойным этой идеи. Я не хочу готовить из него мстителя. Структура, которая разделяет общество на победителей и побежденных, мне противна. Слишком долго уже господствуют у нас идеи возмездия, в существе своем чуждые России и русским. Славчик подымет знамя отца с новой на нем надписью. Я воодушевлю его! В высших планах, по-видимому, решено, что это могу сделать только я, а не Ася, коль скоро не Асе, а мне суждено вырастить ребенка. Сколько мук, прежде чем я могла осознать глубину своих задач!..

Передача дневника будет для меня новым распятием — любовь моя перестанет быть тайной для детей, но результаты могут быть слишком огромны, чтобы думать о себе в этом случае. Помог бы только Бог сохранить тетрадки и вырастить мальчика. Полагаю, однако, что теперь — после моего решения — уже не смогу писать этот дневник так же искренно, как писала его до сих пор вот уже двадцать лет, а потому я этот дневник заканчиваю.

О, Родина! Я жду твоего обновления! Когда догорит наконец костер, когда издохнет Чудовище и вскроется давний гнойник на твоем теле и на воскресшую Русь прольется с неба «страшный свет», тогда я пойму, для чего были нужны такие жертвы.

Но теперь... Теперь весь мир превратился в поминки...

Подготовка текста Александра СЕГЕНЯ.



ГЕННАДИЙ СТУПИН



ВОССТАНИЕ ИЗ ПРАХА

Московская ночь

Ночь глухая, беззвездная странно светла
От огней городских, коим нету числа,
А мне чудится, что от пожаров...
И в окно незавешенное я смотрю,
И уже и не чаю увидеть зарю,
И не сплю — без надежды и жалоб...

Это тучи такие, туман, или дым,
Все просвечены призрачным светом седым,
Желтоватым и красно-кровавым?
Это море внизу разноцветных огней,
С каждым часом мерцающее все темней
И грозящее черным провалом...

Этот шорох и рокот, гуденье и вой,
Как живой, на невидимой мне мостовой,
Что чем реже — тревожней средь ночи...
Эти светы, бегущие вдруг по стене,
Как зловещие тайные знаки извне,
Все внезапнее, резче, короче...

Телебашня — подобие шприца-иглы —
Над простертой столицей царицею мглы
Бдит с окутанной мглой головою...
Город — сердце, сжимаемый спазмом беды,
Над страною, забывшейся, тише воды,
Разметавшейся, еле живою...

Не боишься ты, полузаморская тля,
В телебашню проникшая, в стены Кремля —
В душу, в мозг и в аорту России,
Как не вынесут сами леса и поля,
Дыбом встанет и валом пойдет вся земля? —
Это яды твои их взбесили.

Не боишься еще? Я уже не боюсь.
Чую жар твой, дыханье тяжелое, Русь,
На Москве — без надежды и жалоб...
Ночь глухая, беззвездная странно светла
От огней городских, коим нету числа,
А мне чудится все — от пожаров...

* * *

Опять один, в дыму, среди развалин,
Тоской и смертным холодом объят...
Опять чуть жив, ограблен и ославлен,
Опять кругом, пред всеми виноват...

Как будто угощал всех — и пропился,
И всех одаривал — остался наг,

И всех мирил — избитый протрезвился,
И выпить нет, и звать меня дурак.

То слезы, или кровь, иль пот холодный?
То горе, или смерть пришла сама?
И рожи мне: зато теперь свободный! —
В глаза кривляются, сводя с ума...

Да будьте все вы прокляты, иуды!
Себе вы сами кара — хуже нет.
И с вами я тягаться в том не буду,
В чем равных вам не знает белый свет.

И вам я не хочу сказать ни слова,
Обманутые братья и друзья...
Но, Боже, дай мне сил подняться снова!
Мне нынче умирать никак нельзя!

Тоскует, пропадает в запустенье
Кормилица, заступница земля...
И отчие по ней мятутся тени,
Покоя, утешения моля...

Горит огнем страданья и надежды,
Мне сердце прожигая, женский взгляд,
И чад невинные открыты вежды
Навстречу мне, за чьей спиною — ад...

О, дай мне, Боже, воли, силы, гнева,
Не помрачив неистовством ума.
Опять сошлись среди Земли и Неба
На смерть, а не на жизнь,
со Светом — Тьма.

Спирает дух кромешной круговертью.
В родимом, горько замершем краю
Опять один, пред жизнью или смертью,
Сжав кулаки, в кольце врагов стою...

Восстание из праха

На полевой дороге, убиенный
Ворами, обманувшимися тем,
Как я глядел, — словно алмаз бесценный
Имел я, — даром с виду нищ совсем,

И брошенный бездвижный,
бездыханный —
Что на дороге нашей человек!
Лежит себе — и пусть. Наверно,
пьяный, —
Лежал всю ночь я или целый век...

Глаза открылись от давленья света
И сразу же затмились от него...
И меж травою, меж землею где-то
Не чувствовал я тела своего.

Разметанный во всё широко поле,
Подъятый прямо противу небес,
Не чуял я ни тяжести, ни боли,
Весь будто лишь из духа и очес.

Во прахе прах, я чувствовал лишь
воздух,
Что тихо-тихо на меня дышал.
И Божий свет в глазах моих разверстых
Свой цвет небесно-синий отражал...

И, подо мной упрямо распрямляясь,
Колючник мне покоя не давал.

И надо мной, все звонче заливаясь,
Звал меня жаворонок — чтоб вставал...

Подземный жар, наземный пот
холодный,
И неба зной, и тучи тень, и гром, —
Весь край родной мой,
весь мой мир природный
Не дал мне позабыться вечным сном

И поднял меня на ноги. Шатаясь,
Как во младенчестве, я сделал шаг,
Потом другой — на воздух опираясь,
И, как новорожденный, слаб и наг...

Отпущен раем и не пойман адом,
Я продолжаю жить в своем краю,
С убийцами своими вместе, рядом —
Как будто бы я их не узнаю.

Как я живой остался, пыль земная?
Чему опять так рад, как будто пьян?
Вовек меня ни в чем не понимая,
Они несут в душе своей изъян.

Ни знаньем, ни богатством и ни властью
Того изъяна век им не избыть.
Век моему завидовать им счастью
И век безумной искушаться страстью —
Меня на родине моей убить...

ПРОЗА



МИХАИЛ ВОРФОЛОМЕЕВ



КУСТ ШИПОВНИКА

ПОВЕСТЬ

*Жене моей
Екатерине Евгеньевне Ворфоломеевой
посвящаю*

«И нечего тебе, Николенька, делать на своей Пречистенке! Да и какая же она нынче Пречистенка? Пречистенка, да оскверненная, вот ее как следовало бы звать! — строчила в своем письме тетушка Александра, а проще — тетя Саша. — И приезжай, да поскорее в наш Псел! Лето встретишь, оврагом надышишься, а что ризного будет, так как горсть самоцветных каменьев. Мать свою не слушай...»

Оладьев поднял глаза к потолку. По белому бежали голубые тени от штор.

* * *

Надо вам представить моего героя. Николенька, он же Николай Оладьев, перевалил четвертый курс по экономике, а так и ни черта в ней не понял. И всю науку от этого глубоко он возненавидел. Неверной, как оптическое стекло, казалась ему всякая наука.

«Мать свою не слушай...» — стрекотал теткин голос. «А как не слушать? — думал Коля. — Когда она до обеда пробует сольфеджио!» От ее голоса позвякивают хрустальные бокалы. Отец Колин, генерал Оладьев, встает рано и, скушавши яичницы, хлопает дверцей присланного автомобиля. А далее встает мать, Полина Фосс, она же Поля Огурцова! Но разве же зрителя затащишь слушать романсы в исполнении Огурцовой? Другое дело, когда — Фосс!

В пенном пеньюаре, большая, белая Полина Евгеньевна постукивала каблуками по дубовому паркету. Стук-стук. Дверь открывалась, и гора кружев склонялась над Колиной головой.

— Вставай, Николенька!

* * *

«Где же этот Псел?» — думает младший Оладьев, просовывая ноги в джинсы. Он выходит из комнаты и идет в зал, от-

---

ВОРФОЛОМЕЕВ Михаил Алексеевич, родился в 1947 году в городе Черемхово Иркутской области. После школы рабочей молодежи закончил Высшие театральные курсы при ГИТИСе. Автор пьес «Святой грешный», «Занавески», «Бес», «Срок проживания окончен», «Александр Невский» и многих других, а также сценариев, повестей и рассказов. Опубликованные в нашем журнале рассказы (№ 7, 1990) вызвали большой поток положительных читательских откликов.

куда летят вскрики Полины Фосс. Лицо ее свекольно и от усталости глаза злые. Завидя сына, Полина смолкает. Но гудят стены, вещи, и мебель гудит. Особенно режет слух огромная хрустальная люстра.

— Мам, а где Псел? — спросил Николенька и с размаху почесал спину.

— Что Псел? — не поняла его матушка.

— Где он? Ну тетя Саша, где живет?

— Эта дура не живет, а мучается!

Значит, прочла письмо... и заклеила... вот хитрая!

— Я еду в Псел! — выпаливает Николенька и, шаркая домашними тапочками, идет на кухню, минуя ванную комнату. Его тянет к пирожным, которые в изобилии привозит с концертов мать. Мать же, услышав из уст сына короткое как плевок — Псел! — бежит следом. И вот они вдвоем на большой кухне. Потрясенная Полина смотрит в полное лицо и голубые глаза своего единственного...

Да ведь ему всего-то двадцать третий, а он?!

И уже вслух:

— Зачем?! А Черное море? А Золотые пески? Болгария! Ведь собирался?..

— Хочу в Псел! — Николенька запихивает в рот облитое шоколадом, пахнущее легкой ванилью пирожное. И знает Полина Евгеньевна, что каприз этот будет исполнен. Таков ее сын... Ее большие, еще не накрашенные глаза наполняются влагой, но уже слюна пошла по языку. Мать обожает пирожные! Рука ее, белая, пухлая, с большими белыми пальцами, потянулась к вазе, ухватила с розовыми цветочками корзину, и медленно корзина эта поплыла в ее крупный с белоснежными зубами рот. Язык и нёбо утонули в прохладном креме. Николенька прошелся глазами по сидевшей напротив матери. Ее ступня, с розовыми пятками и розовыми пальчиками, словно жмурилась от удовольствия.

— Да ведь ты ее и не видел никогда? — вдруг вспомнила Полина, что сын ее и в глаза не видел своей тетки, старшей сестры ее мужа, Оладьева Петра, нынче генерала. — Как же ты поедешь?!

— Возьму и поеду! — И Коля стал бесцеремонно разглядывать голую грудь Полины, различимую из пеньюара, и дальше вниз, где живот. Полина Евгеньевна всегда с изумлением и каким-то внутренним трепетом разрешала взрослому сыну эти упражнения глазами... Она даже старалась ему помочь тем, что поворачивалась на стуле, словно бы в поисках ложечки или салфетки какой. От поворотов легкий шелк натягивался, и белое крупное тело становилось еще более белым и совсем близким. В такую игру играли они уже давно, и игра эта им нравилась.

Как только генерал приехал по своему обыкновению под самую полночь, то тут же, шелестя пеньюаром, кинулась к нему Полина и плюнула этот самый «Псел» в генеральские уши. Крупногрудый, в домашних туфлях генерал, шевеля толстенными ляжками, пошел на кухню. Зазвенели графины, и на листе смородины настоянная, душистая, горькая перелилась в бокал. Тут же из холодильника грибочки белые, окутанные в маслянистую влагу. И розовая глотка генерала послушно приняла двести

Выдох, и полез чуть чиркая по зубам, спелый белый, отдающий чуть-чуть чесночком и перцем.

— Пеёёол! — уже пропела своим контральто Полина.

Генерал проглотил и вымолвил:

— Пусть едет! Черт с ним!

— Да ты ведь и сам не знаешь, где это!

— Мне в Сан-Франциско послезавтра лететь, а ты тут... После в Бонне месяц торчать! — генерал закурил, а курил Петр Егорович «Мальборо». И ничего кроме «Мальборо» не признавал. Если сиживал среди правительства, то не курил. Потому как все партийное руководство, взгромоздясь на верхний мостик, тут же задумывалось о своем здоровье! И ничего более партийное руководство не беспокоило, кроме собственного здоровья. Курение подавало в отставку, выпивка оставалась, но в дозах умеренных! Вот прежнее партийное руководство и курило, и пило, и до разного сорта бабенок было горазд! Но генерал тогда генералом не был! И было ему от этого досадно! Ведь что ни говори, а раз на роду написано быть генералом, то сразу бы им и стать! Ведь и отец его, покойный Егор Вуколович Оладьев, руководил огромной областью, а после назначен был расследовать сталинские и другие злодеяния среди верхушки. Боялась, люто боялась верхушка Вуколовича! Прямо-таки ненавидела его серый, словно покрытый пылью костюм. Не любили его и сын Петр и дочь Саша! Не любили его тонкие кривые губы, его сухую сгорбленную фигурку. Знали, что он бьет по щекам бывших начальников. И жена Егора Вуколовича, добрейшая Алевтина Павловна, плакала, сотрясая полную свою спину. Плакала, пока муж не умер. Тут же она собралась и уехала. В свой родной Псел! Сына оставила. Сын уже в большом офицерском звании был, а дочь старшую, красавицу Сашу, увезла с собой! Уехала — как утонула. А в больших чинах офицеру досталась квартира, дача, машина и разного другого прочего! А тут, сидючи на концерте, выбрал он себе среди певиц и жену. Хам хамом встал у служебного входа, и как только вышла Полина, он ей букет, под ручки — и в машину! Глаза горят! Погоны золотом своим разбудили в Полине дремлющую в каждой деве любовь к военным...

— Так что пусть смотает! Хоть знать будем, где это? Потом на могилу к бабке. Что ты хочешь? Ведь — пентюх! — сказал генерал, а в душе рад, что хоть сын у него пентюх! И добрый, и квелый, и воспитания такого, что матом не ругается!

Обнимает генерал своей ручищей жену. От этого объятья в душе Полины переполох! Она недавно полюбила тенора Квасова, но никто не обнимает так, как генерал... Она послушна! Покорна... Пусть едет в Псел...

* * *

Нужно ли описывать проводы? Нынешние проводы ничего замечательного не составляют. Полина, женщиной будучи аккуратной, разложила рубашки, майки и другие предметы по пакетикам, все снабдила надписями, а генералу осталось застегнуть чемоданы. Подарки же, предназначенные тете Саше, поместили в большую желтую сумку. Послали отрез на платье, подстаканники, зонт японский, десять банок растворимого кофе и тьму коробок и коробочек с конфетами. Николенька, который сам и затеял эту поездку, последние дни захандрил. Все складывалось как бы помимо его воли. И когда наконец генерал привез ему новенькие хромовые офицерские сапоги, это и была точка, после которой следовало ехать на вокзал. Николенька попробовал противиться сапогам, но строгий отец лаконично вывел:

— Там грязи до... [1]

А уж после молоденький солдатик вынес чемоданы и остался ждать у открытой дверцы автомобиля.

До вокзала ехали в основном молча. Полина смотрела на сына так, словно бы провожала его в армию. Словом, тем жалостным взглядом, от которого даже сурового генерала скручивало и подтягивало к плаксивости.

Пухлый, кучерявый Николенька растерянно глядел по сторонам, словно никогда раньше Москвы не видел.

«Идиот! — летело в его голове. — Зачем надо ехать в этот Псел?! А что, если скажу, что болит желудок?! И меня сразу же увезут назад!» — подумать подумал, но не сказал... И только одно видение сильно его обожгло. Увидел он, как Таня Головачева, студентка третьего курса, вместе с Олегом и Борисом, его сокурсниками, спускаются в подвальчик, где была устроена дискотека. Увидел он и ее стройные ноги и губы, что сейчас сожмут соломинку, по которой потечет ей на язык коктейль...

— Ты нам сразу напиши, что да как! — наказывал генерал сыну, дыша на него дорогим коньяком и сигаретным дымом. Мать же только крепко сжимала его руку, отчего рука стала влажной и ее хотелось вытереть.

— Какой дом и прочее! И денег, денег ей дай! — гудел генерал.

На перроне едва сыскали зеленые вагоны, идущие на Псел. Пыльные, с сидячими местами и коричневым заплеванным полом, вагоны заставили содрогнуться храброе военное сердце, а уж о сердце студента и говорить не стоит! Оно сжалось, как резиновая груша, и в эту грушу ледяной струйкой потек страх. Ласковая мама потеряла дар речи и только тупо глядела на крашенные желтой масляной краской скамейки, крашенные лет двадцать назад и теперь уже не совсем желтые, а какие-то коричнево-желтые, на что генерал точно отреагировал:

— Дерьмом они, что ли, красили?!

Но тем не менее чемоданы разместили, а сумку поставили под руку. Народу в вагоне было мало, и хоть это радовало.

Когда электровоз свистнул, отец и мать заторопились:

— Ладно, сынок... Телеграмму мы дали. Встретят! Не встретят, бери такси! — Так закончил отец-генерал, генеральша же прижалась к сыну, запахла «Шанелью» и дрожа выскочила наружу. Поезд тронулся. Николенька, широко раскрыв свои красивые голубые глаза, прилип к окошку, в котором уплывали родители, уплывала Москва, все уплывало!

* * *

Покачиваясь на жесткой и холодной лавке, Николай Петрович впервые в жизни ощутил чувство тоски и одиночества! И так захотелось к родителям...

«Зачем я еду?! — с ужасом думалось ему. — И куда?!». А уже пришел проводник проверять билеты. От его форменной одежды несло туалетом, словно он, проводник, провел в этом туалете не меньше недели. По воспаленным глазам того же проводника было понятно, что ночь он пьянствовал, и немудрено, что и заночевал в сортире!

— Вы не подскажете, а когда мы будем в Пселе?

— В Пселе-то? — проводник сморщил свое щетинистое, подгоревшее изнутри водкой лицо и молвил: — Дотянет, к утру. Не дотянет, вовсе не будем. — Сказавши это, он прошел в свое отделение и с размаху бухнулся на лежанку. А за немытыми окнами вагона уже вспыхнула вечерняя заря. Давно не было Москвы, а тянулись с рыжими проплешинами поля, за которыми темнел лес. И становилось скучно. Свет в вагоне был настолько жидкий, что подумавший почитать пассажир даже бы движения не сделал в ту сторону, где лежала у него литература. Да и кто нынче читает литературу? Всякое сочинительство теперь заменилось фактом, который скоро набирался в типографии, и тискали эти факты по сотням разных газет. Правда, многие факты на другой же день опровергались этими же газетами — но и это также было фактом.

Николаю Петровичу захотелось покушать, для чего он подвинулся к квадратному столику, крашенному той же краской, что и лавки. Стол был исчерчен острыми предметами. В углу крупно сияли три непечатные буквы, тут же, для обозначения данного предмета, он еще был и нарисован. Дальше шло имя — Люба и многое другое. На этот столик Николенька поставил термос с кофе, достал курочку, уложенную в картонку, и любимые им и его мамой пирожные. И ему даже стало весело. Курочка, доставленная с рынка и, наверное, еще вчера бегавшая по двору, сейчас масляно блестела, переложенная по бокам петрушкой. Оторвав ножку, Николенька впился в нее своими свежими, белыми зубами, и еще теплый куриный сок поплыл по губам. Вкусно!

Видно, куриный запах произвел в вагоне некоторое оживление. Многие головы повернулись и нагло уставились на кушающего Оладьева. Через минуту Коля услышал: «Курва!» — после чего послышался плевок и чирканье спичек.

— А чо кооператорам? Им надо гуся, надо — порося! И что?!

— Сторублевками прикуривают!

«Это не про меня ли?» — догадался Николенька и густо покраснел. И стало как-то неловко за лайковую куртку, тертые штаны... За курицу, что вчера еще бегала...

[1] Тут следует грубое генеральское ругательство. (Прим. авт.).

«Вот тебе и бесклассовое общество!» — подумал Оладьев, и ему захотелось поскорей приехать. Пошатываясь, подошел к нему в футболке, в серой на голове кепке мужичок. В руках бутылка. Долго и немигаючи смотрел он в широко открытые голубые глаза, а после присел и оскалил щербатый рот.

— Дай стакан, а?

Николай Петрович пошарил в сумке и достал упакованные одноразовые стаканчики. Вскрыв фирменную обертку, он достал белый, мягко щелкающий от нажима стаканчик.

— Вот, пожалуйста!

Мужичок своими подгнившими зубами сдернул с бутылки капроновую пробку и налил себе красного и сладко пахнущего портвейна. Пил не отрываясь, только кадык ходил сверху вниз и снизу вверх по небритой и от алого заката еще более раскаленной шее. Николенька смотрел на этот страшный кадык и брезгливо морщился от запаха портвейна. Допив вино, мужичок занюхал вначале кулаком, исписанным синими наколками, после взял курочку и стал ее жевать, глядя в голубые своими желтыми глазами.

— Хлебнешь?

— Не пью, — тихо ответил Оладьев, после чего незнакомец подсел к нему сбоку и задышал на него жутким перегаром.

— Дай червонец? — зашипел он ему в ухо вкрадчиво, но в этом сипении уловил Николенька и угрозу. Рука непроизвольно полезла за бумажником, и тут следом метнулась исписанная синими наколками рука соседа, нырнула Николаю за пазуху.

Не знал рыжий, что Николай Оладьев владел приемами самообороны основательно. Левым локтевым в голову! И вот уже кепка в одном, а сам рыжий в другом месте. После чего и началось! Соседи по вагону завопили, закричали, сгрудились над бездыханным телом в футболке, и проводник устало гнал всех на места.

— А какие права имеют! — вопила баба и старалась заколкой заткнуть куцую косу. — И правов не имеют! Чо он тако, а ты хто?!

Николенька же взял початую бутылку портвейна в одну руку, истерзанную курицу — в другую и все это сунул в ждущие руки пожилого проводника. А после, как подняли тело в футболке и сволокли его к бабе с косой, налил он себе кофе и с удовольствием скушал пирожное.

— Характерно, что как у кого кожанка — так и руки, характерно! — уже философствовал пострадавший. Но при этом свои желтые глаза прятал от бабы. — И потом, характерно, что морда болит!

Николеньке захотелось вдруг спать от этой неожиданной победы, и он уснул. И спал долго. Не видел, как много раз останавливались вагоны, как свистел уже не электровоз, а хрипло, простуженным тоскливым басом, словно кого звал на помощь, тепловозик.

Когда же за окнами немытых стекол стало серо, Николенька проснулся. Народу в вагоне не было, и не было картонки с пирожными, и термоса с кофе не было. Однако другие вещи, а именно два чемодана и сумка, оставались на своих местах.

Вглядевшись в окно, Оладьев кроме тумана мало что мог различить. Однако он смог понять, что двигается поезд в гору. Словно старый натруженный конь, тянул вагоны в гору, конца которой, а правильнее, вершины, и близко не было в помине.

Вошел хмурый проводник и сказал:

— Тащщит! — И стал слушать, как тепловозик, часто похаркивая, тянет-потянет тяжеленные вагоны с желтыми лавками. Вот уже более часа сражалась машина с горой. Вот уже десятый раз проводник открывал дверь и, став на ступеньку, глядел вдаль, задрав голову. Туман же, более различимый сейчас, чем раньше, становился все гуще и все молочнее. Наконец и проводник, и Николенька услышали хриплый гудок, который прерывисто прокряхтел, что стоит поезд на вершине. Проводник плюнул на папиросу и будничным голосом сказал.

— Подъезжаем... Псел... — но еще с полчаса вагоны катились куда-то вниз, пока не зацвиркали тормозные колодки, прижимаясь к светлой стали колес.

Николенька подтащил чемоданы и сумку к выходу и выглянул в открытую вагонную дверь. Из тумана вынырнула фигурка и выросла перед ним. Николенька глянул в лицо появившегося. Лицо это было обрамлено седой бородой, с которой капали жемчужные капли приставшего тумана. Рот старика улыбался.

— Драствуй, сынок! — Вот как приветствовал Псел Николая Оладьева.

Николенька радостно заговорил:

— Вы встречаете?

— Стречаю! — Старик поклонился головой и принял чемоданы и сумку. Слез Николенька с подножки, а уж спина старика исчезла в тумане. Исчезли и чемоданы. Николенька растерянно взял сумку и наугад двинулся. Проделав несколько шагов, остановился он и огляделся. Но ни поезда, ни того старика... Да тут кто-то потянул его сумку. Оглянулся, стоит старик, улыбается.

— За мной идитя! Идитя! — И пошел Николенька, темной глыбой из тумана высунулся вокзал с большой белой надписью — Псель. Вот именно, что после «л» стоял твердый знак. По деревянной лесенке скатился Оладьев вниз за стариком и очутился перед тарантасом. Конь, что был запряжен в этот тарантас, косил глазом. Вся спина и бока его были в дымчатых каплях осевшего тумана. Разместил старик чемоданы и сумку, указал на местечко Николеньке, после чего поднял кожаный верх. Уселся Николенька на холодную кожу, а сам думает: «Не сплю ли я?!». Да тут просунулась к нему голова старика.

— Евдоким Димитрич, — ласково назвался он. — Уж и дожидается вас Александра Егоровна! Дожидается! — После чего чмокнул губами, дернул красную вожжу, и покатил их серебряный конь мимо вокзала, туда, где ни зги не видать.

* * *

— Моросно? — спросил у Николеньки Евдоким Дмитриевич. Сам же и ответил: — Моросно! А у Москва-города моросит?

— Да нет. Погода хорошая.

— Да... — протянул старик. — У Москва-города завсегда так!

* * *

Так что же чувствовал наш герой, сидя на кожаной обивке, которая согрелась и казалось, что уже сама греет. Что он чувствовал, глядя на покачивающуюся спину старика и на мигом обросшую водяной пылью войлочную его шапку? Ничего, кроме тоскливого ожидания, не было в его душе. Тут надо открыть вам некоторую тайну. Хоть и учился Коля Оладьев на экономическом факультете, все же сердце и ум были во власти литературы. Смутно надеялся он, что вот когда-нибудь откроет он журнал и увидит в нем «Николай Оладьев», роман... Три года, как он брал тетрадь, всегда новую, сверху писал — посвящается Т..., а точнее Татьяне, конечно же Головачевой, после чего крупно выводил: «Николай Оладьев» — и чуть ниже — «роман».

Вот так сразу и хотелось начать — романом. И всякое начало у него начиналось с прочтения какой-нибудь книги. Прочитает Андрея Белого, и уже рука просится вот таким ослепляющим слогом, а прочтет Виктора Астафьева — таким, как у него, манером. Сядет и тут же напишет три страницы. Но почему-то все, что он до этого чувствовал, странным образом вмещалось в эти проклятые три странички! И что же ему оставалось? Конечно! Брать следующую книгу... Измучив себя таким образом, решился он наконец к настоящему писателю, Семену Ивановичу Охранникову. Знал Коленька, что пишет Охранников большие исторические романы, и их у него было три. И еще знал, что исторический романист волочился за Полиной Евгеньевной, хотя коньяк пил с Петром Павловичем. Был он невысок, полон и носил розовые щеки. Усики и клинышком бородка, всегда аккуратно подстрижены, белая сорочка и обязательно золотые запонки. Носил он в дом Оладьевых букеты и засиживался до тех пор, покуда язык мог произнести хоть мало-мальскую остроту.

Улучив момент, а момент этот настал тогда, когда Полина Фосс закончила шестой романс и ушла к себе передохнуть, Коленька робко поглядел на сморкающегося гостя. Высморкав свои горькие слезы, которые скапливались жгучим комом именно в носу, романист трагически обозрел Колино лицо:

— Так вот, молодой человек... Искусство! Полноте...

Про полноту Коленька понял буквально, а именно то, что Полина Евгеньевна была полной, и ему, Коленьке, нравилась мамина полнота. Бывает в женщинах такая полнота, которая как бы и не полнит, а создает лишние и привлекательные формы. Одним словом, холеная была Полина Евгеньевна.

Сейчас Николенька понял, что момент настал, что можно... И волнуясь и путаясь от этого в словах, спросил он знаменитость, а можно ли стать писателем? Если можно, то как же все это (имелся в виду талант) бывает, происходит, а главное — что же делать?!

Семен Иванович Охранников понял важность разговора сразу! Сразу же и ответил.

— Пожить надо, покувыркаться. И людей, людей простых, их формы грубой жизни познать! Ты, Коля, флегма! Живее надо быть! Нырни! Нырни в простую жизнь! На границу съезди, поживи в казарме, ночуй в конюшне и не читай современных-то! А ты Мамина-Сибиряка, Толю Иванова, Маркова, хоть и отставку ему дали! — подергал бородку и добавил: — И знакомства... Ну, тут я тебе помощник! Не перевелись еще друзья! — Бог его знает почему, но поверил ему Николенька! Глубоко, ох как глубоко запали в его душу слова о жизни народной. Именно этой жизни он и не знал. Да более того, читая, скажем, Астафьева, половины слов не понимал! Ему даже казалось, что слова эти писатель придумывает сам. Но не устал еще Охранников, а более того — при появлении Полины Евгеньевны зарокотал, забегал от кресла к роялю, от рояля к креслу!

— Нас уже убедили, что народ наш убогий да серый! А народ наш могуч и дремлет. Вспомни-ка Илью Муромца! Дремал-дремал, а как поднялся, куда покатилась голова Соловья?! Да сколько же наплодилось этих газетных Соловьев?! Свистят, все свистят о погибели! Ведь до того досвистелись, что будто бы мы самые нищие да поскудные! Не верь! Встанет, проснется Илья, и куда тогда полетит Соловьиная стая? Что же они? Соловушки наши? Карман народный вывернули, медные деньги народные на конвертируемый рубль вздумали менять?! А мне этот рыжий, словно лист опавший, рубль нравится! Я его таким люблю! Будут, Николай, будут тебя ломать! Не поддавайся! Изловчись, вывернись. Соври, да вывернись. Ты для народа рожден, а не народ для тебя! Ты народа в глаза не видывал! А в твоем положении... Ох, как я народ люблю! Вот в прошлом году в Воениздате два моих толстенных тома вышли. Враз раскупили! Любят... — После этих слов глаза романиста наполнились соленою влагой, и он решительно поцеловал в лоб пока еще несостоявшегося литератора.

Приняв этот поцелуй как знак доверия, Николенька целых две недели не вылезал из-за стола, стараясь «двинуть» свой роман... Но незнание народной жизни не позволило ему «двинуть» роман дальше третьей страницы...

* * *

Тут пришла пора, читатель, познакомить тебя с Александрой Егоровной Оладьевой. Пока городок, куда приехал наш герой, закрыт от нас серой марлею тумана, покажу или очерчу вкратце тетю Сашу. Проживала она в огромном доме, где только одних окон было более двадцати. От дороги надо свернуть направо, проехать мимо старого вяза и по мощеному проулку докатиться до высоченных ворот, окованных позеленевшей медью. Ворота эти открывались неслышным образом, что говорило о том, что их тщательно смазывали коровьим маслом. Двор, так же как и проулок, был мощен серым твердым камнем и в жаркую сухую погоду так накалялся, что его приходилось поливать. Дом

имел два входа: один со стороны ворот, другой со стороны сада. Каменный полуподвал поднимал дом над землей, так что приходилось входить по ступенькам. Вход был крытым, а перила резными. Тот, кто приходил, должен был взяться за начищенное до блеска медное кольцо... Но вот и сам герой наш подъехал к темным воротам. Старик соскочил с облучка и отворил ворота. Конь сам, недожидаясь, когда его принудят, протащил коляску во двор.

— Приехали! — радостно сообщил возница Николеньке. Теперь коляска стояла у высокого крыльца, по которому быстро спустились две женщины в темных косынках. Кланяясь и радостно разговаривая, подхватили они Николеньку под руки и словно внесли на ступеньки. Вот тут и увидел Оладьев большое медное кольцо. Но разглядеть его не дали ему две женщины, а быстренько дверь открыли и ввели в огромную, крашенную белым лаком гостиную. Рядом с огромной, крытой изразцами печью стояло кресло, в котором восседала в черном Александра Егоровна. Большое белое ее лицо было словно подсвечено доброй улыбкой. Она протянула к Николеньке руки и тихим низким голосом сказала:

— Подойди, голубчик. У меня нынче так ноги заболели, что и мочи нету.

Николенька, догадавшись, что перед ним его тетушка, шагнул к ней и сразу же попал в объятья. Щека, до которой дотронулся губами Оладьев, была прохладной и крепкой.

— Стул! — неожиданно властно и громко бросила женщинам Александра Егоровна. — Что это?! Совсем опешили! — После этого женщины мигом установили стул напротив хозяйки. — Подите! — махнула она им рукой.

И женщин не стало. Николенька уселся напротив тетки. Мягкий свет шести горящих свеч в канделябрах переливался в серых глазах Александры Егоровны. Голова ее была непокрыта, но серебряные от возраста волосы уложены столь искусно, что Николенька залюбовался. Тетушка взяла правую руку племянника в свои.

— Ну вот, свиделись. Складно ли доехал?

— Нормально, тетя.

— Ты, верно, на мать похож? Хотя и много в тебе оладьевского. Смягчила твоя мать нашу породу. Это не худо. Расскажи, как там дома? Что Петр?

— Папа? Служит.

— Ну Бог с ним. Что у тебя?

— Ничего, тетенька! Так как-то...

Тетушка от этого ответа засмеялась:

— Ты, конечно, не освоился. Мало удовольствия докладывать неизвестной тебе старухе! А вот я уже и полюбила тебя. Думаю, и ты меня полюбишь. А пойдем-ка, мой друг, завтракать станем. Позволь, я обопрусь о тебя.

Тетушка оторвалась от кресла и, крепко напирая на правую Николенькину руку, повела его в столовую. Большой овальный стол был обильно уставлен закусками. Над столом горела большая керосиновая лампа под матовым абажуром. Столовая была небольшая, и сюда также выходила печь. Мебель была старинной и очень хорошей работы. Сев напротив племянника, стала угощать его. Малосольная красная рыба, свежие огурцы, пересыпанные травами, мелко нарезанными. Салатов до десяти. Все это Николенька ел с удовольствием и запивал смородиновой водой.

— А мы с утра сосиски, яйца всмятку и кофе, — разговорился Николенька.

Тетушка во время завтрака так и ни к чему не прикоснулась. После пили душистый чай.

— А постарел ли генерал? — спросила Александра Егоровна.

— Как будто нет, — отвечал Николенька.

— Ну так и хорошо.

— Тетушка, я так мало о вас знаю...

— А что ты знаешь?

— Да знаю только, что вы закончили медицинский, а после с бабушкой уехали в Псел. Но почему в Псел?

— Потому, друг мой, что все Оладьевы пошли из Псела. И хоть род наш и не шибко знатный, а все свои заслуги имел. Да все перечеркнул отец мой, Егор Дмитриевич. Да и вся наша жизнь при отце текла сухо, плохо... Вечно отец придирался к нам, выспрашивал, кто бывает у нас, с кем дружим.. Мамочка же вовсе ни с кем не водилась и очень меня просила пойти в монастырь. Да уж к тому времени не оставалось монастырей. А как институт кончила, война. Ушла в госпиталь. Когда же перебралась в Псел, стала я главным врачом в нашей больнице да так и оттрубила, голубчик, тридцать пять лет... Дом нам дали видишь какой? Дом хороший! Дом Дмитрия Андреевича Оладьева. Местные-то власти, узнав, что мы есть те самые, которые Егора Дмитриевича жена и дочь, отдали дом, должно быть, с испугу! И многое они тут с испугу понаделали. Ну да и я им масла в огонь подливала! Как какая нужда для больницы, шла к первому, а уж он и ножкой-то шаркнет, в платочек покашляет. Хоть и скотина был, но, как всякая скотина, кнута боялся. Помогал...

Слушая эту речь, Николенька, заслушался и не заметил, как сдул ветер туман и теперь за окном нарисовался сад! Но так как Николенька сада еще не увидел, то спросил о городке Пселе?

— Да что городок? Маленький. Всего до трех тысяч человек. Да и те, кто по краю живет, скорее сельских жителей напоминают. Производств больших нету. Есть фабрика, что готовит бочки, есть также гвоздильная фабрика да кирпичный заводик.

— А давно ли умерла бабушка?

— Давно, друг мой... Покойная в Пселе прожила после Москвы полных десять лет. Ведь Псел и ей был родиной. Род мамин шел от Воскобойниковых. Воскобойниковых же никого не осталось. Как-то сгинули они все за годы лихолетья. Народ они были тихий, вреда не делали, вот и сгинули..

— А кто же тогда две женщины, что встретили меня?

— То прижились ко мне. Привезли их из соседней деревни с тяжелыми болезнями. Сестры они. Вот я их и выходила. Три года выхаживала. За то и остались, и все хозяйство на них да на Евдокиме, который и привез тебя. Евдоким у меня служил конюхом. Пришел в больницу молодым, румяным. Я на пенсию, он на пенсию! Коня купили, тарантас купили. Отчего-то и не женился. Прожил жизнь один. Водку не пил, не курил и к работе большой охотник.

Тетушка огладила скатерть и громко позвала:

— Нюра! Марфа!

Вошли знакомые уже Николеньке женщины.

— Убирайте-ка стол, а я покажу Николаю Петровичу дом. Да лампы погасите.

— А зачем у вас, тетушка, электричества нет?

— Не люблю! — улыбнулась Александра Егоровна и поднялась. А за окном сиял сад, полный свежести, мокрый и оттого сиявший куда как ярче сухого. Николай Петрович подошел к окну и был удивлен тем, что тетушкин сад так огромен!

— Подсохнет, пойдем и в сад. Покажу уж! — с этими словами прошли они в гостиную. Залитая сейчас ярким утренним солнцем комната эта еще более удивила Оладьева. Белые лаковые стены, потолки сияли, отбрасывая свет от одной стены к другой. И мебель все белая и лаковая. И только пол был устлан крупным дубовым паркетом. Окна в гостиной шли от потолка до самого низа и были словно составлены из небольших стеклянных квадратиков, перехваченных белыми рамками.

— Весь дом сочинил прадед твой, купец первой гильдии и промышленник Дмитрий Андреевич... Он в окрестностях сыскал медь, завод поставил плавильный. Завод сожгли в восемнадцатом, а медь после никто не добывал, хотя, как сказывают, лежит она прямо под рукой.

Следующая комната оказалась небольшой спальней с широкой кроватью, застланной голубым атласным одеялом. У кровати стоял столик со свежим букетом белых роз на нем.

— Вот и твое местечко, Коленька! — сказала тетя. — Отсюда и выход отдельный. Прямо в сад. Через эту дверочку будешь в кабинет ходить. — И с этими словами Александра Егоровна отворила обитую кожей дверь, и они оказались в кабинете, где стены были уставлены книгами и стоял большой письменный стол. За окном кабинета нежился белым шелком густой жасмин.

— Книги я сама подбирала. Дед твой, Егор Дмитриевич, часто наезжал в этот дом, оттого, верно, он и сохранился. Одно было худо. Библиотеку отца своего велел сжечь и на место его книг свои поставил: Сталин, Ленин да пудовые тома энциклопедии. Их-то я сдала в местную библиотеку. А уж что сама натащила, не обессудь. Что продавали. Поедешь, бывало, в какое село, там чего прикупишь. Есть и старинные. — Тетушка вздохнула и, присев на коричневой коже диванчика, задумалась.

Николенька, оглядев как следует кабинетик, почувствовал себя уютно, и ему вдруг стало весело от мысли, что вот он, как настоящий писатель, станет рано вставать и, напившись кофе, садиться работать. И уж больно приглянулся ему стол красного дерева, с зеленой лампой, большим литым из бронзы чернильным прибором. А кресло! Высокое, обитое коричневой кожей, оно было выдумано так, чтобы сочинитель мог сидеть в нем с ногами и грезить, глядя в окно, за которым благоухал жасмин, а далее весело зеленела лужайка.

— Нравится ли тебе новое жилье? — спросила его тетушка. На что Николенька счастливо улыбнулся:

— Ужасно нравится!

— Так я велю налить тебе чернил. Ручки у меня хорошие, а перья купила я в Москве у одного китайца еще до войны. И хоть стоили они дорого, да зато золоченые и не скребут, а прямо бегут по бумаге. И бумага у меня преотличная... — Тетушка поднялась и поцеловала племянника в висок.

— Думается мне, ты бы писателем хотел быть.

— Почему вы так подумали?! — вздрогнул Николенька.

— Глаза выдают, голубчик!

И тут словно какая пружина толкнула молодого Оладьева, да так, что он раскраснелся и с неведомым доселе ему самому жаром выпалил тетушке все, что ему грезилось! И про народ, который до сих пор ему неясен, и про то, что как кончит третью страницу, тут все и заканчивается.

— Мне особенно тяжело описывать природу! Как будто бы я ясно вижу ее, а слова не подбираются! Или стану разговор приводить, а он так скоро кончается, будто бы и не начинался! А так хочется много, много написать! Я и карандашом пробовал, и фломастером. Не получается, может, и в самом деле нужны китайские перья?!.

— Терпенье нужно, голубчик мой... И всем нам, живущим, терпение надобно. — С этими словами достала тетушка из потайного шкафа толстую, в зеленом сафьяновом переплете, тетрадь. И когда открыла дверцу, то увидел Николенька вороненую сталь большого пистолета... «Кажется, это ТТ...», — подумал он и промолчал.

— Знала я, что когда-нибудь сумею тебе передать записи прадеда твоего... Много тут тебе будет полезного и многое после пригодится. Записей немного, а все же... — Александра Егоровна с любовью погладила зеленый сафьян, словно он был живой и чувствовал тепло ее ладони. — А пойдем-ка в сад! — сказала тетушка.

* * *

Сад! Тот счастливчик, кто имел возможность видеть такой сад и гулять в нем! Чтобы в него попасть, надобно было пройти просторную закрытую цветными стеклами веранду и по каменным ступеням сойти на песчаную дорожку. Дорожка эта после превращалась в целую аллею густых лип, которые сейчас цвели и под воздействием горячего солнца пахли так, что, верно, ни одна пчела, жившая в округе, не могла бы без трепета чуять этот волшебный настой!

По одну сторону аллеи стояли фруктовые деревья, а по другую — несколько старых дубов и множество разных цветов. Среди яблонь показалась фигура Евдокима Дмитриевича, который подставлял подпорки под длинные, усыпанные пока еще мелкими плодами ветви. Завидя тетушку и племянника, он подошел к ним. Парила, источая грелый запах, земля, гудели пчелы, а над лужайками весело пестрели бабочки.

— Гуляете? — спросил их Евдоким и сам же ответил себе. — Гуляете.

— А что, Евдоким, не поедешь ли овес глядеть? — Тетушка положила на плечо племянника руку. Как поедешь, возьми Николая Петровича. Ему хорошо будет окрестности оглядеть.

— Завтра и соберемся. Да что там овсы? Овес еще в зелени. Овес рано глядеть. А вот не хотите ли земляники собрать? Есть такие места, что в одночасье короб наберем!

— Ну? — остановила его тетушка. — Что он, девка какая за ягодой бегать? Ты Николаю Петровичу овраг покажи, Бел-озеро покажи, коли овсы не хочешь.

Евдоким покивал серебряной головой и огладил левой рукою бороду. Сейчас Оладьев хорошенько разглядел его. Невысокий, с большим широким лицом, на котором нос был словно приплюснут, отчего лицо делалось как бы шире. Лоб, наполовину чистый, нависал над кустиками редких бровей. На нем была голубая рубаха с оторванным воротником, милицейские штаны и сапоги, подвернутые до половины. Разговаривая с тетушкой, Евдоким всегда опускал свои светлые глазки и жмурился, отчего казалось, будто он улыбается.

— Ну, есть нужда — покажу.

— Покажи! Да съезди за керосином. Керосин понадобится. Ты в кабинете заправил лампу?

— Третьего дня.

— Ну вот! А как выдохся?

— Проверим.

— Проверь! — И тетушка, отвернувшись от Евдокима, повела Оладьева по аллее. Там, где она кончалась, сразу шел крутой спуск. Перед Николенькой открылся огромный, никогда не виданный им такой величины овраг. До противоположной его стороны было никак не меньше двух километров. Овраг густо зарос шиповником, отчего тянуло на стоящего здесь Оладьева неповторимым его запахом. Глубоко внизу желтела дорога.

— Вот он, тот самый овраг, — сказала тетушка. — Начинается он у села Селезневка, кончается далеко за Пселом. Селезневские по нему дорогу устроили. Много веков мыла его вода, покудова какой-то умный человек не посадил в самом его начале лес, а по бокам насадил черемухи. Последние годы поселился тут и шиповник. Сейчас черемуха отцвела, а то бы ушли отсюда пьяными. Такой у черемухи пьяный запах.

Неподалеку от крутого обрыва стояла лавочка, к которой вела тропа. Вокруг этой лавочки заботливо посыпано песком, и над нею стоял зонтиком навес. Тетушка тяжело уселась и, положив руки на колени, тихо сказала:

— Люблю я тут посидеть, и ты ходи сюда. Тут тебе хорошо будет.

Ах, как струился над оврагом воздух, словно какая волшебная небесная река текла поверху и несла, несла в неведомые дали токи густой гретой земли и небесной прохлады.

И почудилось Николеньке, что та река утекает в иной мир, где вечная тишина, покой и где не надо ходить в институт, чтобы получать казенные и никому не нужные знания о социалистической экономике. Вся ее абсурдная плановость, бухгалтерские отчеты и прочая ерундистика— всё разом сдуло с Николеньки, и сидел он рядом с тетушкой, словно погруженный в сон.

* * *

После обеда спали. Николай Петрович вначале удивился такому предложению, но противиться не стал и, поблагодарив Александру Егоровну, ушел в свою спаленку. Окна в ней были заботливо прикрыты ставнями, и полуденный зной не ощущался вовсе. Николенька разделся и лег поверх одеяла. Только ему захотелось осмыслить свои впечатления, как его тут сморило, и он безмятежно уснул. Пусть спит наш герой, разрумянившись от здоровья и свежего воздуха, а нам предстоит немного погулять по городку, который в этот час словно вымер. Но от этого даже и удобнее. Не надо утомлять читателя разными прохожими, потому как все провинциальные прохожие как две капли воды схожи друг с другом, в какой бы части России они не жили. Однако Псел имел некоторую несхожесть со многими городками таких же размеров. А несхожесть была в самой постройке городка. Центр его был выстроен из камня, выстлан камнем и никогда не асфальтировался. Дома оставались крепкими и по сию пору освещались газовыми фонарями. Люди в этом городке были мирными и не очень стремились цивилизовываться. Хотя был момент, когда жизнь спокойная едва не рухнула. Вздумали в нем строить химический комбинат небывалых размеров, купили для этого оборудование в ненашей державе и завезли. А как завезли, сразу и обнаружили, что не из чего тут химическую продукцию производить, и уже не было денег, чтобы вывезти оборудование в другие места. Тогда бросили его на берегу реки, поставили сторожа Ивана и на этом покончили. Сторож Иван был таким сторожем, о котором говорили, что он точно родился сторожем. Приходя на службу, он тут же залезал в свою будку и засыпал. Спал он по восемнадцать часов, отчего никак не умирал, а только становился моложе, хотя и зубов не стало и глаза слезились. Местные мужчины вначале робко ходили потрогать ящики, после сломали их и, найдя много хорошего железа, растащили по хозяйству. С того времени у многих крыши блестели нержавеющей сталью, а Степан Кудеяров, самый дошлый в Пселе мужик, отколупал все проволочки и соскоблил с них два пуда серебра и пуд платины. А как получил эти пуды, продал дом и пропал. Говорили, будто бы он убежал в Латинскую Америку, даже кто-то силился припомнить город, где он поселился и открыл магазин. И сейчас на берегу реки стояла будка сторожа Ивана, и он в ней спал, охраняя пустое место, где не осталось даже обломков тары.

Был, конечно, в городке и райком, возле которого стоял окрашенный черной краской вождь величиной с семилетнего мальчика. Райком располагался в бывшем магазине купца Рябова. Поначалу этот дом прибрала к рукам ЧК, а уж после... многое, конечно, в этом мире было «до» и «после». Впрочем, камень твердых пород, что застилал центр городка, быстро кончался, и уже шли улочки да переулочки ничем не покрытые. В горячей пыли купались куры, собаки, вытянув розовые языки, валялись в тени домов или заборов да одинокая фигура коровы, протяжно ревущая перед закрытыми воротами. Видно, отбилась от стада и вернулась домой, не подозревая, что хозяева на работе...

Скучно ли в Пселе? Скучно!

И кинотеатр есть, где сыро, как в погребе, и два видеозала, где потрясали своей мощью киногерои Америки, а все равно скучно. Вон серая «Волга» с секретарем райкома Виктором Викторовичем повезла его на обед. Устал секретарь! Жарко! По лицу стекают капли пота и в глазах тоска и невообразимая скука! Думалось партийному руководителю, что хоть бы сняли его, что ли? Хоть бы какая-нибудь была ясность, куда грести дальше! Проезжая мимо фабрики по изготовлению бочек, которых было столько, что дух захватывало, но стояли они годами, рассыхались и сжигались время от времени. А тут как нарочно главный инженер из новых сообщил, что, мол, в бочках нуждается страна Швеция! И что они готовы сами их вывозить...

«Зачем же им, паразитам, бочки?! — думал Виктор Викторович. — Да еще за валюту?! Нет, эти сукины дети что-то придумали... Обманут, а тебя накажут! Нельзя продавать... Зимой сожжем!» А проезжая мимо редакции, что были в маленьком деревянном особняке, вовсе поскучнел первый... Еще недавно газета, что выпускалась в данной редакции, именовалась «Псельской правдой», а вот сейчас «Псельский листок». И все оттого, что пришел главным свой же, псельский, но получивший диплом в области... стал судиться, рядиться, отдал газету местному Совету и громил, и громил его, Виктора Викторовича... И так он устал от этих разговоров, что однажды, сильно выпив со своим шофером Баевым, предложил тому сжечь редакцию, а главному, по фамилии Кустарев, набить морду или выбить глаз. Хорошо, что, сильно выпив, упали оба на берегу озера и уснули. Проснувшись, поняли, что, не усни, могли бы... Да! Сон охраняет человека, как и сторожа Ивана, так и Николеньку Оладьева. Ну, пора поднимать героя. Правда, мы не оглядели маленькой церкви, крашенной голубенькой краской и где служил старенький отец Василий, но после, после... А пока спешила к дому Александры Егоровны хрупкая девушка с бледным лицом и большими серыми печальными глазами. В ситцевом платьице, была она как-то по-особенному грациозна и тороплива. Девушка эта, Анечка Нестроева, — дочь бывшего прокурора города Псела, Федора Степановича Нестроева. Бывший прокурор был вдовцом и сейчас умирал. Дочь его, только что окончившая школу, решившая поступать в институт иностранных языков, еще не знала, что в Пселе не любили английский... Ни один горожанин не верил, что знание этого языка откроет ему неведомые двери в неведомый капиталистический рай. Все как один были уверены в другом, а именно — что для этого нужны связи, которых ни у кого не было! Потому все прочно усвоили: не надо учиться долго, а надо жить и ждать... Правда, ожидание чего-то затянулось, зато можно было поспать после обеда, а встав, пнуть собаку или жену, пойти в пивную или к старухе Загодаевой, что торговала самогоном вместе с сыном, Загодаевым Анатолием. А отчего же умирал Федор Степанович, бывший прокурор? С того момента, как отправили его на пенсию, он затосковал. Поначалу стал Нестроев писать разоблачения о местных начальниках. Но все его разоблачения оставались без ответа. Молчала область, молчала Москва, молчали все газеты, куда он писал свои тревожные письма. Более всего терзала прокурора Александра Егоровна Оладьева! Это она, по его мнению, была сектанткой, занималась шарлатанством в области медицины. Как смела она лечить больных на дому?! И конечно же за огромные деньги! Правда, больные выздоравливали, но не признавались, во сколько им это лечение обошлось. Взяточница, пройдоха, как смела она проживать в своем доме, в таком доме, которого не было ни у прокурора, ни у судьи и даже у секретарей райкома. Многие годы, когда Федор Степанович был у власти, приходили к Оладьевой разные инспекции, проверяли, допытывались, как всегда, безрезультатно... И вот стала мучить его тоска. Потихонечку она присосалась к нему, мучая поначалу только ночью, а в последний год невыносимой стала жизнь Федора Степановича. Он исхудал, побелел, и нос его словно бы обмяк. Неделями не вставал бывший прокурор с постели. Единственная дочь Анечка первое время пыталась вернуть ему настроение, но тщетно! И сама Анечка от этого похудела, побледнела, и жизнь ее стала тягостной... Видя, что дни отца сочтены, решилась она обратиться к Оладьевой. И хотя знала, что Александра Егоровна ненавидела бывшего прокурора, а тот в свою очередь ненавидел ее, Оладьеву, пошла к ней. Она шла и думала, почему от отца пошел дурной запах и зачем он кричит, когда она заводит разговор о врачах? И тяжко, тяжко было у нее на душе... И страшно, страшно было идти к Оладьевой...

* * *

Александру Егоровну она застала сидящей на крылечке в кресле.

— Что ты, деточка, пришла? — спросила у Анечки старуха. Анечка вспыхнула, потерялась и чуть не плача сказала ей, зачем она тут.

— Умирать, говоришь? Что же, пожил, и довольно! Гадкий он человечек!

Анечка разрыдалась и уж было повернулась, чтобы скрыться от суровых глаз Оладьевой, как та ее остановила.

— Пойдем в дом!

В доме напоила чаем, расспросила все как следует и задумалась. Вот тут-то и вошел молодой Оладьев и, увидев Анечку, поздоровался. Тетушка вскинула на него глаза.

— Вот племянник мой, Николай Оладьев. А это дочь бывшего прокурора Нестроева, Анечка Нестроева. Посиди, голубчик, поговори, а мне отлучиться надо. — С этими словами тетушка вышла.

Поразила, если не сказать — пронзила, Николеньку какая-то невиданная доселе ему прелесть в лице Анечки.

— Вы из Москвы? — тихо спросила Анечка.

— Да! Я учусь на экономическом факультете, мне еще остался год!

— А я закончила школу... — и слезы покатились из ее чудесных серых глаз.

Николенька так растерялся, что побледнел.

— Зачем вы?!

— Как мне тяжело! — воскликнула Анечка и закрыла лицо ладонями.

* * *

Рядом с кухней у Александры Егоровны был свой кабинет. Ряд длинных полок уставлен всякого разного размера склянками, бутылками и бутылями. На каждой по-латыни надписи. Это все были настои и настойки, которые и принесли ей славу и ненависть прокурора. Да, Александра Егоровна поднимала таких больных, которым ставили раковые диагнозы. Привозили к ней из разных мест умирающих, а уходили они уже на своих ногах. И никто не знал тайны тех трав, какие знала только она, Оладьева.

Когда Александра Егоровна вернулась, держа в руках флакон с таинственной жидкостью, Анечка и Николай уже нашли для себя общую тему, а именно говорили о театре.

— Нет, я теперь совершенно не хочу в театр, — говорил баском Николай, и ему нравилось, как он сейчас складно изъясняется. — Пьесы глупые и пошлые. Игра актеров раздражает. Им нечего играть, вот они и закатывают истерику в самых банальных местах!

— Ах, нет! — протестовала Анечка. — Сейчас актеры стали умнее, они тоньше понимают психологию!

— Да в чем она, эта психология? — спросил Николай и остановился, заметив появление тетушки. Александра Егоровна поставила флакон.

— По шесть капель прямо на язык, водой запивать не надо. Через каждые полчаса. К утру пройдет одышка. Да обмани его. Скажи: капли взяла в аптеке.

Анечка поблагодарила и стала собираться. Николай взялся проводить.

Выйдя на жаркий воздух, обоим расхотелось говорить о театре и потому почти всю дорогу молчали. Николаю так нравилось глядеть на ее тонкую жилку у виска и почему-то жалеть именно эту жилку. И еще ему хотелось спросить, любила ли она, а может, и продолжает любить?

А о своей любви он сейчас и не вспомнил. Уже у самого дома, когда Анечка протянула ему руку, он с жаром пригласил ее бывать у них.

— Приходите, мне нужно кое о чем у вас спросить!

Анечка пообещала и скрылась за дверью. Николай оглядел большой каменный дом бывшего прокурора, ставни которого были наглухо закрыты. Возле дома не росло ни единого кустика, а только стоял фонарь и зачем-то горел.

Что же происходило в доме Федора Степановича Нестроева?

В больших полутемных комнатах стоял душный и дурного запаха воздух. Было тихо и только буднично в каком-то углу скреблась мышь. Анечка прошла к отцу, который лежал в кабинете на большом черном диване. Исхудалый, с провалившимися глазами, он тихонько постанывал.

Анечка накапала лекарство, как велела Оладьева.

— Что это? — тихо спросил отец, не открывая глаз.

— Это врачи выписали... Сказали, будет легче.

— Дураки они... Дают отраву! И ты дура! — Старик спустил с дивана длинные худые ноги с желтыми, словно обмылки, ногтями.

— Чего вы все ругаетесь, папа?! — воскликнула Анечка и заплакала.

— И опять же ты дура! Чего ты все плачешь да плачешь? Не болезнь это у меня! А тоска... Скучно мне!

Тут в кабинет вошла Серафима — женщина непонятного возраста, большущая, костистая, с длинным, как у лошади, лицом. Она поселилась в доме Нестроевых, когда тяжело заболела Анечкина мама. Прокурора она поначалу боялась и потому говорила тихим, почти мужским голосом. Всю черную работу она вела не особенно хорошо, а любила хорошо выпить и потому часто бегала к старухе Загодаевой и возвращалась от нее пьяная вдрызг! А уж когда умерла Анечкина мама, само собой получилось так, что всю власть в доме отдали ей. Анечка боялась Серафимы и глухо, тайно ее не любила. Не секрет было и то, что прокурор какое-то время с ней сожительствовал, для чего и разрешал спать в спальне, на месте покойной. После возненавидел ее и выгнал на кухню, спальню замкнул, а сам перебрался в кабинет. Но люби — не люби, а жить-то надо было! Кто ж должен был мести полы, стирать и готовить? Потому Серафима и осталась. Да и как ей не остаться, когда у нее ни кола, ни двора, ни даже той деревни, где она выросла, давно не было. По дому она ходила босиком, беспрестанно матерясь, и курила «Беломор». Анечка для нее была как бы пустым местом, а потому и разговора у них не было. Войдя в кабинет, она грубо ткнула старика в плечо:

— Чего вставать задумал?! Лежи больше, помрешь легче!

Федор Степанович поглядел в ее желтые пьяные глаза и плюнул.

— Скотина! — отреагировала на его действия Серафима. — Жрать-то будешь?

— Уйди! Уйди отсюда! Кто тебя звал?

— Тетя Серафима! Как так можно?! Человеку тяжело, а вы?! — вспыхнула от гнева Анечка.

Серафима только рукой махнула и вышла на кухню, чтобы там греметь посудой и материться так, что было слышно даже на улице. Прокурор безнадежно уставился в пол и заплакал. Ах, прокурор, прокурор! Ведь был же когда-то статным, красивым был! Скольких ты посадил и сколько народу тебя боялось. Только одна Оладьева... Вот она, его отрава! Не сумел уличить, подмять! Он плакал и проклинал себя! Проклинал за то, что сожительствовал с Серафимой... А ведь и получилось как бы с горя... После смерти жены запил он втихую. Посылал к старухе Загодаевой Серафиму, а после с ней же и распивал желтую сивушную самогонку. Вот так по пьянке и улеглись они, а там пошло-поехало! И только когда получил он по службе выговор за появление на работе в нетрезвом виде, то опомнился и затосковал. И не было ни конца, ни края у прокурорской тоски. Любил ли он дочь? Нет, не знал он точно. Как-то сама она выросла, выучилась и теперь стояла перед ним словно чужая. Пытался он вспомнить ее маленькой и не мог вспомнить. Все затянулось в сознании серой пеленой, и помнились только уголовные дела, дела, речи, речи... А ведь и мечта была! Да какая! Стать областным, а после... может, даже и главным прокурором Страны Советов. Но самогонка старухи Загодаевой и ее сына Анатолия пресекли эту мечту. Пришлось подать в отставку...

«И ведь живет, подлая! — подумалось ему. — Ведь чего было проще, как взять и посадить ее... Так нет, тайно ей покровительствовал... за что и тащила в дом бесплатную жгучую влагу проклятая Серафима...» Сам прокурор и в глаза-то не видывал этой подлой старухи, но приходил к нему по ночам сын ее, Анатолий. Имел этот Анатолий белое бабье лицо, говорил тихо и никогда не смотрел в глаза. А приходя, приносил он особой выделки самогон, такой чистый и прозрачный, словно бы в бутылки наливали воздух. И ждал этого часа прокурор, мучаясь похмельем, ждал, когда за полночь постучит Загодаев, тихонько зайдет и с улыбочкой, вежливо поставит бутылки на стол и так же тихонько попятится назад. Сам же Анатолий спиртного в рот не брал, не курил и, как говорили, был сектантом, а потому и не женился.

«Кто сейчас к ним ходит?» — подумалось бывшему прокурору и показалось, что ходит в загодаевский дом весь город.. И не ошибся! Редкий человек миновал этот дом, какой бы чин или пост он ни имел. И еще все знали, что Загодаевы самые богатые люди в Пселе. Так при нужде и откупиться могли. Но одного не знали жители Псела, что Анатолий, сын Загодаевой, не потому не женился, что сектант, а оттого, что он летал. И до того Анатолий был изумлен своей способностью, что всякие другие интересы пропали в нем. А делал он это следующим образом: когда городок засыпал, выходил он во двор в широкой голубой рубахе и, оторвав ноги, словно шар, уплывал в темное небо. Поднявшись над городком, кружил он одиноко и думал, зачем ему такая способность. Да и летать-то он не любил, но что-то всегда тянуло его вверх. Этим «что-то» был внутри его пузырь, который и подманивал его подняться в небо, и оттуда слушал Анатолий слабое потявкивание местных собак. Знал Загодаев, что многие стремились улететь в Швецию, но его туда не тянуло, да и где она, эта Швеция? Может, ее и вовсе нет! Налетавшись, садился на свой двор и шел спать. Старуха-то Загодаева знала о секрете сына, но молчала. И всякий раз, когда он прилетал, думала так: «Черт он у меня, что ли?!»

* * *

Всю первую неделю Николенька прожил как в тумане. Во-первых, с самого утра он уже дожидался прихода Анечки. И хоть знал, что не придет Анечка раньше полудня, все равно ждал.

Ожидание... Да помните ли вы, а те, кто не помнит, знаете ли, что такое ожидание?.. Как, чем оно загадочно?.. Ну, во-первых: придет или не придет?

Ну, во-вторых, если придет, то что же будет?

А в-третьих, сбудется ли то, о чем думалось...

О, Господи! А о чем нам с вами только не думалось... Но только в ранней молодости свойственна людям легкая, эфирная чувствительность, с годами она словно бы вытекает из нас, и чтобы ее припомнить в старости, приходится выпивать граммов двести коньяка.

Пока же герой наш был полон до краев бурлящими в нем чувствами. От тетушки он в подробностях узнал о жизни Анечки Нестроевой, а также о разладе с прокурором Нестроевым, который, оказывается, мстил ей за то, что она ему в глаза сказала о его беспутном поведении. Беспутство это заключалось в том, что, имея на руках крохотную дочку и больную жену, возил он в дом разных женщин и жене приказал близко не подходить к больнице.

— Самодур он был преогромный,— вспоминала Александра Егоровна, — а все оттого, что большую власть имел, меня же боялся, помнил, кем был мой отец. Мать Анечки учила музыке детей, была доброй и застенчивой... Но пока жив прокурор, не будет у девочки счастья. Нравится она тебе?

— Да! — признался Николай. — Она совершенно необычная. И не кривляется и не лжет!

— Она прекрасна, друг мой, как бывают прекрасны обычные полевые цветы. Можно пройти и смять их нечаянно ногой, а можно подолгу любоваться их красками. Ты человек взрослый и потому прошу тебя отнестись к девушке серьезно. Я глупостей не люблю... Ну, да ты у меня, дружочек, добрый! — Александра Егоровна поцеловала племянника и пошла доглядеть, как готовят обед Марфа и Нюра.

От Евдокима Дмитриевича услышал Николай рассказ о них. Сидя под навесом, старик чинил сбрую и, заметив, что Николай, вышедший во двор, внимательно следит за его работой, подозвал его.

— Что, хороша ли сбруя? — спросил он

улыбаясь. А сбруя была хороша! Черной, мягко выделанной кожей с медными бляхами.

— Это Пряхин Иван, мастер. Только у него руки и остались.

В этот момент и появились Марфа и Нюра с прикрытыми платочками лицами. Завидя старика, тут же скрылись.

— А что это они все лица прячут? — спросил Оладьев.

— Тут, брат, история! Тетушка ваша подобрала их в деревне. Болели они дурной болезнью, которой награждаются те, кто ведет блудную жизнь! Болесть та заражает кость. Вот носы-то у их и провалились. Да и жизни осталось на грамм. Пожалела их Александра-то Егоровна. Привезли мы их в дом. Ну, прям шкилеты какие! Долгонько билась с ними тетушка твоя. Однако подняла, выходила, но строго приказала блудным делом не заматься! А выучила их помогать больным, которые в ту пору часто сюда ходили. Вот и живут уж лет двадцать. Александра Егоровна в строгости их держит! Потому как сколь они разных людей через себя заразили. Грешницы они, И ты, голуба душа, построжей с имя! — После старик улыбнулся и сказал: — Вот починю сбрую, поедем кататься!

— А можем ли мы взять Анечку?

— За честь почту. Чистая душа!

Как всегда, Аня приходила к обеду, потому что Александра Егоровна сердилась, если Анечка у них не обедала. Обедали долго, ставились салаты, рыба, щи из свежей крапивы, хлеб домашней выпечки.

Отобедав, тетушка уходила спать, а молодые шли в сад, где долго гуляли, но говорили мало. Николай наблюдал за Аней и каждый раз, когда она замечала его взгляд, терялся и краснел. Краснела и Анечка. Вот и сегодня вышли они в сад, наполненный к этому часу летним трепетным светом, который, блестя и переливаясь на листьях, словно сеялся на песочную аллею.

— И как же у вас красиво! — воскликнула Аня. — Всякий раз от этой красоты у меня замирает сердце! А у нас ужасно... Огород зарос полынью и крапивой... Забор повалился... мне так тоскливо в нашем доме. А вы знаете, Николай, я никак не могу к вам привыкнуть. Вот вы смотрите на меня, а я не могу понять: зачем вы смотрите?

— Я вами любуюсь! — выпалил Николенька.

Анечка широко открыла свои и без того огромные глаза, губы ее задрожали, и она прошептала:

— Вы хотите сказать, что любите меня?!

— Да, я вас люблю... — тихим же шепотом ответил Николай и губами дотронулся до ее щеки. Анечка задумалась, а после спросила:

— А как вы думаете, люблю ли я вас?

— Не знаю.

— Но ведь вы уедете!

— Я еще не скоро уеду.

— И все равно вы уедете... Поэтому нам лучше быть друзьями. Давайте станем друзьями, и когда вы уедете, то я вам писать письма буду... Я еще никому не писала писем. А вы мне будете писать?

— Конечно!

— Я вот думала ехать поступать в Иняз, а как отца бросить? Как вы думаете, на будущий год не будет поздно? Сейчас от капель, что дала Александра Егоровна, ему стало легче, и он уже хорошо спит. Может, к будущему году ему совсем станет хорошо, и тогда я поеду...

— А почему вам непременно надо в Иняз?

— Я очень английский язык люблю. Я уже хорошо читаю и пишу. Я все сама! Так хочется куда-нибудь уехать... Меня уже сейчас берут преподавателем в дошкольную группу! Так что к осени я пойду работать. Я детей очень люблю.

Николай шел и думал, почему это у нее, у Анечки, еще такой юной, как-то все ясно, и она даже работать пойдет, у него же ничего не ясно, а главное — не хотел он идти заниматься работой.

Неожиданно Анечка остановилась и прижалась к нему.

— Не уезжайте! — Смутилась и добавила: — Пойдемте, я вам овраг покажу.

...На дне его было прохладно, и дорога, которая сверху казалась тонкой, стала вдруг широкой. Росло много черемухи и где-то за кустарником звенел ручей. Николай ощутил сырость и свежесть. Было хорошо идти и видеть над собой небо.

— А зимой мы здесь на санках катаемся! — Анечка уже успокоилась и даже сама крепко держалась за руку Оладьева.

— Знаете, Аня, а я хочу писателем стать.

— Правда? Это хорошо! Я очень люблю читать. Я особенно Тургенева люблю, а вы?

— А я вас, — сказал Оладьев.

* * *

Пока наши герои гуляли по оврагу, Александра Егоровна велела Евдокиму Дмитриевичу запрячь коня и поехала к прокурору. Войдя в комнаты, она покачала головой и строгим голосом спросила:

— Федор Степаныч, ты где?

Из комнаты послышался кашель, и появилась длиннолицая Серафима. Лицо ее еще более вытянулось, и вместо ответа она хрюкнула.

— Где хозяин? — спросила Александра Егоровна.

Серафима открыла дверь. За дверью лежал бывший прокурор и оторопело оглядывал вошедшую Оладьеву.

— Ну что, доживаешь, супостат?! — Она взяла его за руку, после оглядела глаза и присела на стул. — Плохо!

— Что плохо? — хрипло переспросил Нестроев.

— А то, что, можно сказать, кончил ты свою печенку. Цирроз.

— Помоги... — сухим ртом попросил Федор Степанович.

Александра Егоровна достала из саквояжа бутылочки. — Будешь пить, когда плохо станет... По столовой ложке... И зачем ты жил? — Она поднялась и вышла.

Евдоким дожидался у ворот. Александра Егоровна влезла в бричку. Евдоким отчего-то догадался, что не станет скоро Нестроева, и в душе порадовался за Анечку, к которой как камень привязался прокурор. Евдоким было повернул в гору, но Оладьева велела ехать на кладбище.

— А что, Евдоким, возьму-ка я Анечку к себе, не след ей оставаться в том доме.

После, как подъехали к кладбищу, сошла она и встретила у ворот пьяницу Кирьянова. Каждое лето Кирьянов этот спал среди могил. Завидя Оладьеву, ощерил он свой давно беззубый рот и как-то по-собачьи побежал к ней.

— Голубушка, Егоровна! Он-оно как! Хорошо к вечеру к могилочкам! Покойникам хорошо, радостно покойникам! Порадовала, золотая. Руки у меня корявые и такие же корявые ноги, так как с весны и до осени ходил без обуви.

Оладьева достала три рубля и подала их Кирьянову.

— На-ка уж. Ну что, хорошо ли на этом свете?

— Хорошо! — Кирьянов еще больше ощерился. — Мне бы, да нехорошо? Когда хорошие люди есть, вот оно и хорошо! Не проводить ли, Егоровна?

— Ступай. Мне одной надо.

Старуха прошла мимо могил и, дойдя до черных гранитных крестов, где золотом были выведены фамилии Оладьевых, села на скамеечку. Все было чисто убрано, цвели белые розы и сонно гудели мухи.

* * *

А накануне вечером с секретарем райкома Виктором Викторовичем произошел чрезвычайный случай. Вернулся он за полночь из колхоза «Красный маяк», где оглядывал покосы вместе с председателем Шишкановым, и поскольку оба остались довольными, то и решили славно поужинать. Пригласили двух незамужних доярок, голосистых и твердых телом. Поужинали, а после, выехав в поле, еще и попели как следует. Стемнело, и поехал наш секретарь до дому. Всю дорогу он рассказывал шоферу Баеву о превосходстве колхозного строя над частным.

— Во-первых, — говорил Виктор Викторович, — не будет председателей! А это большая потеря. С кого я спрошу? А так, сам видишь, приехали, поглядели! Вон, ты даже мясо домой везешь. А так, разве даст тебе частник своего мяса? Он тебе скажет: иди на базар, а там я тебе его продам!

Одним словом, убедил он своего шофера. Подъехав к дому, распрощался Виктор Викторович с Баевым. Тот развернулся и уехал. Вот тут-то и случилось... Услышал секретарь, как по каменной брусчатке кто-то идет, и поразил его звук шагов, словно идущий был обут в железные башмаки.

Идущим оказался мальчик... Вернее, так показалось Виктору Викторовичу, что идущий был мальчик. Но когда тот поравнялся с секретарем, то это оказался вождь, тот самый, что стоял перед райкомом... Обомлел секретарь!

Вождь же, не обращая внимания на полное замешательство Виктора Викторовича, спокойно, со свойственной ему картавинкой спросил:

— Ну, так что же товарищ?

— А что? — не понял вопроса секретарь.

— Подошли к кризису?

— Не знаю! — честно признался Виктор Викторович.

— Так-то, батенька! А пора бы и знать! Надо учиться и учиться! И беспощадно учить других! А вы вздумали водку пить! Водку пить можно, когда все образуется! — Вождь погрозил железным пальчиком.

— В последний, батенька, раз!

И, цокая, пошел вождь далее, заложив руки за спину. А Виктору Викторовичу подумалось: как же заберется вождь на свой постамент? Не пойти ли помочь?! И это последнее, о чем он подумал. Что-то темное застлало глаза, и упал секретарь перед домом своим. Обнаружила его жена, вызвала «скорую», и увезли Виктора Викторовича в больницу. Однако от этого жизнь в городе не прекратилась, а текла по-прежнему. На заседании райкома было высказано предложение отправить первого в Крым, отдохнуть. Но уже к вечеру стало ясно, что у первого душевная болезнь... Рассказывал главный врач больницы, что Виктор Викторович спорит с вождем мирового социализма и укоряет его в том, что в идеях вождя никакого прогрессу нет! И что вообще нет никакого прогресса!

— Как же так?! — кричал секретарь, глядя в темный угол палаты, — обещали вы полный крах капитализма? Обещали! А где он? Какой там, к черту, крах, когда они уже опопоумели от изобилия, а мы тут чахнем, да еще привилегий лишились! А был бы прогресс, то должны мои привилегии год от года расти! А то на прошлой неделе заглохла моя машина прямо посреди огромадной лужи. И пришлось мне прямо по этой луже в ботинках... И пешком на работу... Вот тебе и привилегии... А пальчиком-то грозить всякий может... Или взять Кустарева! Ведь его же, по-хорошему, расстрелять надо!

* * *

Пошел по городу слух о случившемся. И все горожане неодобрительно подумали о Кустареве. Раньше подумали, а после уже и заговорили.

— В самом-то деле, кто он такой? Кто он, Кустарев этот? — Такой вопрос задала ответственная за идеологию Клавдия Ивановна Петухова. — Ведь затравил! — уже решительнее высказалась она высоким контральто.

— Сами виноваты... — унылым голосом сказал пожилой Василий Николаевич Уваров, он же председатель местного Совета. — Не надо было беспартийного на эту должность принимать. Теперь попробуй, спроси с него... Ошибка допущена, а вот и результат! Лишились мы первого... — И Василий Николаевич поскреб сморщенную щеку. Это у него такой рефлекс на все нежелательное. — А с другой стороны, как же нам реагировать на антиленинскую пропаганду, что сейчас буровит наш первый? — опять же унылым голосом продолжил пожилой Уваров. Но все молчали. По-

тому что все думали так же, как и Виктор Викторович, но все одинаково невзлюбили вольнодумца Кустарева.

Однако что же это за человек такой, Кустарев Сергей Павлович? Лет ему тридцать, он высокий, худой, с большим мягким носом и, разговаривая с кем-либо, смотрит ехидно. Был он холост, но похаживал в гости к Лизе Широковой. Впрочем, об этом можно и после. Когда до Сергея Павловича дошли слухи, он заржал. Дело в том, что смеяться Кустарев не умел, а именно ржал. Поржав минут пять, он тут же дал задание своей сотруднице Лизе Широковой выяснить истинные причины случившегося с Виктором Викторовичем, а также попытаться лично выслушать того.

— Ты, Лиза, вначале узнай, где он до этого случая был! Поговори с главным врачом, выясни диагноз! И проникни к Виктору Викторовичу! Ясно?

Некрасивая Лиза Широкова, обожавшая своего шефа, решительно тряхнула коротко стриженной головой.

— Мы их разгромим! — торжествующе бухнул Кустарев. Он состоял в партии демократов, которых не так давно зарегистрировали в областном центре. Все сотрудники редакции также состояли в данной партии, кроме уборщицы тети Мани. Тетя Маня не состояла ни в какой партии, впрочем, как и большинство населения городка.

* * *

Через неделю после случившегося события умер Федор Степанович Нестроев. На третий день его схоронили, а к вечеру пришел пьяненький Кирьянов к свеженасыпанному холмику и, достав из тряпичной сумки красного вина, сел поговорить с бывшим прокурором.

— Скучно тебе? — спросил Кирьянов.

— Да так, ничего себе... Лежу вот...

— Лежи, лежи. Тут, дружок, ничего не поделаешь. А крещеный ли ты?

— Нет. Я в это не верю!

— Ну да... Это уж как кому... Этому эдак, другому так... Да! История! А хорошо тебя похоронила Оладьева! Славная она женщина.

В ответ бывший прокурор промолчал, словно задумался.

— А мне вот всех жалко, — продолжал Кирьянов, потягивая винцо. — Все люди... А что и делать, коли так ты родился? Родился—живи! Только вот одни рано родятся, другие позже. Опять история. Анечка твоя к Оладьевой перешла. Дом, однако, оставила Серафиме. И что? Верно. Пущай живет. Тоже человек, тоже живой. А мне вот, к примеру, кажную травинку жалко, кажного муравьишку. Нет! Я бы прокурором не стал.

— Много ты понимаешь! — раздался в ответ голос Федора Степановича. — Без прокурора вы бы, гады, озверели. А так держал я вас в страхе. И власть была хорошая! Власть была, и я был слуга той власти. Вот теперь поживите, стервецы, без нас! Все перебаламутили... Что это за жизнь, если первые секретари с ума сходят?! А как все сойдут с ума? И останется народ без власти?.. Тебе что! Ты рвань.

— И то верно... Мне что... — Кирьянов вздохнул и еще выпил. — Мне хорошо. Я людей люблю. Я вот и тебя люблю.

— Нужна мне твоя любовь! Расселся тут! Шел бы к другим!

— Да я уйду, а тебе скушно станет. Ты ругайся, если охота есть. Тебе можно. Через сорок-то дней не поговоришь... Уйдешь... и куда вы все деваетесь после сорокового дня?

— Да врешь ты все! Тут я и останусь!

Кирьянов покачал головой и поскреб языком свои бугристые десны. Привычка такая была у Кирьянова — скрести десны языком, и от этого имел он даже удовольствие.

— Какую ты пользу принес государству?! — продолжал злиться Федор Степанович. — А никакой от тебя пользы не было! И за твою бесполезность тебя судить надо было, чтобы ты принудительно приносил бы пользу!

Кирьянов задумался: «А всам деле, какую пользу я сделал? Может, меня и всам деле судить надо было?» И опечалился Кирьянов, и пошел спать на могилы Оладьевых. Там ему было хорошо. И покойники тихие, смирные, и цветочки. А еще жила на кусте сирени птица таволга. Хорошая птица. И вечером споет, и утром поднимет. А бывший прокурор всю ночь продолжал грозить всему оставшемуся в живых человечеству высшими мерами и пускался в размышления о пользе лагерей — лагерей надо было больше! Надо, чтобы каждый в нем побывал, вот тогда бы и изменился бы каждый!

Кирьянов не слушал птицу таволгу, а все ждал, когда появятся первые звездочки. Появились они, и вино кончилось. «Скоро Анатолий полетит», — уже засыпая, подумал Кирьянов. Только он один и видел, как печально кружит над Пселом в своей голубой рубахе Анатолий.

* * *

Вы, конечно, не были в селе Отрезове? Да и как вы могли там быть, если туда никак не попасть. Оно стояло в сорока верстах от Псела и было окружено болотами. Так что каждый, кто нарождался в Отрезове, подрастал в нем, и каждому казалось, что земля кончается болотами, дальше чего-то темнело, ну и пусть себе темнеет, думал каждый отрезовец. «Нечего нам там делать!» Нелюбопытный был народ в Отрезове. Газет не читал, и не только не читал, а даже и не видел их. Правда, в первые годы Советской власти партийные руководители посылали в Отрезово вооруженный отряд. Но отряд этот утонул в первом же болоте, отчего и пошло теперь название — «Большевистское болото». Пытались после, как началась коллективизация, послать туда еще отряд, но уже зимой. Но отряд вернулся изрядно поморожэнный, и начальник данного отряда доложил начальству, что болота вокруг села Отрезова не замерзают ввиду непонятного явления. Долго думало и дивилось начальство. «Как так, когда можно сказать, весь мир вот-вот перейдет в руки Советской власти, а эти сукины дети даже, наверное, не слыхали и живут своим поганым прошлым и думают, что и царь есть!»

Загадкой оставалось и то, как же попали на тот остров отрезовцы. Правда, когда составляли карту района, то не пометили село Отрезово, словно бы его и не было.

Была и третья попытка проникнуть на этот чертов остров, когда в Пселе появился аэроплан. Аэроплан полетел по маршруту. Туда-то он полетел, а назад не вернулся.

Председатель местного ВЧК Ястребов грохнул кулаком о стол и железным голосом произнес: «Да ему там, подлецу, понравилось!» «Ему» — означало пилоту, который конечно же сел на большой скошенный луг и, увидя простые и хорошие лица, плюнул на светлое будущее и согласился на прошлое. Больше попыток присоединить к Советской России ее исконную территорию не было, а было решено село Отрезово засекретить. Правда, военные специалисты предлагали вдарить из гаубиц в ту сторону, но посчитали и решили, что снаряды не долетят, а пилотов также посылать не стали. Хотя конечно же можно ведь сверху бомбочек набросать. Но доверие к пилотам прошло!

Так что же это за село, Отрезово? Я уже говорил вам, что отрезовцы были нелюбопытны и не стремились любыми способами повидать мир. Им и в селе нравилось. Луга большие, леса много, а пашня такая, что урожай вечно некуда девать. И чего тут только не сеяли! Ячмень, горох, рожь, лен... Ой, все-то тут сеяли! И всякая семья свою культуру высаживала, каждая семья свой секрет имела. Но как бывает на Руси? Родился в Отрезове в семье Благовых мальчик, и назвали мальчика Максимом. Вырос Максимушка невысоким, и лицо, как и все Благовы, имел детское. Все Благовы были одинаковы, молодые казались мальчиками, а пожилые — старенькими мальчиками. Были Благовы пастухами и всякую животину умели лечить. Так вот, Максимушка этот собирал по болотам клюкву, опрокинулся в топь! Хорошо, что ухватил корзину. Корзина и не дала ему сгинуть. Держала его, да хорошо держала! Вылез он из топи, пришел домой, никому про случившееся не сказал. Но запала ему в голову мысль, что ведь на таких корзинах, если их к ногам привязать, ходить можно по любому болоту. Много лет плел он из ивняка разного фасона корзины для хождения, пока наконец не придумал хитрые болотные лыжи тройного плетения. Сам я секрет их не знаю, а знаю только, что скользил на них по топям и по воде Максимушка, как обычно скользят по снегу. Вот он-то первым и вышел в Псел. Вышел он в том месте, где Александра Егоровна, еще будучи молодой, собирала целебные травы вместе с Евдокимом Дмитриевичем, который тогда также был молод. И вот вырос перед ними стриженый под горшок Максимушка в лыковом зипуне.

— Ты это откуда такой? — спросила его Александра Егоровна. Тот ей все чистосердечно и рассказал. Привезла его в дом Оладьева и строго-настрого всем домашним наказала, чтоб про то никто и ничего не сказывал. А Максимушке сказала следующее: — Ты, дурачок, не выдумывал бы эти свои лыжи, а сидел бы на своем острове! А как по твоему следу попадут туда милиционеры да погонят вас, дураков, куда подальше!

Догадался тут Максимушка, что не все ладно в Отечестве, и вернулся назад. Но про то, что был в Пселе, никому не сказал.

И вот как-то тихим вечером Александра Егоровна с Николенькой и Аней сидели и мирно пили чай. В темное стекло кто-то стукнул. Подошла к окну Оладьева и увидела там Максимушку Благова. Впустила его она.

— Да сколько же я тебя не видела? — спросила она.

— А сорок лет! — Стоял перед ней Максимушка в лыковом зипуне и стрижен по-старому, а только волос сивый и личико сморщилось, словно спеклось на солнце.

— Кака вы добротельна стали! — улыбался Максимушка.

— Ишь ты... — покачала головой Оладьева и послала его мыться. Ушел Благов. Пока мылся, рассказала Александра Егоровна о пришельце и о селе Отрезове. Вернулся Максимушка чистым, расчесанным. Даже сивенькую бороденку причесал. Усадили гостя за стол.

— И чего же ты пришел? — спросила его Оладьева.

— Так, добродетельница, почуял я смерть свою и порешил тебя навестить.

Усмехнулась Оладьева:

— И скоро ты умирать надумал?

— Годов через пять.

— А откуда ты знаешь про это?

— А мы в Отрезове все знаем, кому когда собираться. А так как большое явление составила ты для меня, то затосковалось, и пошел я.

— Как же ты жил?

— Хорошо. Женился. Двух детев породил. Вырастил.

— Скажите, — обратился к Благову Николенька, — а что собой представляет ваше село и откуда оно?

Поглядел на Николеньку Благов голубыми чистыми глазами и начал:

— Село-то наше? На большом бугре село стоит, и дворов в нем сто! Каждый дом на свой манер. А манера от каждой фамилии идет. Фамилий же в селе двадцать. Но одна фамилия новая — Водолазов. Это тот Водолазов, что прилетел к нам ероепланом. Женился, и новый род пошел.

— Умом Россию не понять, аршином общим не измерить! — процитировал Николенька.

— У нашего столяра Никитова имеется вот этот самый общий аршин, — простодушно сказал Максимушка. — Но он его никому не показывает. Не показывает оттого, что — а как кому в голову привзбредет измерить все что ни есть!

— А есть ли церковь у вас? — спросила Оладьева.

— Пытаемся мы, добродетельница, церковь ставить, а никак она не выходит. Только фундамент выведем, как он пропадает! Однако все давно приметили, что

как фундамент пропадет, так у кого-нибудь новый фундамент под дом поставлен. Так вот и ставим каждый год по фундаменту... Опять же попа нету. Каждый, стало быть, на дому молится. А фундаменты, матушка, у нас хорошие фундаменты.

— А отчего ты меня добродетельницей зовешь? — спросила Александра Егоровна.

— Людей исцеляете! У нас которые исцеляют, их добродетелями зовут. Добро, значит, делают.

— Вон как... А какие же песни у вас поют?

— У нас, хорошая моя, песни сообча поют. А так, по единому голосу, не принято. Нехорошо. А сообча песни хорошие.

— И что вы — совсем-совсем ничего не знаете о современном мире? — изумилась Аня.

— Мы, голубонька, ничо не знаем! И знать нам не надобно. Мы живем, а знать не надо. Нам старик Епифанов сказывает, что как кто что узнал, так ровно и отравился. А это нехорошо. Наше дело како? Обиходить землю-кормилицу. А так хорошо. Лавки струганы, девки чесаны, парни стрижены! Хорошо живем — хлеб печем. Хлебушко у нас пекут метровый. Как ни поставь его, а он с метр вырастет. Оттого у нас печи большие. Поставишь на стол метрового хлеба и весь его скушаешь. И как он в тебя метровый входит, просто никто не знает. Квасу варим бочками, бочками пьем. Соку клюквенного готовим, соку брусничного. А главное дело — капуста. Капуста у нас большая. Каждый кочан в два обхвату. Потому хорошо, что землю сдобряем болотной грязью. Грязь та как смола черна. И пользительна очень. Как у кого что заболит, ложку грязи съешь — вот тебе и живехонек.

Слушали его хозяева до глубокой ночи, а спать легли, так еще много думали.

«Да неужели это правда? — лежа в постели, размышлял молодой Оладьев. — Ну, а если неправда?»

Вот он удивился Максимушкиному лыковому зипуну. Мелко плетенный, он словно бы был кожаный. Мягкий, легкий.

— А износу ему не бывает, — говорил Максимушка. — Лыко надо в масле мочить, сушить да опять мочить, а после мять да в дубовой коре варить.

* * *

Старенький отец Василий служил в церкви, крашенной голубенькой краской. Добрый был человек отец Василий. И отсидел много за веру, но веры не оставил, а справно служил, хоть верующих в Пселе оставалось мало. Кажется, псельский народ вообще ни во что не верил. Вот взять хотя бы учителя математики Савелия Прокофьевича Мукомолова. Тот после того, как запустили в небо человека, то есть, конечно, не в самое небо, а в космос, усмехнулся и сказал:

— Да не верю! Это они нарочно придумали, чтобы американцев испугать!

И вот этому-то и поверили недоверчивые псельчане. Даже после, когда то и дело кого-нибудь зашвыривали в безвоздушное пространство, а после неделю трубили об этом как о победе над капитализмом, псельчане только усмехались. А всему виной Мукомолов. Его за эту самую резолюцию даже из партии исключили, ну, а про школу и говорить нечего! Как это учитель среднеспециальной № 1 школы, да подрывает авторитет?! Пришлось Мукомолову идти на кирпичный... ну и ничего! Другим наука! А вот вы спросите в Пселе у любого встречного-поперечного, спросите у него: «Вертится ли Земля?» — и услышите: «Может, вертится, может, и не вертится! Все зависит от обстоятельств. Если ты пьян — вертится. Ну, а когда трезвый, чего ей крутиться?» Так вот, об отце Василии... любил старичок вечером, когда малинник объят закатом, сесть под него и выпить чарочку «загодаевки» на плодах черемухи. Выпив же, сочинял он себе иную жизнь. Будто бы он не отец Василий, а будто бы он граф! И вот граф въезжает в Париж на белом коне и думает: «Ежели кто Парижа не видел, то, значит, и прожил зря!» И будто сразу же едет он в дорогой ресторан, где ему служат сто лакеев в белом. Вот однажды, когда пурпурное солнце повисло каплями на листьях и малинник вспыхнул небесным огнем, сел под него старичок, выпил и впал в забытье. И в этом самом забытьи привиделось ему следующее. Слетела с неба голубка, а перья у нее чистого листового золота! Села она перед отцом Василием и сняла с себя золотой наряд. И вот диво! Стоит перед старичком голенькая, тоненькая девушка и ласково говорит:

— Здравствуй, Вася! Не узнал меня? А ведь я твоя любовь!

— Как же? — удивился отец Василий. — Разве была у меня любовь?

— Была, родненький, только ты не нашел меня! Так прощай... — Одела голубка перья листового чистого золота и улетела...

Очнулся батюшка, а уж темно... И подумалось, как же так? Неужто и впрямь была у него где-то любовь, а он ее и не искал...

И заплакал...

* * *

Бесстыдна была в любви Лиза Широкова, может, потому и тянуло к ней главного редактора «Псельского листка» Кустарева Сергея Павловича. Крупная телом, с кожей гладкой медового отлива, пышногрудая, любила она ходить по квартире голой и, куря сигарету за сигаретой, рассуждать о способах, которые применимы в постели. И когда Сергей Павлович с дрожью в руках и коленях бросался на нее, Лиза хрипло хохотала и валила главного редактора на ковер. Ее любимая поговорка была следующей: все, что естественно, — не безобразно! И этому очень верил Сергей Павлович. Сегодня же Лиза Широкова хоть и была голой, говорила о другом, а именно — что она узнала о загадочной болезни первого секретаря.

— Когда я к нему прорвалась, он сидел на кровати и бредил совершенно антимарксистски! И это хорошо! Увидя меня, он повалил меня в кровать! Он был жаден, и мне ничего не оставалось делать, как дать ему! После он рассказал, что видел живого вождя, но в виде ожившего памятника, что стоит напротив райкома. И еще он просил меня устроить ему побег.

— Зачем же ты ему отдалась?! — завопил Сергей Павлович.

— Для дела. Иначе было нельзя. Он был жаден, голоден! И вот что я придумала. Побег ему устроить надо. Надо устроить побег и выследить, куда он побежит. Есть в нем какая-то тайна...

Кустарев сидел с длинным серым лицом и ненавидел Лизу Широкову, хотя и знал, что все равно он будет к ней ходить... Побег же решили устроить. Так надо было для дела.

Лиза Широкова была приезжей, то есть приехала из областного центра, где закончила библиотечный техникум. Проработав в Псельской библиотеке три года, она в этой же библиотеке познакомилась с Кустаревым и поняла, что истинным ее призванием была, конечно, журналистика. Лиза еще писала стихи, и стихи плохие, хотя и про любовь. Писала она с маху, примерно так, как с маху бросают штукатуры раствор на стены. Но если штукатуры после могли пригладить раствор, то Лиза приглаживать стихи не умела, потому они были корявыми. Несколько дней назад познакомилась она и с Оладьевым. Произошло это так... Понадобилось для редакции кое-что перевести из английского журнала. Поручили это дело Широковой, но та, сколько ни билась над текстом, так толком и названия не поняла. Кто-то подсказал Лизавете, что есть такая девушка, дочь бывшего прокурора, который не так давно скончался, и что она понимает в английском. Разузнав, где живет дочь бывшего прокурора, Лизавета пошла в дом Оладьевой и была поражена, увидя в доме Николеньку.

— Какой бутон! — воскликнула она, глядя в чистые голубые Николенькины глаза. — Откуда такой?

Быстро выяснив, что Оладьев — племянник Александры Егоровны и живет в Москве с матерью певицей и отцом генералом, она перешла к делу. Анечка гуляла в саду и думала в эту минуту, как ей хорошо живется в доме Оладьевой, и какой замечательный человек Николенька, и что она будет любить его всю-всю жизнь.

— Аня! — услышала она голос своего любимого и помчалась к крыльцу. На крыльце вместе с Колей стояла крупная, высокая женщина с короткой стрижкой и широким мужским лицом.

— Аня, привет! — Лизавета протянула ей свою крепкую руку и назвалась: — Лиза Широкова, литсотрудник «Псельского листка». У меня к тебе дело. Английский знаешь?

— Знаю, — покраснев, ответила Анечка.

— Переведешь? — И Лизавета показала ей журнал и статью. Оказывается, статья эта называлась «Секс и эротика в жизни подростка».

— Отлично! — сказала Широкова. Она обняла за плечи Анечку и, глядя ей в глаза, спросила: — Будем дружить?

— Будем... — тихо ответила Аня.

— К завтрашнему сделаешь перевод?

— Конечно... — И, взяв журнал, Анечка ушла в дом.

— Коль, а ты со мной будешь дружить? — спросила Елизавета и притянула Оладьева к себе так сильно, что он почувствовал, какая у нее крепкая грудь, и что-то шевельнулось в нем, отчего-то даже в пот бросило. Еще никто так его не прижимал... А Лизаветины губы уже нашли его губы, и Николенька, совершенно растерянный, поцеловался с Лизаветой, после чего она так же решительно отодвинула его и сказала: — Приходи ко мне. Поговорим о литературе! — И ушла.

«А куда приходить-то?» — подумал Николенька, а на губах его таял поцелуй с коньячным привкусом.

* * *

Хорошо было слушать Максима Емельяновича о жизни в Отрезове. Уютно горели керосиновые лампы. В углах было темно, а тихий голос Благова рассказывал:

— Солнышко светит, да как еще лето, то птичкам привольно. А как дождь? Тут им худо. Покушать надо, птенцов накормить, да где же мошек взять? Мошка спряталась от дождя. Живая-то жизнь — все трудится, трудится. Вот в труде и проходит жизнь эта. Любу травинку возьми! Сколь она перенесет, покудова она будет нескошена? И ветер ее рвет, и град похлестнет, и солнцем испечет. А все ж она в пользу жила. Коней же мы держим больших, серых. Так что когда они по туману гуляют, их не видать-то вовсе, потому как сами они цвету тумана. Лошадушки у нас добрые, неспешливые. Да куда, на милость, спешить нам в своем Отрезове? Нам лошадушки нужны землю пахать, лес возить али камень. А уж как они пашут, тут одно удивленье. Возьмись за соху, малый ребенок и тот справится. Наш конь борозды не портит. Старинная порода.

За спиной Николеньки мелькнули тени Нюры и Марфы. Это означало, что пошли они стелить.

— Ну, полно, Максим Емельянович, — останавливает старичка Александра Егоровна.

— Да и то! — соглашается тот.

Попрощавшись, все расходятся, и только Николенька и Аня еще сидят в столовой.

— Скажи, Коля, это же он все сочиняет?

— Разумеется.

— А почему тогда так хочется этому верить? Ведь хорошо бы было, если и в самом деле жило на свете Отрезово... Стал бы ты жить в таком селе?

— Не знаю... Наверное, стал...

— И я бы стала...

Николенька смотрел на тихое лицо Анечки и думал о том, что и в самом деле было бы здорово жить в Отрезове, пахать землю и чтобы женою была она, Анечка. Коля взял ее руку в свои, и Анечка улыбнулась и, потянувшись к нему своим тонким телом, поцеловала его в губы.

И пока молодые разговаривали, на двор пришел август.

Гулко пробили полночь старинные часы, и Анечка, еще раз торопливо поцеловав Колю, убежала.

Пошел к себе и Оладьев, полный счастья и сна. Марфа и Нюра загасили лампы.

* * *

Анечка теперь жила в комнате, что рядом со спальней Александры Егоровны. Раньше в ней жила ее мать, а после ее смерти в ней не жил никто. Комната была небольшой, с одним окном. Из мебели стояла большая деревянная кровать с белоснежным бельем и тонким пуховым одеялом, столик для книг и овальное трюмо со шкафчиками. Тут же, обитое голубым ситцем, кресло. Прежде чем пойти спать, Анечка зашла к Оладьевой. Та уже сидела на кровати в белом ночном капоре.

— Что, голубушка?

— Я так...

— Ну иди сюда. Посиди со мной, — пригласила ее Оладьева. В углу, что выходил на восток, сияла лампада, освещая лик Божьей Матери и младенца ее Иисуса Христа.

— Как тебе, прижилось у меня?

— Очень! — ответила искренне Анечка. — И я так вас полюбила... — Она прижалась к полному телу Александры Егоровны, а та поцеловала ее в голову:

— И я тебя полюбила! Детей у меня не было... Да и мужчин я не знала...

— А отчего? — удивилась Анечка.

— Некрасивой удалась. Потому с юности дала себе зарок судьбы не испытывать.

— А любили ли вы?

— Любила... — Александра Егоровна вздохнула. — Очень любила. Звали его Тимофеем Сергеевичем Якуниным. Привезли его ко мне в госпиталь тяжелораненым. И выходила я старшего лейтенанта. Ах, голубушка, и какой же это был красоты человек... невысок, но строен. Глаза как небо, а волосы ровно спелая рожь... Как он страдал! Но ни разу не услышала я от него стона. Только ночью, когда забудется, плакал... Стал он выздоравливать. У нас при госпитале сад был. Я с ним по саду гуляла, а он мне читал стихи... Он много знал. Любил Баратынского... И вот пришел день, когда его выписали... И проводила я его. Шел он к воротам нашего госпиталя в новенькой форме... И уже выходя обернулся и сказал: «Я люблю вас, Саша. Дождитесь меня!» И ушел. Ушел мой голубчик. Чтобы погибнуть! Погиб он ровно через неделю... Вот и все...

Анечка вдруг горько заплакала, словно бы это она проводила, только не того старшего лейтенанта, а Николеньку.

— Ну, ну! Что ты, дитя мое... Все прошло. Вот и жизнь моя догорела... А тебе-то вот и надо жить, радоваться надо этой жизни. И хоть в жизни этой много разных сторон, а все же есть в ней и любовь. Мне вот сегодня отец Василий рассказал, как явилась к нему любовь. Явилась как видение. Все мы тоскуем без любви.

А Николай Оладьев, лежа в своей кровати, думал об Анечке, о том, какая она умница и как прекрасна, но тут же всплывала в памяти крупная Лиза Широкова и вспоминался ее поцелуй...

— Да пошла она к черту! — выругался он вслух и тут же подумал, а не сходить ли в самом деле к ней?

* * *

Когда на другой день Лиза Широкова пришла к Анечке за переводом, Оладьева в доме не было. Еще рано утром он вместе с Евдокимом Дмитриевичем уехал на покос, где надо было копнить сено.

Между Лизаветой и Аней произошел следующий разговор. Широкова спросила, готов ли перевод. На что Анечка ответила, что подобную дрянь она переводить не станет.

— Ты какая дикая! — изумилась Лизавета. — Как же в наше время без знания секса? Секс раскрепощает человека, делает его свободным!

— А я вовсе не хочу свободы! И говорить на эту тему также не хочу!

— Что же ты, фригидна? Или беспола? У тебя под носом такой бутон! Коля-то чем не партнер!

— Послушайте! — вскрикнула Аня. — Прекратите!

— Э! — сказала Лизавета. — Тогда прости, но бутончик этот я сорву! — И, забрав журнал, Лизавета ушла из дома Оладьевых.

Николай тем временем помогал Евдокиму Дмитриевичу копнить. И тут же, за работой, он услышал от старика рассказ, который его поразил.

— Я ведь, Николай, вашу тетушку знаю с военных лет. Ведь служить-то я начал в ее госпитале. Была у меня подвода, на которой я раненых возил. И узнав Александру Егоровну, я в тот же миг ее полюбил. А как стала война кончаться, пришел я в домик, где она жила, и, снявши пилотку, выложил ей о своих чувствованиях. На что ответила мне ваша тетушка: «Ты, говорит, Евдоким, конечно, в чувствах своих не виновен, но полюбить я тебя не смогу». И тогда-то я сказал: «Так дозвольте хотя бы всю жизнь при вас быть?». Подумала она и сказала: «Хорошо. Пусть будет так». Вот и прожили мы с ей свой век бок о бок. И очень мне оттого хорошо, что оказался надобен вашей тетушке. Такая вот история.

* * *

Ушла, словно вода, просочилась сквозь песок Древняя Русь, и не стало. Где-то она сейчас? А может, и струит из глубин тонким родничком, подпитывает еще русского человека?

Эх, занесло же в Россию дьявольское учение бородатого Карлы!

Скучно, скучно живется в Пселе! А где живется весело? Вот то-то и оно! Местный ресторан «Псел» не мог принять всех желающих, а желающих заглянуть в его малиновое чрево было огромно! Виделось сквозь тонкую ткань, как, излучая разноцветные брызги, крутится под потолком шар, обклеенный битым зеркалом. Слышались сквозь толстые стекла волнующие душу песни местного ансамбля под шокирующим названием «Мурло». За первым столиком всегда сидел чемпион по боксу среди тяжеловесов города Псела Дима Дойный. Глядя выпученными глазами на свою подругу Аллу, Дима выкладывал ей серию рассказов о том, как он побеждал на ринге:

— Я его, гада, с правой! Потом снизу! Фуфло, думаю, я суку замолочу!

Алла, маленькая, толстенькая, похожая на перекормленного котенка, считалась в городе первой красавицей и потому сидела с самым сильным. Но если бы хоть кто-нибудь знал, как она его ненавидела и как боялась... Работал Дойный на гвоздильном, его применяли на этом заводе в качестве кладовщика и погрузочной машины, и Дойный волочил в склад масляные ящики в таком количестве, о котором местная бухгалтерия ничего не знала. Завод хронически выполнял план. За эту работу Дима получал кучу денег, а другую кучу он получал иным способом. Наговорившись и выпив первую бутылку, Дима со звериным ревом кидался в толпу потанцевать. Толпа в ужасе расступалась, и все сто сорок килограммов Диминого тела начинали конвульсировать, потому как танцем это не назовешь. К закрытию ресторана Дима выбирал себе жертву и, оглоушив ее ударом по голове, шел провожать Аллу, трубя:

— Синий туман! Синий туман!!!

От этого трубного голоса завывали местные собаки, дрожала Алла и от страха подхихикивала Дойному... Через полчаса, выблевав ведро солянки с грибами у палисадника городской красавицы, шел Дима к ее постели, чтобы упасть с размаху на распростертое полненькое тело. После чего в городе становилось тихо... Медленно поднималась в черную высь голубая рубаха Анатолия Загодаева.

В Пселе очень любили гвозди и с утра до вечера что-нибудь приколачивали, оттого в городе всегда был перестук. Ну а поскольку в магазинах гвоздей не водилось, то их покупали у Димы, для чего ему приходилось красть с завода чуть ли не по сто ящиков этого ценного товара в месяц. К вечеру у кладовщика карманы лопались от денег, но вскоре опустошались в городском жилсоцбанке. Знал Дима Дойный, что рано или поздно он купит гвоздильный завод, потом винный магазин и уже после возьмет за глотку весь город!

«Они у меня, гады, за валюту гвозди покупать будут!» — думал Дойный и уже видел себя сидящим в лаковом «мерседесе» с Аллочкой на коленях. — И ресторан куплю! Да я тут все куплю!»

Вот такая мечта...

* * *

Третьего августа подписчики «Пселского листка», получив утром газету, были ошарашены статьей под названием «Если бы я не был тому свидетелем».

Свидетелями же были известные нам Сергей Павлович Кустарев, от имени которого велся рассказ, и Елизавета Широкова.

«Читателям, конечно, уже известно о судьбе уважаемого первого секретаря райкома В. В. Копдейкина. Известно, что неожиданным образом он сошел с ума. Правда, мне, как всей редакции, еще не ясно, неожиданно ли он стал душевнобольным или таковым был с момента принятия его в КПСС? И если это выяснится, то я вас оповещу. Итак, узнав о случившемся, редакция решила провести интервью с Виктором Викторовичем в одиночной палате нашей городской больницы. Первый секретарь вел беседу явно антимарксистскую, вел ее с воображаемым им Вождем и создателем первого рабоче-крестьянского государства. (В редакции есть пленка с записью его диалога.) Вдруг, словно опомнившись, первый секретарь сделал предложение сотруднице редакции Е. Широковой помочь ему бежать!

На вопрос «куда?» В. В. Копдейкин не ответил, так как считал это тайной. И вот редакция решила проследить за побегом. Установив дежурство за больницей, мы дождались... В один час пятнадцать минут открылось окно на втором этаже, и из него, по двум связанным простыням, в домашней пижаме и без тапочек, спустился на землю В. В. Копдейкин. Оглянувшись по сторонам, он заспешил к центру! Я и Е. Широкова, стараясь быть незамеченными, поспешили следом. Проходя мимо пожарной части, где перед входом висит щит с противопожарным инструментом, секретарь остановился и, сняв с того щита топор, поспешил дальше. Выйдя на площадь, он направился прямо к памятнику Вождю! Присев на цоколь постамента, В. В. Копдейкин закурил и повел беседу с Лениным. Е. Широкова включила магнитофон. Приводим подлинную запись:

«— Скажи мне, что ты понимал под словом «коммунизм»? Я-то ничего не понимал. Я жил себе и жил! А ты?! Ты боролся... С кем ты боролся? Тебя какого хрена понесло на Запад?! Тюрьмы боялся? Сам боялся, а других в нее запихнул?! Ты соображал, нет, что делал? Я из-за тебя спился! Талдычил, талдычил твои работы и спился. Бесклассовое общество? Хрен с ним, пусть бесклассовое! Пусть все равны! А что же тогда нам, руководителям? Ведь по-твоему, надо было не в Кремль, а куда попроще переезжать! А если ты ошибся, скажи! Мол, так и так... Не сказал. Меня втравил в это дело! Я других... И мы все, сообща, строили! А что, хрен его знает... Достроились, что все разрушили. И нет больше сил разрушенное восстанавливать... А ты мне пальцем грозить вздумал...»

После этих слов В. В. Копдейкин поднялся, выбросил окурок и, крепко сжав в обеих руках топор, продолжал:

«— Потому постановляю, что ты не должен стоять на этом месте, а быть тебе разрушенным!»

И уже после этих слов секретарь взмахнул топором. Далее случилось невероятное! Памятник соскочил с пьедестала и стал уворачиваться от ударов. В. В. Копдейкин нецензурно кричал и, размахивая инструментом, пытался поймать убегающий памятник. На шум из здания райкома выскочил постовой милиционер С. С. Теряйкин. Выхватив оружие, он бросился к месту происшествия.

Завидя постового, В. В. Копдейкин закричал:

— Теряйкин, стреляй! Стреляй, убежит!

Постовой, узнав по голосу, кто ему приказывает, остановился.

— Так, Виктор Викторович, как же?! Это же...

А памятник, воспользовавшись моментом, бросился бежать через площадь. Милиционер (видимо, чисто инстинктивно) стал преследовать убегающего. Памятник добежал до моста через реку Псел, а после, громко топая, забежал на него. Благодаря единственному фонарю мы видели знакомую фигуру.

Фигура тем временем влезла на перила моста и, вскинув руку, закричала (приводим запись):

«— Революция, о которой так долго мечтали большевики, свершилась! Но она еще не закончилась! Революция продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет ее последний враг!»

После чего фигура сиганула в темные воды Псела! Вбежавшие на мост Копдейкин и Теряйкин кинулись следом... Тщетно мы искали их тела глазами! Их не было...

Я пишу эти строки сразу же после случившегося и потому, может быть, не совсем красочно и ярко. Но ведь главное в этом деле — факт. Неверящие могут прийти на площадь и увидеть, что постамент пуст. В. В. Копдейкина в больнице нет. И уж куда более убедительный факт — не мог же милиционер Теряйкин исчезнуть просто так».

* * *

Естественно, что главный редактор и его сотрудница были доставлены к начальнику местного КГБ, где и допрошены. К вечеру их освободили.

Пошумел, поволновался город день, а уже к вечеру притих, как только по мощеной улице прогромыхал бронетранспортер. Сверху пришел приказ — нигде и ни под каким видом данный материал не публиковать, умолчать и объявить, что в городе Пселе начинается строительство пивного завода совместно с известной германской компанией. А поздно вечером на квартире Лизы Широковой собралась вся редакция и учитель географии Светозаров. Слово взял Сергей Павлович, но прежде достал носовой платок, приложив его к большому и постоянно красному носу, шумно высморкался.

— Сразу о главном,— начал он.— Мы еще не победили, но уверенно пошли к победе! Поясняю! Двести экземпляров «Псепского листка» уже в Москве и уже проданы по три рубля за экземпляр! Вы знаете, что нам запретили в дальнейшем писать об этом инциденте. У нас отобрали пленки! Но, господа! Сейчас в наборе моя статья, в которой сказано, что редакцией поручено мне провести поиск первого секретаря и пропавшего вместе с ним милиционера. Пора, пора нам, стоящим на демплатформе, открыто заявить коммунистам, что мы за плюрализм! Случилось то, что, может, уже никогда не случится! Мистические силы природы помогли нам и дали знак! «Псепский листок» с сегодняшнего дня стал всечеловеческим. Цивилизованные государства вскоре перепечатают наше сообщение и будут ждать следующих. Нам нужна бумага и терпение. Думаю, что пора приступить к изданию специального бюллетеня, где бы можно было подробно рассказать о случившемся, но покуда мы во власти местных Советов, то сегодня же нужно стать независимой газетой! Мы сами и станем учредителем «Псепского листка»! Газета станет уже не в четыре, а в шестнадцать листов! Плюс бюллетень. Повысится цена на газету. Отныне ее цена три рубля. Гонорары также повышаются. Со временем мы купим западную технологию и типографию. Реклама — необходимое пополнение нашего фонда.

Работники редакции, стоящие на демплатформе, усиленно задумались. Высокий, в сером мешковатом костюме, красноносый и басовитый Кустарев показался всем присутствующим пройдохой... Но тут поднялся учитель географии Евгений Светозаров. Он впился в свою черную кудрявую голову сухими и сильными пальцами так, что не только ему, а всем стало больно.

— Я перехожу в газету! — закричал он и закашлялся. Но даже сквозь кашель все отчетливо услышали: — Кустарев — гений!

Сам-то Кустарев об этом знал давно, то есть еще начиная с шестого класса, а вот услышать наконец признание от другого человека...

— Я вас понимаю! — захохотав, крикнул главный редактор. Его хриплый бас и оскаленные, изъеденные кариесом зубы, нос, который на протяжении всей его жизни жил где-то глубоко, в самом его корне, — в общем, все, что в нем было снаружи и помещалось внутри, словно высветилось в какую-то апокалиптическую фигуру...

«Я его сегодня затрахаю»,— нервно подумала Широкова, и ей захотелось раздеться догола перед всеми.

Пока Лизавета мысленно раздевалась, мужская часть редакции уже составляла решение редакции о выходе ее из подчинения местному Совету. Далее шел протокол решения, и к полуночи документ был составлен, отпечатан, подписан, после чего всем захотелось выпить, а раз захотелось, то и выпили.

Лизавета закурила дефицитную сигарету и торжественно заявила:

— Кустарев — дьявол! Он ни черта не боится! У меня трусы мокрые стали, когда я увидела, как «этот» ожил, а он хоть бы хрен! Глаза зеленые, светятся!

— Подожди, Лиза! — перебил ее ответственный секретарь, он же романист Полнобоков, маленький, толстый, с розовой плешиной на макушке. — Твоими трусами мы еще займемся, а сейчас о литературе... Будем мы наконец-то своих печатать? И я не о себе пекусь, как подумали многие, я пекусь о более молодых...

— Напечатаем! — бросил Кустарев так, словно бросил свой носовой платок в корзину с грязным бельем. — И тебя станем печатать, Кирилл. Фрагментами, но станем. Главное же сейчас — держаться дружно и быть на платформе демократии! Наша задача глобальна! Мы должны слиться с Европой! Захотели — поехали в Данию; захотели — в Париж!

— А чем же я буду заниматься?— осторожно поинтересовался товарищ по партии Светозаров.

— Возьмешь международный отдел. Ты, Женя, языки знаешь, знаешь географию. Хватит нам перепечатывать то, что печатают все. У нас должна быть своя позиция и свое мнение на международные события!

Светозаров с умилением поглядел на говорившего Кустарева и сразу представил себе лицо директора школы, которому он завтра же подаст заявление об уходе.

Старик Подкурсин, ведавший сельхозотделом, был единственным, кто пока молчал.

— Славка! — позвал главный редактор сотрудника Груева.

Здоровенный краснолицый Славка быстро опрокинул в себя четвертый стакан «конины» (так нынче называют коньяк, который конечно же никакой не коньяк, а совершенная «конина») и кинулся к шефу.

Шеф обнял его за плечи и увел на кухню.

— Славик, делаю тебе предложение. Пойдешь ко мне первым замом?

— Да я хоть последним! — вытянулся Груев.— Вы же знаете... Кстати, мне магнитофончик привезли, японский, двухкассетный... Не один, конечно... Короче, один лишний. Разрешите презентовать?

— Презентуй! — разрешил главный.

— Спасибо!

— Славик, надо уволить старика Подкурсина. Надо, Славик! Оформить ему пенсию, и чтобы я больше не слышал ничего о сельском хозяйстве! Мне все эти трудности с урожаем, с недобором, дождями, битвами, отсутствием запчастей, кормов, рабочих рук, хранилищ... Во где! Понял?

— Понял! Что делать?

— Растормоши-ка мне его сейчас. Мы должны его услышать, мы должны понять этих сторонников колхозного строя.

— Понял! А приказ о назначении когда?

— Завтра утром — вывесим.

— Сергей Палыч, вы же меня знаете! Кстати, хочу подвальчик наш под кафе устроить! Есть люди, которые возьмутся. Прибыль явная, и тридцать процентов нам. Вам и мне.

— Тебе, Славик.

— Понял! Мне десять, двадцать — вам.

— Только тихонько. Без нахрапа..

* * *

Когда вся редакция разошлась, договаривая пьяными и усталыми голосами на прохладных улицах Псела последние соображения, когда Лизавета, наконец-то дождавшись, скинула с себя одежду, Сергей Павлович смотрел на свое отображение в большом зеркале и думал: «Кто я? Нет, нет, я — гений. Я стратег и политик! Я решительный человек!» Так думал о себе Кустарев и знал и твердо верил, что придет час, когда, воздев руки, он торжественно примет присягу как президент Демроссии! «Вы, глава либерально-демократической партии, партии, которой суждено выбить из седла всех недоучек от КПСС, всех этих вшивых монархистов, меньшевиков, христиан и прочую мелюзгу!» Он, Кустарев, не повторит ошибок Керенского. Нет, он будет беспощаден к врагу! Враг, он и в Африке — враг!

— Мы будем или нет?! — Лизаветин голос вернул его в прежнюю комнату...

Большая, медовая Лизавета уже лежала на разобранном диване, как спелый банан на фарфоровой тарелке. Лизавета любила чистые простыни и обязательно их крахмалила, отчего они и в самом деле становились прочными, как фарфор.

Пока еще глазный редакто (а не верховный повелитель) освободил нос от постоянно набегавшей в него жидкости, стянул с себя костюм и упал рядом с Лизаветой. Ее большая теплая рука знакомо пробежала по телу, вызвав в нем пока еще далекий, щемящий звук...

— Лиза, — тихо сказал Кустарев, — нам судьба предложила не ворота, а игольное ушко. Нам надо через него проскочить в будущее. Самое страшное — это отставники. Понимаешь, они, привыкшие командовать, оставшиеся без дела, могут страшно повлиять на массы! Они идейны, но идейны тупо, однообразно. А всякая однообразная политическая масса — есть самое страшное, почти неуязвимое! Они соединяются не по призыву, не по кастовости, а просто по одному взгляду. Они биологически чувствуют друг друга! Мы тонки, развиты и в силу этого страдаем. Им же недоступны страдания духовные, они понимают страдания как физическую боль, как лишение привилегий или отсутствие алкоголя... И все, кто последует за ними, воскликнут: «Дай нам водки вдоволь, и мы перевернем земной шар!» Хотя, черт подери, в какую сторону вообще можно перевернуть шар? Шар, он и в Африке — шар. Лиза, мне страшно и одновременно весело! Сегодня мы бросили вызов, вернее, я подтолкнул людей на борьбу, но вспомни, как с нами говорил полковник КГБ! Он же нас за людей не считает! Что это?! Или за ними сила, или он видит в нас слабость, которую мы сами не замечаем?!

— Хватит! Утро вечера мудренее! — ответила Лиза.

— Так ведь уже утро!

И действительно, за шторами мягко светилось небо.

* * *

Оладьев, разбуженный тетей, долго не мог понять, где он и куда его приглашают. Только что ему снилась Елизавета... Снилась не ясно, а так, будто бы это она и не она. То вот-вот обнять ее можно, то вдруг пропадет... И только вкус коньячного поцелуя до сих пор оставался на его губах. Еще как бы и не растворился до конца.

— Ты оденься и приходи. А то уйдет Максимушка. Проститься с человеком надо.

Тетушка вышла, Николенька одел спортивный костюм, ноги в тапочки сунул, подошел к столу и увидел книгу в сафьяновом переплете, где были записи его прадеда...

«Надо бы начать...», — подумал Николай. Через открытое окно проступало синеющее небо и радостные яркие утренние звезды. Одна из них так радужно переливалась, словно чья-то невидимая рука вертела над наступающей зарей драгоценный камень. И тут же Николеньке вспомнилась мама, ее рука и кольцо с двумя больши-

ми опалами, которые умели так таинственно сиять, как эти звезды. Он почесал голову и пошел к тетушке.

Благов уже завязывал свою котомочку, приговаривая:

— Сподобилось встренуться, сподобится и проститься. Так-то, хорошие мои!

Вошедший Николенька сонно уставился на собравшегося Максимушку и не знал, что надо сказать или сделать! Вошел Евдоким, поклонился:

— Александра Егоровна, готово все, можно и трогать.

— Уезжаете? — спросил Николенька у Благова.

— Сентябрь на подходе, торопит. Делов мужицких прорва. Покуля силы есть, а там, гляди, зима. Счас дрова пойдут, грибы, ягоды. Все надо. Ну, а вы уж оставайтесь. Вы уж тут с миром. Богом живите!

С этими словами расцеловался Максимушка со всеми, поклонился у порога до полу и, перекрестившись, вышел. Следом вышел и Евдоким.

— Тетушка, я с ними поеду! — вдруг выпалил Оладьев. — Провожу.

Выехали со двора и, обогнув дом Александры Егоровны, покатили в овраг. Чем ниже, тем студенее становился воздух, и сильный птичий гомон на разный лад славил приходящий день. Когда съехали вниз и покатились по мягкой песчаной дороге, Николенька вдруг вспомнил, как бежали они здесь с Анечкой... и как им было весело и... как он ее любит!

«А что, если я сегодня скажу ей... Скажу, как я ее люблю! И что поженимся и будем всегда-всегда вместе и, может, даже жить станем в доме у тетушки... Зачем ехать в Москву! И в институт не хочу! Я стану писать, пойду работать в редакцию «Пселского листка»...» И как только он об этом подумал, сразу же увидел лицо Широковой и не знал, надо ли...

Наконец выехали из оврага и увидели, как медленно поднимается малиновое солнце. Звезды погасли, и в природе сделалось тихо, но тишина длилась недолго. Однако и этого мгновения хватило, чтобы ощутить какую-то необъяснимую величину природы и жизни. Даже конь остановился сам по себе, как бы догадавшись, что в такое мгновение надобно обо всем забыть и дать себе отдых. Постояв, конь зябко дернул шкурой и тронулся. Наезженная дорога шла к селу, что стояло километрах в двух от оврага, другая, едва видная, поросшая широкими листами подорожника, тянулась к лесу. По той-то и поехали.

— Максим Емельянович, шутили вы про Отрезово, или же это правда? — спросил вдруг Оладьев.

— Шутить-то я мастер. Да только оно как? А так оно! Кому хочется верить, так тому и верится, а который не верит, в сумненьях и останется. Сумненье — оно человека расшатывает, не дает ему закрепиться. Толкает человека, ровно ветер толкает сохлые травяные колобки. И нету такому человеку покоя и другим от того человека покоя нету. Пущай, скажем, сказка, байка какая. По младенчеству пошто веришь без сумнения? Потому как — душа чистая. Как создал ее Господь, така она и есть. Всякое другое — все от суеты земной. Корня наши — наши сказки!

Некоторое время ехали молча. Затем Максим улыбнулся:

— Зайцев наших вспомнил! Зайцы у нас свистать научились. Как зима придет, сядут на снежок и свистают. Дак ведь нет чтобы просто посвистать, а каку-то неведому песню свищут. Стройно у их выходит. Кто низом, кто верхом свищет.

Евдоким, сидевший спереди, обернулся.

— Чудён ты, Максим.

— Чудён... — признался Благов.

Вот и лес проехали, остановились. Дальше шли болота. Иссиня-черная болотная вода с торчащими кое-где зелеными травянистыми кочками простиралась до горизонта. Впрочем, трудно было угадать, есть ли конец этим болотам, потому как стоял туман.

Благов соскочил с дрожек, покопался в траве, достав невесть откуда широкие, толсто плетенные лыжи, и, крякнув, одел их на разутые ноги.

— Ну дак возвертайтесь, а уж мне путь далекий.

— Храни тебя Господь, — сказал Благову Евдоким Дмитриевич.

Максимушка дошел до воды, поправил полную котомку и, кивнув на прощание, легко скользя, тронулся. Вскоре его маленькая фигурка пропала в тумане.

— Чудно! — сказал Евдоким Дмитриевич. — Вот и сдогадайся, был ли, не был ли Максим? Чудно! Поедем, Николай, делов ныне много.

* * *

Александра Егоровна сидела на лавочке у оврага вместе с Анечкой, поджидая возвращения племянника. Со двора тянуло сладким дымком. Там топилась под навесом печь, на которой Марфа с Нюрой варили компоты, готовили варенье из крыжовника, сливы и смородины. Время от времени они прибегали с тарелочками, давая пробовать хозяйке готовое. Пробовала и Анечка, отчего губы ее раскраснелись, словно доспели к августу.

«Экая игрушка! — думала Александра Егоровна, глядя, как Анечка слизывает кончиком языка розовое желе. — И какие же ребятишки от них пойдут — любо-дорого!»

— Знаешь, Анечка, — сказала Александра Егоровна, когда скрылись Марфа и Нюра. — А отец-то твой красивым был... И строен и пригож. Видно, война сгубила. Одни воевали, а другие судили «Смертовец» отец твой... «Смертовцем» и остался... Человек слаб. Судить же беззащитных, своих же солдат... Ну да не им было придумано.

Не сказала Александра Егоровна того, как после войны, когда она сама уже заведовала больницей, поздним осенним вечером встретил ее прокурор. Вышла она из больницы, окруженной сосновым бором, и увидела, как, поднявшись с лавки, пошел к ней прокурор Нестроев Высокий, в форменной одежде. Подойдя, сказал:

— Присядем, поговорить надо.

Александра Егоровна молча приняла приглашение, и они сели на ту лавочку, с которой поднялся Нестроев. Долго он сидел молча и вдруг заговорил осипшим голосом:

— Живу вот... Что живу... жизнь ли это?! Однобоко как-то получается. Красивая ты... Больно мне... Понимаешь, больно! Люблю я тебя! — Повернул он к ней свое лицо, а лицо белое, словно приступ какой у него. — Люблю! Шла бы за меня замуж а?! — И вдруг обхватил ее, притянул и стал целовать в губы.

Нет, не смогла она противиться... Ничего не помнила, только губы его... И длилось-то это всего мгновение. Оттолкнула она вдруг прокурора, вскочила и быстро пошла прочь. Больше не приходил прокурор, но, видно, осталась в нем злость. Не привык к такому. И стал мстить... Уж после, через много лет, женился он, но, завидя где Оладьеву, тонко сжимал губы и белел лицом.

— Едут! — вдруг крикнула Анечка. И в самом деле, внизу показались дрожки.

— Коля! Коленька! — замахала рукой Аня. Она увидела, как соскочил Николенька с повозки и бегом бросился по тропинке вверх. Тут же его фигура затерялась в зарослях шиповника. Анечка не выдержала и кинулась навстречу. Ей казалось, что она не бежит, а летит. Нырнула в шиповник — и вот он, Николенька, в голубой рубашке...

— Коленька! — Анечка кинулась к нему и тонкими прохладными руками обвила его шею. — Милый! Как ты долго!.. Я так скучала!

Николай смотрел на родное, оживленное бегом лицо своей Анечки... их губы встретились и стали ласкаться так, как ласкает волна берег. Николенькина рука скользнула по Анечкиной груди.

— После! — жарко шепнула Анечка. — Не сейчас! После... любимый...

Когда поднялись наверх, Анечка, увидала, что Александры Егоровны нет.

— Мы с тобой поженимся? — спросил Оладьев у Анечки.

— Конечно! Я так хочу быть твоей женой. И только твоей! И всегда, всегда думать только о тебе...

— И я! И я тоже! Верь мне, Анечка...

* * *

После обеда Николай Петрович Оладьев читал записки своего прадеда. Начинались они следующим образом:

«Неясно мне, что хочу сказать, и главное, кому сказать? На дворе зима, холод чудовищный и нет дров. Я один в своем доме и всего боюсь.

Мне пятьдесят пять лет исполнилось сегодня, то есть 5 декабря 1925 года. Родился я в купеческой семье. Отец мой Дмитрий Андреевич, выходец из небогатой помещичьей семьи, рано бросил дом, пытался учиться, но вскоре бросил учебу и купил небольшое дело. Его трудолюбие, трезвая жизнь вывели отца в богатые люди. Женился он поздно, то есть достигнув сорокадвухлетнего возраста, на моей матери, Фекле Семеновне Рябовой. Рябовы имели магазин в городке Пселе и единственную наследницу — мою мать. Была она младше отца ровно на двадцать два года. Фенечка, как звал мою маму отец, была хороша собой, имела ровный характер и более всего любила дом. Через год с небольшим родился я... Каждое лето, мама увозила меня в Псел, где, собственно говоря, я и вырос. Отца не стало, когда мне исполнилось четырнадцать лет. Но я его хорошо узнал и полюбил. Всегда аккуратный, подтянутый, необыкновенной доброты, хотя и насмешливый, он был как бы центром нашего дома. Друзей он имел мало и всякую свободную минуту уделял мне и маме. Маму он любил безумно! Ко мне же относился шутливо, но всегда помогал в затруднительных обстоятельствах, будь то помощь в учении или же в случаях, когда я чего-нибудь набедокурю. Когда я вспоминаю свое детство или отрочество, то в голове ясно и четко я вижу картинки прошлого... Прошлое — вот что осталось у меня, вот что осталось для России в целом. Господи, Боже наш милостивый, как так случилось, что произошла трагедия с переменой власти! Я всегда служил Отечеству, но сейчас решительно вижу, что оно разрушено и погибает окончательно. Самое страшное, до нелепости чудовищное, что в разрушении его участвует мой сын, Егор... Положение мое, мягко говоря, странное. Егор, которому нынче двадцать шесть лет, возглавляет уездное ЧК... Меня потому, видимо, и не трогают, хотя всех моих знакомых давно арестовали и вывезли из города неизвестно куда. Сын дважды меня навещал. Правильнее, заходил в наш дом. Худой, нервный, в кожаной куртке и высоких сапогах, мне он показался старым... Войдя в дом, он постоял в гостиной, зачем-то пальцем потрогал изразцы на печи и, усмехнувшись, сказал:

— Прошу тебя не влезать ни в какие дела. Живи тихо.

— Не смей меня учить! — крикнул я ему в ответ.

Лицо его мгновенно осунулось еще больше, и, глядя на меня пристально, добавил:

— Ты мне мешаешь, но я терплю, пока терплю!

После он вышел и, сев в авто, укатил.

Мне до сих пор не верится, что он — тот самый Егорушка, которого мы с женою так любили... Сосредоточенный, умненький наш Егорушка, и тот, который был намедни, — совершенно разные люди. Жена моя, Ольга, родом была из Москвы. Отец ее, профессор химии, Степан Васильевич Болотов, у которого я учился в университете... С Оленькой я познакомился, когда однажды пришел в гости к профессору. Пришел из надобности, кажется, что-то связанное с нашей университетской лабораторией. Там я ее и увидел впервые. Высокая, статная, с короткой стрижкой, она сразу же мне понравилась, но я все боялся своего небольшого роста и потому вел себя подчеркнуто строго. Ольга казалась веселой, остроумной и очень начитанной девушкой. Как-то после петровских морозов я, как бы между прочим, пригласил Оленьку на концерт, который состоялся в зале Дворянского собрания. Концерт был неудачный, скучный. Все в нем было неразборчиво. То пели любители, то выходил известный артист... Не дослушав тенора, мы ушли. Морозы убави-

лись, и мы порешили пройтись до Пречистенки пешком.

— Чем вы станете заниматься, когда кончите университет? — спросила меня Ольга.

Я ей ответил так, как думал, что вернусь в Псел и налажу медеплавильное дело.

— Наукой мне заниматься некогда, — сказал я ей. — Я люблю дело, которое приносит практические результаты. Надобно сейчас в России развивать промышленность, и развивать так, чтобы все новейшие научные открытия сразу бы шли в дело. У вашего отца я очень многому учусь. Хочу его труды воплотить в то, что поможет нам выйти из затруднительного положения.

Ольга вдруг пожала мою руку:

— Папа вас очень хвалит.

Через год мы поженились и сразу после венчания уехали в Псел. А все-таки холодно... Я грею руки об лампу... Нет, я не стар, но ощущаю крайнюю ослабленность в организме. С днем рождения...

Городок словно вымерз. Я вышел во двор, когда совсем рассвело. Небо было чистым, снег громко хрустел и напоминал хруст крахмала. Стояла дикая тишина! Пришлось идти в сад, чтобы наломать веток. Старая груша, которую я звал «графиней», за ее вид, широко раскинула свои крепкие, но уже иссушенные ветки. С помощью небольшой пилы стал обрезать эти ветви. И как я ни любил эту грушу, знал, что такой холодной зимы ей не перенести. Все равно она погибнет... Вернувшись, я затопил печь. Кое-как согревшись и согрев чаю, сел за дневник. Большое окно в кабинете плотно держало мороз, и от стужи стекла были разрисованы фантастическими узорами пальм. Все это время думаю об Егоре. Сейчас я ясно вижу, что в воспитании сына допустил крайний либерализм, а может, даже и халатность. К религии я относился не ревностно, а както так, как все... В церковь ходил мало, хотя и много жертвовал. Ольга же, пуще того, часто подсмеивалась над тем, как я, прежде чем приступить к делу, долго молился. И это крайне дурно повлияло на Егора. Я видел, как, выросши, он стал как бы избегать нас, то есть меня и Ольгу. Никогда и ничем не делился. Позднее, уже уехав учиться в Москву, завязал там тесные отношения с какой-то партией. На третьем курсе был исключен из университета, а после бежал за границу...

Шла война с немцами. Мы с Оленькой стали патриотами и помогали армии как могли. Но что-то в жизни произошло такое, чему я не мог дать объяснения. Рабочие моего завода и рабочие на рудниках встречали меня холодно и все время просили надбавки. Я им объяснял, что всякая надбавка должна быть разумной. И если я стану им постоянно набавлять, то в результате не смогу обеспечивать их нужным оборудованием и мы все вместе обанкротимся.

— А ты поживи-ка на нашем месте! — помню, крикнул мне один рабочий.

— Зачем? — удивился я. — Я живу на своем месте, а вы на своем, мы делаем одно дело. И поверьте мне, что пройдет война, мы станем неминуемо богаче! Все — и вы, и я!

Нет, напрасно я все это говорил. Приходили мои инженеры и жаловались на грубость рабочих... Помню г. Остроухова, уже немолодого и очень знающего дело.

— Нет, Дмитрий Андреевич, так дальше нельзя! Вчера одному пареньку отдавило ногу по его же разгильдяйству, так рабочие кинулись на мастера и побили его! Мне порвали рубашку... Был бы моложе, ушел на фронт. Там по крайней мере порядок! Эти чертовы социалисты очень просто решают вопросы — убрать, мол, богатых... Это они нас имеют в виду!

Помню последний приезд сына, его презрительную улыбку. Он уже был исключен из университета. На мой вопрос, что он станет делать далее, усмехнулся:

— У меня дело верное.

— А может, тебе пойти в ополчение? — спросил его я. Егор побелел. И тут я догадался, что он трусит... Фронта он боялся... Взяв денег, через неделю уехал, а вскоре каким-то образом бежал... Вся моя жизнь распадалась на моих же глазах. Да что там моя! Жизнь всех Оладьевых, так долго и кропотливо работавших, неожиданно становилась ненужной... Ольга, узнав о бегстве Егора, горько заплакала. Помню, мы сидели в гостиной, уже стемнело, а она плакала и плакала... И вдруг, резко поднявшись, громко сказала:

— Я его презираю!

Через неделю она в качестве сестры милосердия выехала на фронт... Письмо я от нее получил уже из Румынии, где она оказалась.

«Милый и бесконечно любимый мой Дмитрий! Я должна была поехать... Знаю, что тебе непросто одному, но быть там, в нашем доме, я более не могла! Веришь ли ты мне, как я ненавижу сына! Особенно сейчас, когда воочию убедилась в тех крайних трудностях, что испытывают люди военные! Как они мужественны! Как они прекрасны в своем мужестве! Дороги в Румынии отвратительные, поставки продовольствия и боеприпасов чудовищны, а они все терпят. Работы много, и это меня спасает. Дмитрий, знай, что я всегда любила тебя и дорожила нашей любовью...»

А вскорости я получил извещение о ее гибели. В поезд, где она ехала, угодил снаряд... как сообщалось, останков не нашли... Она ехала рядом с вагоном, где лежали снаряды... Она попросту растворилась... С этой минуты я оказался одиноким настолько, что... Все, что было во мне сердечного, не от ума, все было направлено для Оленьки... Любил я ее, да и люблю безмерно! Сейчас же я даже где-то рад, что ее нету, что она не видела, не пережила той мерзости, которую пережил я и другие. Смена правительства, бунт за бунтом... Сожгли мой завод... К власти приходят большевики и неслыханный террор! Озверевшие мужики, пьяные солдаты... Не хочу! Не могу все время об этом думать! Я хотел принести пользу... Тесть мой, профессор Болотов, покончил с собой... Родственников моих, Рябовых, расстреляли... Меня не трогали по той причине, что Егор уже был известен большевикам и в свои ранние годы уже занимал какую-то должность... Впрочем, обобрали, все одно, до основания. Даже мебель из дому вынесли, оставив стол, книги да кровать.

Помню, как с меня срывали перстень с бриллиантом, подарок Оли... Красноармеец взял мой палец в рот, обмусолил его и по этим слюням стянул тот перстень... Ощущение было такое, будто бы меня публично изнасиловали... Никак не выходят из головы туповатые зеленые глазки этого красноармейца, его щербатый рот с красными губами и запахом махорки... Вот она, новая, большевистская Россия! Отныне и навсегда останется для меня в образе этого рыжего ублюдка, намусолившего мне палец...»

* * *

Николенька оторвался от чтения дневника, и нехорошая тряская волна, вырвавшись из глубины тела, дошла до кожи, покрыв ее холодными пупырышками.

«Как же я ничего об этом не знал?! — воскликнул он про себя. Из сада тянуло медом, теплом и покоем. Николенька оглядел кабинет, словно бы впервые его увидавши, и ему тотчас захотелось броситься к Анечке, чтобы все ей рассказать, но он передумал в тот же миг. — Не надо ей рассказывать сейчас... надо ей после, когда она успокоится... Да и надо ли?!» — Он поднялся с кресла и прошел к тетушке.

Завидя племянника, Александра Егоровна заметила в его лице растерянность и жестом указала на стул.

— Что это с тобой? Не устал ли?

— Тетя, я дневник стал читать.

— Вот оно что... Я-то подумала, ты и забыл, поди...

— А какой он, Дмитрий Андреевич?

Тетушка встала и вышла в свою спаленку. Вернулась с толстым, в коричневой обложке, альбомом.

— Погляди, — Александра Егоровна протянула альбом Николеньке. С фотографии на него глядело сухощавое лицо прадеда... Дмитрий Андреевич сидел на стуле прямо, в белом костюме, в белом галстуке. Его светлые глаза смотрели чуть в сторону, отчего казалось, будто бы он глядит туда, где все его будущее. Далее шли фотографии его жены, Ольги Степановны. Крупная, породистая прабабка очень понравилась Николеньке. А вот они вместе... Дмитрий Андреевич сидит, а жена его стоит рядом, положив левую руку на его плечо. А вот и дед... Здесь ему не более года... Николенька захлопнул альбом и попросил тетку дать ему его на некоторое время. Тетушка жестом разрешила.

— Ты пойди пока да помоги Евдокиму мед качать, — попросила она.

Идя по саду, Николенька успел заметить несколько пожелтевших, хотя и крепких листьев.

«Скоро осень, — подумал он, — значит, скоро надо уезжать в Москву...»

На поляне, где стояло четырнадцать ульев, уже деловито возился Евдоким, пофыркивая дымарем; рядышком заглядывала в пчельный домик Анечка в белом с черной сеткой накомарнике. Тут же стоял крашенный белой краской насос для откачки меда.

— Коля! — звонко крикнула Анечка. — Тебе надо накомарник! Пчелы такие злые!

Евдоким Дмитриевич поднял с земли большую белую шляпу с сеткой и протянул ее Николеньке. Сам же был ничем не защищен от пчел.

— А вы-то как же? — спросил его Оладьев.

— Я привыкший. Потом меня пчелы знают.

Анечка в черной сетке казалась сейчас Николеньке дамой под вуалью. Ее белое тонкое лицо словно посмуглело под сеткой и гляделось таинственно, как бывает в лунные ночи. Пчелы зудели вокруг, ползали по большим рукам Евдокима, подгибая брюшко и нервно трепеща крылышками. Евдоким, завидя переполох, фыркал сладким, пахнущим березовой корой дымом, и пчелы, словно напившись дурмана, отползали прочь, тогда он поднимал на солнце тяжелую рамку, полную меда, и, оглядев со всех сторон, нес к насосу.

— Ты, брат Николай, крути! — Евдоким указал на большую рукоятку, похожую на ту, которой заводят машины. Срезав блестящую корочку, которой были запечатаны соты, он вставлял рамку вовнутрь.

Николай закрутил рукояти, и рамки побежали внутри бака. Это была обычная центрифуга. Сбоку, из крана, тонко потек мед в подставленный бочонок.

— Как интересно! — радовалась Аня. — Только вы на меня поднимите, Евдоким Дмитриевич. Подымите скорее! Ой, они лезут!

И Евдоким обкуривал Анечку с ног до головы и продолжал дальше свою работу.

— И как же они все так умеют? — удивлялась Аня. — Посмотрите, как ловко пчелы запечатывают соты! Прямо как пакетики!

— Пчела, доченька, существо Божье. Ей от Бога велено человека дарить. За то ей и язык свой даден, и живут они ровно государство какое. Вишь больша какая пчела? Это есть ихняя матерь. Они ее почитают.

— А вот тоже большая! Посмотрите, ее выталкивают...

— Это по-ихнему значит трутень! Вроде как мужик. Ну не мужик, а жеребец. Нужон, покудова самке нужон. Как пора пришла и отпала надобность в трутне, сейчас его пчелы-работницы хвать, крылья ему обкусают и вон из улья. Скинут на землю, а там он и пропадет.

— Страшно как! — удивляется Анечка.

— А чего страшного? Трутень меда не носит. Коли сделал дело — помирай, а за тебя дело жить станет! В природе — закон всему голова. Это у людей, вишь, беззаконие. А ну как возьми зерно, да начни не вовремя прорастать? Погибель тому зерну и росточку погибель. Закон должон соблюдаться. Сказал Господь: «Не укради», — и не кради! Слово Божье — закон. И чего, скажи мне, есть худого в слове Божьем? А людишки, вишь как, противу Бога пошли. Да... Вот и наказанье! Смиренность человеку нужна. Смиренность покой дает. Человека же несмирного — лечить надо! Взять, к примеру, Ленина. Несмирный был человек. От характеру и на-

творил дел! Наблюдал одних трутней, которые и посчитали себя явлением! Простая рабочая пчела как рабочей была, так она и осталась. Нас как на войну призвали... а пошел-то я в июле ажно. Под саму горячку! Угодило, так угодило нас. И эдак мы, солдатики, соединились, сами решали. А как, милая, не сами, когда командир наш из трутней. Весь новенький, и нос с перепугу блестит. Винтовки у нас с шестнадцатого году, да по четыре патрону к этой винтовке. Штык отобрали... А немец пер, Царица Небесная! Надо сказать, немец — человек не злой, но всяку команду выполняет. Значит, встренули мы их под Новгородом. Окопчиков понарыли, рассуждали как умели. Одно ясно, рассуждай не рассуждай, а воевать не обучены! И командир наш дурак дураком. Как с затвором справиться — это я его научу, а как половчей устроиться к данному моменту — вот в чем командирское умение. Видим так: танки они вперед пущают, а после сами бегут. Или так: артподготовка, потом бегут. Пушечки наши слабые, так мы ихних танков дождемся, да и прямо в лоб, так чтоб метров за сто, не боле. Долго с нами немец возюкался. Хорошо хоть командиры молчали нашему самоуправству. А то бы все! Так и командирам жить было охота, и нам охота. А охота, она пуще неволи...

Разговаривая, Евдоким Дмитриевич сам все делал свою работу. Вот уж и Анечка устала, и пчелы ее укусили два раза, отчего она не то смеялась, не то плакела. Наконец Евдоким услал ее. Солнце пекло, по высокому лбу старика катился крупный пот, лицо свекольно зажглось, и только голубые глазки глядели весело, словно говорили: такая работа нам в радость!

К пяти часам кончили, стащили бочонки под навес, и усталый до головокружения Николенька пошел к себе и, упав на диван, уснул. Не слышал он, как вошла в кабинет Анечка, как подсела к нему. И только когда ее рука коснулась его лба, словно выплыл из теплого, глубокого омута. Открыв глаза, еще некоторое время не мог понять, где он? Но уже его рука охватила Анечкину руку и потянула к губам.

— Как хорошо, что ты пришла... — пробормотал ои.

За ужииом читали статейку из «Пселского листка» об убежавшем с постамента памятнике. Читала вслух Александра Егоровна. Прочитала, все засмеялись.

— Вранье! — радостно воскликнул Николай.

— Дак как же вранье, когда я посылала Марфу с Нюрой. Точно говорят, нету памятника и народу много. Все смотрят. Говорят, что сейчас щиты деревянные ставят и надпись повесили, что памятник, мол, на реставрации! То они каждый год обмажут его черной краской, а тут на реставрацию? Отмывать, что ли, черноту? Может, они теперь сусальным золотом покроют?

— А Широкова—это та, что приходила, да? — спросила Анечка, обращаясь к Оладьеву.

— Да, да, — ответил тот и смутился.

— Какая она смелая, — удивилась Аня,— я бы ни за что ночью не пошла за сумасшедшим, да еще и первым секретарем. Даже папа боялся секретарей!..

— Нет, я сам схожу и сам посмотрю! — сказал Николай Оладьев и сердито ткнул в блин вилкой. — Это же чушь! Такая же реклама, как всякие бредни об НЛО. Ну как это возможно?!

— Да что ты сердишься? — Александра Егоровна удивленно вскинула свои темные брови. — Ну, пусть и реклама, пусть и бредни, так ведь смешно! И смело! Фельетон.

— Но ведь и в фельетоне должна быть правда! — не унимался Оладьев.

— Да какая может быть правда о человеке, про которого наплели за десятки лет столько лжи?

* * *

Выходя со двора, Николенька увидел под навесом ужинающего Евдокима; на струганом, а после навощенном столе стояла миска с медом и крупный пучок мясистого лука, на котором висели холодные капли колодезной воды. Евдоким Дмитриевич опускал в мед зеленые луковые перья, а после ровно пережевывал их своими ровными белыми зубами. Завидя удивленный взгляд Николенькиных глаз, Евдоким сказал:

— Ужинаю вот...

— Лук с медом?

— Завсегда так. Одно другому не мешает. — И запил горячим настоем шиповника. Вечерело. Длинные тени конюшни и амбара лежали на брусчатке двора.

— Далеко ли? — спросил старик.

— Пройдусь, — неуверенно сказал Николай.

— Ну ступай с Богом.

Николенька вышел со двора, а в глазах стояла чудесная картина, на которой в вечереющем свете сидел крепкий старик, и оранжевый свет, отраженный от чистого двора, как пламя свечи, освещал его загорелое лицо... и миска с медом, и зелень лука... От всего этого веяло старинным, добротным, русским.

Спустившись вниз, Оладьев оказался среди двухэтажных, еще до революции выстроенных домов. Все они имели вид одинаковый. Нижняя часть каменная, вторые этажи деревянные. Не зная, куда следовать дальше, он спросил у женщины, идущей с полными сумками картофеля, где же находится площадь Ленина.

Женщина удивилась:

— Приезжий, что ли?

— Приезжий, — отвечал Оладьев.

— Так вон, прямо все. Где газончики, значит. Там, там он стоял!

Николенька поблагодарил и быстрым шагом пошел в указанное место. На площади толпилось несколько зевак у фанерных щитов. Оладьев остановился рядом с двумя стариками, которые бойко спорили.

— Я те что говорю! Знак это! Как сказано — «Был первый Михаил и будет последний Михаил! На этом все кончится!»

— Ты, Еропегин, — дурак! — воскликнул второй. Оба были маленькие, полненькие. Только у одного лицо было широкое, а у другого узкое, но с большими складками под подбородком. Обе были в сандалиях на босу ногу и в майках, которые обычно надевают на ночь.

— Это почему же я дурак? — изумился тот, которого звали Еропегиным.

— Да потому! Это все редакция придумала! За критику меня из нее турнули!

— Ты, Подкурсин, все врешь, тебя турнули за лень!

— За правду! — не унимался Подкурсин. — Они нарочно этот памятник сперли!

— А где же тогда милиционер?

Дослушать Оладьеву не дали. Вернее, кто-то тронул его за плечо. Николенька обернулся и увидел стоящую перед ним Лизу...

— А ты что тут делаешь, бутон? — Она улыбалась ему своим крепким ртом и сияла глазами.

— Вот прочитал, как-то не поверилось.

— Ах, Фома-неверующий! Ну, пойдем, я тебе расскажу! — Лизавета крепко схватила Оладьева за руку и потащила куда-то вбок. Сегодня на ней был пестрый сарафан, который едва прикрывал крупные колени. На ногах узорчатые резиновые тапочки, в которых обычно ходят по пляжу.

— Вон она, паскуда! — раздался позади уходящих Лизаветы и Оладьева окрик.

Лизавета презрительно ухмыльнулась:

— Это наш бывший сотрудник, Подкурсин. Мы его вчера на пенсию. Обсосок сталинский, еще и выступает. Ну, а ты-то почему не поверил?

— Я-то? Не знаю... Так не бывает.

— Не бывает... Ты что же думаешь, придумали мы все? Кустарев — реалист. Он поэзией не балуется. Все это чистая правда, брат! Я же не сумасшедшая. Хотя полковник из КГБ, он хотел нас освидетельствовать в дурдоме. Увезли бы — все! Там бы нас точно придурками сделали. Но Кустарев — депутат местного Совета! Нельзя! Кустарев — гений! Вот увидишь, займет он и в Москве свое место. Мы теперь хотим свою библиотеку издавать.

— Куда мы идем? — недоумевал Оладьев, слушая невнятно Лизавету. Оии поднялись вверх по какому-то переулку и оказались перед домом явно церковного предназначения.

— Вот тут я живу, — сказала Лизавета. Дом был беленый, с узкими, длинными окнами под узорчатой решеткой. Лизавета пояснила: — Монастырь хотели строить. Успели только трапезную поставить и надвратную церковь. Церковь взорвали в 1920 году. Трапезную бросили. А после под жилой дом пустили.

По каменным ступеням они дошли до второго этажа. Дверь у Лизаветы была обита клеенкой в голубых цветочках. Она отперла дверь, впустила Оладьева, и дверь захлопнулась. В прихожей висели оленьи рога, висело зимнее пальто с мехом лисы на воротнике. Другая дверь вела в большую квадратную комнату, оклеенную обоями. Одна стена полностью была закрыта книгами, которые размещались на самодельных полках. У другой стены стоял раздвинутый диван с неубранной постелью. На круглом столе стояли и валялись бутылки, стаканы, и пахло сигаретным дымом вперемешку с чем-то кислым.

— Ничего квартирешка, да? — спросила Лизавета.

— Да, ничего. — Оладьев растерялся и не знал, что ему делать дальше. Лизавета прошла к столу, взяла узкую бутылку «Белого аиста» и налила в пустые стаканы желтую пахучую жидкость.

— Иди, садись! — Лизавета ткнула ногой стул, крашенный белой краской. Когда робкий Оладьев сел, Лизавета подала ему стакан.

— Не успела убраться. Вчера всю ночь баталии шли. Вся редакция заседала. Ну, давай! — Лизавета вылила в свой рот полстакана, достала кончиками пальцев кусочек яблока и пожевала. — Давай, давай!

Оладьев сглотнул слюну и выпил... Через несколько минут он раскраснелся, и легкий дурман сизовато закурился в голове. И сквозь этот дурман он силился протащить жующую его мысль: «Зачем я сюда пришел?!»

Лизавета уже трещала о первом секретаре, его речах, о том, как и где...

«Зачем я пришел?!» — думалось Оладьеву.

— Ты веришь в литературу?! — грозно спросила его Лизавета.

— Верю, — тихо ответил Оладьев.

Тогда Широкова махом скинула с себя сарафан и оказалась совершенно голой, в тапочках.

— Не терплю одежды! У меня мечта! Ходить зимой в длинных сапогах и в шубе из чернобурки, а под шубой чтобы ничего! А?! Пришла в дом, откинула спину, шуба как теплая вода скатилась с плеч... Эх, Николя, жить хочу, в Канны хочу, в Ниццу! — Она упала навзничь на диван и задрала ноги.

«Какая она ужасно большая! — испуганно думал Оладьев, наливаясь свинцовой тяжестью. — И зачем? У меня Анечка... Что же это такое, а?!» — но уже оторвался от стула и, спотыкаясь, пошел к большому, словно полированному, телу Лизаветы. Тяжело дыша, встал у ее ног, а она этими ногами обвила его шею и повалила на себя.

— Я тебя замучаю! — пообещала Лизавета...

После еще пили коньяк. Неожиданно Лизавета вскочила:

— Слушай, тебе надо топать по-быстрому. Сейчас Кустарев придет!

Она зажгла верхний свет, который больно ударил по глазам Оладьева, и бросила ему одежду. Николенька, плохо соображая, натянул джинсы, влез кое-как в кроссовки и, плохо застегнув зеленоватую с синими полосками рубашку, пошел к выходу.

— Ты давай, держись! — подбодрила его Лизавета. — Шикарный ты мальчик! — Она его поцеловала и вытолкнула за дверь.

Над городом стояла ночь и стеклянным светом горела полная луна.

— Который теперь час?! — испугался Николенька, подумав, что его потеряли и конечно же ищут! Он еще раз обернулся на дом Лизаветы и только сейчас увидел слабо освещенную надпись с угла — «ул. Карла Маркса, 19».

Спотыкаясь, он пошел наугад, но примерно догадываясь, куда следует идти...

Надо сначала на площадь, а потом, потом вверх... На площади, конечно, фонари... Он дошел до площади, но фонари на ней не горели... Было тихо, безлюдно и неясно.

— Николенька, — услышал он тихий голос Анечки. Ему показалось, что он бредит, но тут же из-под тени большого тополя вышла она, Анечка.

— Николенька, где же ты так долго! Все перепугались. Тетушка не спит...

— А который час?

— Уже больше двенадцати! Николенька, ты пьян...

— Я пьян, Аня! Я очень пьян... Прости меня! — Оладьев стал усиленно изображать пьяного.

— Пойдем, милый! Пойдем! Я уже полгорода обегала!

— Мне так стыдно, Аня! — И, путаясь ногами, путаясь в мыслях, Николенька потащил свое мягкое тело вверх по улице. Там, наверху, стояла повозка Евдокима.

Сильные руки старика подхватили Оладьева, и вскоре он был в коляске.

— Эх, Николай Петрович... Как же можно? — укоризной веяло от всей фигуры старика. — В твои ли годы пить! Да и не сказавши, куда, где, можно ли? Городок наш хуть маленький, да говна в нем ох сколько! Ведь тут и убить могут. Такие в Пселе варнаки, не приведи Господи! А тебя вон девица рыщет! Стыдно! Пьянство— погибель российская! Нешто не видишь, куда закатились с этим пьянством...

Николенька, дрожа всем телом, влез кое-как на сиденье, схватив за руку Анечку, севшую вплотную к нему, с ужасом подумал, что сейчас ему скажет тетушка. Часто цокая, конь потащил их в серебряной пыли к дому. Николеньку замутило, он застонал, и впрямь почувствовав себя жутко пьяным. Сейчас одно застряло в голове — удержаться, чтобы не вытошнило. Ему все казалось, будто в животе булькает коньяк, жирный от съеденной селедки...

— Плохо тебе? — шепотом спросила Аня.

— Угу... — только и ответил Оладьев.

В дом его ввели бледного, мокрого, с большими, почти безумными от страху глазами. Тут же Марфа и Нюра его подхватили и уволокли в ванную.

Уже когда чистый, в голубой пижаме, лежал Оладьев под простыней, пахнущей лепестками роз, вошла к нему Александра Егоровна.

— Выпей-ка, дружок, — и она протянула ему бокал со спиртовым настоем трав.

Николенька выпил.

— Простите меня, тетушка

• • •

А что же делала Лизавета после того, как выдворила пьяного Оладьева? Она пошла в душевую. Ванной у Лизы не было, а была узкая с цементным полом душевая. В ней всегда пахло скисшей от мыла водой и по полу бегали жемчужно-розовые мокрицы. Лиза включила свет, который она придумала сама. На самый верх, под высокий потолок, повесила она сильный фонарь, каким освещают предметы фотографы. Душевая от того освещения неожиданно как бы потеряла стены. Наладив воду, встала Лиза под широкий, тропический ливень и долго так стояла, слыша шум воды, похожий на шум дождя. Мышцы ее присмирели, а во рту явно проступил клубничный вкус оладьевских поцелуев. Лиза стояла с закрытыми глазами, и сквозь веки видела она красноватый свет, который ей напоминал солнце, берег моря... Постепенно она забыла о времени, и мысли ее потекли так же ровно, так и струи воды, что окатывали ее голову, большие покатые плечи и чуть подрагивавшие крупные с шоколадным налетом соски. Зачем-то ей вспомнился маленький худенький отец — сапожник Широков. Ей увиделось, как сидит он на маленькой кухне и шьет сапоги. Вспомнила, как ей приходилось натирать дратву (толстую крупную нитку) варом, черным, смолистым варом. Руки от него становились мазутными и с большими порезами, когда нечаянно ладонь срывалась на нитку, и обжигало, резало ей мякоть. И если она плакала, то входила огромная как тень мать и била ее по голове:

— Ишь неженка какая!

Вспоминались и вечера, когда прибегала с улицы Лиза, покрасневшая от свежего воздуха, и видела сидевших на кухне отца и мать за столом с бутылкой водки. Они выпивали и пели длинные песни. Лиза садилась рядом, ей также наливали водки и худой, широкоскулый отец скалился маленькими корешками — всем, что осталось от зубов, говорил ей:

— Эх, Лизка, хлебнешь горюшка! Пей, дочура, да не будь дурой!

Мать глядела куда-то в угол своими темными глазами и не переставала петь. Блестела на желтой газете селедка, а разрезанный крупноголовый лук словно потел мелкими прозрачными бисеринками. В доме пахло кожей, резиновым клеем и махоркой, которую всю жизнь курил отец. Комната у Широковых была одна. И хоть сам дом и велик, но выстроен был неудачно. Кухня маленькая, а комната огромная, хотя из нее можно было и выстроить три. На большой железной кровати спали родители, а Лиза спала в углу на большом деревянном ларе, куда скидывали старую обувь, что приносила мать с помоек. После из этих обносков отец выкраивал лоскутки и шил детские тапочки, сандалики.

...Лиза открыла глаза, выключила воду. Не вытершись, пошла ставить кофе. Позвонили в дверь. Лизавета усмехнулась:

— Пришел, горбыль!

Да, вот таким сравнением наградила своего кумира Лизавета Широкова. Горбыль, он же Кустарев, не вошел, а влетел в Лизаветины покои.

— Лиза! Я сейчас от полковника Маркелова! — Кустарев достал свой платок, опорожнился в него и продолжал: — Полковник принял меня на квартире в домашних тапочках. Слушай дальше! Ты что, мылась?

— Мылась и ждала вашу милость!

— Погоди! Итак, полковник Маркелов сказал следующее...

И тут Кустарев достал диктофон, висевший у него под мышкой, как наган в полицейских фильмах. После коротких всхли-

пов, которые означали сморкание Кустарева, услышала Лиза голос начальника КГБ:

«— Я в этой истории с Лениным мало чего понял. Скорее, ничего не понял. Но точно знаю, что все это никакая не фикция! Поэтому, дорогой Сергей Павлович, вы уж, сами знаете... нам не до того! Но все это — строго между нами, ясно? Рюмочку настойки выпьете?

— С удовольствием (послышался голос главного редактора. После небольшой паузы и коротких булькающих звуков вновь раздался голос Маркелова).

— В конце концов я и сам ни черта не понимаю в этом трепаном марксизме! Какой-то еврей насочинял, наскоблил, понимаешь, нам с европейских задов сказку о всеобщем равенстве, а мы что? Давай людей равнять! А кому равнять? Мне? А я не хочу... Пусть люди сами решают, но все это — сугубо между нами. Устал я, Сергей Павлович, шарахаться. Вижу, ваша возьмет. Можно, конечно, было и приструнить, да понимаю, не мое дело. До пенсии мне полгода... Уйду, а там вы хоть на голову вставайте. Я б его, лысого черта, ей-Богу, похоронил, и все. Схоронить скорей эту изнатчину... Так что вы уж сами... Нравится наливочка?

— Очень!

— Малиновая! Сам делаю. Талант у меня к производству наливочек, настоечек. Ух, Сергей Павлович, уйду на пенсию — приглашу дегустировать! Неделю не выпущу!»

Кустарев выключил диктофон.

— Поняла?

— Поняла! — ответила Лиза.

— Надо в печать. Все, что он сказал, надо обнародовать! Спасибо наливке. Вдруг Кустарев осекся. Его взгляд упал, и упал совершенно случайно, на белые шелковые носки, которые забыл надеть Оладьев. Редактор согнул свое длинное, худое тело и, подхватив шелковый, не советского изделия продукт двумя пальцами, с деланным изумлением показал этот продукт Лизавете.

— Кто же в нашем городе носит такой шик?

Лиза как бы нехотя выхватила носки, махнула ими в воздухе и ответила:

— Я!

Но Кустарев знал все предметы личной необходимости Широковой.

— Нет, ты стерва! И почему я до сих пор тебя не убил?

— Хватит! — отрезала Лиза. — Давай к делу.

— Сначала это... — недовольно буркнул Кустарев и кивнул на кровать. Лиза хохотнула и рухнула вместе с носочками на разобранную постель.

* * *

Еще стоит ночь. Луна, потеряв свое жемчужное сияние, потемнела и стала похожей на старое круглое зеркало с темными пятнами. Все стихло в природе, и только типографская машина стучала, как стучат зубы у промерзшего насквозь человека. Печаталась статья со словами признания полковника Маркелова. Но все, что произойдет дальше, станет ясно утром, а пока все спят.

Не спала в эту ночь одна Александра Егоровна. Напуганная поступком племянника, она почуяла нехорошее.

* * *

Поутру, как солнце встало, а листья деревьев словно слились с его золотым сиянием и над землей стоял холодный, стылый от ночной росы воздух, вышла Анечка в сад. Нет, не спалось ей нынче. На какое-то время дрема охватила ее худенькое тело, но после выпорхнула, потревоженная пеньем какой-то птички. И пролежав до свету, вышла Анечка в сад, вышла и как в храм попала.

«Как тут дивно! — думалось ей. — Как тут покойно!» И тут-то она и увидела то, что про себя назвала чудом, но чудом странным, неясным. У дома расцвел шиповник, старый, огромный, с толстыми, в палец толщиной, ветками. И сладкий запах его цветов и стылый, ровно смертный, воздух, по которому этот запах тянуло, сжали Анечке сердце, и крикнула она:

— Нет!

А что «нет», и сама не поняла, не догадалась, а кинулась в дом.

Навстречу ей спешила Александра Егоровна. Услышала она это короткое «нет» и, увидя бледную Анечку, обхватила ее и поцеловала во влажные от воздуха волосы.

— Да ты что, Анечка?!

— Тетушка! Тетушка! Там шиповник расцвел!

— Бывает... — тихо ей ответила Александра Егоровна, а сама подумала: «К чему бы это?»

Николенька же, проснувшись, пить захотел. Поглядел, а у кровати — большой стакан брусничного сока. Стекло у стакана толстое, и стоят на этом стекле холодные капли. Да так стоят, словно застыли.

Влага обожгла небо, потекла по телу, расслабила его. Николенька передохнул, оглянулся — а у окна Анечка.

— Это я принесла... Сок брусничный. Со льда...

Посмотрел Оладьев, а на его подушке красное кровяное пятнышко.

— Не бойся! — улыбнулась ему Анечка. — Это капля обронилась, как ты пил.

— Стыдно мне... — Оладьев уронил голову. И так ему вдруг захотелось рассказать Анечке все-все!

«Да как же все-то рассказывать?!» — ужаснулся он, и ужас этот шорохом зашевелился в животе. И потянуло его крикнуть... нет, закричать. Так закричать, чтобы этим вытравить... все, что было... Да нельзя, ах, нельзя воротить не то что дня, а вот мига одного, и то нельзя. Анечка ушла так же тихо, как и пришла. Только пятнышко брусничное на подушке показывало, что была, думала о нем, о Николеньке Оладьеве.

* * *

Наскоро позавтракав, Оладьев вернулся в свою комнату. Сейчас ему захотелось вернуться к дневнику Дмитрия Андрееви-

ча. И сев за стол, открыл он его и углубился в чтение...

«Сегодня была встреча, — писал Дмитрий Андреевич. — ...Впрочем, по порядку. Проснувшись, почувствовал я страшный голод и от этого усталость. Оставалось в доме немного картошки, несколько луковиц и ломоть сала. Сало я берег на самое страшное время и потому сразу же откинул мысль съесть хотя бы кусочек. Странное во мне происходит. Мне все время кажется, что вот отворится дверь и войдет Оленька. Войдет и непременно скажет:

— Дмитрий, я есть хочу!

Деточка моя... Свет мой ясный! Нет, нет более безумного счастья на свете, чем любовь! Как все-таки хорошо, что чувства сердечные не верят разуму. Испек я три картошины и съел их вместе с жесткой, горьковатой кожурой. Поев, согрелся. Надо было пойти в лес, пока еще были силы, и принести сучьев. Вышел из дому, прихватив веревку и топорик. Подойдя к горке, за которой, собственно, лес и начинался, увидел, как по наезженной до льда дороге выбежали три мужика, запряженные в сани. Мужики были потные, а в санях сидел мой сын... За ним следовало его авто... За авто — сани с чекистами. Сын негромко скомандовал:

— Стоять.

И мужики встали... Я помню, что они не смотрели друг на друга.

— Хлеб прятали, — опять же негромко сказал Егор. Он сидел в полушубке, а ноги были покрыты толстым одеялом, вероятно, пуховым. Чекисты слезли с подъехавших саней и щелкнули затворами. На всякий случай, что ли? Сын долго глядел на меня, и, что странно, глядел, не мигая.

— Ты понимаешь, — начал он чуть осипшим голосом. — Что мы... — он помолчал. — Мы! — это он уже отчетливо произнес. — Вершим всемирную, вселенскую революцию! И всякого, кто станет на ее пути, — бес-по-щад-но! Понимаешь? До единого! И если вдруг даже в младенце проснется нежелание служить нам, — беспощадно!..

— Егор, вы же Россию погубили, — ответил я ему.

— Идиот! — вдруг закричал он и тут же спокойно продолжал. — Не может быть более никакой России, никакой Германии и прочих государств. Будет всемирная революционная республика. Я понимаю, что народ — это скоты. Но пусть эти скоты выполняют наши приказания.

— Какие это такие — наши? Кто вы, собственно говоря, есть?«

— Диктатура, — он сузил глаза и поглядел вперед. Взгляд его был выше голов тяжело дышавших мужиков. Нет, не видел он их...

— Пшел! — крикнул он, и я подумал, что это он мне крикнул, и отшатнулся. Мужики нервно дернулись и побежали вниз, увлекая сани с сидевшим в них сыном.

Я вернулся в дом... Нет, я не пошел в лес. Жить далее было бессмысленно. Надо как-то умереть, не накладывая на себя руки, ибо это — грех. А мне нужно встретиться там с Оленькой. Если мне тяжело, то ей — подавно...».

Далее шли страницы рассуждений о Монтене, Гегеле. Мысли Дмитрия Андреевича скакали, но было понятно, что он мучительно ищет причину революции... Он соединял Французскую революцию с декабристским движением и очень осуждал это движение.

«Безумцы! Бездельники! Романтизированные якобинцы! Что вы хотели противопоставить самодержавию?! Каждый из вас мнил себя героем! Да ведь самое что ни на есть героическое — дело делать! Полезное и себе и людям! Вся эта философствующая гадость упала в сердца, погасила в людях веру, сковала сердца немыслимыми идеями, и идеи стали выше Человека. Ведь и сын мой сидел в санях и гляделся Наполеоном. Республика? Не верю я в Республику! Господь дал человеку разум, но еще и вложил в него Душу. Я, боясь всего, в душе же ценю и люблю всякое душевное излияние. Иначе зачем музыка и книги? Зачем же не видеть, как под ветром раздуваются заколосившиеся хлеба, а видеть в этом только продукт! Зачем случилось так, что и человек стал продуктом для достижения цели? Погублена нравственность. То есть погублено самое основание человеческое! Ах, эти Вольтеры, Руссо и Гегели! Не знали они, что вырастут в России отчаявшиеся мальчики... отчаявшиеся ждать, пока их заметят, и предательски полезут, ослепленные идеей, наверх, к трону...»

Далее Дмитрий Андреевич писал о предчувствии смерти. «Я ее уже не боюсь, а жду! Даже приятно, как от выпитого вина кружится в голове. Это всего-навсего — смерть тела. Еще несколько дней. Господи, я это явно вижу — откроется дверь, за которой синие бесконечные владения! И там, на самом пороге, меня встретит Оленька... Потерпи, дорогая, я уже пошел».

И вот последняя запись...

«Картошку и сало положил на стол. Пусть те, кто придет, съест это и станет жить. Как было бы хорошо отдать это тем, запряженным в сани мужикам... Но, верно, их уж нет в живых... Братья мои, если я виноват, простите меня! Руки плохо слушаются, но странное дело, что голова ясная, только в глазах ртутные мушки мелькают... Знобит... Это все. Как славно. Сейчас лягу. Милая, несравненная моя Оленька, как я счастлив тем, что вечно отныне будем вместе! И я тебе напомню о медовом запахе цветущей гречихи... Помнишь? Ну, конечно, Оленька...»

* * *

Анечка сидела на веранде и рассеянно чертила карандашом на бумаге свои обычные рисунки. Была такая странная привычка у Анечки — рисовать. Рисовала она странным образом. Проведет карандашом — появится бородка, к ней шапку дорисует, ноги в сапогах. Смотришь, а это уже старичок с насмешливой улыбкой. И рисунок у нее легкий, словно не на бумаге, а как-то над бумагой, и верится, что возьмет и оживет. А то девушек в длинных платьях с глазами раскосыми нарисует... Так что в конце концов весь листок изрисует, как узорами, и внимательно надо этот листок поглядеть, чтобы увидеть, о чем же думала в этот момент Анечка.

Но уже шла к ней Лизавета. Пройдя двор, решительно она рванула дверь и глазами наткнулась на Анечку. Вошла, присела напротив и, достав сигарету, зажгла ее, а спичку бросила на пол.

— Ну, как там бутончик? Расцвел? — начала она, глядя на синюю струйку дыма.

— Если вы к Николаю, то он отдыхает и ему нехорошо.

— Пить не умеет! — Лизавета достала из кармана своих тертых джинс Колины носки. — Передай! — Она бросила белый комок на стол и стале наблюдать за поведением Анечки. Та взяла носки и тихо ответила:

— Передам.

— И подстирни, если охота имеется! — она так и сказала «подстирни», думая таким образом уязвить Аню.

— Не беспокойтесь, — так же тихо ответила Аня, сжимая в кулаке белые носки. Сейчас бы встать да уйти Лизавете, но не за этим она пришла. Пришла же она увидеть своего «бутона» и вновь его зазвать, заманить... От первого посещения Оладьева осталась в ней какая-то недосказанность, невыработанность, что очень ее нервировало. А тут сидит эта, чистюля, смотрит на нее своими серыми глазами и словно не пускает ее, Лизавету, к тому, кто лежит себе сейчас, один лежит.

— Так он что, в кровати? — спросила Лизавета.

— В кровати.

— Ну так я пройду к нему.

— Нет. Зачем вам? Вы уже напакостили, и довольно.

Широкое лицо Лизаветы побледнело, глаза как-то враз провалились. Она затянулась сигаретой, резко выдохнула и сказала:

— Захочу и сама пройду! Дурочка! Да он сам, понимаешь ты, сам ко мне прибежит! Ты, что ли, ему нужна, убогонькая? Да меня он хочет! Сейчас очухается и прибежит! А что ему с тобой, сосулька?

— Идите, Лиза, идите к себе... — Анечка поднялась и вышла, плотно прикрыв за собой дверь в комнаты.

У ворот оладьевского дома Лизавету ждал ее старенький «Москвич» и сидевший в нем шофер Васька Рукосуев. Завидя Лизу, Васька открыл десны, показывая рыжие зубы:

— Чо так быстро?

— Да пошел ты... — рявкнула Лизавета и зашагала прочь.

* * *

— Надо идти без страха и сомнений! — закончил свою речь Кустарев, уткнул нос в платок и, протрубив в него несколько раз, оглядел сидевших работников редакции. Все молчали, молчали и думали, что хорошо, конечно, идти, еще лучше идти вперед, а уж без страха и тем более сомнений идти куда как легче, но вот не уходил страх и не покидали сомнения.

Небасов озабоченно и неожиданно для Кустарева заявил, что все, о чем сказал им Сергей Павлович, зажигает и обнадеживает... да только вот бумага на исходе, и где ее брать, никто не знает!

— Бумага есть! — твердо сказал Кустарев. — Бумагу нам дает областная газета «Сменяя вехи».

Внизу полуподвала редакции стучали рабочие. Строилось кафе, и это воодушевляло! Кустарев знал, что там, преодолевая пыль и усталость, трудится неутомимый Груев.

И вдруг (а это было для всех неожиданностью) поднялась Широкова:

— Вы все врете, Кустарев! Я у вас телеграмму нашла! Вас приглешают возглавить областную газету! И я точно знаю, что вы, Кустарев, согласились.

Главный редактор потер руки, словно помыл их, а после, глядя в открытые от изумления рты работников редакции, негромко сказал:

— Да. Я дал согласие.

— А мы?! Мы-то как же?! — воскликнул перешедший из школы № 1 Светозаров. — К кому мы теперь? Кто?!.

— Груев, — твердо сказал Кустарев. — Он потянет. И тихо! Я еще не все сказал. Широкова поспешила. Я хоть и дал согласие, но прежде выработал план. А именно! Все районные газеты станут единым концерном под моим руководством! Сеть отношений, молниеносный удар по противнику нам обеспечен! Так что, уходя, я как бы и не ухожу, а скорее укрупняюсь! Вам же, дуракам, лучше! — уже раздраженно выкрикнул Сергей Павлович.

«Дуракам» действительно показалось, что, конечно, так лучше! Ну, во-первых, Кустарев — их человек и своих не продает, хотя как будто бы уже и продал... А пока шумели, кричали, Лизавета тихонько вышла из редакции и пошла к себе. Телеграмму, что прислали Кустареву, она нашла два дня тому назад, вернувшись после разговора с Аней («С сосулькой!» — так она продолжала ее мысленно называть.)... Был перерыв, гудели мухи, а на столе Кустарева... Да, там она и лежала, эта телеграмма. Лиза тут же позвонила в областную газету, где ей и сказали, что получили от Кустарева согласие... Но за все эти два дня он ей об этом так и не сказал.

«Раз не сказал, — думала Лизавета, — значит, бросает. И меня бросает, и редакцию...» Не знала Лизавета, что сразу же после получения телеграммы Кустарев вызвал Груева и передал ему, что станет отстаивать его, Груева, кандидатуру на всех уровнях.

— И ты, Слава, верь мне! Я добьюсь, что ты станешь главным, но с одним условием... Лизавету, Лизу Широкову обласкай! Установи с ней телесный контакт и не пожалеешь!

— Это я запросто! — с ходу заявил Груев. — Тем более что он у меня имеется!

Лизавета же, не доходя до дому, вдруг резко свернула и пошла к ресторану «Псел». Не хотелось ей идти домой, а хотелось ей в областной центр... Да, пусть и по-своему, но любила она Кустарева. У ресторана было пусто, и послеобеденное солнце освещало большие пыльные стекла питейного заведения и новенький жемчужно-серебряный «Мерседес». Увидев машину, Лиза так была поражена, как будто бы нос к носу встретилась с чертом.

— Ни фига себе! — сказала Лизавета вслух и обошла машину вокруг, заглядывая в ее внутренности через дымчаты-

стекла. Свеженький салон словно приглашал войти и утонуть в его мягких креслах. «Кто же это?!» — уже не сказала, а подумала Лиза Широкова и решительно вошла в зал ресторана. В дневное время он больше напоминал столовую, и только там, где в мигающих маленьких лампочках светилось слово «Бар», было уютно. Нащупав в кармане двадцатипятирублевый билет, Лиза прошла к стойке. На колченогом стуле одиноко, как гора, сидел Дима Дойный. Перед ним, суетливо играя круглым лицом с кудряшками на голове, стоял бармен. Дима сосал через трубочку баночное пиво и угрюмо слушал анекдоты, которые травил кудрявый.

— Что это вы пьете? — спросила Лизавета, показывая на банку, что сосал Дойный.

— Пиво. — Дима оглядел Лизу так, как обычно нормальный человек оглядывает фонарный столб.

Через час Лизавета и Дима Дойный сидели за столиком и пили всем знакомый коньяк «Наполеон», заедая каждую рюмку всем знакомой черной паюсной икрой. Дымился «Данхил», и Лизавета смотрела на перебитый нос Дойного, думала, что хорошо бы его, Диму, одеть в доспехи времен Римской империи.

Обладатель новенького «Мерседеса» — а именно он, Дима, и был его владельцем — жаловался Лизавете:

— Ну ни одна сука не рада, что я купил такую телегу! Заехал в свой цех, так мужики прямо шарахнулись от меня! — Дима тяжело вздохнул. — Богатому плохо в Пселе... А я ведь кабак этот в аренду взял! Теперь он мой! Соображай, пресса, кто я есть? Хозяин! Завтра ремонт начинаю. С голландцами договор заключил. Хорошие мужики голландцы! По-нашему шпарят, будь здоров! Теперь считай, пресса: мясо и всякую другую хреномань мне поставлять будут мужики из совхоза. Я им денежки подкинул, морду набил директору и купил три трактора и коровник. Понимаешь, пресса, я хозяин! И у меня будет порядок! Кабачок на лучший голландский манер сочиню! Артель нанял. Тут у меня паркетик будет и всякое такое! А кто блеванет, падла, неделю будет посуду мыть за бесплатно! А ты видела, какой я себе дом забиваю? Красный кирпич, с камином, две ванны, два туалета, баня! Теперь вот оформил тарный цех. Бочки нужны? Во как! Приватизация, мать, она как царица! Теперь женюсь, и хокей! А Груева твоего я знаю! Груев — мой человек! Он плохого не напишет!

После, дабы освежиться, катались на «Мерседесе», задавили курицу, напоили до смерти гаишника Запрокидова и укатили в загородную сауну, где парились вместе с председателем городского исполнительного комитета. И в самом деле председатель оказался очень исполнительным и по очереди хлестал дубовым веником Дойного и Лизавету. Оба они ходили голыми, и обоим им нравилось ходить таким образом по мягким коврам. Председатель же ходил в больших семейных трусах и беспрестанно вскрывал банки с пивом, приговаривая:

— Пиво дурь гонит!

Напрасно Сергей Павлович в этот вечер ждал Лизавету... Расхаживая перед ее домом, Кустарев размышлял о том, что поторопился отдать ее Груеву. Он принял окончательное решение забрать Лизу в область.

«Суну ее в какой-нибудь отдел, она мне пригодится! Тьфу ты черт! Не могу без этой стервы, и только!»

Да, пока рассуждал таким образом Сергей Павлович, там, в загородной сауне, на широком, обитом белой кожей лежаке валялся побежденный Дима Дойный. Его огромное гориллоподобное тело обмякло, и не мог он не то чтобы танцевать, как это сейчас делала Лиза, сверкая крупными ягодицами, а даже пальцем ноги шевельнуть не мог. Он был побит, посрамлен, уничтожен и глядел на Лизаветину грудь, как смотрят собаки на своего хозяина после хорошей порки. Лизавета выключила мощный «Грюндиг», налила себе фужер «Наполеона» и, бесстыдно расставив ноги, села в кресло.

— Будем венчаться! — твердо сказала Лиза.

— Будем! — хрипло, но воодушевленно вякнул Дойный. Лизавета захохотала и вылила коньяк себе на голову.

* * *

Становилось холодно Кустареву. Холодно и страшно! Почему-то померещилось ему, что пошла Лизавета на речку и в этой речке утонула! И он, Кустарев, виновник, погубитель такой искренней, свежей и сильной женщины... Давно горели псельские фонари, отговорили пьяными голосами мужики и сам город словно нехотя натягивал на себя толстое одеяло. Кустарев же все ждал и надеялся, что вот сейчас подойдет она, Лизавета Широкова, и он скажет ей: «Прости, но не могу, и следовательно — едешь со мной!» И Лиза появилась. Вначале подкатила действительно иностранная машина, вышла из нее Лиза и, выйдя, тут же была подхвачена на руки огромным мужиком, который в темноте напоминал медведя, стоящего на задних лапах. Медведь этот с ношей на руках шагнул к подъезду.

Кустарев, объятый мгновенно слепой яростью, вылетел из темноты.

...Когда Широкова и Дойный доставили его в травмопункт, нос Кустарева лежал на щеке, а губы были растянуты в блаженной улыбке. Лизавета объяснила, что нашли его, Кустарева Сергея Павловича, на ступеньках редакции «Пселский листок» и что, конечно, он жертва тех, кто не хочет ему простить его демократических воззрений. И что вот он, гр. Дойный, сразу же кинулся помочь демократу и доставил в больницу на своем личном «Мерседесе».

Нос вправили, на челюсть наложили шины, а в мягкое место, вонзив иглу, вкатили снотворного. Спи, уважаемый Сергей Павлович!

* * *

Далее произошло то, что окончательно повредило мозги Димы Дойного. Многие годы сотрясали его голову тяжелые удары противника. Но природа наделила Диму столь низким черепом, что трудно, если не сказать просто невозможно, было в него попасть. Разве только что оптический прицел приделать к боксерским перчаткам. Но с оптическим прицелом боксировать запрещалось. А тут сразу и наповал. Приехал Дима к Лизавете сказать, что баня натоплена и нажарены на вертеле куропатки... И влетел он к Лизавете с этой радостной вестью и осекся. На Лизиной кровати лежал синеносый Кустарев, и лицо его было в гипсе.

— Пошел вон! — твердо сказала Широкова и с маху дала ему такую пощечину, от которой едва не треснула кожа. Дима Дойный вышел... Он никак не мог уяснить, почему Кустарев лежит в ее кровати, и это после того, как Диме пришлось прогнать Аллочку и раструбить всем своим дружкам, что он женится на Лизавете?! Три дня и три ночи Дима пил, сидя в кабинете директора ресторана. Грохотали строители в зале, рождая новый и совершенно голландский вариант будущего кабака, бегали обезумевшие официанты, обслуживая единственного клиента, и робкий директор время от времени гладил Диму по темени. Дойный пил и плакал... В конце третьих суток Дима, превратив в щепки директорский стол, кинулся к Лизавете. Он решил брать силой. Дома ее не оказалось, а в редакции сказали, что она вместе с Кустаревым уехала в областной центр... И более не вернется. Дима хотел тотчас же выехать на трассу и помчаться вдогонку, но вместо этого бесцельно гонял по городу, словно забыл, где она, эта трасса?!

— И зачем?! — кричал во весь голос Дойный. — Зачем я ей все выложил?!

А выложил он ей про то, как вышел на Корягу — бывшего приятеля по сборной. Коряга, он же Юрик Корягин, ныне возглавлял фирму «Наш дом». Ему без утайки рассказал Дима о своих бешеных накоплениях и своей бешеной мечте все купить в родном городе Пселе.

Помнил Юрий, как шесть раз посылал его в глубочайший нокаут Дима, помнил и потому был почтителен. Он взял Диму под свое покровительство, познакомил с «теневиками», а те в свою очередь помогли ему обделать в Пселе все дела. Одного телефонного звонка было достаточно, чтобы на пути Дойного отныне засиял зеленый свет.

— Алку выгнал! — вопил Дима, нажимая на стартер и не глядя на спидометр. — Да еще пнул! — ревел Дойный, вспоминая, как поддал левой ногой под мягкую задницу своей бывшей невесте, после чего та бежала плача до своего дома.

* * *

Все последние дни Оладьев подымался рано и, напившись чаю, садился писать. Исписав страничку, другую, он уже не в силах был работать дальше...

— Как же так? — вырвалось у него, когда гуляли они с Анечкой по саду. — Как же?! Начало вроде бы и получается, а конца не вижу!

— Да ведь не сразу образуется, — подбадривала Аня. — Ты ведь только начинаешь. Конечно же, у меня вот и слов нету таких, какими бы я обрисовала, как листья желтеют, а он, шиповник, стоит такой зе-

леный с алыми цветами! Никогда нам не узнать его тайну. Почему он вдруг взял да и зацвел к осени ближе? Или же взять березу? Какая же это роскошь! Черненое серебро, окутанное прядями изумрудных листьев. А посмотри, еще и золото к этому мешается! Я очень-очень верю, что перо твое станет легким, словно волшебным! Мне нравятся, очень нравятся все твои начала. Можно ведь и начала напечатать!

— Ты меня хвалишь, Аня, и мне приятно!

Когда Анечка убежала помогать Александре Егоровне готовить обед, Оладьев вернулся к кусту шиповника. Темно-зеленый, осыпанный алыми цветами куст хранил внутри себя прохладу. Шиповник глядел куда-то в сторону, словно не хотел встретиться с взглядом Николеньки Оладьева. Могучие, острые шипы его тонко кололи воздух и останавливали желание потрогать ветви. Старый куст молчал. Он был тих и строг, словно готовился к смерти.

— Да ему и дела нет до меня! — воскликнул Оладьев. Он подошел еще ближе и дотронулся до большого, почти в ладонь величиной, цветка. Цветок качнулся медленно, словно одурманенный своим же собственным запахом, и сонно застыл...

* * *

После обеда, когда Николенька выскользнул из дома и заспешил к дому Лизаветы Широковой, Дима Дойный подъехал к дому Оладьевых со стороны оврага. Как-то Лизавета сказала Дойному, указав на этот дом: «Там краля одна живет... Только не такому, как ты, дураку предназначена. — Лизавета даже побледнела, говоря это, и огненно обдала взглядом Диму: — Обидела она меня! Унизила. Сосулька хреновая!»

Дойный невидимо пылал от непомерно употребленного алкоголя, пылал бесцветным огнем спиртовки!

«Кто ж такая? — думалось ему. — Это чтоб Лизоньку мою... Удавлю!!!»

Он вышел из машины в грязной белой майке с темным мокрым пятном на спине и стал ходить словно в забытьи вдоль оврага. Ходил и поглядывал на оладьевский сад, а после по-кошачьи нырнул вниз и через некоторое время оказался у лавочки. Он и сам толком не знал, зачем сюда пришел.

— Поглядеть бы, какая такая... — бормотал он сумрачно.

* * *

Анечка вошла в кабинет и, не застав в нем Коленьку, удивилась. И пошла искать его. Во дворе его не было. Старый Евдоким под навесом стругал доску, и пахло свежим смолистым духом от стружки. Анечка взяла золотое колечко и надела на запястье. На белой тонкой руке оно светилось и впрямь чистым золотом. Евдоким погладил девушку по волосам:

— Как барышня! Любование одно! Ты, доченька, детей нарожай. Дети у тебя как грибы белые будут! Хорошо деткам радоваться. Ой, хорошо! Детки — суть есть любовь!

Задумавшись, вышла Анечка в сад. Но и тут Коленьки не было. Стайками летали зарянки и уже потенькивали синицы.

* * *

А Николенька к тому времени, мелко стуча зубами, позвонил в Лизаветину квартиру. Звонок прозвучал тоскливо, одиноко и совершенно напрасно прозвучал. Упало сердце, и сделалось угрюмо и зло на душе. Вышедшая из соседней двери старуха в толстых очках сказала:

— Уехала охальница! Совсем уехала...

— Куда?! — вырвалось у Оладьева.

— Черт ее знает! Со своим красноносым уехала!

Вышел Оладьев из подъезда, досадуя, что поздно он явился сюда, и в расстроенных чувствах пошел к тетке...

«Ну и отлично, — успокаивал он себя. — Главное, у меня есть Анечка, и очень хорошо, что сегодня так обошлось! Все! Больше ничего подобного не произойдет со мной! — И он стал думать, как привезет Анечку в свою квартиру и как они поженятся и станут жить. Стал думать и о том, как выйдет его первая книжка, которую он посвятит «жене и другу своему Анне Оладьевой». — Ведь она же Оладьевой станет! — удивился Николенька. — Она мою фамилию носить будет... Странно как! А на лето будем ездить к тетке!»

И от этих мыслей стало легко, словно он в церкви побывал.

* * *

Анечка рассеянно шла по аллее к лавочке. Знала, что скоро станет солнышко садиться и что здесь-то ее и найдет Коленька, и они еще посидят, взявшись за руки, поглядят, как огромный малиновый шар укатится за овраг... Задумалась она и не заметила, как из-за березы наблюдал за ней Дима Дойный. Анечка села на лавку, вытянула ножки в белых туфельках и закрыла глаза. Солнце грело ласково. Хорошо было и спокойно... Пригнувшись, Дойный нырнул к лавке и прижал к себе худенькое тело. Аня вскрикнула и увидела над собой красное лицо, низкий лоб и коричневые медвежьи глаза.

— Тихо! — выдохнул коньяком Дойный и зажал ей одной ручищей рот, а другой задрал подол. Не стал Дойный разговоры разговаривать, как увидел ее беленькие да гладенькие ножки. Одним движением руки сорвал трусики, а после, зацепив пальцем порез на платье, и платье сорвал.

Анечка все же вырвалась и, страшно закричав, кинулась к дому. Но за спиной услышала хриплое дыхание и, не добежав, кинулась в куст шиповника, обрывая себе кожу. Вот эту-то сцену и увидела Александра Егоровна... Увидела она голенькую бегущую Анечку и ее преследователя. Увидел все и вошедший в комнату Оладьев. Анечка стояла в середине огромного куста и уже не кричала, а Дойный пытался ее достать, но каждый раз отскакивал от огромных колючек. Он прыгал вокруг куста, ревел, дико матерился.

Александра Егоровна кинулась в потайной ящик, выхватила из него пистолет и побежала в сад. Завидя стоящего у окна племянника, резанула его глазами.

— Чего же ты! — крикнула она и уже бежала, как могла бежала.

Добежав до куста, громко скомандовала:

— Повернись!

Дойный повернулся, и, увидав его невероятное, страшное лицо, Оладьева подняла тяжелый наган и спустила курок. Обмяк бывший боксер, потянуло его назад, и упал он на спину, харкнув напоследок кровью.

* * *

Спилили куст шиповника, высвободили Анечку и унесли ее помертвелое тело в дом... После уж и милиция приехала, забрала мертвого Дойного. Следователь Флешин Степан Игнатьевич долго задавал вопросы старой Оладьевой, что-то писал и, забрав пистолет с серебряной пластинкой, уехал. На пластинке была надпись: «Капитану медицинской службы Оладьевой Александре Егоровне за безукоризненную службу. Год 1945».

На третий день прикатила к оладьевскому дому генеральская «Волга». Прикатил в ней и сам генерал, Петр Егорович. Прощаясь с Анечкой, Николай не вынес ее холодности и спросил:

— Аня, что же ты все время меня сторонишься?

— Тягостно мне с тобой.

— Аня! — воскликнул Николенька. — Ведь пройдет, забудется все!

— Нет уж, Коленька... Не пройдет, не забудется...

— И замуж за меня не выйдешь?

— Не выйду. Я в монастырь уйду. А может, и не уйду. Должно быть, мне нельзя! Ведь я оскверненная.

— Не говори так... — выдавил из себя Оладьев-младший, вспоминая, как лежала она в лихорадке, горела вся поцарапанная, и когда он вошел к ней, она, увидев его, крикнула: «Уйди! Стыдно! Уйди!»

И сейчас он не выдержал и заплакал. В черном платье из ситца, в черном платке, освещенная горевшими восковыми свечами, как теперь она была далека от него! Лицо ее сделалось белым, словно листок бумаги, и черные тени под глазами еще больше подчеркивали ее белизну.

— Не плачь, Коленька! Мне досадно. Не плачь! Нет твоей вины ни в чем. Я тебя помнить стану всю жизнь. Правда, Коленька, так ведь даже и правильно. Лучше так...

Николай схватил ее за руки:

— Аня, Анечка, не бросай меня!

— Что ты, Коленька. Да разве же я тебя бросила? Это ты меня бросил, Коленька!

Она подошла к Николеньке, обняла его, да так легко, словно не руками, крыльями обняла. Лицо ее в черном платке как в темной рамке. Приняла она его ближе и поцеловала холодными, как родниковая вода, губами. После отодвинулась и ушла. Николенька пошел следом, но Анечка вошла в свою комнату... Только замок щелкнул...

ПОЭЗИЯ



ВИКТОР СМИРНОВ

ПРОШУ, НЕ ХОДИТЕ ВО МГЛУ...

Журавли

Веет древним и зимним...
И — жалей не жалей —
Вновь над клином озимым
В небе клин журавлей.

Вечным заняты делом,
Уходя в окоем,
Так летели над дедом,
А потом — над отцом.

Так над кровью и потом,
Над копешкой сенца
В синь зовущим полетом
Окрыляли сердца.

Клин протяжно и длинно
О родном говорит.
Клюква — нет, журавина! —
Вслед с болота глядит.

И стоишь ты, и сыну
Этот клин — твой наказ.
И при слове — Россия! —
Брызжут слезы из глаз...

* * *

Поверх городов, деревень,
По сирым могилам
На зорьке горбатая тень
Мелькнула над миром.

В земном обнищавшем краю
Свет крыльями гасит.
Как сладко добычу свою
Нести восвояси!

Как хищно меняется взгляд —
Становится лютым:
Святое богатство назад
Не выкупить людям.

Прошу, не ходите во мглу:
Вам лучше не станет —
Там дьявол стоит на углу
И души скупает.

В том страшном, в том гиблом мирке
Не стоит шататься.
Прислушайтесь: души в мешке,
Шурша, шевелятся...

* * *

В тиши смеющемуся звонко,
Как будто сыну своему,
Река отдаст свой свет ребенку,
А мне — оставит только тьму.

Он на земле не знает страха,
И, добрую приемля власть,
Светло лизнет его собака,
А на меня — оскалит пасть.

В его глазища дышат кони,
Ему о чем-то шепчет лес.
И молния в его ладони
Ночует бабочкой небес.

И, к людям обращая сердце
В начале и на склоне дня,
Господь помилует младенца,
Но не помилует меня.

Вы не подумайте, что — плачусь,
Но, с темной долей и судьбой,
От самых черных мыслей прячусь
За чистою его слезой.

СМИРНОВ Виктор Петрович родился в 1942 году в дер. Киселевка Смоленской области. Окончил Литературный институт. Автор сборников стихотворений «Русское поле», «Прялка матери», «Ночная птица», «Трава под снегом» и др. Член Союза писателей. Живет в Смоленске.



Позиция

КСЕНИЯ МЯЛО

ЕСТЬ ЛИ В ЕВРАЗИИ МЕСТО ДЛЯ РУССКИХ?

В «демократической» России его нет — сейчас сомневаться в этом уже невозможно. Да, еще есть страна — с не очень, впрочем, ясными очертаниями, — официально именуемая этим именем. Однако создавший ее народ, по имени которого она и была названа когда-то, сегодня даже чисто юридически лишен государственности и насильственно расчленен.

Ибо все «страны СНГ», кроме России, провозгласили себя национальными государствами, независимо от того, каким образом они были созданы и какой процент составляет в них население, обычно именуемое «коренным» и которое уместнее было бы называть титульным, то есть обозначенным в названии некогда союзных республик. Практически во всех из них коренными можно считать несколько народов (например, украинцы в Молдавии такие же коренные, как и молдаване, поляки в Литве — как и литовцы), в том числе — на многих территориях — русских, ныне миллионами превратившихся в мигрантов и апатридов.

С ними церемонятся все меньше, недавний пример чему — проект новой Конституции Казахстана, где он объявляется национальным государством казахов. И это в условиях, когда казахи составляют меньше половины населения и когда вопрос о том, каким образом в составе республики оказались включенными северо-восточные территории, еще рано снимать с повестки дня! Да уж, «мертвого льва» пинать легко, и приниженная покорность, с какой русские пережили свое превращение из народа в «русскоязычные меньшинства», размазанные по территории еще недавно великой страны, освобождает любого из президентов, представляющих свой собственный народ, от обязанности считаться с этой теряющей лицо массой. Тут и обижаться можно разве что на себя.

У президента Назарбаева — своя логика. Для полноты развития, заявил он, любой народ нуждается в государственности. Вероятно, у дунган, уйгур и других «национальных меньшинств» Казахстана есть здесь свое мнение — это им решать. Я же, соглашаясь с казахским президентом, считаю, что для русских настало время впрямую поставить вопрос: а где же их государство? А также — уместно отослаться к прецеденту Германии — вспомнить о своем праве разъединенного народа на воссоединение.

Вопрос не терпит отлагательства, особенно после заключения Федеративного договора, означающего прогрессирующее огосударствление нерусских народов России и столь же прогрессирующее разгосударствление русских. Сама политическая лексика времени говорит об этом: вошедшие в употребление формулировки «Россия и Чечня», «Россия и Татария», «Россия и Бурятия» (и даже — «Россия и Карелия», при 90% русских и русскоязычных!) заставляет предполагать, что эта остающаяся в «сухом остатке» Россия и есть государство русских, чьи национальные интересы представляет нынешнее российское руководство. Но подобное утверждение было бы слишком смелым даже для первоапрельской шутки, а потому вещи следует называть своими именами. А именно: сегодня русский народ — это потерявший свою государственность народ, расчлененный и с сильно «отбитым» национальным самосознанием. Замечательно при этом, что, все еще составляя около 90% населения нынешней России, он является в ней единственным народом, любая попытка которого даже заикнуться о своих национальных правах и интересах неуклонно объявляется проявлением «великодержавного шовинизма» и «фашизма». Аналогов подобной ситуации, кажется, нет в мировой истории — некоторое сходство являет разве что Хазарский каганат, как он описан покойным Л. Н. Гумилевым.

В сущности, тело русского народа за пределами Российской Федерации — а сегодня уже и внутри нее — превращается в питательную среду, в строительный материал для создания амальгамы чужих национальных государств, в каждом из которых они будут (даже и в том случае, если составляют статистическое большинство) «русскоязычным меньшинством». Не замечать этой самоочевидной реальности — значит изначально искажать всю перспективу возрождения России, которое, без соответствующего возрождения русских и восстановления их утраченных прав, неизбежно останется бутафорским. И если не удивляет равнодушие «демократов», у подавляющей части которых само слово «русский» с автоматизмом условного рефлекса вызывает единственную ассоциацию — «фашизм», то гораздо труднее понять, почему проблему как будто не замечают и их оппоненты. Как «союзники», для которых русский вопрос практически оттеснен сверхидеей восстановления СССР (независимо от того, во благо ли будет такое восстановление для русских как народа), так и новая тенденция — «евразийцы», главной трибуной которых стала острая газета «День».

В первом случае перед нами старый, добрый интернационализм: восстанавливается «братский союз республик», а русские, так и не поняв, что вопрос об их собственном историческом бытии отпадает окончательно, вновь впрягаются тащить колесницу кому угодно, но только не им принадлежащего государства. Заметим, что восстановленный Союз, буде это восстановление осуществится, неизбежно расширит права национальных государств-республик (от обретенных суверенитетов вряд ли кто откажется), русские же в нем сделают еще один шаг к превращению в состав — то ли рыбий клей, то ли цементный раствор, — скрепляющий между собой суверенные ячейки этих грандиозных сот.

Русские, да неужели вы не содрогаетесь при мысли о подобном будущем, не чувствуете тошноты при одной лишь мысли о том, чтобы снова исполнять роль обремененного всеми обязанностями и лишенного всяких прав «старшего брата»? Неужели вы еще не поняли, что «интернациональное братство» — ложь, за которую никто не заплатил такой безумной цены, как русские, расчлененные, обескровленные и теряющие остатки национального самосознания?

Союз народов (идея, которая имманентна России как государству) — да, но такой союз будет возможен и благотворен лишь при условии, что и русские будут присутствовать в нем как народ, а не как «русскоязычное население», когда они снова обретут свою собственную самость и свое национальное достоинство.

Духовное самоограничение сильного народа, позволившее России, что бы там ни повторяли с марксовых слов о «тюрьме» и каковы бы ни были реальные (но кто свободен от них?) пороки империи, не растоптать ни один из вошедших в нее народов — да. Но не извращенная жертвенность последних десятилетий, превращающая народ в материал, донора и корм для других. Человек, разделяющий последний кусок хлеба с ближним, велик душой. Но человек, скармливающий соседу своих собственных детей, чтобы у того был наваристее суп, будет возбуждать в нас почти такое же отвращение, что и маньяк-детоубийца.

Мы, русские, как народ переступили эту грань, за которой дьявольски извращается святая способность к самопожертвованию: от высокого христианского «душу свою за други своя» до преступной растраты физических и духовных сил нации, самого ее исторического бытия на растопку чужих кухонь. И самое страшное — наше денационализированное, стертое сознание начало этим гордиться. Гордиться тем, что хотя в российской глубинке в распутицу ног не вытянуть, что роженицу или инфарктника не всегда и довезти за десятки верст до больницы, но зато какие дороги пролегли в Молдавии, какие порты и аэропорты сооружены в Прибалтике, какие наукоемкие современные производства созданы для «братьев»!

И заметим: их не только создали, но и сейчас обслуживают в подавляющей части русские и русскоязычные (в основном славяне), в свое время по оргнаборам и призывам приехавшие в «братские республики», а сейчас низводимые до статуса второсортного «некоренного населения». Какой еще народ потерпел бы это? А у нас и сегодня не редкость патриоты, умиляющиеся, например, азиатскими запретами на продажу квартир, что превращает русских в рабсилу и заложников, но в чувствительных сердцах вызывает мазохистское умиление! Вот видите, нам показывают, что мы, русские, нужны. Как писал один из классиков: «опустим занавес жалости над этой сценой».

Прослеживая почти от самых истоков печальную судьбу прибалтийских интердвижений, я видела, в какой степени возможный потенциал русского сопротивления апартеиду парализовало, кроме нечистых игр политиков, неумение консолидироваться на почве защиты собственных прав и интересов, а также наивная вера в перспективы «интернациональной солидарности» с эстонцами или латышами во имя общесоциальных интересов. Здесь была на свой лад повторена ошибка большевиков, пошедших в разгар войны на отказ от национальных интересов и с изумлением увидевших, что никто из европейских социал-демократов не последовал за ними.

Слабость собственного национального чувства не позволила интердвиженцам оценить его силу и повелительность у других, а цена, заплаченная за крах необольшевистских иллюзий, оказалась очень большой. Правда, не в лучшем положении находятся сегодня и оппоненты интердвижений, пламенно восхищавшиеся национальными Народными фронтами и сознательно приближавшие их приход к власти. Разумеется, они рассчитывали на должную оценку своего усердия в «демократической Балтии», однако не учли того, что вести равноправный диалог, а тем паче заключать союзы с национальными движениями можно лишь с позиций СОБСТВЕННЫХ национальных интересов, представляя СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ народ. И что, согласившись с концепциями какого-нибудь Тийт Маде или Раймонда Озолоса относительно изначальной ущербности «имперского этноса», они сами предопределили свое место в иерархии не просто национальных, но этнократических режимов — в самом ее низу.

Признаться, именно к этим людям я не испытываю большого сострадания, особенно если припомнить, как много они сделали для того, чтобы парализовать борьбу интердвиженцев — «нехороших русских», по местной терминологии. Но опыт этой коллаборации и обреченных попыток строить сколько-нибудь успешные союзы при атрофированности собственного национального чувства поучителен — если мы, конечно, еще способны учиться. И определенные повороты евразийской темы на страницах «Дня» настораживают меня именно потому, что вновь и вновь обозначают нашу неистребимую готовность к союзам, в основании которых изначально закладывается отказ от учета НАШИХ национальных интересов.

Уже сама настойчивая тенденция к отождествлению понятий «Россия» и «Евразия», их взаимозаменяемость и прогрессирующее превращение «России» в «Евразию» говорят о многом. Ведь ритуал перемены имени, известный с древности, — это не пустое дело, ибо имя есть личность. Имя страны и наро-

да определяет всю структуру национальных идентификаций, есть КОД, стереть который — значит переменить историю. Это прекрасно понимали большевики, заменив историческое имя страны «Россия» на «СССР», и потребовалось огромное количество затраченной народом энергии, тяжелейшие испытания и жертвы, чтобы хотя и искаженно, как неправильно сросшийся перелом, страна восстановила чувство своей исторической протяженности.

Сегодня оно вновь нарушено, и при ослабленности идентификационных полей у русских, в массовом порядке превращающихся в «русскоязычных» и абстрактных «россиян» (а слово это сегодня значит совсем не то, что при Петре Великом, когда оно вошло в употребление), окрещение их еще и «евразийцами», думаю, приближает не возрождение России как сильной евразийской державы (что не означает поглощение ее Евразией), а окончательную мутацию национально-исторического самосознания. Россия как особая цивилизация, как особый мир, не тождественный ни Европе, ни Азии, при этом устраняется со сцены мировой истории едва ли не радикальнее, чем в иных «демократических» построениях, а некогда очерченное ею геополитическое пространство становится полем реализации собственных интересов и Европы, и Азии. Русским же в очередной раз предлагается роль блюда, призванного довольствоваться тем, с каким аппетитом его поедают.

Самым радикальным образом вытеснение «России» — «Евразией» осуществляется Шамилем Султановым в его «Сценарии «X» («День», № 15), где, собственно, и политическая сверхзадача прямо и честно обозначается не как «возрождение России» (она исчезает здесь еще бесповоротней, чем в сахаровском проекте союзного договора), а «учреждение нового евразийского государства». А поскольку учредителями его предлагается стать «региональным элитам» бывшего Союза (в ряду которых числится и ферганская, взошедшая — Султанов этого и не скрывает — на крови резни 1989 года), постольку русские как народ окончательно расщепляются. Более того — хорошо известно, что русской национальной элиты, сравнимой по властному и финансовому могуществу с элитами Средней Азии или Закавказья, сегодня нет, по причинам, которые ни для кого не секрет и недавно были систематизированы и глубоко исследованы в интереснейшей статье А. Анисимова («Борьба элит: изнанка перестройки». — «Домострой», № 22).

К тому же властные структуры «нового евразийского государства» Султанов предлагает организовать по характерной вообще для «теории элит» двухчленной схеме грубого доминирования «элит» (верхняя палата) над наделенными псевдопредставительством народами (нижняя палата, репрезентирующая «всё население страны как единое целое»). Такое «единое целое», в котором не вычленены основные субъекты государственности, народы, полностью противоречит всему коду российской истории, апеллировавшей к лицам, к МНОГОЕДИНСТВУ народов, и разрушает его. Национальные же интересы остаются на уровне элит, что — при отсутствии у русских СВОЕЙ элиты — заведомо предопределяет их место в «новом евразийском государстве». И оно шибко напоминает то, которое наши предки заняли после поражения на Калке. Унижение довершается присутствием в верхней палате, то бишь среди пирующих победителей, НАМАНГАНСКОЙ ЭЛИТЫ, не без ведома и согласия которой, надо полагать, сожгли здесь живьем наших мальчишек-солдат пару лет назад.

Что ж, если цена, которую надо заплатить за ПРИШЕСТВИЕ ЕВРАЗИИ, такова и если мы готовы эту цену заплатить, то как народ мы в ней будущего не имеем.

Наша бесконечная покладистость, наше равнодушие к крови собственных детей вполне справедливо будут восприняты как проявление слабости, а не величия души, участь же слабого в борьбе элит заранее предрешена. Жалкие и смешные попытки русских в их нынешнем состоянии — изгоев со многих территорий, разгосударствленной массы внутри самой России (точнее, того, что от России осталось) — сделать мину былой державной снисходительности к укусам соседей сегодня обмануть никого не смогут. И никого удержать — тоже.

Вспомним, как происходило собирание народов: было всякое, в том числе и завоевания, но огромный блок исторических документов доносит нам почти неизменно повторяющуюся просьбу принять «под вашу сильную (высокую) руку».

Великий союз народов, которым, при всех неизбежных для реальной истории пороках, была Россия, русские — как ее сердце, не несущая опора, стержень, без которого ее просто-напросто нет, — сумели создать именно потому, что для окружающих явили себя как сильный народ, способный отстоять свое собственное историческое бытие. А вместе с тем — что для той эпохи было явлением уникальным — как народ, способный, прокладывая свой исторический путь, не затаптывать малых соседей и даже не лишать их данного им от Бога лица. В сущности, в государственном устроении Российской империи, с ее многообразием и почти неформализуемой сложностью, угадывается — на это почему-то пока не обращалось должного внимания — православный идеал Церкви как «КОНКРЕТНОГО МНОГОЕДИНСТВА», противостоящего «римской идее отвлеченного, сверхнародного (или безнародного) многоединства...» (С. Булгаков. «Православие»). Это, по словам о. Сергия, «симфония, в которой сочетаются воедино разные темы и голоса».

К такому симфоническому многоединству и тяготела — в идеале — государственно-историческая Россия, и ясно, что удаление русских как народа из мировой истории (а это удаление и составляет суть «демократического» проекта, пока с успехом реализуемого) есть условие решения задач не только политических, но и победы в многовековом метафизическом поединке.

* * *

Одним из любимейших «демократических» инструментов слома сложившегося исторического самосознания русских стала профанация всего относящегося к Великой Отечественной войне, настойчивое внедрение мысли о равной ответственности Германии и России за нее, быстро развивающейся в тезис о ее исключительной ответственности. И, словно стремясь поосновательнее закрепить этот тезис в головах читателей, превратить его в один из постулатов «евразийства», «День» почтительно представляет нам некоего господина Дегреля, в годы войны побывавшего здесь с войсками Рейха. О, он сохранил самые приятные воспоминания о России, которая своим вероломством вынудила защитника Европы Гитлера напасть на себя, об этой «красивой и благородной» расе, для которой он и сегодня видит достойное предназначение — послужить «биологическим резервом» для дряхлеющей старушки Европы. Как это должно происходить? Тем способом, который практиковался в годы молодости господина Дегреля, когда «красивого и благородного» славянского ребенка привязывали к столу и выкачивали из него всю кровь? Или путем скрещивания с физически наиболее ценными особями? Продажей органов для трансплантации? Сторонник «третьего пути» (оказывается, мы еще в 1941 году могли пойти по «третьему пути», да не оценили своего счастья) не уточняет, а корреспондент «Дня» не спрашивает. Надо всей сценой витает все тот же восторг: вот видите, мы все еще кому-то нужны, пусть и в качестве «биологического резерва», но зато аж самой Европе!

Впрочем, со стороны Дегреля все это откровенный «стёб» матерого фашиста, прекрасно знающего о гитлеровских планах относительно славян и сегодня одобряющего их. Непонятно только, зачем редакции «Дня» понадобилось наносить нам — со страниц патриотического издания — это оскорбление. Неужели из стремления к любым, пусть самым «руссотрицающим» блокам и союзам, лишь бы не остаться в одиночестве?

Между тем «час одиночества» — условие созревания всякой души, и индивидуальной, и народной; условие собирания сил для преодоления кризиса. И если он снова пробил для нас, то надо встретить и пережить его достойно, веруя, что через него мы не умаляемся, а возрастаем, и не кидаясь, словно головой в прорубь, в любые, даже самые отрицающие нас блоки и союзы, лишь бы не остаться наедине с собой и создавшим нас Творцом.

«Восточная», «евразийская» прорубь может оказаться не менее губительна для нас, нежели «атлантистская», если в союз с Востоком мы двинемся такими, какие мы есть сейчас: униженные, потерявшие свою государственность, готовые отречься от самих себя, забывшие, что любая личность — будь она индивидуальная или народная — существует прежде всего на вертикали своего отношения с вечностью (в нашей традиции — постижения замысла Божьего о себе) и лишь затем — на горизонтали земных, человеческих отношений и союзов.

Без такой вертикали самостояния не может быть полноценных союзов ни между людьми, ни между народами.

Но мы стали похожи на те сосуды и коробочки, которые являлись Алисе в стране чудес, взывая надписью на себе: «Съешь меня!», «Выпей меня!».

И если Дегрель откровенно дал понять нам, чем мы, так жаждущие быть съеденными и выпитыми, можем послужить Европе, то будущность славянства, одержимого идеей союза — на любых условиях! — с тюрками, не менее откровенно обрисовал Сергей Дунаев в статье, выразительно озаглавленной «Иная память» («День», № 19).

Иная память — это тюркско-исламское самосознание народов рухнувшего СССР перед лицом идеи их нового объединения со славянами в рамках евразийского проекта. И мне, признаться, импонирует жесткость, с которой автор отбрасывает умиленную риторику «общей судьбы» и заявляет «аргументы мусульманского отказа от программы единства с Россией». Собственно говоря, это и не отказ даже, а условия, на которых готовы принять нашу капитуляцию, верно распознав за евразийским экстазом русских и, что особо подчеркивает Дунаев, православных упадок ранее присущего им исторического мужества и согласие на капитуляцию не только перед Западом, но и перед Востоком. Нашим заранее распростертым для нового братания объятиям он отвечает предъявлением жесткого счета реальных и мнимых обид, нанесенных Россией исламу. И по этому счету, предупреждает Дунаев, ВЫ, русско-православный мир, заплатите НАМ, миру тюркско-исламскому, еще до того, как мы соблаговолим рассмотреть «годность евразийских программ на территории бывшего СССР». И даже за все пережитое исламом в советское время Дунаев все равно призывает ответить православие, словно бы оно само процветало в эту эпоху или если бы приказы о разрушении мечетей подписывали погибшие на Соловках епископы.

Что ж, такова, видимо, природа «иной памяти», больше озабоченной не исторической истиной, а тем, чтобы дать выход накопленному заряду отрицательных эмоций. И сила этого заряда, угадываемая за — пока! — полунамеками, такова, что остается искренне поблагодарить С. Дунаева за откровенность, с которой он приподнял завесу над будущим, могущим ожидать нас на путях нашего нового увлечения — безоглядного евразийства, очередного русского самозабвения у ног очередной химеры всеобщего единения.

Если сегодня, предупреждает Дунаев, «тюркские народы не имеют численно выраженного превосходства над европейскими, то впоследствии положение может измениться». А вместе с этим потребуется, мягко говоря, изменить «ориентиры сосуществования». Автор не расшифровывает этого положения, но если учесть, что уже сегодня раздаются голоса о «бестактности» празднования русскими Казанской Божьей Матери, то, говоря словами Дунаева, впоследствии положение может еще больше измениться.

А если к численному росту добавить энергию и волю, убежденность в сверхценности своего духовного «я», так резко контрастирующие с нынешней русской аморфностью, готовностью во всех расплыться и со всеми соединиться (трагикомично усматривая в этом — последнее прибежище страдающей гордости! — некую особую форму выполнения своей особой миссии), то исход культурно-психологического — не военного, до него дело, вернее всего, и не дойдет — поединка в рамках евразийского проекта вызывает мало сомнений.

Мужество самостояния, столь присущее нашим предкам, осознание своего собственного духовного призвания, — и не на горизонтали бесконечных «миссий» по отношению к другим, отбивающимся от нашего назойливого и особенно неприглядного при нашем национальном упадке мессианства народам, но на вертикали собственного диалога с Предвечным, — вот что надлежит снова обрести нам сегодня. И с нашим могучим «контрагентом» по евразийству мы можем вступать в какие бы то ни было блоки или союзы, лишь снова осознав себя как ПРАВОРОССЫ, носители не менее мощных и высоких откровений, которые мы не навязываем другим. Но именно осознавая в себе эту «драгоценную духовную самосиянность» (И. Ильин), мы должны наконец встать с той позорной скамьи подсудимых, на которую усадили ведь не только нас, но и Божий замысел о нас.

Горячечные фантазии на тему «грузины без нас не обойдутся», «узбеки без нас не обойдутся» пора оставить в прошлом. Во-первых, обойдутся; во-вторых, я полагаю, вопрос сегодня надлежит ставить иначе: обойдемся ли МЫ без них, во благо или во вред ПРАВОРОССАМ будет сохранение этих или заключение любых новых союзов?

Бал дикой русофобии, прокатившийся по всем, за редчайшими исключениями (Осетия), «братским республикам», морально освобождает нас от некогда взятых на себя обязательств. Тем более что очевидным условием всех когда-либо заключенных русскими союзов было само собой разумеющееся уважение к духовной личности не только наших союзников, но и нас самих.

Оскорбление нашего исторического и духовного лица, извержение русских как народа из человечества — это цена, которую мы не смеем платить ни за какие союзы, ибо отдаем принадлежащее не нам, а вызвавшему нас к исторической жизни Творцу и бесконечной череде прошедших до нас поколений, сберегавших Его достояние. И потому наша дорога — вверх, а если кому-нибудь по пути с нами, что ж, они уже могли убедиться: мы не самые плохие попутчики, и хлеб и тяготы разделим в пути скорее в ущерб, нежели в прибыток себе. Есть только одно табу: мы больше не позволим оскорблять и истреблять себя как народ, превращать себя — Божье достояние — в жертвенное животное.

И лишь тогда — и если — в евразийском пространстве начнется восстановление вертикали правороссов, вопрос о России и Евразии (но не о России=Евразии) окажется помещенным в правильную перспективу. Многоединства, а не слияния; Евразии, понимаемой как триада (Европа, Азия, Россия), а не как диада (Европа и Азия, трансплантирующие в себя элементы того, что некогда называлось Россией). И только в такой, троичной Евразии будет место для русских.

Геополитика

АНДРЕЙ МАРКОВ

КТО СОЗДАЛ ПРОБЛЕМУ «СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

В более чем 300-летней истории становления и развития российско-японских отношений (до Октябрьской революции в России и после нее) было не так уж много лет, когда эти отношения являлись хорошими, добрососедскими. Улучшение их происходило, как правило, в результате односторонних уступок со стороны России Японии (например, Симодский трактат 1855 г.) или — взаимных уступок и компромиссов (Петербургский договор 1875 г.), по которым Япония получила в свое владение все Курильские острова, а Россия — Южный Сахалин. Конечно, были годы и даже целые периоды, когда отношения между двумя соседними государствами были неплохими. Но общий фон этих отношений продолжал оставаться прохладным, недоброжелательным, а порой — враждебным. И это нередко приводило Японию и Россию (СССР) к серьезным конфликтам, даже к вооруженным столкновениям и войнам, закладывая под их отношения новые «мины замедленного действия» и создавая опасную напряженность на Дальнем Востоке и в азиатско-тихоокеанском регионе (АТР).

Нет нужды подробно анализировать причины сложившегося ненормального положения: они хорошо известны. Главное заключалось в том, что, будучи очень близкими соседями, Россия и Япония на протяжении многих десятилетий стремились проводить на Дальнем Востоке и в АТР «силовую политику», пытаясь утвердить здесь свою «особую роль», особое положение, нередко в ущерб интересам другой стороны, и это неизбежно вело к возникновению чувства недоверия и настороженности сторон, создавая новые трудности и проблемы в их отношениях.

Положение к лучшему стало меняться совсем недавно — с середины 80-х годов, когда Советский Союз приступил к проведению нового курса политики, основанного на «новых подходах», и напряженность в отношениях двух стран, достигшая к тому времени крайних пределов, стала постепенно спадать. «Холодная война» отступила. Возникли реальные шансы для решения застарелых проблем, наслоившихся за многие десятилетия и поставивших в тупиковое положение отношения России с Японией, которые и теперь, через 47 лет после окончания войны, не имеют мирного договора.

Однако в своем новом качестве государства — правопреемника СССР Российская Федерация унаследовала также и те трудные проблемы, которые постоянно осложняли (и продолжают осложнять) ее отношения с Японией, препятствуя их полной нормализации. Таких проблем много. Конечно, они существуют в отношениях также всех других государств, которые с большим или меньшим успехом решают их по-своему, учитывая характер этих проблем, их специфику и причины возникновения. Особенность проблем, разделяющих Россию и Японию, заключается в том, что многие из них (например, территориальная) уходят своими корнями далеко в глубь истории, решение их сильно осложнено бурными событиями прошлых лет, неправомерными действиями обеих сторон, а также вмешательством «третьих стран», преследующих свои эгоистические цели. Поэтому даже второстепенные, нетрудные для решения вопросы в отношениях России (СССР) с Японией зачастую получают «принципиальный характер». Они «обрастают историей», увязываются с другими, действительно сложными и принципиальными, воспринимаются правительствами и общественностью сторон с подозрением, как проявление «коварства» и недоброжелательного отношения другой стороны, что в еще большей степени усугубляет обстановку. И вопросы решаются трудно или не решаются совсем.

Иными словами, России и Японии не хватает доверия друг к другу. Чувство их настороженности и недоверия имеет очень глубокие корни, поэтому проблему полной нормализации отношений между ними следует рассматривать не только в свете существующего ныне положения, но также обязательно с учетом событий «дней минувших», того неблагоприятного, во многом искаженного представления образа («имиджа») России (и ее народа) — в Японии и образа Японии — в России, созданных в прошлом путем направленных усилий правительств и средств массовой информации обоих государств. Образ огромного и свирепого «белого медведя» — России (Советского Союза), якобы угрожающего самому существованию «маленькой Японии», создавался и утверждался в японском общественном мнении умело, профессионально в дореволюционное время и особенно после Октябрьской революции, когда к власти в Москве пришли «воинственные красные», готовые распространить «пожар революции» на другие страны, в том числе и на Японские острова. Эта идеологическая нетерпимость советского правительства, угроза разжечь «мировой пожар революции» не могли не насторожить японцев, вызвав крайне негативную реакцию, даже страх перед СССР в ее правительстве и в общественно-политических кругах. Страх этот живет в Японии по сей день.

Что касается России (Советского Союза), то, как известно, отношение его общественного мнения к Японии также формировалось под влиянием весьма устойчивых негативных факторов, возникших в результате агрессивных действий этой страны на Дальнем Востоке, разорительной войны против России в 1904—1905 гг., которую Япония начала без объявления, совершив нападение на военные корабли российского ВМФ в Петропавловской гавани на Камчатке. Потерпев в этой войне поражение, Россия вынуждена была подписать в 1905 г. позорный Портсмутский мир, пойти на значительные территориальные уступки Японии, выплатить ей огромные суммы контрибуций... Не забыты в России также и ужасающие картины оккупации японской армией в начале 20-х годов районов российского Дальнего Востока и Восточной Сибири, крайне жестокие, кровавые методы, с помощью которых оккупанты пытались утвердить там свою власть, а также огромные жертвы, понесенные Красной армией в боях за освобождение русской земли.

Все это — печальные страницы отношений наших государств, которые к тому же постоянно осложнялись неразумной политикой их правительств, вмешательством США, некоторых стран Европы, безответственными заявлениями и действиями руководителей России (СССР) и Японии. Так, в феврале 1945 г. Советский Союз, договорившись на конференции в Крыму со своими союзниками в войне против гитлеровской Германии (США и Великобританией), начал в августе того года широкомасштабные наступательные действия против японской армии в Маньчжурии, нарушив тем самым Договор о нейтралитете, подписанный с Японией в 1941 году.

Это действие нельзя назвать правовым. Однако верно и то, что поведение самой Японии, находившейся в союзнических отношениях с фашистской Германией, также было далеко не безупречным в то крайне тяжелое и опасное для России время. Действия эти имели очень мало общего с нейтралитетом и часто входили в прямое противоречие с буквой и духом того договора. Япония использовала Курильские острова и проливы в ущерб безопасности России: более 80 транспортов, пытавшихся прорваться во Владивосток с грузом, направлявшимся из США Советскому Союзу по «ленд-лизу», было потоплено там военными кораблями «нейтральной Японии», японский генштаб снабжал своих германских коллег разведывательной информацией об СССР, а в Маньчжурии на границах с СССР дислоцировалась миллионная, хорошо вооруженная Квантунская армия Японии, командование которой ждало удобного момента для продвижения в глубь советской территории, что вынуждало советское командование постоянно держать здесь значительные силы, в которых была крайняя нужда для борьбы против наступавших германских войск.

Что касается политики правительств двух стран в послевоенные годы, то она, к сожалению, также очень часто лишь углубляла расхождения и противоречия в их отношениях, усиливала напряженность, чувство взаимного недоверия и отчуждения. Неудивительно, что опросы общественного мнения в Японии на протяжении всех послевоенных лет неизменно показывают крайне низкий рейтинг симпатий японцев к соседней России. Столь же «холодным» и недоброжелательным оставалось отношение русских (советских) людей к Японии. Это последнее во многом было связано с проамериканской ориентацией японского руководства, то есть солидаризацией его с державой, объявившей России «холодную войну».

Хотя Япония еще не пришла в себя от потрясения и справедливого возмущения, вызванных бессмысленными и жестокими атомными бомбардировками са-

---

МАРКОВ Андрей Порфирьевич родился в 1915 году в с. Марково Иркутской губернии. Окончил Иркутский педагогический институт, японскую секцию Высшей дипломатической школы. С 1943 по 1950 годы работал в Министерстве иностранных дел, прошел путь от атташе до первого секретаря МИДа. Ныне — старший научный сотрудник-консультант Института Дальнего Востока Российской Академии наук. Доктор исторических наук, автор многих монографий, среди которых «Послевоенная политика Японии в Азии и Китай» (1979) и «Проблемы безопасности в АТР и политика великих держав» (1990), соавтор семи фундаментальных научных исследований, в том числе «Истории Второй мировой войны» (т.XI). Имеет государственные награды СССР. Живет в Москве.

молетами США городов Хиросимы и Нагасаки, ее правительство без колебаний «приняло сторону Америки». Впрочем, оно и не могло поступить иначе, поскольку правил страной «некоронованный император» генерал Макартур, командовавший американскими оккупационными войсками в Японии. Территория страны стала быстро превращаться в военный плацдарм, в «непотопляемый авианосец» для армии США против СССР, а правительство Японии активно этому содействовало.

Все это еще более осложнило обстановку. К тому же, подписав в сентябре 1951 года мирный договор и «договор безопасности», США и Япония фактически становились союзниками, скоординировав и подчинив свою политику цели «отражения советской угрозы». Военный потенциал Японии, пользовавшейся в этом полной поддержкой США, в условиях советско-американского противоборства и «холодной войны» стал быстро расти. Своей кульминации рост этот достиг к середине 80-х годов: Япония создала численно сравнительно небольшую (261 тыс. человек), но вполне современную армию, оснастив ее новейшими видами боевой техники, в основном собственного производства.

Требуя вывода американских военных баз и войск из Японии, осуждая японо-американский «договор безопасности», Москва отказалась подписать в 1951 году мирный договор с Японией, справедливо считая, что он узаконивает такое послевоенное урегулирование в Японии, которое представляет для СССР опасность.

Что мешает России и Японии теперь, когда многие препятствия устранены, нормализовать свои отношения?

Как известно, на первый план и даже главным условием подписания мирного договора с Россией Япония выдвигает решение вопроса о передаче ей четырех Южно-Курильских островов (Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп общей площадью 4 946 кв. км)... Между тем вопрос этот и проблема обеспечения безопасности самым тесным образом связаны между собой и не могут решаться в отрыве. И тут нельзя пройти мимо того факта, что в то время как Россия, идя навстречу Японии в вопросах ее безопасности, уже осуществляет демилитаризацию своих дальневосточных территорий, в том числе и Южно-Курильских островов, с территории соседнего японского острова Хоккайдо пока не выведено ни одного танка, ни одного солдата. И этого, судя по всему, не хочет не только Токио, но и Вашингтон. Касаясь данного вопроса, газета «Известия», ссылаясь на сообщение японской «Майнити», писала, что последней «удалось раздобыть документы, из которых следует, что Вашингтон напрямую обратился к Токио с пакетом «рекомендаций» относительно того, как вести диалог с русскими. В этом пакете, в частности фигурируют такие позиции: Япония должна проявлять осторожность в отношении любых советских предложений, касающихся выработки новой системы безопасности в АТР; Япония не должна на переговорах по территориальному вопросу ставить условием демилитаризацию четырех островов после их возвращения и обещать, что там не будут развернуты части «сил самообороны» и что не будет действовать «договор безопасности»; на переговорах Японии следует избегать вопросов, касающихся изменения баланса сил в регионе; при обсуждении экономического сотрудничества желательна увязка проектов с конверсией в СССР, чтобы не допустить укрепления советской военной промышленности»[1].

Совершенно очевидно, что «рекомендации» эти направлены на то, чтобы затруднить или даже сделать невозможным заключение мирного договора России с Японией, что было (и, судя по всему, пока остается) целью американской внешней политики на Дальнем Востоке. Обращаясь к истории возникновения «территориального вопроса», который все послевоенные годы оставался «камнем преткновения» в отношениях СССР (России) с Японией, нетрудно убедиться в том, что был он создан в годы «холодной войны» политикой, главным образом США, искусственно и специально, чтобы не допустить нормализации отношений Японии с соседней коммунистической Россией. И вопрос этот обрел остроту в последние годы ее только потому, что Япония очень хочет получить эти острова, что явилось бы большой победой ее дипломатии, принесло бы немалые экономические выгоды. Само обострение этого вопроса стало следствием ошибочной политики прежних советских правительств, которые считали, что территориального вопроса вообще не существует и потому незачем вступать в спор с Японией по этому поводу, незачем аргументировать. Такая «твердокаменная» позиция Москвы принесла много вреда; она была признана оскорбительной для Японии, дав повод реваншистским кругам, требующим «безусловного и обязательного» возвращения «северных территорий» Японии, привлечь на свою сторону большинство общественного мнения страны, усиливая чувство антипатии к СССР (к России) как к «оккупанту». С этой целью в последние 30 лет в Японии ежегодно проводится «день северных территорий». Сложившееся тупиковое положение вполне устраивало и Вашингтон, который, со своей стороны, все сделал для того, чтобы эта проблема приобрела международный тупиковый характер.

Между тем в ответ на аргументы Японии в пользу передачи ей островов, якобы силой захваченных Советским Союзом, Россия имеет свои вполне убедительные аргументы. А чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить те и другие.

Итак, аргументы Японии:

1. Симодским трактатом (1855 год), а затем Петербургским договором (1875 год) Россия признала принадлежность Курильских островов Японии.

---

[1] «Известия» (1992, 11 апреля).

2. Ялтинские соглашения (1945 год), которыми эти острова были переданы СССР, не имеют юридической силы, поскольку подписаны они были СССР, США, Великобританией секретно, и Япония в этом не участвовала. К тому же Каирская декларация (1943 год) запрещает союзным державам захват чужих территорий.

3. «Северные территории» не являются частью Курильской гряды, от которой Япония отказалась по мирному договору с Сан-Франциско (1951 год). СССР не подписал этот договор и не может претендовать на что-либо из него вытекающее.

4. СССР согласился передать острова Хабомаи и Шикотан Японии (1956 год)[2].

Аргументы России:

1. Курильские острова были в XVII веке открыты и осваивались русскими.

Их коренное население (айну) было приведено в подданство русского царя. (После передачи островов Японии айну были насильственно выселены на о. Хоккайдо, где подверглись ассимиляции или живут в резервациях, требуя возвращения на родные острова под юрисдикцию России.)

2. Договоры 1855 и 1875 годов, предусматривавшие передачу островов Японии, обязывали обе страны развивать мирные, добрососедские отношения, но утратили силу после того, как Япония в 1904 году напала на Россию, навязав ей кабальный Портсмутский мирный договор, по которому она захватила Южный Сахалин.

3. Ялтинские соглашения законны. Принятые союзниками в Ялте решения о послевоенном урегулировании действительны и в Европе, и на Дальнем Востоке. Непозволительно делать исключения из них в пользу Японии. «Ялтинские соглашения, — заявил на пресс-конференции 3 января 1946 года Президент США Г. Трумэн, — это такие же соглашения, как и Потсдамские, подписанные мною, Эттли и Сталиным»[3]. Речь идет «о соглашении между союзниками, направленном на оказание друг другу помощи в достижении победы в войне», — указывал он в другом заявлении. Советская Армия приняла капитуляцию на всех Курильских островах, «что вытекает из договоренности о передаче Курильских островов Советскому Союзу»[4]. «Великобритания не отказывается от этого (Ялтинского. — А. М.) соглашения и не намерена этого делать впредь», — заявил в декабре 1946 года английский министр иностранных дел Э. Бевин[5]. В соответствии с Ялтинским и Потсдамским соглашениями в Директиве № 667 штаба оккупационных войск в Японии от 29 января 1946 года, а также в мирном договоре 1951 года японская территория ограничивалась четырьмя главными островами. А в 1957 году в Плане Д. Эйзенхауэра о демилитаризации Курильского архипелага также все Курильские острова рассматривались как советская территория, что вызвало даже протест японского МИДа[6].

4. Япония начала и проиграла войну. Ее представители не могли быть направлены на Ялтинскую конференцию и не могли принять участия в ее работе. А поскольку Япония безоговорочно капитулировала, признав решения союзных держав-победителей, они обязательны для нее и по всем Курильским островам. СССР не участвовал в работе Каирской конференции, участники которой, кстати, предъявили к Японии свои территориальные претензии. Для него, как и для других держав-победительниц, обязательную силу имеют решения в отношении Германии и Японии, принятые ими в 1945 и 1946 годах в Ялте и в Потсдаме[7].

5. Подписав в 1951 году мирный договор в Сан-Франциско, официально Япония отказалась от Курильских островов. СССР, не подписавший по ряду причин этот договор, владеет всеми Курильскими островами на основе Ялтинских соглашений, которые никто не отменял и односторонне отменить не может. Это действующие соглашения.

6. Острова Курильской гряды включают в себя все острова, в том числе и южные, на которые претендует Япония. Характерно, что в Лоции Южного Сахалина и островов Тисима (Курилы), изданной в марте 1937 г. в Японии («Южная часть островов — Тисима», с. 31), говорится: «В этом разделе дается описание южных островов — Кунашир, Итуруп, Уруп, Парамушир...» А на издававшихся в разные годы американских и других географических картах, переизданных в 1969 году в Японии, все Курильские острова, включая Хабомаи и Шикотан, изображены как единая территория, принадлежащая Советскому Союзу[8].

Нельзя принять также утверждение, что Япония якобы «открыла и освоила» Курильские острова еще в XVI веке. Дело в том, что политика самоизоляции, которой Япония строго следовала на протяжении трех столетий, делала практически невозможными путешествия ее граждан и вообще какую-либо деятельность за пределами страны. По этой же причине Япония не строила суда, способные плавать в океане. Первая японская экспедиция (Т. Могами) к Курильским островам состоялась в 1785 г. Она высадилась на о. Итуруп, где, как указывалось в ее отчете, японцев встретили русские и даже угостили их пельменями. Первые япон-

---

[2] Pacific Research, 1991, № 4, p. 6—7, а также: письмо премьер-министра Японии Х. Икэда Н. С. Хрущеву. «Международная жизнь», 1962, № 1, с. 7—10.

[3] Основные документы по вопросам оккупации и контроля над Японией. Т. II., М. 1949, с. 24.

[4] Foreign Relations of the U. S. Diplomatic Papers, 1945, vol. XI, p. 766.

[5] Асахи симбун, 1946, 12 февраля.

[6] J. Stephan. The Kuril Islands Russian — Japanese Frontiers in the Pacific. 1974, p. 216, 218—219.

[7] Внешняя политика Советского Союза (Сборник материалов и документов). М., 1962, с. 417—422, 507—514.

[8] Understanding Japan. Notes on Maps and Figures Concerning Japan in the Geography Textbooks of other Countries. Tokyo, 1969, № 23.

ские чиновники, согласно документам, появились на Южных Курилах позже — в 1786-м, а затем в 1792 году[9].

Более убедительно звучит утверждение японской стороны о ее праве на получение островов Хабомаи и Шикотан: в Декларации о нормализации советско-японских отношений, подписанной в Москве в октябре 1956 года, записано: «Идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства», Советский Союз соглашается «на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией»[10].

Позднее этот документ был ратифицирован парламентами обоих государств.

Как ни странно, важным и даже решающим препятствием на пути нормализации отношений России с Японией и подписания между ними мирного договора была (и остается) негативная позиция в этом вопросе «третьей стороны», а именно — США, которые фактически создали проблему «северных территорий» в самый разгар «холодной войны», чтобы не допустить такой нормализации. Для этого в 50-х годах Вашингтон заявил о своем отказе от решений Ялтинской конференции в той их части, которая касается передачи СССР Курильских островов, включая те 4 острова, на которые претендует Япония. Так, весной 1952 года при ратификации мирного договора с этой страной сенат США принял резолюцию, согласно которой ничто в этом договоре не могло истолковываться в пользу Советского Союза. Это касается Южного Сахалина, прилегающих островов Хабомаи, Шикотан и др. В ноте госдепартамента США и МИД Японии, сделанной в ноябре 1956 г., указывалось, что «после тщательного изучения Правительство США пришло к выводу, что острова Итуруп и Кунашир (наряду с островами Хабомаи и Шикотан, которые являются частью Хоккайдо) всегда были частью Японии и должны по справедливости рассматриваться как принадлежащие Японии»[11].

Подписание советско-японской Декларации в 1956 году вызвало в Вашингтоне раздражение. Токио получил предупреждение, что, если мирный договор с Советским Союзом будет подписан на указанных условиях, США могут отказаться вернуть Японии оккупированный ими о. Окинаву. Кабинет И. Хатояма под давлением Вашингтона был вынужден уйти в отставку, а переговоры о подготовке мирного договора были прерваны, и Токио с тех пор решительно настаивает на передаче Японии 4-х островов.

Касаясь этого вопроса, министр в кабинете Хатояма, а затем премьер-министр Т. Исибаси назвал шум вокруг «северных территорий» «пусканием пыли в глаза». «Каждый раз, когда возникает вопрос о подписании мирного договора с Советским Союзом, писал Исибаси, мы сталкиваемся с территориальным вопросом, и в таком осложненном виде, что вся эта проблема остается нерешенной до наших дней»[12]. В 1960 году Японией был подписан новый «договор безопасности», вследствие чего ее военно-политическое сотрудничество с США против СССР укрепилось. Ответом Советского правительства был его отказ в сложившихся условиях от передачи Японии ранее обещанных ей островов Хабомаи и Шикотан, поскольку усилилось противостояние Японии (и США) Советскому Союзу[13].

В общем, причиной отказа от достигнутой в 1956 году договоренности явилась проамериканская ориентация японской политики.

Однако теперь иные времена, положение изменилось, и, вероятно, можно вновь вернуться к рассмотрению этого вопроса. Но такая возможность зависит в равной мере и от России, и от Японии, от ее готовности стать на путь полного отказа от действий, которые могут угрожать безопасности России, от попыток прибегать к давлению на нее. Пока, к сожалению, многое остается по-старому. Вашингтон считает, что полная нормализация отношений Японии с Россией сделает бессмысленным нахождение американских военных баз и войск в этой стране и в других странах Азии, что приведет к ослаблению позиций США в АТР. Эти опасения находят поддержку со стороны антирусски настроенных деятелей в Японии и тех, кто хотел бы добиться получения 4-х Курильских островов путем оказания давления на Россию, воспользовавшись трудным положением, в котором она находится. При этом Токио стремится (и не безуспешно) заручиться поддержкой своих территориальных претензий к России со стороны государств «большой семерки»[14] и других стран, в том числе бывших республик СССР. Но «силовая политика» не может быть эффективной в отношении такой страны, как Россия. Даже если допустить, что Японии каким-то образом удалось бы вынудить нынешнее руководство России пойти на уступки в территориальном вопросе против ее воли, это дало бы «плохие всходы» в будущем, став причиной противостояния двух великих соседних государств.

В надежде оказать влияние на правительство и общественное мнение России Токио пытается опереться на поддержку

[9] Кутаков Л. Н. Россия и Япония. М., 1988, с. 50.
[10] «Правда», 1956, 20 октября.
[11] «The Japan Times», 1956, November 8.

[12] «Майнити», 1960, 9 апреля.
[13] Внешняя политика Советского Союза. М., 1962, с. 507—514.
[14] 2 июня 1992 года вице-председатель правящей ЛДП С. Канэмару получил в Вашингтоне обещение президента США Дж. Буша «воздействовать на президента России Б. Ельцина, чтобы 4 Курильских острова были возвращены Японии». Буш обещал сделать это дважды: на встрече с Ельциным (в июне) и на встрече «большой семерки» в июле («Известия» от 5 июня 1992 г.).

своих территориальных претензий к ней со стороны некоторых российских политиков, ученых и журналистов, пересмотревших свои прежние подходы к этому вопросу и активно выступающих теперь за удовлетворение этих претензий[15].

Однако попытки японской дипломатии настроить общественность России в пользу удовлетворения территориальных претензий Японии, делая жесты «доброй воли», прибегая к помощи прессы, не дают желаемых результатов. Выступления политиков и специалистов в прессе, опросы общественного мнения, в том числе и на российском Дальнем Востоке, показывают, что население страны в большинстве своем не настроено на передачу островов Японии[16].

Негативное отношение большинства населения страны к перспективе передачи Курильских островов Японии объясняется не только наличием у России правовых и иных оснований на владение ими и не только попытками японской стороны «давить» на нее, что вызывает естественное раздражение общественности. Оно объясняется также осознанием того факта, что отказ от этих островов означал бы создание прецедента для других нарушений Ялтинских соглашений, для пересмотра послевоенных (и не только послевоенных) границ в Азии и в Европе, в результате чего еще более ухудшалась бы обстановка в мире, осложнилось бы геополитическое положение России. Она лишилась бы в Охотском море незамерзающих проливов и военных баз. Кроме того, были бы потеряны значительные запасы полезных ископаемых. Район Южных Курил также один из важнейших рыбохозяйственных районов, где вылавливается до 1 млн. тонн морепродуктов, а это составляет 10 процентов общего вылова. В перспективе этот объем может быть увеличен в два раза. Курилы уже теперь дают стране 10—15 процентов добычи лососей (до 20 тыс. тонн). Здесь добывается до 7 процентов ценных водорослей — анфельций... Стоимость годовой продукции, получаемой только нашей рыбной промышленностью на Южных Курилах, колеблется от 1 до 1,2 млрд. долларов. Немалые доходы сулит развитие здесь туризма, а также санаторного лечения. Правда, это станет возможно лишь после того, как присутствие военных здесь будет максимально сокращено, а острова станут объектом разумной и активной хозяйственной деятельности.

В сложившихся условиях решение проблемы «северных территорий» и заключения мирного договора с Японией представляют большую трудность. Однако несомненно, что такое решение на взаимоприемлемой основе все же может быть достигнуто, если, во-первых, Россия и Япония сделают должные усилия с целью создания у себя благоприятного общественного мнения о другой стороне, стремясь устранить чувство взаимного недоверия и настороженности.

Во-вторых, если правительства и России, и Японии предпримут практические шаги, направленные на устранение военного противостояния, с тем чтобы был очевиден отказ обеих сторон от попыток укреплять свою безопасность за счет ослабления безопасности партнера по переговорам.

В-третьих, если будут сделаны дальнейшие усилия для расширения контактов японцев с русским населением не только Южно-Курильских островов и Южного Сахалина, но также и других районов России, активизируя взаимный туризм, спортивные, научные, иные формы обменов, поощряя торговлю и деловую активность. Для этого на Сахалине и на Южно-Курильских островах следует, видимо, создать «свободную зону», в которой японский бизнес, возможно, имел бы некоторые заранее оговоренные преимущества по сравнению с бизнесом других стран. Япония должна пересмотреть свою позицию в КОКОМ. (Международный комитет по контролю за экспортом в социалистические страны.)

В-четвертых, если российская сторона откажется от простого отрицания права Японии на получение ею островов Хабомаи и Шикотан согласно ранее достигнутой договоренности и серьезно рассмотрит правовую основу претензий Японии на эти острова с учетом изменившихся условий и ее готовности пойти на действительное, реальное (не на словах) улучшение отношений с Россией во всех областях, включая торгово-экономическую и техническую.

При подготовке и заключении мирного договора в любом случае в тексте его должна получить отражение взаимная заинтересованность России и Японии в достижении баланса экономических интересов и геополитического сотрудничества в регионе. Было бы хорошо договориться о подписании специального соглашения «о гарантиях безопасности».

Следует, однако, сказать, что достижение согласия по всем этим вопросам и сама возможность полной нормализации отношений России с Японией на равных и взаимоприемлемых условиях будет в значительной (если не в решающей) степени зависеть от того, какую позицию займут обе страны по отношению к США, которые, судя по всему, продолжают рассматривать Японию в качестве тарана в проведении своей мондиалистской «силовой политики» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

[15] «Правда» (28.03.1991), «Независимая газета» (24.10.1991), «Новое время», 1992, № 23, с. 30, «Известия» (5.05.1992).
[16] «Известия» (15.04.1991), «Советская Россия» (3 и 5.10.1991), «Правда» (10 и 19.10.1991), «Поиск» (9.12.1991), «Правда» (12.02.1992), «Советская Россия» (14.07.1992).

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Зарубежная мысль

ПУТЬ КИНОВАРИ

Судьба итальянского барона Юлиуса Эволы, одного из наиболее известных и почитаемых традиционалистов нашего времени, была чрезвычайно насыщенной и богатой внешними событиями, приключениями, опасными путешествиями, политической борьбой и т. д. Это было классическое хайдеггеровское «бытие-без-укрытия-в-максимально-рискованном риске». Но несмотря на то, что Эвола являлся, без сомнения, одной из самых ярких личностей нашего века, его случай выходит за рамки «выдающегося индивидуума» в нем, в его жизни, в его судьбе отразилась судьба Идеи, судьба определенной духовной позиции, судьба Традиции в Темные Времена.

Барон Юлиус Эвола родился в Риме 15 мая 1898 года в семье итальянских аристократов, чей род восходит к германской средневековой знати — к роду баронов Хвеелар. Уже в юности Эвола ощутил внутри себя глубочайшую отстраненность от окружающей его реальности, интерес к трансцендентным, запредельным сферам, но одновременно активное творческое стремление трансформировать внешний мир в согласии с внутренними идеалами. Сам Эвола в единственной биографической книге «Путь Киновари» пишет о своей юности: «Я почти ничем не обязан ни среде, ни образованию, ни моей семье. В значительной степени я воспитывался на отрицании преобладающей на Западе традиции христианства и католицизма, на отрицании актуальной цивилизации, этого материалистического и демократического «современного мира», на отрицании общей культуры и расхожего образа мышления того народа, к которому я принадлежал, то есть итальянцев, и, наконец, на отрицании семейной среды. Если все это и повлияло на меня, так только в негативном смысле: все это вызвало у меня глубочайший внутренний протест».

Такое отношение привело юного Эволу к радикальному нигилизму, проявившемуся в его раннем анархистском поэтическом и изобразительном творчестве. Эвола был одним из первых представителей дадаизма в Италии. Параллельно творчеству Юлиус Эвола изучал труды по религиозной, эзотерической и метафизической проблематике. Особенно интересовали его восточные доктрины — индийский тантризм, буддизм, даосская традиция Китая, йога и т. д. Кроме того, он серьезно занимался также сугубо западным эзотеризмом, алхимией, герметизмом и сопряженными с ними дисциплинами. Когда анархические опыты достигли в жизни Эволы своего разрушительного пика, он окончательно выработал свою жизненную позицию, которую в дальнейшем лишь развивал и углублял: это была позиция «обособленного человека». Иными словами, ее можно определить как позицию Консервативной Революции. Смысл ее сводился к следующему. От анархической и нигилистической направленности Эвола сохранил глубокую неудовлетворенность современным миром, его буржуазными, демократическими, плебейскими ценностями, но в то же время, в отличие от обычных «левых» нигилистов, Эвола на этом не остановился, но противопоставил «современному декадентскому миру» сакральный мир Традиции, с его инициатическими и гностическими ценностями, с его иерархией, с присущей ему трансцендентностью. «Обособленный человек», проблеме которого Эвола в конце жизни посвятил целую книгу «Оседлать тигра», — это тип особого уникального существа, внутренне принадлежащего к миру Традиции, но при этом вынужденного внешне пребывать в анти-традиционном и де-сакрализированном мире, в «современном мире». Опыт тотального отрицания привел Эволу к тому, что он через травматические трагические трансформации осознал всю полноту этих альтернативных, анти-современных ценностей, внутренне обнаружив их в глубине своей души как конкретное присутствие преображающей, не-человеческой силы, «силы Абсолюта». В этот же период Эвола познакомился с трудами Рене Генона, и это окончательно укрепило его «традиционализм», дало ясное и полное подтверждение его интуиций. «Нигилистический период» в судьбе Эволы не был ни случайностью, ни противоречием: это был закономерный и почти неизбежный этап консервативно-революционного становления его жизненной позиции.

Несмотря на определенное сходство между фашизмом и Консервативной Революцией, между этими идеологическими формами существовали и глубокие противоречия. В своей критике фашизма справа Эвола оставался таким же нонконформистом, как и в самые ранние периоды своего творчества. Хотя среди высших чинов фашистского движения были люди, которые ему симпатизировали, сам Муссолини не раз позитивно отзывался о работах Эволы, у него было множество врагов; и не только его журнал «Ля Торре» («Башня») был закрыт по цензурным соображениям, но и многие его тексты публиковались в официальных фашистских журналах с большими осложнениями. Радикализм, бескомпромиссность и бесконечная преданность чистоте идеалов Традиции Эволы мешали многим фашистским, чисто прагматическим идеологическим ходам (в частности, альянсу с Ватиканом), а также вызывали ярость у обычных «арривистов», конформистов и фашистских бюрократов. Но как бы то ни было, Эвола стремился придать своей деятельности не только чисто умозрительный, но активный, конкретный, созидательный характер, следуя пути традиционного воина, кшатрия, который может внутренне реализовать метафизические и трансцендентные ценности только через героическое, жертвенное, воинственное внешнее действие, действие Преодоления. Наиболее полным воплощением этого политического проекта Консервативной Революции в традиционалистском ключе было появление «Языческого Империализма».

В Италии «Языческий Империализм» особого отклика не вызвал, но совсем иначе обстояло дело в Германии, где перевод этой книги получил в конце двадцатых годов огромную известность. Так как Эвола стоял за итало-германский политический и геополитический альянс, а его позиция была начисто лишена шовинизма, узкого национализма и ксенофобии, которые были в целом не чужды итальянскому фашизму среднего периода, то немецкие консервативные революционеры увидели в нем автора, наиболее близкого к ним самим. С этого времени в Германии постоянно проходят конференции Эволы, он становится членом консервативно-революционных элитарных организаций, таких, как «Herren klub» («Клуб господ») Генриха фон Гляйхена и принца де Рохана, и т. д. Параллельно этому укрепляются связи Эволы с французскими традиционалистами, последователями и учениками Рене Генона. Эвола сам знакомится с Геноном, переводит на итальянский его книги и статьи, в частности «Кризис современного мира» и др., поддерживает с ним постоянную переписку.

В 1934 году Эвола пишет свою главную книгу жизни — «Восстание против современного мира». В ней он подробно излагает принципы традиционалистской Консервативной Революции. В первой части разбираются позитивные иерархические ценности истинного мира Традиции, во второй описываются этапы деградации Традиции и генезис современного мира через переход власти от одной касты к другой, через сменяющие друг друга стадии патриархального и матриархального строя вплоть до возникновения «современного мира», два наиболее страшных и апокалиптических, вырожденческих лика которого Эвола видел в Советской России и в Соединенных Штатах Америки. До сегодняшнего дня эта книга остается центральным классическим трудом по традиционализму.

В конце Второй мировой войны Эвола, исследующий в Вене масонские архивы, попадает под бомбежку и получает травму позвоночника. До конца своей жизни он остается парализованным. После войны он возвращается в Италию, где продолжает свою интеллектуальную и творческую деятельность. Он пишет книгу «Фашизм. Критика справа», где разбирает позитивные и негативные аспекты этого движения, а также те пункты, в которых оно отклонилось от чистоты консервативно-революционных доктрин. Позже появляются такие книги, как «Человек и развалины», «Ориентации», «Оседлать тигра». Все они продолжают тему Консервативной Революции и ее перспектив, так как Эвола категорически отказывается считать поражение стран Оси синонимом поражения самой Консервативной Революции. Он полагает, что темные, «подрывные», анти-сакральные силы были в фашистский и нацистский период не только внешними демократо-коммунистическими факторами, но и внутренними. Мужество и последовательность Юлиуса Эволы в защите тех ценностей, которым он служил всю жизнь, делает его уникальным примером среди других консервативных революционеров, и этим он от многих из них, и особенно от Эрнста Юнгера, выгодно отличается.

Но Эвола не оставляет и чисто традиционалистские исследования. Он пишет замечательную фундаментальную книгу «Метафизика секса», где разбирает эту проблему в свете учений Традиции, ее эзотерических и инициатических аспектов. Этот труд стал классическим по данной проблеме, получил в Европе широчайшую известность. На него ссылаются и его цитируют даже те, кто принципиально не приемлет творкй Консервативной Революции или даже откровенно с ними борется.

Умер Эвола в 1974 году. Его прах похоронен на вершине горы Монте Роза, так как сам он очень любил альпинизм, в котором его привлекали риск, удаленность от всего человеческого, столкновение с чистыми, свежими и страшными силами мира, мира как энергии, как спонтанного и магического проявления того, что лежит По Ту Сторону.

Леонид ОХОТИН.

ЮЛИУС ЭВОЛА

ИМПЕРИЯ

УПАДОК ЕВРОПЫ

Современная цивилизация Запада нуждается в кардинальном перевороте, без которого она рано или поздно обречена на гибель.

Эта цивилизация извратила всякий разумный порядок вещей.

Она превратилась в царство количества, материи, денег, машин, в котором нет больше воздуха, свободы, света.

Запад забыл о смысле приказания и повиновения.

Он забыл о смысле действия и размышления.

Он забыл о смысле иерархии, могущества духа, человеческих богов.

Он больше не знает природы. Природа для западных людей перестала быть живым телом из символов, богов и ритуалов, блистающим Космосом, в котором, как царство в царстве, свободно движется человек: она стала мутной, роковой поверхностью, и ее тайны профанические науки стараются обойти с помощью своих ничтожних законов и ничтожных гипотез.

Запад больше не ведает мудрости: он не знает благородного безмолвия тех, которые преодолели самих себя, не знает светлого покоя тех, которые видят, не знает гордой солнечной реальности тех, в ком возродились идеи крови, жизни, могущества. На место мудрости вступила риторика философии и культуры, мир профессоров, журналистов, спортсменов, схема, программа, лозунг. На ее место вступила сентиментальная, религиозная, гуманистическая скверна и плеяда возбужденных болтунов, которые опьяненно

Выдержки из книги «Языческий империализм».

восхваляют становление и славословят практику, потому что боятся молчания и раздумья.

Запад больше не знает Государства. Государство как ценность, как Империя, как синтез духовного и королевского, как путь к сверхмиру, каким оно было во всех великих культурах древности от Китая до Египта, от Ирана до Рима, до Священной Римской Империи Германских Наций, потонуло в мещанской убогости общества рабов и торговцев.

Что такое война, война по своей собственной воле, как высшая ценность (будь то в победе или в поражении), как священный путь духовной реализации? Почему доступ в небесную обитель Одина, Валхаллу открыт героям, павшим на поле битвы? Почему в Исламе священная война (джихад) есть синоним божественного пути? Почему в арийской Индии воин всегда уподобляется аскету? Почему в классической древности он символизировал собой mors triumphalis (победу через смерть)? Ничего из этого не знают больше трусливые европейские активисты. Они не знают больше воинов, они знают только солдат, и достаточно небольшой стычки, чтобы привести их в ужас и вызвать у них поток гуманистической, пацифистской и сентиментальной риторики.

Европа потеряла свою простоту, она потеряла центр своей деятельности, она потеряла свою жизнь. Демократический недуг и семитский яд пропитали ее вплоть до самых корней, они везде: в праве, в науке, в мышлении. Вождей — существ, которые выдвинулись не посредством насилия, не из корыстолюбия, не как ловкие угнетатели рабов, а в силу своих неоспоримых трансцендентных жизненных достоинств,— больше почти не осталось. Европа сегодня — это огромное шарлатанское месиво, сжимающееся и трясущееся от страха, о котором никто не смеет заявить открыто, с деньгами вместо крови, с машинами и фабриками вместо плоти и с газетами вместо мозгов,— бесформенное тело, беспокойно бросающееся из стороны в сторону, движущееся под влиянием сомнительных и неизвестных сил, превращающих в порошок любого, кто осмелится им противостоять или хотя бы попытается уклониться от их воздействия.

Все это плоды столь восхваляемой западной цивилизации. Все это прославленные результаты суеверной веры в прогресс, которая противоречит римской королевской власти, противоречит дорической Элладе, противоречит всем остальным формам великой арийской традиции.

И все плотнее смыкается кольцо вокруг тех немногих, которые способны к великому отвращению и великому возвышению.

НОВЫЙ СИМВОЛ

Возможно ли еще в этом сумрачном мире освобождение и обновление?

Есть ли у Европы силы, достаточные для осознания своей задачи, и есть ли у нее воля для ее решения?

Не следует предаваться иллюзиям: только при осознании возможно действие. Надо отметить угрожающую реальность процесса духовного распада, уходящего корнями в недра Предыстории, высшей точкой которого является как раз то, что современные люди прославляют как свою высшую культурную ценность и который затронул все области мысли и действия.

Компромисса не существует. Приспособление невозможно. Нам необходимо могущество нового Средневековья. Нам необходим радикальный, глубокий переворот, восстановление варварской чистоты как во внутреннем, так и во внешнем. Философия, культура, повседневная политика — всему этому надо сказать «нет!». Не следует поворачиваться на другой бок на этом смертоносном ложе. Надо наконец проснуться и встать на ноги.

Еще остались те, которые помнят о древнем благородстве, те, которые осознают всю серьезность невыносимой болезни и понимают, что все отдельно взятые области культуры слишком тесны для противодействия. Пока еще не слишком поздно, надо призвать этих разрозненных людей к осознению основной линии вне всех ограничений и частных интересов, сдерживающих сегодня их силы. Должно свершиться неумолимое действие, требующее развертывания всех их чистейших сил. Оно должно быть всепобеждающим, готовым уничтожить грузную корку риторики, сентиментализма, морализма и религиозного лицемерия, которой покрыто и гуманизировано на Западе, всё. Тот, кто проникает в храм — будь он даже варваром,—обязан изгнать оттуда всех осквернителей, сделавших в цивилизованной Европе из духа, из добра и зла, из науки и божественности монополию и спекулирующих этим всю свою жизнь, тогда как на самом деле им неведомо ничего, кроме материи и того, что на эту материю наложили людские страхи и суеверия.

Всему этому надо сказать — хватит! И при этом некоторые люди снова будут готовы к этому долгому пути, к долгому риску, к долгому созерцанию и к долгому молчанию; при этом снова повеет ветер далекого, ветер древней нордической традиции, и спящие Запада проснутся.

Антифилософия, антигуманизм, антилитература, антирелигия — таковы предпосылки. Хватит! — надо сказать эстетизму и идеализму; хватит! — душевной жажде, создавшей семитского бога для молитв и упований; хватит! — потребности, которая держит нищих людей в оковах общества, чтобы, связав их взаимной зависимостью, дать им то, что недостает каждому.

Надо всем этим дóлжно возвыситься с чистыми силами. И тогда появится задача, намного превосходящая политику и социальные предрассудки, делающая незначительными все трагические позы горя и внешние эмоции; задача, поставленная таким образом, что материальная сила, увлекающая за собой всех людей, все вещи, не сможет более иметь какой-либо вес.

В тишине, в строгой дисциплине самообладания и самоопределения мы должны с холодным настойчивым усердием создать из единиц элиту, возрождающую солнечную мудрость: то мужество (virtus), о котором не следует говорить вслух и которое исходит из глубин души и сознания, доказывается не в спорах и книгах, а в творческом действии.

Мы должны снова проснуться для обновленного, одухотворенного, терпкого переживания мира, но не отвлеченного и философского, а вибрирующего в нашей крови: для переживания мира как могущества, для переживания мира как ритуала жертвоприношения. Такое переживание мира создаст крепкую, жесткую, активную форму, существо чистой силы; такое переживание мира откроет то чувство свободы и величия, то космическое дыхание, даже самого слабого дуновения которого еще не знали мертвые Европы.

Вместо профанической, демократической и материалистической науки, относительной и условной, являющейся рабой непонятых законов и явлений, глухой к глубинной реальности человека, мы должны в этой элите воскресить священную, внутреннюю, тайную, творческую науку духовной реализации и самооблагораживания; науку, которая способна управлять невидимой силой, повелевающей нашими существами и соединяющейся с тайными корнями рас и вещей; и при этом она воссоздаст, но не как миф, а как самую позитивную реальность, людей как существ, принадлежащих не к жизни, а к более чем жизни, способных к трансцендентному действию.

И тогда появятся вожди, род вождей. Невидимые вожди, которые не говорят лишних слов и не стремятся показываться на публике, но чьи действия не знают преград, вожди, могущие все. И тогда опять возникнет центр на Западе — на Западе, лишенном центра.

Это глубокое заблуждение—считать, что обновление возможно без восстановления иерархии, т. е. без установления в низших формах, связаных с землей и с материей, с человеком и с человеческим, высшего закона, высшего права, высшего порядка, которые могут быть оправданы только живой реальностью вождя.

Это глубокое заблуждение—считать, что государство может быть чем-то иным, нежели civitas diaboli («дьявольская организация»), если оно не восстановлено как Империя; но также ошибочно желать установления Империи на основе научных, милитаристских, промышленных, идеальных или национальных факторов. Империя в традиционном понимании есть нечто трансцендентное, и осуществить ее может только тот, кто обладает достаточной силой для преодоления ничтожных жизней ничтожных людей вместе с их аппетитами и сентиментами, вместе с их убогим национальным чванством, вместе с их ценностями, фобиями и идолами.

Это понимали люди древности, когда чтили во главе иерархии существ, королевская природа которых была сплавлена с сакральной и временная власть которых была пронизана духовным авторитетом «более чем человеческой» природы — таинственных носителей могущественных и грозных сил Победы и Счастья. Это понимали люди древности, когда в любой войне они переживали священную войну, нечто универсальное, торжествующее, все разрушающее и организующее заново, с чистотой и неизбежностью, свойственными всякому исконно великому могуществу.

Понимают ли это также те, которые еще могут и хотят оказать сопротивление? Понимают ли они, что нет иного духа, который должен быть разбужен, хотя, быть может, в других формах и образах? Понимают ли они, что это является условием для того, чтобы каждая их революция не осталась незначительной случайностью в рамках отдельной нации, а стала бы универсальным началом, первым лучом света в плотном тумане темных времен западной Кали-юги, началом истинного восстановления и единственно возможного оздоровления?

ИСТИННЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

Принципом и здоровым основанием нового государства должна быть идея органичности.

Конкретная идея организма противоречит идее составного механизма, представляющего собой совокупность атомически свободных элементов, которая поддерживается лишь безличной и абстрактной связью, не индивидуализируется ни в каком высшем принципе и не основывается на реальной и истинной дифференциации элементов. Различие между имперским и либерально-демократическим идеалом тождественно различию между организацией (в этимологическом смысле этого слова, происходящего от слова «организм», т. е. «живое, цельное и качественное существо») и составной композицией (слово «композиция» этимологически означает искусственное сложение разрозненных элементов в единое целое).

Наш Империализм требует универсальности и единства, но не в смысле абстракций, подчиненных безличному закону или иррациональной коллективной воле и интернационалистскому пацифистскому коллапсу, а универсальности и единства, наглядно предоставленных реальностью высшего индивидуума, в которой воплощается смысл трансцендентного как изначальный принцип всякой дифференциации и всякого качественного различия.

Наш Империализм возвышается над национализмом: если демократический недонационализм есть смягчение и сведение к минимуму национального утверждения, то имперский и римский сверхнационализм есть сверхнационализм того

национального утверждения, которое через группу господ осуществляется, уже вне их самих, в высшем синтезе, будь то по отношению к своей или к какой-либо иной возглавляемой ими нации.

Как это ни странно, но может показаться, что наш Империализм основывается на ценностях, которые могли бы служить предпосылками либеральным формам демократии. Ценности свободы и независимости действительно стоят в центре лучших арийских традиций. Понятие благородства в древнегерманской традиции, а позднее и в самой структуре средневековой культуры, отождествлялось с понятием свободы. Первые римские законы основывались на идее патрициев, жрецов, вождей и высших судей своего народа как свободных существ, вселенных во Вселенной. Фридрих II сказал: «Пока я король, я свободен». Схожесть в словах, радикальное различие в духе. Разница состоит в том, что в либерализме эта ценность утверждается родом рабов, не осмеливающихся додумать эту мысль до конца и возжелать свободу для индивидуума и в индивидууме и неправомочно и обезличенно сводящих ее к обществу и человечеству, где она уже полностью теряет свое первоначальное значение и становится заблуждением.

Согласно его собственному утверждению, этот род рабов, следуя своему вечному закону, провозгласил эру свободы. В действительности это только слова. Этот род не знает, что такое свобода. Если бы он знал это, он знал бы также, что стремление к свободе есть то же самое, что и стремление к иерархии.

Разберемся в этом подробнее: свобода не терпит компромисса — либо ее утверждают, либо нет. Если утверждают, то надо бесстрашно утверждать ее до конца, т. е. как безусловную свободу.

Это вполне поймет тот, кто согласен, что свободным себя может называть только один. Если бы существовало больше свободных существ, то они лишь взаимно ограничивали бы друг друга, в этом случае внутри каждого из них был бы установлен закон, подчиняющий его действия некой предопределенной гармонии. И несмотря на то, что этот закон был бы внутренним, он от этого, однако, не перестал бы оставаться законом, и, кроме того, при этом существовало бы некое условие, стоящее над областью сознания каждого из индивидуумов, поэтому в данном случае наличествовала бы лишь видимость истинной свободы.

Итак, напрашивается следующая альтернатива: либо умерить свои притязания, фальсифицировать смысл этой высшей ценности и отрицать свободу, настаивая на многих отдельных, атомических свободах, прирученных и механизированных во взаимном самоограничении (либеральная демократия), либо остаться непреклонными и выступить за идеал существа, в силу своего внутреннего превосходства прекратившего быть одной из многих сил в динамической системе, которую представляет собой социальная действительность, — реализующегося как установитель законов самой этой действительности в свободе от закона и являющегося законом и авторитетом для всех остальных. Это означает, что свобода только тогда реальна, когда реальна Империя.

Империя, понимаемая таким образом, соответствует по вышеприведенной аналогии телу, ставшему единым в силу господствующего над ним синтеза души. Единство такого тела в отличие от бездушного трупа состоит в высшем принципе, который есть начало и конец, который является не потребностью тела, а, напротив, заставляет само тело служить ему инструментом и который не исходит из тела, а, наоборот (в том смысле, что душа есть конечная цель), представляет собой глубочайший принцип самого тела, без которого оно распалось бы (Аристотель).

В соответствии с этим следует сказать, что правитель как носитель ценности свободы не будет простым представителем масс (демократический тезис), безличным символом мифической самоорганизации, на которую массы якобы способны, а напротив: массы приобретут порядок и форму лишь благодаря высшей силе, качественно отличающейся от всех других и несопоставимой с ними. И эта сила, существующая отнюдь не для масс, подчинит тем далеким горизонтам, которые только она может наметить, интересы масс, не предоставляя никому права подтверждать свой закон, так как он является законом не потому, что он правилен, а потому, что он является законом, ее законом (в прямой противоположности демократическому принципу преклонения перед абстрактными правилами или перед тем, что считается общественными интересами). В противном случае глава государства будет не свободным существом, а первым из слуг; не выражением духовности, а голосом тела.

К сожалению, сегодня уже почти никто не знает, что означает свобода, и почти никто не осмеливается додумать эту мысль до конца. К сожалению, сегодня почти не осталось никого, кто умел бы приказывать и повиноваться. Риск абсолютной ответственности и абсолютной преданности почти полностью исчез за посредственностью коллективного механизма.

И они еще осмеливаются воспевать эру свободы и либерализма и славить уничтожение рабства, не понимая того, что свобода возможна тогда, когда существуют господа и рабы, когда существуют гордые вожди и массы, отважно и великодушно вверяющие этим вождям свою жизнь и судьбу; не понимая того, что уничтожения рабства могут хотеть только рабы, которые остаются рабами, даже освободившись от цепей и разрушив иерархию, поскольку их потребность служить и быть зависимыми создает им нового и намного более страшного тирана: с одной стороны, семитский Бог-судья, Бог провидения и благодати, а с другой — деньги и общественное мнение, инструменты еврейского заговора, фетиш безличных социальных законов, моральная нетерпимость протестантских наций, всемогущий человек толпы большевизма.

КОРНИ ЕВРОПЕЙСКОГО НЕДУГА

Мы уже говорили о том, что в современном мире сложилась такая ситуация, в которой бесполезно предаваться иллюзиям о возможности реального противодействия, не коренящегося в глубочайшем духовном перевороте. Излечиться от изнуряющего нас недуга можно только путем тотального отрицания, путем духовного взлета, который превратит нас в новое существо и даст нам возможность узнать новый мир, вдохнуть воздух новой свободы и который при этом должен разрушить все то, чем гордятся сегодня ничтожные люди Запада.

Сознавая, что наш мир — это мир развалин, мы должны снова обратиться к тем принципам, которые позволят нам выяснить причины такого положения вещей.

Первым корнем европейского упадка является социализм, анти-иерархия.

Из этого развились следующие основные направления:

— кастовая деградация;

— засилье позитивистской науки и философии;

— техника и иллюзии механического могущества;

— новый романтический и активистский миф.

Рассмотрим последовательно эти основные причины европейского упадка и противопоставим им наши иерархические ценности.

При этом мы представим в общих чертах иное мировоззрение и иную систему ценностей, которые должны быть тайной силой и душой нашей борьбы.

КАСТОВАЯ ДЕГРАДАЦИЯ (ДЕНЬГИ И ТРУД)

Мы уже указывали на то, что если нужно вывести закон, обобщающий смысл истории последних веков, то мы должны говорить не о прогрессе, а, напротив, об инволюции.

С этой точки зрения можно выделить один наиболее объективный и наиболее показательный процесс: процесс кастовой деградации. Начиная с доисторических времен, смысл истории состоял именно в последовательном нисхождении четырех главных каст: 1) солнечной королевско-сакральной касты; 2) воинственной знати; 3) мещанства, «торговцев» и 4) рабов, — в которых в традиционных культурах, и в особенности в арийской Индии, находила свое выражение качественная дифференциация человеческих возможностей.

Вначале произошел закат эпохи королевской божественности. Вожди, являвшиеся божественными существами, вожди, объединявшие в себе оба вида могущества—королевскую и жреческую, понтификальную власть, отошли в далекое, почти мифическое прошлое. Эта первая катастрофа произошла вследствие фальсификации культурной, творческой, нордическо-арийской силы. В германском идеале Священной Римской Империи мы видим последний отголосок этой традиции, этого солнечного уровня.

После исчезновения этой верховной касты власть перешла к нижестоящей касте воинов. К этой касте принадлежали властители, являющиеся только военными вождями, господами временного правосудия, политически абсолютными правителями. Иногда кое-где еще сохранялась форма божественного права, но лишь в качестве бессодержательной и пустой реминисценции. За государственным устройством, лишь формально сохраняющим аристократически-сакральные черты, часто уже в древности мы сталкиваемся с правителями именно такого типа. А после падения вселенского единства Средневековья это стало уже повсеместным явлением.

Второй катастрофой было падение аристократии, исчезновение рыцарства, национализация и деградация великих европейских монархий, которые вследствие революций и введения конституций там, где они не были заменены другими формами правления (республикой, федерацией), превратились в пустой, бессмысленный пережиток, подчиненный так называемой воле нации. Сопровождающееся парламентаристскими, республиканскими или националистическими формами демократии установление капиталистической олигархии знаменует собой переход власти и авторитета от второй касты к современному эквиваленту третьей касты, от воинов к торговцам. Вместо могущественного принципа верности и чести появляется новое учение об общественном договоре. Социальный союз является только утилитарным и экономическим союзом: он является соглашением, выработанным в соответствии с интересами и выгодой отдельных лиц. Таким образом, этот союз с необходимостью от личного переходит к безличному. Деньги становятся при этом главным посредником, и тот, кто сможет завладеть ими и максимально увеличить их количество (капитализм, индустриализм), тот, уже в силу этого факта, потенциально получит в свои руки бразды правления. Место аристократии занимает при таком порядке плутократия, а место воинов — банкиры, евреи и промышленники. Торговля со своими процентами, сконцентрированная ранее в гетто, становится славой и высшей точкой последней эпохи. Тайная сила социализма, анти-иерархии начинает открыто заявлять о своем могуществе.

Кризис мещанского общества, пролетарское восстание против капитализма, манифест Третьего Интернационала и последующая постепенная организация масс и групп в чисто коллективное и механизированное существо в форме новой культуры труда возвещают нам близость третьей катастрофы, вследствие которой вся власть грозит перейти к последней традиционной касте—к касте ра-

бов и людей толпы, вместе с соответствующим ограничением всех горизонтов и ценностей уровнем количества и материи.

Если сверхчеловеческая Духовность и Слава характеризовали солнечный период, героизм, верность и честь — период правления воинов, а деньги — период власти евреев и торговцев, то рабы с приходом к власти должны установить свой рабский закон: труд, возведенный в степень религии. И ненависть рабов садистически провозглашает: кто не работает, тот не ест; и их тупость, прославляя саму себя, готовит священный фимиам из чада человеческого пота: Труд облагораживает человека, Труд — это величие. Труд — это этническая обязанность. Итак, каста рабов и эпоха Труда окончательно заставляет человечество сойти в могилу, и цикл деградации завершается окончательно.

Именно такой идеал готовит будущее жрецам прогресса. А сегодня еще продолжается борьба между евреями, всемогущими обладателями денег, и восставшими рабами-пролетариями. Та культура, которой так гордятся современники, еще более способствует функционированию чудовищного механизма, приводимого в движение грубыми, безличными силами: силами денег, капитала, машин.

И цепи зависимости отнюдь не ослабли, напротив, они стали более крепкими. Но власть теперь более не соответствует авторитету, подчинение—признанию, а ранг—превосходству. Господин носит это имя более не потому, что он господин, а потому, что он имеет больше денег, даже если в действительности он видит лишь узкие горизонты повседневной жизни, которые полностью детерминированы материальными условиями. И при этом он еще имеет возможность подчинить себе и обезвредить тех, кто обладает несравненно более могущественным духом, нежели он сам: возможность подлого обмана и гнусного порабощения. Могущество и узы зависимости, обезличившись и механизировавшись, превратились в капитал и машины. И это не парадокс: об истинном рабстве стало возможным говорить только сейчас, и говорить о нем—значит говорить о современной хозяйственно-механической иерархии Запада, идущей по пути огрубления, показательным примером которого является «свободная Америка».

И возможно, что уже через несколько поколений, воспитанных на научных правилах социальных служб, смысл индивидуальности будет уничтожен полностью, а вместе с ним и последние остатки сознания, необходимого для того, чтобы хотя бы смутно понимать, что такое рабство. И, быть может, тогда наступит состояние «обновленной невинности», отличающееся от невинности мифического Эдема тем, что только труд станет той единственной и всеобщей жизненной целью, о которой в «Бесах» Достоевского говорил Шигалев: и это идеал Советов.

Полная социальная зависимость при отсутствии истинных вождей, организация, лишенная всякого качественного начала, — такой социальный идеал реализуется сегодня с помощью грубой, безличной, чисто количественной силы денег.

Мы сказали: при отсутствии вождей. Мы не оговорились. Повторим, что если род вождей и не исчез полностью, то это, во всяком случае, произойдет очень скоро. И все устремится в торопливом крещендо к нивелированию материальной и безличной жизни. Так называемые высшие или правящие классы — это сегодня звучит как ирония: заправилы интернациональных финансовых организаций, а также промышленники и чиновники являются в действительности не более чем вольноотпущенниками, которых господа отправили присматривать за своими слугами и управлять своим хозяйством. И это ярмо надето на гигантскую, слепую, автоматизированную массу рабочих и служащих. Но даже над этим уровнем не веет свободный воздух ни для рабов, ни для вольноотпущенников, надсмотрщиков над рабами; все это не принадлежит никому, и в этом ужасная истина цивилизации!

И как суетливый и лихорадочный, насыщенный обязанностями день господина денег и машин внутренне бесконечно более стеснен, зависим и убог, нежели день простого ремесленника, так же дело обстоит и у высших классов, которым деньги служат только для того, чтобы их жажда развлечений, комфорта, удовольствий или дальнейшего накопления денег переросла в патологию и болезнь.

И во всем этом никаких следов господства. А при его отсутствии и никакого смысла во всей этой псевдоорганизации. Спросите у миллионов запертых в бюро и прикованных к машинам людей: зачем? Спросите у них: чем все это оправдывается? И, кроме ефемерного стремления подражать респектабельности высших классов, вы не получите никакого ответа. И если подняться выше и спросить о том же у заправил экономики, у изобретателей, у господ стали, нефти, угля, народов (разве мы не видим, что политические проблемы сегодня ограничиваются одной экономикой?!), золота, — снова никакого ответа. Средства к жизни стали сейчас важнее, чем сама жизнь. Да, они превратили жизнь в свое средство. И вот великие сумерки поглотили свет чудесной иллюзии западной гордости; сумерки новейшего и чудовищнейшего мифа—мифа о работе во имя самой работы, мифа о работе как о самоцели, как о единственной ценности и всеобщем долге.

Несметное количество людей на отравленной, обезличенной Земле, людей, опустившихся до уровня простого количества—чистого количества!—людей, уравненных в материальной идентичности зависимых частей предоставленного самому себе механизма, который не останавливается и с которым никто ничего не может поделать, — такова картина, открывающаяся на хозяйственно-промышленным увлечением, охватившим весь Запад.

И тот, кто ощущает, что это означает конец жизни и начало царствования грубых законов материи, триумф того рока, который особенно страшен тем, что он безличен, тот ощущает также, что осталось только одно лекарство—разбить семитское ярмо денег, преодолеть фетиш социальности и закон взаимной зависимости, возродить аристократические ценности, те ценности качества, дифференциации и героизма, тот смысл метафизической реальности, которым противоречит сегодня всё и которые мы, однако, вопреки всему отстаиваем.

И поэтому: только тогда, когда революция понимается как революция против хозяйственной тирании, против такого положения вещей, при котором правит не индивидуум, а груды золота, при котором забота о материальных условиях существования уничтожает само существование; только тогда, когда стремление к хозяйственному равновесию имеет целью создать основу, способствующую освобождению и развитию различных форм жизни,—тогда, и только тогда, мы можем признать за определенными крайними революционными течениями некоторую оправданность и возможность будущего успеха.

Причина отсутствия в современной жизни качественной дифференциации кроется в том обстоятельстве, что для активности, не ведущей непосредственно к практической выгоде и не служащей на благо обществу, сегодня фактически не осталось места. Хозяйственные предрассудки продолжают нивелирование. Они все уравнивают, так как в деньгах и в хозяйственно-механической иерархии нет и не может быть никакой качественной дифференциации: все здесь находится на одном и том же уровне, все имеет одно и то же качество. И помимо этого уровня, взятого в тотальности всех его возможных модификаций, необходимо, чтобы наличествовали иные уровни, которых, однако, сегодня нет; иные уровни, совершенно независимые и подчиняющие себе хозяйственный уровень, а не наоборот, не так, как это происходит в современном обществе.

Поэтому, когда гипертрофия этой болезни в чудовищном банко-промышленном тресте присваивает себе название «империализм», мы не можем не улыбаться. И хладнокровное утверждение идеи радикальной революции против власти золота, капитала, машин, процентов и мифа труда неизбежно должно являться предпосылкой истинной Империи. Отмечая эту линию, которая проходит через все революционные идеологии как признак восстания против современного рабства, мы идем дальше и утверждаем, что она сама страдает тем же недугом: она сама остается лишь на уровне хозяйственных и социальных проблем, она не ставит своей целью освобождение от хозяйственного ига во имя дифференцированных, сверхэкономических и метафизических ценностей, освобождение, при котором избавленные от хозяйственного рабства глубинные силы снова смогли бы выйти на поверхность; напротив, ее целью является лишь социалистическое освобождение, т. е. просто улучшенная систематизация тех же хозяйственных проблем, определяющихся чисто материальными и утилитарными потребностями масс. Отсюда недоверие, нетерпимость и скрытая злоба в этих тенденциях по отношению ко всему духовному и интеллектуальному как к ненужной роскоши: вне хозяйственного уровня они не видят и не хотят ничего замечать, с тем же духом плебейской нетерпимости, который уже проявился во времена падения Рима.

Против этого первого корня европейского недуга необходимо бороться двумя видами оружия. О первом виде мы не будем широко распространяться: он состоит в создании элиты, в строгом и жестком вырабатывании из недифференцированной субстанции сегодняшних индивидуумов новых отличий, новых интересов и новых качеств. И при этом должна возродиться аристократия, поколение господ и повелителей. И это прежде всего.

Во-вторых, нам необходимо восстание, принципиальная революция, которая освободит нас от машин, от внешней, неорганичной, автоматической и насильственной зависимости, которая сбросит еврейское хозяйственно-капиталистическое ярмо, которая осмеёт обязанность труда, возведенную во всеобщий закон и поставленную как самоцель, которая освободит нас, которая вскроет отверстие для воздуха и света, чтобы на основе этой свободы не через насилие, не через спекуляцию на потребностях, не через игру на жалости, интересах и амбициях, а через спонтанное осознание, порожденное ощущением ценностей и сверхрациональных сил, порожденное верностью особому виду бытия, знанием природы, достоинства и качества создать иерархию. Органичную, прямую, реальную иерархию: более свободную и более строгую, нежели какие-либо другие.

НИЦШЕ, НЕПОНЯТЫЙ

Следует подойти вплотную к двум идеальным мирам, и противоречие между ними нужно не сглаживать, а, напротив, делать еще более острым.

Единственно возможное решение — это разрушение и тотальный переворот.

В том положении, в каком мы находимся, нельзя более надеяться на действие прививок. На основе ценностей нашего сегодняшнего мира уже невозможно спасти труп, который день за днем играет в игру Воскресения и постоянно подменяет ужас пробуждения ужасом агонии.

Следует уничтожить и обновить внутреннее зерно, начиная с самого основного, — без этого все, что предлагается как лекарство, не только не спасет, но и само заразится тем же недугом.

Во всех областях, как мы уже видели, сегодня царит порядок, находящийся в абсолютном противоречии с духовными предпосылками, лишь на основе кото-

рых возможно достичь возрождения в традиционном смысле. Потому нельзя медлить с утверждением: все, что в современном человеке связано с причинами, приведшими к сегодняшнему извращению, подлежит полному уничтожению. Но одновременно с этим должно быть утверждено следующее: мы желаем разрушения только потому, что мы знаем высшие, славные, живые формы. Мы стоим не за отрицание, мы стоим за Реставрацию. Существует совершенная, тотальная, позитивная система ценностей, развитая при учете других пришедших в современную профаническую цивилизацию форм, которая является достаточным основанием для готовности к отрицанию без опасения прийти к «ничто» всего принадлежащего к европейскому упадку.

В противаовес демонизму коллектива, безымянности всемогущих финансов и тирании социализированного и семитизированного Запада существует идеал возврата к качественной иерархии.

В противовес люциферическому миражу технически-механической власти, этому плоду полного отречения, этому инструменту новой потребности и нового рабства, существует аристократический идеал метафизического действия, безусловного могущества, которое элите реинтегрированного человечества смогут предоставить ритуалы и священная традиционная наука.

В противовес романтической, влюбленной в становление, фаустовской жизненной позиции существует освобожденный и повелевающий классический взгляд и идеал метафизического опыта на основе нового действия и нового размышления.

И кто еще не может дойти до всего этого сам, тому следует обратиться к единственному предвестнику, затерянному в этих мрачных временах, непонятому, ожидающему в тени Фридриху Ницше. Переживание Ницше отнюдь не исчерпано — оно еще не начато. Исчерпана эстетико-литературная карикатура Ницше, биологическо-натуралистическая редукция некоторых чисто временных сторон его учения. Но ценность, которую Ницше нес героически, ценой неисчислимых страданий, несмотря на все свое существо, которое протестовало и желало сдаться, пока наконец он не погиб страшной смертью, — эта ценность, стоящая вне его философии, вне его человечности, вне его самого, идентичная космическому значению, отражению эонической силы hvareno и ужасающему огню солнечной инициации, эта ценность еще ждет того, чтобы быть понятой и пережитой современниками. И в ней содержится призыв к оружию, к вызову, к отвращению, к новому пробуждению и к великой борьбе: призыв к тем, которые будут решать судьбу Европы — утонет ли она в сумерках или пойдет навстречу новой заре?

Освободите учение Ницше от его натуралистической стороны, рассматривайте сверхчеловека и волю к власти истинными лишь как сверхбиологические и сверхъестественные ценности, и это учение сможет стать путем для многих, путем, который приведет к великому океану, к миру солнечной универсальности великой нордическо-арийской традиции, с высоты которой ясно ощущается абсолютная нищета, абсолютная незначимость и абсолютная бессмысленность этого мира закованных и одержимых.

Именно так следует понимать предварительные, практические действия, исходящие из высочайшей точки соприкосновения, доступной на данный момент лишь небольшой элите. В то время как для других, не понимающих этого, они могут быть лишь причиной смешения, которое принудит их отказаться не только от высших идеалов, но и от непосредственных, практических и реализуемых ценностей.

Нордическо-языческие ценности суть ценности трансцендентные, и они получают смысл только за счет той всеохватывающей, анти-современной и анти-европейской концепции, которую мы уже обрисовали в общих чертах. Но они могут быть и этическими законами, пригодными для образования базиса новых отношений и нового стиля жизни, освобожденного от лицемерия, трусости и мечтательности последних поколений.

Языческий эксперимент отнюдь не является невозможным и анахроническим экспериментом с той точки зрения, которой мы постоянно придерживаемся. Разве мы не слышим почти ежедневно, как представители европейской религии говорят о язычестве современного мира и как они сожалеют об этом? По большей части это язычество воображаемое: здесь речь идет о недуге, в корнях которого тому, кто внимательно следил за нашей мыслью, нетрудно будет разобраться и узнать в них те же силы и те же положения, которые изначально фальсифицировали античный, дохристианский мир.

Позитивная сторона современного язычества там, где существует реализм, означающий преодоление романтизма; там, где в новых поколениях осуществилась не теоретическая, а практически пережитая ликвидация различных трусливых образцов мысли, чувства, искусства и морали; там, где возродилось нечто изначальное и варварское, но совмещенное с упрощенными, ясными и господствующими формами внешнего модернизма; там, где появилась новая объективность, новая серьезность и новая изоляция, которая, однако, не исключает возможности сотрудничества в действии и для действия; там, где вещи снова более интересны, нежели люди, созидание более интересно, нежели отдельные характеры и трагедии их авторов, будь то индивидуумы, расы или коллективы; там, где стремление души в широту, в вечность, в безразличие возрожденного мира по отношению к человеческому стало реальным: но не как бегство, а как возврат к нормальности, к естественности, к центральности.

Необходимо при этом, чтобы посредством тем нового реализма, нового нордическо-языческого классицизма, новой свободы в бытийном, в анти-сентиментальном, в дорическом и в объективном, которые появляются здесь и там в различных течениях молодого поколения, нередко сопровождаемые темами нового ницшеанства, чтобы посредством этих тем было осуществлено преображение, чтобы был достигнут уровень истинной духовности (и, следовательно, чтобы были найдены пути к тому, что стоит вне материи и вне духа, как понимают его деятели современной культуры) и чтобы за счет выдвинувшейся элиты влиться в нечеловеческое через стиль ясного видения, господства и индивидуального совершенства.

Когда на основе такой этики, которую мы может назвать нордическо-языческой, наши здоровые расы очистятся и полностью пропитаются новым жизненным стилем, тогда будет готова почва для понимания и постепенного осуществления того, что стоит еще выше и о чем мы уже говорили, тогда станет очевидным, что пустота — это не то, что было раньше или будет позже, пустота — это то, что есть сейчас.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы полагаем, что сказали достаточно для того, чтобы прояснить основные принципы нашего имперского мифа. Здесь речь шла только о позиции. Систематическое и углубленное развитие, которое придаст этой позиции фундаментальную, законченную форму, а не только ее основные штрихи, как в настоящей работе, вы сможете найти в других наших книгах.

Мы сказали вначале, что европейская культура нуждается в радикальном перевороте, без которого она обречена на гибель. Плебейское суеверие, заставляющее западного человека верить в химеру прогресса и прославлять материальное покорение мира, к счастью, разоблачено. Тема заката Запада больше не является, как это было вчера, в эпоху Просвещения и обожествления разума в якобинском костюме, ересью. Уже почти повсюду стали видны следствия, к которым должна привести прославленная «цивилизация». Этим следствиям уже многие готовы противопоставить новые силы ради высшего оздоровления.

И поэтому такой призыв, которым является настоящая книга, сегодня оправдан. Еще остались люди, не принадлежащие к современному миру и не дающие ему окончательно сбить себя с толку, могущие возвысить и унизить, готовые, когда придет время, бороться с этим миром всеми своими силами.

Всем известно сказание о гибеллинском Императоре, который ожидает пробуждения в горе, чтобы принять участие, вместе со всеми верными ему, в Последней Битве. Когда же дело наконец дойдет до этого? Когда орды Гогов и Магогов перейдут через символическую стену, преграждающую им путь, и когда они возьмутся всерьез за покорение мира? Тот, кто перенесет смысл этого апокалиптического мифа на действительность, не сможет отделаться от мысли, что это мгновение уже очень близко. Орды Гогов и Магогов — это демонизм коллектива и начало социалистического царствования во всем мире всемогущего человека толпы, как в духе, так и в материи. Вопреки им имперский символ гибеллинов означает призыв к объединению всех еще здоровых сил.

Мы не говорим о политике, о социальных и хозяйственных реформах потому, что даже мысль о том, что этим путем можно достичь обновления, просто смешна: так же полезно было бы наклеивать на больные части тела рецепты в то время, как кровь заражена и отравлена. Единственно, что идет в счет,—это выдвижение системы ценностей, осуществление которой сможет отвратить темный рок, тяготеющий над Европой, в том числе и на материальном уровне. Тому, кто нам возразит, что это не является политикой и реализмом, мы ответим, что он не знает, что такое политика и истинный реализм.

Возникающие в минуты опасности, кризиса и тревоги вихри состоят из различных, иррациональных и противоречивых сил. При изучении разных социальных и культурных, реакционных и реформистских течений наружу часто выступают нечистые, обусловленные низами факторы, аффекты, которые тем или иным образом принадлежат к тому же недугу, от которого эти течения хотели бы оградить себя. Во многих из них при этом можно найти нечто лучшее — волю, в которой пробуждается смутная возможность истиного возрождения.

Этой воле надо указать путь.

Для несломленных, непобежденных мы выдвигаем традиционный символ и говорим, что только через возврат к солнечной духовности, к живому мировоззрению, к мужской языческой этике и имперскому идеалу, к священному наследию нашей нордическо-арийской крови силы европейского возвышения смогут вспыхнуть, зажечься, пробудить душу, которой до сих пор им так не хватало. И только эта живая душа сможет дать им абсолютное самосознание, и только она может разорвать кольцо темной эпохи Запада.

1928 год



Вече

Читателю, заинтересовавшемуся историософской концепцией Юлиуса Эволы, наверняка любопытно будет узнать и одну из современных версий «имперского сознания». Ведь сколь бы слово «империя» ни было ругательным у ныне власть предержащих, объективные закономерности бытия России отменить невозможно. А они, эти закономерности, состоят и в том, что Россия как великая и именно имперская по сути своей держава восстанавливалась всегда после выпадавших на ее долю расколов — и даже, ценою невероятного усилия и небывалой трагедии, в советское время, после страшного 1917 года... И непонимание нашими сегодняшними правителями этой черты характера России—ее мощной воли к самовосстановлению — верный признак и неоспоримое доказательство недолговременности их владычества на нашей земле.

Точка зрения в этом вопросе председателя Национально-республиканской партии России Николая Лысенко представляется нам заслуживающей вашего внимания по многим причинам. Во-первых, в среде руководителей современных партий не так уж часто встретишь человека, столь свободно — но продуманно! — оперирующего глубокими историософскими категориями. Однако имперское сознание Николая Лысенко не ограничивается рамками «чистой теории» — оно подчеркнуто прагматично, что сегодня, во времена напряженного поиска конкретного выхода из предельного кризиса, крайне важно. Здесь уместно особо отметить, что редакция не разделяет некоторых выводов, к которым приходит политик, но вместе с тем не считает это обстоятельство препятствием для взаимопонимания среди патриотических сил.

НИКОЛАЙ ЛЫСЕНКО

НАША ЦЕЛЬ — СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ

НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «НАШЕГО СОВРЕМЕННИКА» ОТВЕЧАЕТ ЛИДЕР НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

Корр.: Начнем, как говорится, плясать от печки: в XX веке наша Родина — Россия пережила неслыханную в мировой истории катастрофу: за ничтожный исторический промежуток времени в 70 лет мы вынесли две революции, гражданскую и Отечественную войны, а ныне, по сути дела, переживаем третью смуту, третью опустошительную революцию. Какова, на Ваш взгляд, причина этой почти вековой возвратной лихорадки?

Николай Лысенко: Рискую подвергнуть опасности свою репутацию русского патриота-националиста и тем не менее берусь утверждать, что не всемирный заговор и не еврейское лобби внутри страны накануне революции предопределили тот громадной силы этно-социальный катаклизм, жертвой которого стала в XX веке Россия. Да, могучее мировое сообщество еврейских банкиров и «пятая колонна» революционеров внутри страны способствовали стремительному углублению кризиса, придали ему бескомпромиссный, циничный и сверхжестокий характер, но не они, повторяю, определили само возникновение кризиса. Другое дело, что внешние силы несомненно в полной мере воспользовались теми национальными и политическими преимуществами, которые в результате революции и гражданской войны открылись... Подлинная же причина кризиса гораздо глубже: в самой России, вернее — в историческом развитии российской государственной идеологии. Именно российская государственная идеология накануне революции в полной мере ответственна и за крах исторического Российского государства, и за столь затянувшийся кризис нации. Говоря о «российской государственной идеологии», я имею в виду не только конкретную идеологическую концепцию, но и конкретных людей, конкретные социальные слои, общественные институты, которые обязаны были вовремя провести «ремонт», реформацию устаревающего на глазах идеологического субстрата государства и которые, к сожалению, этого не сумели сделать.

В нашей публицистике вопрос идеологического кризиса царской России почему-то постоянно обходится: то ли из боязни оказаться в «критиках» самодержавия, то ли из нежелания поднимать столь глобальную тему, выводы из разработки которой могут оказаться неприемлемыми даже для самих исследователей... Между тем этот вопрос и производные от него были, есть и остаются.

Например, почему царская Россия, достаточно успешно вступив в первую мировую войну, в конечном итоге ее бесславно проиграла, а советская Россия, будучи практически не готова ко второй мировой войне и бездарным образом в нее вступив, тем не менее ее блистательно выиграла? Или почему царская Россия, находясь на пике экономического подъема, в условиях широких экономических контактов со всем миром, в конечном итоге привела свой народ к тяжелейшему социальному кризису, а свою экономику к полному развалу, а советская Россия, в условиях жесточайшего геноцида по отношению к собственному населению и достаточно плотной изоляции от внешнего мира, сумела в 30-е годы заложить основы одного из крупнейших в мире индустриально-промышленных комплексов, выпестовать новую техническую элиту, совершить стремительный технологический рывок?

Я убежден, эти два вопроса носят фундаментальный характер, и если мы не сумеем предельно честно и четко ответить на них, — мы никогда не сможем предложить нашей Родине тот самый «третий путь», о котором так много говорят, но который еще никто ясно не только не указал, но даже не объяснил его сути. Позже я вернусь к этим вопросам и попытаюсь ответить на них, не претендуя, разумеется, на окончательное и в полной мере исчерпывающее проблему решение.

Наши ортодоксальные патриоты, особенно монархически-православной ориентации, часто пытаются представить последнее десятилетие существования царской России как некий рай на Земле, в котором разве только волк с агнцем не уживались. Да, действительно, было очень много хорошего: была величайшая в мире культура, интенсивно шло перевооружение промышленности, быстро развивалось социально-трудовое законодательство, замечательные плоды дали столыпинские реформы, объективно продолжавшие работать на будущее страны даже после гибели самого Столыпина. Быстро росло население, русские не «старели», как большинство европейских народов, а наоборот, «молодели». Но ведь было и другое — публичные дома и затхлые ночлежки на Сенной, резкая поляризация уровня жизни разных социальных групп и взаимное непонимание сословий, барственность вырождающейся дворянской элиты и патологическая антинациональность подавляющего большинства интеллигенции... И главное — не было, совершенно не было единой национальной идеологии, одной-единственной, прочувствованной всем народом идеи — того харизматического молота, который только и способен выковать из народа нацию. Да, рискуя снова навлечь на себя громы и молнии, утверждаю: русский народ был, но русской нации не было! Позже я постараюсь объяснить и это.

А если посмотреть на внешнюю политику царской России?.. Почти во всех серьезных внешнеполитических актах Российской империи уже со времени Отечественной войны 1812 года явно прослеживается спад, отсутствие твердой военно-политической воли, проявляемое в хронической неспособности верховной власти к еще одному (часто завершающему!) усилию. Саму кампанию 1812 года мы в конце концов выиграли, но — не за счет решительного натиска на врага и безусловной военной победы, а в силу географических условий, так называемого «временного» фактора борьбы. А ведь все участники и летней кампании 1812 года, и зимнего похода на вытеснение Наполеона из России дружно, как один, отмечают, что условия для решительного разгрома орд Бонапарта были уже под Смоленском, были под Бородино, не говоря уже о сражении под Красным или переправе через Березину, когда Наполеона выпустили из России самым головотяпским образом. В нашей историографии принято считать, что такой метод ведения кампании помог сохранить тысячи жизней русских солдат. Возможно, что на период в несколько месяцев это действительно так, но разве «битва народов» под Лейпцигом и под десятком других мест, уже в самой Франции, не поглотили сторицей всю эту мнимую «экономию»? Я замечу при этом, что военная кампания 1812 года — лишь первый симптом ослабления российской военно-политической воли (подчеркиваю: не военной мощи — она-то как раз возрастала, а именно воли, без которой бесполезна любая мощь).

Последующие военные кампании России, несмотря на весь героизм русских солдат и целый ряд совершенно блистательных побед, демонстрируют уже стремительное ослабление этого важнейшего этно-социального фактора. Проиграна Крымская война, в которой победу России предрекали даже самые отъявленные русофобы, вроде Карла Маркса. Отправляясь на эту войну, французские и английские офицеры прощались с семьями, ни-

как не рассчитывая вернуться из Крыма — «этой дьявольской русской западни», как писал своим домочадцам один из высших французских чинов. А что же случилось на самом деле? Героизм простых солдат, бесспорный талант и мужество непосредственных военачальников, но общая сонливость страны, полное отсутствие массового национального гнева против оккупантов и н... бесславное оставление Севастополя, ликвидация черноморских военных баз и флота, что уже равнозначно полной капитуляции.

Самая удачная война России в это время — война с Турцией 1887—1888 гг. Долгое сосредоточение сил, долгая, очень долгая осада Плевны, наконец, падение этой крепости, резкое улучшение на фронте, полный разгром турецкой армии. Казалось, все хорошо, ничто не подтверждает версию об упадке военно-политической воли Российского государства: казачий авангард уже в трех верстах от Стамбула, этого осиного гнезда, откуда издавна жалили славян. И здесь неожиданно англо-французская эскадра входит в Черное море... Это фактор, сам по себе ничтожнейший в военном отношении, имел, однако, весьма серьезные последствия: русская армия, уже подготовившаяся к оккупации турецкой столицы, словно по мановению волшебной палочки остановилась, наступление было свернуто, заключен мир. У нас принято считать, что такое стремительное завершение военной кампании с явной потерей крупных военно-стратегических перспектив, связано с угрозой новой войны России с Англией и Францией. Но ведь такая война, несмотря на ряд угрожающих демаршей (в ряду которых была и злополучная эскадра) западных держав, все же оставалась достаточно проблематичной. В чисто военном отношении эскадра и вовсе никуда не годилась — она не несла сколько-нибудь крупного пехотного десанта, без которого любые военные действия против России были просто комариным укусом. Но даже если бы десант был, то что он мог значить по сравнению с оккупацией практически незащищенного Стамбула, захват которого, помимо мгновенно открывающихся военно-стратегических выгод (ключ ко всем черноморским проливам!), давал широчайшее поле для политических маневров с Западом и даже для прямого шантажа (давайте называть вещи своими именами!) западных морских держав, прежде всего Англии. Вместо этого российская верховная власть избрала путь изнурительных переговоров, на которых у России отняли львиную долю тех стратегических результатов, которые она получила в этой войне.

Полагаю, этих примеров вполне достаточно, а если мы присовокупим к ним главные события и результат японской кампании 1904—1905 гг., а также главные события и результат первой мировой войны, то, оставив совершенно лишний псевдопатриотический пафос, придем к очевидному выводу о катастрофическом ослаблении военно-политической воли российской державы начиная с первой четверти XIX века. Хочу подчеркнуть: техническая мощь России, несомненно, росла: рос интеллектуальный базис Генерального штаба, рос оперативно-тактический потенциал средних офицерских чинов, но с ослаблением военно-политической воли верховной власти падал потенциал стратегической инициативы государства, угасала его способность к длительным методическим усилиям — держава быстро шла к кризису.

Корр.: Тогда логична другая постановка того же вопроса: что же послужило первопричиной такого резкого упадка военно-политической воли государства?

Н. Л.: Причина этого, на мой взгляд, — в исчезновении из общественного сознания единой для всей нации сверхзадачи — идеи такого гигантского масштаба, которая была бы способна подчинить себе не только все существо государства, всю его интеллектуальную элиту и политико-управленческий механизм, но и обыденные, глубоко личностные помыслы каждого отдельного гражданина.

Здесь я позволю себе вернуться к своему утверждению о русских в XIX — начале XX века как народе, но не нации.

Должен сразу заметить, что мое определение нации достаточно резко расходится с общепринятыми (марксистской и немарксистской) трактовками этого термина.

Нация немыслима без мощного духовно-энергетического потенциала, без осознания своей мировой мессианской задачи, вне безотчетного стремления к совершению еще одного сверхусилия на пути к цели. Нация — это не только единый этнический (и притом достаточно этнически чистый) организм, это одновременно могучий социально-политический феномен, одержимый единственной стержневой всепоглощающей идеей глобального, непременно глобального характера.

Русские были нацией в XV—XVI веке, когда ощущали себя единственными на Земле преемниками чистоты христианской идеи, последним — третьим Римом — (а четвертому не бывать!). Тогда русские брезговали даже прикоснуться к лютеранину или католику. И не потому брезговали, что это был человек другого племени, другой крови — ведь свободно же общались с язычниками черемисами, вотяками и мордвой, с мусульманскими народами Востока,— а потому, что боялись оскорбить в себе наложенную самим Богом печать истинной веры, той веры, что оскорблена и духовно оскоплена именно «немецким» Западом.

Римляне, коль скоро мы заговорили о разных народах, были нацией со времен 1-й Пунической войны (или чуть раньше) и до конца эпохи императора Траяна — когда были одержимы идеей установления римского государственного порядка на всем видимом свете. После Траяна римляне уже народ, а после династии Северов — «римскоязычное» население.

Немцы стали нацией, когда провозгласили единство Германии, что было действительно сверхзадачей, учитывая «чересполосицу» немецких земель, когда начали натиск на запад и восток в поисках

«места под солнцем». Их национальная харизма приняла при Гитлере чрезвычайно переразвитый, в чем-то даже патологический характер, но от этого немцы не перестали быть великой нацией. Они стали народом лишь тогда, когда поверили англо-американским байкам о своей национальной ответственности, национальной вине за фашизм...

Многие народы никогда не были и никогда не станут нациями в подлинном смысле слова. Ни поляки, ни болгары, ни норвежцы, ни чехи, ни румыны, ни подавляющее большинство других народов мира никогда не достигали и никогда не достигнут статуса наций. Нация — это всегда великая идея вселенского масштаба, пронизывающая помыслы миллионов, это всегда великая жертва, не требующая благодарности, и великая борьба, не знающая отдыха и отступления. «Всё или ничего!», «Победа или смерть!» — вот вечные девизы наций, вечные духовные символы, которые никогда не были понятны и органически принимаемы другими народами. Именно это определяло силу наций, скованных единым духовным порывом, и их духовное господство над народами, лишенными этой всепобеждающей силы. Только нации способны были строить империи, народы же, даже те, которые выпочковывались из угасающих наций, способны были только эти империи проживать — быстрее или медленнее, в зависимости от государственного ума и твердости своих правителей, но только проживать.

С чего началось крушение русских как нации?

Реформы Петра нанесли страшный удар по религиозно-нравственному менталитету русских. Русский высшего сословия впервые прикоснулся к Западу не как внутренне презирающий свою слабость кающийся грешник, а как влюбленный и оттого особенно одержимый «чужебесием» неофит. Образовалась чудовищная брешь между высшим образованным классом — национальной головой и сословиями простолюдинов — силовым хребтом нации. Голова и туловище, как известно, отдельно друг без друга не существуют — этносоциальная система России была таким образом «запрограммирована» на завершение своей эволюции глубочайшим кризисом. Война Е. Пугачева — эта естественная народная реакция на «еврофикацию» Руси — лишь загнала болезнь внутрь, заставила прикрыть глубочайший выйный разрез лишним лоскутком бинта, под которыми стал сначала медленно, а затем все быстрее нарастать гнойный нарыв — космополитическая, глубоко антинациональная «русская» интеллигенция. Этот нарыв вскрыла только большевистская революция, хотя, в принципе, в России была сила, способная вскрыть его много раньше и тем самым спасти и страну, и русских как нацию, и себя как величайший в истории идейно-политический механизм. Эта сила — Православная Церковь.

Здесь мы вплотную подошли наконец к главной причине упадка военно-политической воли государства. Она, на мой взгляд,— в крушении национальной идеологии, в катастрофическом надломе харизматической национальной идеи русских.

На протяжении сотен лет стержнем национальной идеи русских была идея мессианства. Русские (по крайней мере высшие слои общества) чувствовали себя народом-богоносцем, призванным сохранить и пронести по Земле христианскую идею в ее истинном облике — Православии. Русские низших слоев общества, прежде всего крестьяне, напротив, во многом сохранили дохристианское языческое мировоззрение, точнее — мироощущение, на уровне подсознания могуче призывающее к продолжению рода, к борьбе за урожай, к утверждению себя на земле прежде всего физическим действием. Христианский антураж, в который это ведическое мироощущение облекалось, ничего не менял по сути — русский крестьянин оставался в гораздо большей степени бессознательным язычником, нежели сознательным христианином.

Это удивительное духовное и идеологическое единство, подмеченное еще Мельниковым-Печерским, обеспечивало необыкновенную прочность ствола национального «древа»: бояре, дворяне и духовенство высоко держали факел национальной религиозной идеи, сознавая и созидая свое государство как единственно истинное среди государств «неверных», а русский простолюдин строил мосты и гати, корчевал лес под пашню, ходил походом на «дикую степь», а главное — сперва рубал подвернувшегося супостата, а уж потом, может быть, только на следующей неделе, вспоминал про христианское смирение и милосердие.

С петровских новин симбиоз национального язычества и национального христианского мессианства стал быстро разрушаться. После напудренных париков, кубков «большого орла», похотливых ассамблей с декольтированными женщинами стало как-то неловко вспоминать о непорочной христианской купели, о «третьем Риме» и прочих суровых старомосковских легендах. В итоге к концу XIX — началу XX века русское Православие, на мой взгляд, уже полностью утратило свою некогда величайшую роль идейного стержня русских как нации и превратилось для одних — во вполне светское обыденное действо, которое по правилам хорошего тона необходимо было исполнять, для других — в прибежище для личного религиозного мистицизма, для третьих — в тягостную и смешную обязанность писать в графе официальной анкеты строку «православного вероисповедания». Конечно, были и искренне верующие, были подвижники и святые, но не они, к несчастью, определяли направленность и сущность ментальности народа в начале XX века. Наша русская трагедия заключается в том, что на одном очень коротком отрезке времени у нас сошлись хотя и честный, нравственный, глубоко верующий, но безвольный и политически близорукий царь, глубочайший кризис традиционного вероисповедания, величайшая мировая война и

стремительная эмансипация кошерного еврейства в русско-еврейскую этно-политическую химеру, объективно принесшую нашему государству и народу дополнительные тяжкие страдания.

Корр.: **Здесь мы подходим, видимо, к одному из самых сакраментальных вопросов нашей истории — о характере влияния еврейства на ход послереволюционного строительства в России. Несколько опережая Ваш ответ, хочу заметить, что, как мне кажется, далеко не все в СССР было создано по почину или при участии евреев, что, наверное, существовали какие-то иные, внутренние, глубоко скрытые процессы, которые оказали свое определенное, а зачастую и решающее воздействие на формирование советского строя, советского образа жизни, советской истории.**

Н. Л.: Феномен еврейского влияния в России — это феномен химерной конструкции, где один этнос (евреи) существует за счет и в теле другого этноса (русских). Это страшное явление. Говоря словами Льва Гумилева — «все ужасы суперэтнических столкновений меркнут перед ядом химеры».

Каким образом происходил этот процесс? На рубеже конца XIX — начала XX века патриархальный (кошерный) быт российского еврейства претерпел серьезнейшие изменения: еврейская община, существовавшая относительно замкнуто на протяжении сотен лет, раскрылась и стала быстро эмансипироваться, выбрасывая в окружающую российскую среду массы энергичной, фундаменталистски настроенной еврейской молодежи. Сусальные «дружба и сотрудничество» между народами относятся к числу наиболее фарисейских и вредоносных мифов. Соприкосновение разных (а тем более исповедующих во многом полярно противоположные ценности!) народов — это всегда жесткая конкуренция, состязание противоборствующих национальных основ — идеологии, деловой хватки, социальной пластичности, национальной взаимопомощи, крепости семейных уз... Евреи искали «место под солнцем», а мы, русские, это место им предоставили — кого теперь нам винить? Чуждые традиционным российским занятиям, евреи ринулись в те сферы деятельности, которые были наиболее неустойчивы в связи с давно назревшей необходимостью их коренной реформации, — в прессу, в политику, в университеты. Оторвавшиеся от коренного быта и, возможно, искренне желавшие эмансипации в среде европейских народов, евреи тем не менее несли в себе мощный заряд талмудического национального эгоизма, крепчайшей национальной спайки, яркой социально-политической решимости. Они шли завоевывать чужую и чуждую им этно-социальную среду и были психологически готовы к битве. В пользу российских евреев послужило также то обстоятельство, что ранее эмансипированные евреи Запада создали универсальную наднациональную социально-политическую идеологию, со всеми признаками новой мировой религии — марксизм.

Положению же русского общества позавидовать было трудно: расколотое на противостоящие социальные прослойки, лишенное национальной интеллигенции в подлинном смысле этого словосочетания, это общество, естественно, не могло ничего противопоставить еврейской национальной агрессивности и еврейскому методическому упорству. Крушение национально-государственной идеологии, основанной на православии, самодержавии и буколически понимаемой народности, довершили дело: русские как нация оказались в состоянии величайшего идеологического шатания и политического разброда.

В этой ситуации еврейская политическая элита, жестоко расправившись с высшими сословиями русского общества, сумела совершить невозможное — подменить в сознании русского народа мессианскую идею христианской богоносности мессианской же идеей мировой социально-политической реформации («мировая революция»). Этот процесс проходил очень сложно и вряд ли мог быть успешен, если бы не тотальная вивисекция высших элитарных слоев русского общества, с помощью которой все другие направления национальной мысли были искусственно иссечены, а все попытки другого приложения национальной энергии были насильственно подавлены. Опираясь на молодежь, которой в наибольшей степени присущи реформаторские устремления, включив на полную мощность колоссальный механизм государственной пропаганды, еврейская правящая каста сумела в пламени революции буквально в несколько лет выковать действительно «нового человека», собирательный образ которого гениально воплотил Михаил Шолохов в своем Макаре Нагульнове. Вот эти-то самые макары нагульновы впоследствии хладнокровно расстреливали своих односельчан и бывших друзей, замерзали на строительстве железных дорог, взрывали церкви, воздвигали в голой степи мартены и города. Они верили в то, что делали, были искренне убеждены, что через страдания, кровь и муки созидают удивительное, светлое, радостное государство для своих детей, для своего народа. Они не щадили себя и не щадили других ради этой великой, пока несбыточной, но такой прекрасной мечты. Они верили, верили искренне, безотчетно и страстно — каждой клеточкой своего существа, в возможность построения общества равных и справедливых отношений между людьми, в неугасимый светоч революции, несущий порабощенным капиталом народам свободу, братство и равенство. Они уверовали в коммунизм как в Бога и, исполняя якобы Им поставленную сверхзадачу, начали строить Империю Коммунизма. Как мы знаем, построить такую империю нашему народу, несмотря на глупость, коррупцию, аморальность, а подчас и явное предательство верховной партийной власти, удалось. Имя этой империи — СССР.

И если эта империя оказалась построенной на русских костях, на надломленной вые русской (которая, по сути, стала уже советской) нации, то в этом не вина и не преступление этих людей, этих сотен тысяч и миллионов нагульновых. Это их и наша поистине вселенская трагедия и победа. Да, химерная конструкция русского тела с еврейской головой положила конец демографическому динамизму русских как нации, разрушила традиционный русский сельский уклад, а затем и саму русскую деревню, катастрофически глубоко подорвала русский православный менталитет. Но даже она не сумела лишить наш народ его величайшего национального качества — особого генетического дара провидеть собственную мессианскую сущность, всецело сконцентрироваться на достижении новой мессианской сверхзадачи, наконец, вновь и вновь без устали созидать государство вселенской идеи — Империю.

В годы войны сила народной веры в социализм, в великую мировую роль своей державы, в возможность установления вселенского братства и справедливости, если только будет сохранен СССР, оказалась настолько всепобеждающе сильной, что сумела поднять в едином порыве, по сути дела, разгромленную страну, нечеловеческим усилием восстановить оборонную промышленность, наголову разгромить несомненно лучшую армию в мировой истории. В этом ключ к пониманию, на первый взгляд, необъяснимого исторического факта: с одной стороны — полный разгром экономически процветающей царской России с ее высокоподготовленной офицерской кастой, с другой — полная, убедительная победа советской России, совершенно не подготовленной к войне, с совсем молодым «рабоче-крестьянским» офицерским корпусом.

Построение великой державы чрезвычайно дорого обошлось нашему народу, но объективность и правда требуют признать — именно в советское время Россия (только под названием СССР) достигла вершины своего мирового могущества и величия. Наша страна стала одной из двух сверхдержав мира, с могуществом которой не могли поспорить даже объединенные силы всей Европы. Не нужно доказывать, что такой взлет был бы просто невозможен, если бы не осознанный и творческий труд русского народа.

Корр.: **После столь продолжительного экскурса в историю давайте, Николай Николаевич, перейдем к делам сегодняшним... Вы — председатель одной из немногих правых политических партий, официально зарегистрированных в стране после 1917 года. Поэтому, на мой взгляд, естествен тот интерес, который проявляют к Национально-республиканской партии России как профессиональные политологи, так и многие простые граждане, размышляющие о путях выхода из нынешнего кризиса. Каковы идеологические ориентиры нацреспубликанцев в текущей политической ситуации?**

Н. Л.: Нашу идеологию в своей партийной среде мы называем «идеологией прорыва». Мы предлагаем всем народам России, и прежде всего русскому народу, начать борьбу за построение новой великой империи — Империи технологического и интеллектуального превосходства над всем миром. Наша партия честно говорит себе и своему народу: все мы, живущие в России, находимся на пороге индустриального рабства — транснациональный капитал, располагающий могучим лобби в нашей стране, начал поход на уничтожение интеллектуального и техноемкого потенциала нашей Родины. Так называемое «новое мышление», вызвавшее перестройку, по сути дела, является хорошо скоординированной политико-экономической диверсией Запада, прежде всего США, против России. Эта диверсия готовилась очень давно, очень замаскированно и очень тщательно. Ее конечная цель — деградация наиболее развитых отраслей нашей промышленности, с последующим окончательным технологическим закабалением нашей страны. Российскую техническую интеллигенцию, которая сегодня является главной ценностью нашего народа, а в недалеком будущем станет главной ударной силой просыпающейся нации, хотят превратить в интеллектуальных «отходников», за бесценок продающихся транснациональным корпорациям для работы на Западе и на Запад. Остальным, а именно рабочие составляют подавляющую часть нашего народа, отводится место индустриальных поденщиков, готовых за валюту отдать собственное здоровье на наиболее грязных и вредоносных производствах, которые у себя западные державы постепенно полностью свернут.

Современный мир не знает пацифизма и альтруизма. Пацифизм и альтруизм навязывают тем, кого намереваются развалить изнутри и пожрать. Этому способствуют масс-культура и «общечеловеческие ценности», вбиваемые через страшные по своей мощи средства массовой информации. С близким уже концом эры индустрии военная мощь страны неизбежно отойдет на второй план, хотя ядерный щит и меч России останутся главным гарантом, что мировая война никогда не начнется. Но это вовсе не значит, что наступит эра всеобщего мира и всеобщего благоденствия. Земной шар есть и будет находиться в условиях жесточайшей интеллектуальной войны, войны за технотронное лидерство. Подлинно великими державами мира станут те, кто будет производить новые технологии. Все остальные, в зависимости от места на технологической лестнице, станут производить либо товары, либо материалы и сырье для их производства. Те страны и народы, которые окажутся на нижних ступенях лестницы, будут в наиболее бесправном и постоянно утесняемом положении, они будут принуждены взять на себя все издержки экономически грязных производств стран-лидеров. Здесь я согласен с выводом известного ученого-аналитика С. Кургиняна о том, что эксплуатация отстающих стран державами-лидерами неизбежно превратится в технологический геноцид, со всеми атрибутами этого процесса — размещением радиоактивных захоронений, высокотоксичных и грязных производств, широчайшей эксплуатацией людских и природных ресурсов. В сущности, «новый мировой порядок», навязываемый Соединенными Штатами Америки всему миру, — есть индустриальное рабовладение в совокупности

с разработкой и производством новейших передовых технологий. Все это, разумеется, прикрыто пышными словесами о демократии, свободе и национальном равенстве, но смысл мировой борьбы в технотронный век остается все тем же: процветание сильного будет обеспечиваться трудом и издержками слабых.

Такое развитие мировой цивилизации, по сути дела, не оставляет России и русским свободы выбора: хотели бы мы того или нет, но если мы рассчитываем обеспечить независимость своей стране, сохранить свободу и национальное достоинство своим детям, мы волей Истории будем принуждены с максимальной энергией вступить в тотальную борьбу с Западом и Востоком, прежде всего с США, за интеллектуальное и технологическое лидерство.

Такая борьба обязательно потребует создания идеологии и философии «технотронного натиска», неизбежно выдвинет своих героев, мучеников и поэтов. Идея державного интеллектуального превосходства над всем миром, идея создания великой русской Империи, которая заставит другие народы относиться к ней с должным уважением не числом ядерных боеголовок, а мощью и динамизмом национального интеллекта; обретение мессианского статуса единственного в мире защитника национальных культур от космополитической «американоидной» экспансии, экономического геноцида и потребительского вырождения — не может оставить русский народ безучастным.

Наша новая идеология должна обрести почти религиозную напряженность, оставаясь при этом подчеркнуто светской и подчеркнуто национальной. Русские должны вновь прочувствовать всем сердцем, что судьба их страны, будущее их детей висит на волоске над пропастью, что в мире реально существует империя злобы и лжи, только временами дающая о себе знать перестройками, гренадами, бурями в пустынях. И для того, чтобы устоять и победить в борьбе с этой сконцентрированной мировой злобой и ложью, есть только одно средство — возродить державу Русской Идеи — Империю Силы и Добра!

Корр.: **Николай Николаевич, Вы, вероятно, согласитесь со мной, если я скажу, что такая точка зрения на будущую национально-государственную идеологию России в значительной степени противоречит привычным представлениям о традиционных основах русской государственности...**

Н. Л.: В какой-то степени — да, противоречит. Но ведь еще Иван Ильин подчеркивал, что чрезвычайно опасно смешивать земное с небесным, а желаемое с действительным. Кстати, и он, и другой всеми признанный русский мыслитель — Иван Солоневич — утверждали, что для России невозможно вернуться в давно уже прожитую эпоху и что для нового времени, для новой генерации русских людей обязательно потребуются новые национальные ориентиры.

Россия, на мой взгляд, уже никогда не станет монархической страной со всеми замечательными, но отслужившими свое атрибутами этого строя. Она, возможно, будет авторитарной, но даже в этом случае ее авторитаризм станет уделом не конкретного, наследственно избранного лица, а авторитаризмом нового социального строя — национальной управленческой элиты.

О православии я уже достаточно сказал и могу лишь добавить, что более 70 лет советского безрелигиозного общества не могли пройти бесследно. Сегодня русские — это народ почти исключительно секулярного, светского образа мысли, по крайней мере, если сравнивать с образом мысли русского человека XVI или даже XIX столетия. Религиозное христианское возрождение, конечно же, идет, но далеко не так быстро, как рассчитывали его современные адепты, а по многим объективным причинам носит скорее поверхностный, обрядовый, нежели глубоко духовный характер. Во всяком случае, я убежден, что православие не может являться единственной основой будущей национально-государственной идеологии России — это было бы слишком безоговорочным и слишком бесперспективным повторением прошлого исторического опыта, который, как известно, нам очень дорого стоил.

В отличие от двух предыдущих, понятие «народность» обязательно сохранится как весьма важный компонент национальной идеологии будущего. Однако пока еще остается открытым вопрос о конкретном содержании, которое будут вкладывать в это понятие. Вполне ясно пока одно — народность не будет пониматься так буколически примитивно, как понимали ее правящие и интеллигентские круги дореволюционной России.

Мне представляется, что в наши дни синонимом идеологического понятия «народность» может быть только понятие «общерусскость».

Почему важно именно такое смысловое наполнение термина? Для того чтобы понять это, необходимо оценить завершающуюся на наших глазах перестроечную эпоху по ее главному результату, который, я убежден, состоит в расколе единого восточнославянского этно-политического поля на Россию, Украину и Белоруссию. Все другие «достижения» перестройки, при всем их позоре и преступности, тем не менее не принесут России катастрофы: тактические и стратегические ракеты можно построить заново, интеллектуальный и технотронный потенциал страны, пусть и путем колоссальных затрат, все же можно восстановить и т. д. Утрата же русско-украинско-белорусского единства, окончательное разделение единой русской реки на три «суверенных» потока означает конец России как великой мировой державы. Патриотическая пресса уже много писала о потере Россией исконно принадлежащих ей морских портов на Черном море. Однако не только гавани и пирсы теряем мы с утратой одной лишь Украины! Мы теряем примерно треть экономических ресурсов страны, больше трети современных производств, около трети — давайте говорить прямо! — наиболее ценного для будущего державы славянского генетического потенциала!

Именно поэтому подготовка общественного сознания к скорейшему присоединению и на сей раз полному органическому слиянию России, Украины и Белоруссии в единую Российскую Империю есть первая и важнейшая задача русской национально-государственной идеологии. Необходимо учитывать, что в отличие от дореволюционного времени общерусское сознание имеет и в России, и на Украине, и в Белоруссии не только религиозно-культурную, но и этно-антропологическую основу в виде огромного количества смешанного населения русско-украинско-белорусского происхождения. Если же брать территорию СССР в целом, то такого смешанного населения, говорящего на русском языке, возможно, будет больше, чем этнически чистых русских, украинцев и белорусов (если вообще к двум последним категориям общерусского этноса применимо понятие этнической чистоты). Добавлю, что как раз люди такого происхождения на Украине и в Белоруссии составляют костяк научно-технической интеллигенции, служащих, квалифицированного рабочего класса.

К сожалению, сегодня некоторые патриотические организации пытаются популяризовать доктрину русского изоляционизма, призывают к созданию некоей изоляционистски суверенной России, по сути, являющейся одной лишь Великороссией. В наиболее абсурдном и отталкивающем виде эта идея представлена в разработках о так называемой Русской республике — кишкообразной русской автономии в границах 58 областей и районов Российской Федерации, не подпадающих под национально-государственный суверенитет других народов. Можно было бы не говорить об этой антиисторической и явно утопической идее, если бы она и ее адепты не отвлекали общественное сознание от работы над созданием такой национальной идеологии, которая может сыграть важную функциональную роль в грядущем построении великой Российской империи. Поборники русского изоляционизма, а среди них, к сожалению, есть и маститые писатели-деревенщики, и энергичная молодежь, не могут согласиться (хотя, несомненно, осознают это) с некоторыми объективными и совершенно очевидными факторами.

После реформ Петра I о собственно великорусской культуре можно говорить лишь в приложении к старообрядчеству, представителей которого, как известно, в России всего лишь несколько миллионов. Культура России и, конечно, русского народа развивалась после Петра исключительно в общерусском русле, будучи синтезом культуры как Московской Руси, так и Руси Юго-Западной и Западной. Большевистская революция 1917 года, фактически уничтожившая традиционный уклад и культуру великорусской деревни (которая в этом смысле пострадала даже больше украинского и белорусского села), по сути дела, не оставила ни одного целого камня, который можно было бы положить в этнический фундамент великорусской изоляционистской теории. В последние 50 лет в состав русских, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, влились огромные массы южнорусского и западнорусского населения, и «украинский» тип стал уже одним из основных антропологических типов русских, что практически делает невозможным отделить русских от украинцев и белорусов или наоборот.

Кроме того, нынешнее православие, которое русские изоляционисты все как один хотят поставить на службу своей доктрине, — весьма проблематичный фактор консолидации собственно русского (великорусского) национального самосознания. Православие, уже по своей вселенской христианской природе, в большой степени космополитично. К тому же сегодня русское православие охвачено идеями экуменизма и всеми силами пытается отодвинуться не только от политических или национальных, но даже и от некоторых имеющих политическую окраску этических проблем. Но даже если православной церкви удастся наконец выпутаться из сети межконфессиональных экуменических связей, то ей будет невозможно после стольких лет атеистической пропаганды обеспечить необходимую степень консолидации русского народа.

Все это вместе взятое позволяет считать «общерусскость» важнейшим и приоритетным смысловым наполнением термина «народность». Будущая национально-государственная идеология России должна непременно исходить из того, что у русских, украинцев и белорусов общего (общерусского) значительно больше, чем собственно русского (великорусского), белорусского, украинского, если исключить западных украинцев (галичан). Великий прорыв в имперское будущее Россия сможет осуществить, взяв в основу своей национальной и кадрово-управленческой политики только культурно-языковой критерий, но никак не чисто этнический, а тем более расовый. При этом удельный вес генетически чистого славянского компонента в общем весе русской интеллектуальной и управленческой элиты должен быть, несомненно, многократно преобладающим и иметь приоритетное значение.

Корр.: **Последний вопрос, который я хочу Вам задать, связан с геополитическими перспективами России. Как относятся национал-республиканцы к набирающей в наши дни силу концепции евразийства, какие направления внешней политики Российского государства считают наиболее важными с точки зрения, воспользуюсь Вашим термином, «идеологии прорыва и натиска»?**

Н. Л.: Все те направления внешней политики, которые способствуют возвращению России в ее украинские и белорусские земли. В этом смысле концепция евразийства кажется нам перспективной лишь в той мере, в какой она может способствовать решению этой главной стратегической задачи. Конечно же, мы всецело поддерживаем процесс осознания народами Евразии своих интересов, как органически противоположных интересам США и Англии. Вместе с тем нам кажутся крайне

преждевременными, с точки зрения долгосрочных задач русского народа, все усилия повернуть Россию лицом только на Восток. По одной простой и очевидной для каждого причине: тюркский демографический взрыв, если только его не оставить по ту сторону государственной границы, оставит после себя только славянский пепел. Хотя линию на славяно-исламское взаимопонимание (но не взаимосмешение) можно только приветствовать. Скажу больше, концепция «Россия лицом на Восток» не противоречит стратегическим интересам США, которые хотели бы связать внешнеполитическую энергию нашей страны неразрешимыми проблемами Среднего Востока. В зависимости от политических обстоятельств, России отводилась бы роль то щедрой кормилицы, то сурового жандарма — амплуа, одинаково ей ненужные и чрезвычайно разорительные. А США тем временем спокойно и без особых затрат сохраняли бы за собой роль общемирового арбитра. Именно поэтому концепция евразийства не должна ограничиваться только славяно-исламской сферой.

Стратегический интерес России как геополитического европейско-дальневосточного моста лежит в Европе и на Дальнем Востоке. В Европе мы должны вернуться к испытанной почти трехвековым поступательным развитием концепции «союза двух императоров — союза двух народов». Я говорю об отношениях Германии и России. Всеобщий испуг англо-американского мира, порожденный объединением Германии, — это прежде всего страх перед возможным континентальным блоком Германии и России. Такой союз нанес бы страшный удар и по мировой экспансии транснациональных корпораций, и по позициям Америки в мире, и по амбициям средних европейских держав. США сразу стали бы заурядной страной, лишились бы своего ведущего места в системе нового мирового порядка. Сознавая это, международные финансовые круги дали «зеленый свет» германскому экономическому проникновению на Украину, прекрасно понимая, что чем больше увязнет Германия в политико-экономических связях с самостийным сепаратистским режимом, тем маловероятнее становится заключение широкомасштабного политико-экономического пакта между Германией и Россией.

Между тем такой союз, дополненный тесным сотрудничеством в тихоокеанском регионе с Японией и Китаем, а в бассейне Индийского океана — с Индией, Бирмой и другими странами Южной и Юго-Восточной Азии, — есть единственная возможность создания совершенной евразийской целостности. Только на основе сверхмощного, макроимперского союза континентальных гигантов — России, Германии и Китая (а возможно, Ирана и Японии) мы сможем уверенно победить мировой англо-американский альянс в решающей фазе интеллектуальной технологической войны, которая несомненно наступит на исходе последнего десятилетия XX века.

Беседу вел Вадим ШЕПА.

СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!

В Фонд поддержки «Нашего современника» денежные пожертвования перечислили:

Абуашвили Н. И. (Тбилиси), **Попов В. А.** (Екатеринбург), **Артюх Г. И.** (Львов), **Иванова Н. Н.** (Когалым), **Рухлов С. А.** (Львов), **Манаров Г. Н.** (Санкт-Петербург), **Демидова М. А.** (Гродно), **Лукьяненко В. Е.** (Крым), **Лущин И.** (Вильнюс), **Анопов Б. Х.** (Гурзуф), **Верховых Н. Я.** (Жуковский), **Иванов А. П.** (Икша), **Сиванов В. Н.** (с. Макеевка), **Грибуцкий А. З.** (Минск), **Бабичев А. Т.** (Красноярск), **Долбилнин Н.** (Хабаровск), **Абалова** (Москва), **Филиппов О. В.** (Самара), **Парфенов** (Калужская область), **Журавлев** (Артем), **Шестерикова Г. Н.** (Москва), **Верейнин И. В.** (Ярославль), **Белогрудова Т. А.** (Новосибирск), **Трофимов В. П.** (Кривой Рог), **Баталов Н. А.** (Ижевск), **Васютин В. С.** (ст. Незлобная), **Фильчанов Н. В.** (Харцызск), **Цветкова Н. А.** (Москва), **Шестаков В. С.** (Москва), **Проценко А. И.** (Рязань), **Аристов С. В.** (Москва), **Хомутова Б. Д.** (Муром), **Кабанова В. А.** (Йошкар-Ола), **Некрасов А. С.** (Ставрополь), **Калинина Г. Н.** (Москва), **Гуляев А. А.** (Глазов), **Пейко Н. Н.** (Москва), **Еремина О. В.** (Саратов), **Луценко Б. Н.** (Новосибирск), **Изместьев Е. П.** (Наро-Фоминск), **Орлова В. И.** (Курск), **Васин А. Н.** (Москва), **Солнцева Л. И.** (Москва), **Масловский Л. П.** (Пятигорск), **Шевцова К. Д.** (Донецк), **Ковалев А. Н.** (Москва), **Горшков Л. Ф.** (Москва), **Беликов Ю. М.** (Москва), **Петров А. А.** (Москва), **Мелихов Л. В.** (Краматорск), **Костецкая В. Д.** (Одесса), **Богословский Н. А.** (Москва), **Дружинин А. М.** (Тюмень), **Мозговой Е. И.** (Новосибирск), **Корнева Н. Я.** (Москва), **Пейко Т. Н.** (Москва), **Масюк Л. П.** (Санкт-Петербург), **Кузнецов В. А.** (Пятигорск), **Семенова Л. Л.** (Суздаль), **Петров Н. И.** (Санкт-Петербург), **Чугунова Н. А.** (Москва), **Трифонов А. Н.** (Калуга), **Миронов В. В.** (Ставрополь) и другие читатели.

Напоминаем, что желающие помочь журналу могут перечислить деньги на следующий счет: 23007 Москва, 5-я Магистральная ул., д. 10, коммерческий банк «Пресня Банк», р/с № 2609704, МФО 201144, МП «Русло» — для нужд журнала «Наш современник».



Отечественный архив

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ «ТЕРРОРИСТ»

«ДЕЛО» ГЕОРГИЯ ЕСЕНИНА 1937 ГОДА

Размышляя о судьбе Сергея Есенина, его ближайших друзей и родственников, невозможно не задуматься над судьбой его детей, которым была уготована поистине драматическая участь.

«Носить фамилию Есенина очень трудно», — так говорил его старший сын — Юрий. Ее действительно было непросто носить в то время, когда само ее звучание резало и кололо слух власть имущих. Молодежь читала Есенина почти тайком (это считалось в лучшем случае свидетельством «упаднических», «не наших» настроений), переписывала их от руки. В студенческих кружках устраивались полуподпольные обсуждения стихов поэта, и частенько участники этих литературных штудий оказывались на Лубянке.

Можно себе представить, что означало в подобной атмосфере носить фамилию Есенина.

Их было четверо — детей поэта. Юрий, сын Анны Изрядновой, — первой гражданской жены Есенина. Татьяна и Константин — дети Зинаиды Райх. Александр — сын Надежды Вольпин.

Татьяна и Константин были детьми опального поэта, они же были детьми усыновившего их Всеволода Мейерхольда — «злейшего врага народа». Два десятка лет пришлось проходить им с этим клеймом, вырасти без матери, зверски убитой при до сих пор невыясненных обстоятельствах.

Александру Есенину-Вольпину пришлось познакомиться в 1949 году с Лубянкой, а затем он был отправлен в Караганду, в пятилетнюю ссылку за распространение «антисоветских стихотворений». Потом — удачная карьера талантливого математика и «правозащитное движение»: демонстрации, листовки, арест, эмиграция...

Но самая кошмарная участь ожидала Юрия Есенина.

«Справка

Есенин Георгий Сергеевич, 1914 года рождения, беспартийный. Сын поэта Сергея Есенина. Работает зав. отделом найма — завода № 45. Проживает: Сивцев Вражек, 44, квартира 14.

4-м отделом ГУГБ НКВД СССР разрабатывается контрреволюционная фашистско-террористическая группа. Одним из активных ее участников является Есенин Ю. С., резко враждебно настроенный к совласти.

Есенин высказывает свои террористические намерения против руководителей партии и совправительства, заявляя: «Сталин на трибуне прячется за людей, но его можно взять бомбой».

Тут же, не касаясь вопросов о изыскании взрывчатого вещества, Есенин утверждает: «Оружие — дело второстепенное, его можно достать сколько угодно, но что им делать? Стрелять в воздух? Я умею делать пироксилин. Я его делал и пробовал на взрывах. Щепотка в жестяной банке взрывает целое дерево. У меня есть дядя-подрывник. Он читает лекции в академии по подрывному делу. Эта консультация обеспечит любой вид взрывчатого вещества». Подготавливая себя к совершению террористического акта, Есенин говорил, что одним из главных решающих моментов является воспитание воли. Не вооруженность решает дело, а воля, стойкость, хитрость, затаенность. Надо воспитывать в себе волю.

При этом Есенин ссылается на ряд примеров из истории подготовки к совершению террористических актов итальянской организации «мафия» и народовольцев. Есенин выдвигает перед участниками группы задачу организованной борьбы с ВКП(б) и заявляет: «Нужно организованное сопротивление. Для этого не обязательно большое количество людей. В террористических выступлениях техника играет решающее значение. И когда люди очень озлоблены, к ним приходят самые неожиданные изобретения. Характерным примером является история бомбометания в России».

Есенин, развивая план действий контрреволюционной организации, выдвигает двурушничество основным методом борьбы:

«Нет более верной и успешной работы, нежели работа на два фронта. Это означает быть всегда в курсе событий у врага. Это будущий ориентир, которым можно лавировать и жалить в самые больные места. Зубатовщина показала себя на практике. И в наши дни она является ничуть не устаревшей. Из зубатовщины прямо вытекает метод так называемой «тихой сапой». Дело не в термино-

логии, а в существе. Надо уметь пробираться в глубь государственной организации, зарекомендовать себя и глушить то одного, то другого. В этих целях прекрасно могут быть использованы и коммунисты. Среди этой прослойки подавляющее большинство недовольных». Основной программой террористической группы Есенин выдвигает национализм.

«Стержнем программы теперь должен являться национализм. На этом большом, может быть, и нелепом чувстве можно вести за собой всю громаду серой массы. Надо учесть опыт Германии, которая делает этим национализмом чудеса». Фашизм и его интервенционистские устремления Есенин всячески восхваляет.

«Есть уголки, где народы цветут полным цветом. Этим уголком является Германия. Единственно умной и последовательной государственной философией является философия Германии. И вполне понятно: в ее основу легло гениальное учение Ницше, а не Маркса, являющееся сплошным фарсом. Марксисты дискредитируют террор для того, чтобы дискредитировать его как средство борьбы против самих себя». Наряду с этим Есенин в крайне злобных выражениях клеветнически отзывается о товарище Сталине.

Полагаю необходимым обыск и арест Есенина Г. С.

Начальник 6 отделения 4 отдела ГУГБ, капитан государственной безопасности

Журбенко.

Верно: Сотрудник резерва назначения ГУГБ НКВД

В. Колосков».

Справка была составлена на основании донесений сексотов, фиксировавших каждое подобное заявление Юрия Есенина в кругу друзей. Нетрудно предположить, что Юрий принадлежал к той прослойке студенческой и рабочей молодежи, естественно, никак организационно не оформленной, которая с тихой ненавистью относилась к существующему режиму. Для себя в этой системе они не находили никакого места, смысл жизни для них в сталинском Советском Союзе был утерян совершенно. Юноши, только что вступившие в жизнь, совершенно к ней не подготовленные, не обладающие твердым внутренним стержнем, слабые духовно и одновременно прекрасно видящие весь кошмар окружавшего их мира, они могли изливать свое недовольство только в дружеских разговорах. Подчас удушающая тоска подступала к горлу, и тогда рождались самые дикие проекты, вроде «пироксилина» или «бомбы». Естественно, все это оставалось на словах, без всякой попытки перейти к решительным действиям. Ощущение удушья немного проходило после зажигательных бесед о терроре народовольцев или мафии.

Понятно, что подобные речи сына Есенина не могли остаться без внимания. НКВД отреагировал мгновенно. Положение усугублялось одним обстоятельством. Юрию Есенину покровительствовал близкий друг его отца — Иван Приблудный, на предмет ареста которого к этому времени уже была составлена объемная «справка». Автоматически возникла версия о наличии «контрреволюционной фашистско-террористической группы». И далее все пошло своим чередом.

«*Марта восьмого дня 37-го года* выдан ордер № 513
сотруднику товарищу Суворову Главного управления государственной безопасности НКВД на производство ареста в обыска Есенина Георгия Сергеевича, Сивцев Вражек, дом 44, квартира 14.

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР государственной безопасности комиссар

Я. Агранов.

Начальник второго отдела ГУГВ комиссар государственной безопасности третьего ранга
(подпись неразборчива)».

4 апреля 1937 года Юрий Есенин был арестован на Дальнем Востоке, где проходил воинскую службу. 18 мая он был доставлен в Москву на Лубянку. А 22 мая уже был проведен первый допрос. Впрочем, точнее будет сказать, первый запротоколированный допрос.

Очевидно, до этого Юрий подвергся массированной психологической обработке сотрудников НКВД, о которой позже рассказывал в своих воспоминаниях Иосиф Бергер (см. «Наш современник», 1992, № 3, с. 188). Окончательно сломать надрывного, психологически неустойчивого юношу, у которого не прошел шок, вызванный арестом, им не составило никакого труда. Они получили все нужные показания, а кое-что, очевидно, вписали в протокол допросов самостоятельно. Юрий не протестовал — несчастный мальчишка добровольно шел им навстречу в безумной надежде, что ему удастся выйти на свободу.

«*Протокол допроса 1937 года, мая месяца, 22 дня.*

Я, оперуполномоченный Павловский, допросил в качестве
Фамилия обвиняемого — Есенин.
Имя, отчество — Георгий Сергеевич.
Год рождения — 1914.
Место жительства — Москва, Сивцев Вражек, 44, 14.
Гражданин СССР, бывший красноармеец.
Социальное положение — сын писателя.
До революции и после революции — на иждивении родителей.
Мать — Анна Романовна Изрядиова, корректор.
Образование — Московский авиатехникум.
Беспартийный. Репрессиям ни до революции, ни после революции не подвергался.
Служба в Красной Армии — 37-й год, полтора месяца. Рядовой. В белых армиях не служил. В бандах не участвовал.
Общественно-политической деятельностью не занимался.

Вопрос: Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности. Признаете себя в этом виновным?

Ответ: Я намерен показать следствию о всех своих контрреволюционных преступлениях. Воспитанный в мелкобуржуазной, а впоследствии в богемной среде, я еще в школьные годы заразился антисоветскими настроениями. Так, в школьные годы, в 1928 году, мною было написано контрреволюционное стихотворение, в котором я выразил свои настроения о том, что праздник десятилетия Октября мне чужд. Прочитав это стихотворение в кругу своих знакомых, я порвал его.

Вопрос: А позднее кому вы читали антисоветские стихи?

Ответ: Позднее, в 1935 году, я читал это стихотворение Пермяку.

Вопрос: Еще кому?

Ответ: Это стихотворение я читал также и Приблудному.

Вопрос: Какие еще антисоветские стихотворения вы сочиняли?

Ответ: Больше антисоветских стихов я не писал.

Вопрос: Следствие предлагает вам дать подробные показания о вашей контрреволюционной деятельности в период 1933—1936 года.

Ответ: Еще в 1930 году с Гориневским Дмитрием мы вели разговор и обсуждение методов борьбы с советской властью. И так как нас интересовала программа анархистов, то мы хотели связаться с подпольной организацией анархистов. Это не удалось, однако, и я, и Гориневский вели обсуждение возможности создания молодежной контрреволюционной подпольной организации, которая должна была изучать теоретические труды анархистов, а также практическую их работу, а также подробно изучать технику подготовки террористических актов. С этой целью я читал книги о Кибальчиче, об итальянских террористах и другие.

Вопрос: Какими методами вы намеревались бороться с советской властью?

Ответ: Мы считали и приходили во время этих обсуждений к выводу, что допустимы все методы, вплоть до террора против руководящих лиц.

Вопрос: Что практически было предпринято?

Ответ: Мы мыслили изготовить взрывчатые вещества и приступили при помощи небольшого набора химических материалов, имевшихся у нас, к изготовлению взрывчатых веществ. Но у нас ничего не получалось.

Вопрос: Кого вы еще привлекли?

Ответ: Мы начали убеждать моего приятеля Лисовского Игоря, говорили о нашей «лаборатории», но он отказался и высмеял нас. Вскоре после этого я имел также об этом разговор с неким Улеело Алексеем, 26 лет, но он нас также высмеял и выругал. Это нас охладило, и мы обсуждение вопроса о создании организации прекратили.

Вопрос: С кем вы позднее вели обсуждение вопроса борьбы с советской властью?

Ответ: В 1934 году зимой мы сидели у Лисовского и затем пошли прогуляться. По дороге я в беседе высказал следующее: современные известные нам контрреволюционные партии, промпартии и другие до сих пор не смогли ничего сделать и осуществить до конца свои цели только потому, что они не имели твердой идейно-политической платформы, которая за собой может увлечь широкие массы. Среди их участников не было достаточной организованности, законспирированности, преданности своему делу, героизма вожаков и смехотворность технических средств борьбы.

Тут же я упрекал пославших Штерна на совершение террористического акта против немецкого посла за то, что они не использовали даже уроков старых террористов — Кибальчича, Фиссхо и других, не говоря уже о современной технике.

Вопрос: Вы говорили при этом о создании контрреволюционной организации?

Ответ: Я откровенно признаю, так как решил давать только искренние показания, что во время этого разговора я рисовал возможность создания в СССР подпольной контрреволюционной организации, могущей обеспечить подлинную конспирацию. Для этого я говорил, что организация должна быть построена по звеньевому принципу.

Вопрос: На эту тему вы беседовали не только в 1934 году, но и позднее?

Ответ: На тему о создании контрреволюционной организации я говорил с Лисовским Игорем и Ботовым Виктором. И позднее, в 1935-м. А именно я говорил, что обеспечить полную конспирацию подпольной организации можно путем звеньевой системы, то есть один член организации должен быть связан только со старшим и с подчиненным ему. Должна быть предусмотрена жестокая дисциплина и расправа с предателями. Но основой является подбор мужественных и честных людей. Разговор с Лисовским и Ботовым был в 1934 году, а с Лисовским — в 1935-м.

Тут я указывал на необходимость подбора стойких людей и говорил, что организация может быть жизнеспособна, будучи построена организационно по плану итальянской мафии. Я приводил пример, что участники этой организации сумели добиваться своих целей, будучи вооружены только ножами, и что, используя технику в наших условиях, такая организация может вполне добиться выполнения поставленных задач.

Вопрос: С кем вы еще говорили по этому вопросу?

Ответ: Примерно аналогичный разговор имел место и в начале 1936 года, в частности с Пермяком Евгением. Вполне возможно, еще с кем-нибудь, припомню позднее.

Вопрос: С кем вы обсуждали план совершения террористического акта против товарища Сталина?

Ответ: Я признаю себя глубоко виновным в том, что в беседах со знакомыми, в частности с Лисовским в 1935 году, с Пермяком в 1936 году, я говорил о возможности совершения террористического акта против Сталина путем броска бомбы на трибуну во время демонстрации. Или торжественного заседания. При этом я говорил о бомбе как наиболее реальном средстве, ссылаясь при

этом на то, что выстрел из револьвера не может быть метким.

Одновременно я приводил доказательства — опыт русских народовольцев. В разговоре об этом я ссылался на то, что якобы я располагаю химической формулой взрывчатого вещества, проверенного моим дядей, преподавателем подрывного дела Овчинниковым Михаилом Семеновичем (инженерная академия), и что средство это я якобы сам испытывал на практике.

Вопрос: Овчинников сообщал вам этот рецепт?

Ответ: Нет, я у него видел книгу «Подрывное дело и взрывчатые вещества». Эту книгу я хотел незаметно унести, но у меня ничего не вышло (30-й год).

Вопрос: Как реагировали на эту постановку вопроса Пермяк и Лисовский?

Ответ: Лисовский говорил при этом о невозможности практического осуществления этого. Пермяк высмеивал меня и говорил о нелепости таких разговоров.

Г. Есенин.
22 мая 37 года».

«Протокол допроса Есенина Георгия Сергеевича от 31 мая 37-го года

Есенин Г. С., 14 года рождения, сын поэта Есенина Сергея, работал конструктором авиаинститута. В марте 37 года призван в ОКВДА — отряд истребительной авиации.

Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что проводили контрреволюционную деятельность. Признаете себя виновным в этом?

Ответ: Я решил дать откровенные показания. Будучи окружен богемно-контрреволюционной средой, прививавшей мне антисоветские взгляды, я скатился до активной контрреволюционной деятельности. Еще в юношеские годы я отрицательно относился к советской власти и считал, что должен не только говорить об этом, но и активно действовать.

Обсуждая этот вопрос в 1930 году с моим приятелем Гориневским Дмитрием, мы решили в осуществление этих намерений связаться с подпольной организацией анархистов и принять участие в ее работе. Однако связаться с анархистами мы не смогли, после чего мы с Гориневским решили создать группу молодежи для изучения теоретических трудов по анархизму. В осуществление этого я прочел ряд книг по анархизму. Одновременно я стал увлекаться книгами, в которых описывалась техника совершения террористических актов, — Кибальчича, Фиеско и других. Уже в 1931 году в беседах с Гориневским мы пришли к убеждению, что основной формой борьбы с советской властью должен быть избран террор. В этот же период мы с Гориневским для осуществления назревших у нас террористических намерений приступили к изготовлению взрывчатых веществ. У нас имелся набор химических веществ для производства опытов — азотная и другие кислоты, селитра и прочее. Однако из попыток изготовить взрывчатые вещества ничего не вышло.

После этих неудачных попыток, а также неудачной попытки вовлечь в нашу группу моего близкого товарища Лисовского Игоря, который отрицательно отнесся к нашим намерениям, мы вовсе прекратили нашу контрреволюционную деятельность.

Вопрос: Следствие располагает данными, что вы и в дальнейшем продолжали свою контрреволюционную деятельность.

Ответ: Действительно, в конце 1934 года я снова стал вращаться в среде морально разложившихся, контрреволюционно настроенных литераторов — Приблудного, Пермяка, Курочкина, Наседкина и других, которые разжигали во мне враждебность к советской власти. Антисоветские разговоры — вот основная тема происходивших на сборищах этих лиц бесед. При этом Приблудный постоянно заявлял: «Твоего отца, Есенина Сергея, затравили».

В конце 35-го года на квартире у Приблудного собирались все вышеуказанные лица, кроме Наседкина. И в беседе о моем отце Приблудный открыто цитировал Троцкого: «Мы не сумели сберечь Есенина».

Далее со стороны всех присутствующих следовали восторженные восклицания о Троцком. Под влиянием этих контрреволюционных разговоров я снова стал на путь активной контрреволюционной деятельности. В среде своих товарищей я высказывал контрреволюционные взгляды: «Русский народ зажат. Советская власть представляет собой организованную систему насилия над массами. Кучка захвативших власть эксплуатирует огромное многомиллионное население, доведя его до состояния животной жизни. Народ обманут, запуган. Массы все более и более разочаровываются в советском строе. И для того, чтобы их подхлестнуть, ВКП(б) придумывает в качестве возбуждающего средства поочередно то ударничество, то стахановское движение».

Эти разговоры я вел в 1934—1936 годах с Лисовским Игорем Владимировичем — техником-нормировщиком Пудортранса, Ботовым Виктором Павловичем — фотографом Библиотеки имени Ленина, и литераторами Приблудным, Пермяком и Филипповым. При этом я противопоставлял советскому строю фашистский режим и восторгался государственным строем Германии и Италии.

Лисовский полностью соглашался со мной, характеризуя советскую власть как систему произволов, в которой удушается все живое. Сталина он характеризовал узурпатором, осуществляющим свою диктатуру, не считаясь с интересами масс.

Так, И. Лисовский отзывался о процессе Зиновьева, Каменева и других террористов в 1936 году как о результате борьбы Сталина с неугодными ему элементами в партии и объяснял расстрел этих террористов его боязнью за власть. При этом он проводил аналогию между этим процессом и событиями 30 июня 1934 года в Германии — расстрелом Рема и других.

Вопрос: Вы вели организованную

контрреволюционную деятельность. Подтверждаете ли это?

Ответ: В 1934 году в разговорах с Лисовским, Ботовым, а позднее кроме них — с Приблудным, Пермяком, Филипповым и другими, — я прямо ставил вопрос, что нельзя ограничиваться выражением недовольства против советской власти, а надо действовать путем создания подпольной контрреволюционной организации. Я утверждал, что раскрытие органами НКВД контрреволюционных организаций происходило лишь потому, что среди их участников не было достаточной организованности, преданности своему делу, должной законспирированности, а главное — отсутствовал героизм у руководителей.

Кроме того, я объяснял неудачу попыток совершить террористические акты этими организациями слабостью технических средств борьбы. В доказательство этого я приводил Лисовскому ряд примеров, в частности, утверждал, что Штерну только потому не удалось убить немецкого посла, что он стрелял из револьвера и что пославший его не использовал даже опыта дореволюционных террористов. Говоря о подборе людей в контрреволюционные организации, я подчеркивал, что надо подбирать только стойких, проверенных людей, способных пойти на самопожертвование, и что при таком подборе для борьбы с советской властью вовсе не обязательно большое количество людей.

В подтверждение этого я ссылался на опыт существовавшей ранее в Италии террористической организации мафия.

Я предлагал Лисовскому создать организацию по звеньевому принципу и в основу программы этой организации выдвигал национализм по примеру фашистской партии в Германии.

Вопрос: Вы ставили вопрос о применении террора в борьбе с советской властью?

Ответ: Да, я откровенно признаю, что при неоднократном обсуждении с Лисовским я ставил вопрос о терроре против руководителей ВКП(б). Основным моментом, толкавшим меня на террор, являлись разговоры Приблудного, который систематически воспитывал и прививал мне ненависть к соввласти, указывая, что я, как сын великого поэта Есенина, должен отомстить руководителям соввласти «за затравленного отца».

В конце 1935 года в разговоре с Лисовским я высказал свои намерения совершить террористический акт против Сталина.

Вопрос: Как практически вы намеревались осуществить террористический акт?

Ответ: Открыто признаю, что в 1935 году в разговоре с Лисовским я выдвигал несколько вариантов совершения террористического акта. Так, один из этих вариантов сводился к метанию бомбы, заряженной сильнодействующим взрывчатым веществом, в руководителей партии и правительства во время прохождения демонстрации по Красной площади. Однако, анализируя этот вариант, я приходил к убеждению, что он технически трудно осуществим, так как участники демонстрации проходят на значительном расстоянии от Мавзолея. Более практически и легче осуществимым я считал метание бомбы в членов правительства и руководителей партии во время какого-нибудь торжественного заседания в Большом театре или при посещении ими какой-либо постановки в одном из театров. Одновременно с этим я детально изучил практику совершения террористических актов до революции, и в частности, попытки совершения террористических актов против Плеве при помощи человека-снаряда.

Будучи толкнут на путь террора, я готов был пожертвовать собой и придумал план совершения террористического акта, рассчитывая броситься под правительственную машину, имея при себе взрывчатое вещество. Совершить террористический акт мне не удалось из-за призыва в ОКВДА.

Прочитано мной и записано правильно

Есенин.

Допросил оперуполномоченный 9 отделения 4 отдела ГУГБ сержант государственной безопасности

Павловский.

Верно. Сотрудник резерва назначения

В. Колосков».

В этих показаниях Юрия Есенина дан, по существу, точный портрет людей, которых не так уж мало было в 30-е годы в России. Другое дело, что все они были разобщены, деморализованы государственным террором и фактически неспособны что-либо этому террору противопоставить. Отсюда хватания за соломинку, вроде планов «террористического акта». Окружающая жизнь и государственная политика характеризовалась ими с убийственной точностью — но что дальше? где выход? каковы средства борьбы? Ни один из них не мог дать более или менее правдоподобного ответа на эти вопросы.

Еще один характерный штрих. «Восторженные восклицания о Троцком». Они ли не читали «Страну негодяев», им ли не были известны строки Есенина о «людях заезжих»? Но все это отступало на второй план перед чудовищной реальностью. Троцкий написал статью «Памяти Есенина», в которой восторженно отзывался о стихах поэта. И здесь уже не до смысловых нюансов и тактических уловок опального вождя. Теперь можно было и о Троцком хорошо вспомнить. Кто-нибудь, кто угодно, только не нынешний «вождь», только не эта мерзкая, безнадежная, удушливая жизнь, когда стихи любимого поэта читаешь тайком, а сам не знаешь, доживешь ли до завтрашнего утра.

Во многом те же настроения сохранились и в молодежной среде после войны. Когда я читал «дело» Георгия Есенина, я не мог отделаться от мысли, что где-то уже читал нечто подобное или очень похожее. Ну, конечно! «Черные камни» А. Жигулина. Воронежская КПМ. Полное не-

приятие молодыми людьми современной действительности и их полная бестолковость в жизни. Игра в подполье. Проклятия власти, посылаемые в застолье за стаканом водки, когда кажешься героем самому себе, а рукоятка револьвера, спрятанного в кармане, приятно холодит ладонь.

Нам было пресно — петь псалмы на воле
И лить елей, порядку не вредя, —
И стыдно жить, гнилой урок твердя,
В наш гнусный век о прежнем произволе.
И мы смеялись, как мальчишки в школе, —
А славящим всемирного вождя
Мы вторили, забавным находя:
— Хвала, хвала великому Лойоле!
...И вот мы доигрались: мы в тюрьме...
Крепки ли мы? Что нам грозит? В уме
Мелькают безнадежные догадки...
...Мы запирались в солнечные дни
Для самой бесконечной болтовни...
Какая глупость — фронда без рогатки!

(Александр Есенин-Вольпин
17.11.49 г. Ленинград. Тюрьма № 2)

За эти игры подчас приходилось расплачиваться слишком дорого: когда свободой, а когда и жизнью. Но думается, что сейчас таких молодых людей в России, куда более решительных и практичных, гораздо больше, чем в сталинские времена, — ребят, искренне и истово ненавидящих режим, который ныне управляет страной.

В тот же день, 31 мая, когда Иван Приблудный уже сидел во внутренней тюрьме на Лубянке, Юрий Есенин пишет покаянное письмо.

«...В протоколе допроса от 22 и 31 мая, совершенно не скрывая, я показал о себе как о террористе, намеревавшемся совершить террористический акт против руководителей партии. Подробности изложены в этом протоколе допроса. И при дальнейших допросах я не скрывал ничего, разоблачая лицо гнусных врагов моей родины. Хочу только сказать, почему я стал на этот путь террора. Теперь-то я вижу, хотя ранее в порыве задора не понимал, что я, по существу, являлся удобной фигурой для врагов России как террорист, как сын Есенина. Эти подлые враги пытались воспитать во мне его.

Пишу не для того, чтобы свалить на кого-либо ответственность, ибо им удалось воспитать из меня террориста. Но то, что я нашел в себе силу, мужество говорить о себе и о других всю правду, не допуская никаких смягчений, говорит о том, что я не был болен неизлечимой болезнью. Продумав во время следствия и следования по этапу все это, я сумел сразу выгнать из себя все гнойное, чем меня старательно наполняли. И это является залогом того, что, будучи поставлен в условия, при которых я смогу плодотворно работать по имеющейся у меня специальности, я буду полезным гражданином советской родины. Это не голое обещание, ибо, переболев и выздоровев, я приобрел иммунитет.

31 мая 37 года
Г. Есенин».

«Постановление о продлении срока следствия, 1937 год

Я, оперуполномоченный 9 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД СССР, сержант государственной безопасности Павловский, рассмотрев следственное дело по обвинению Есенина Георгия Сергеевича, 1914 года рождения, нашел:

Обвиняемый Есенин был арестован по заданию 4 отдела ГУГБ на Дальнем Востоке 4 апреля 1937 года и этапом был доставлен в Москву 18 мая 1937 года.

Есенин признал себя виновным в том, что намеревался совершить террористический акт против товарища Сталина и принимал участие в создании к/р террористической группы. Срок следствия истекает 4 июня 1937 года. Однако в связи с необходимостью дополнительных арестов необходимо дальнейшее расследование к/р деятельности участников группы, а посему постановил:

возбудить перед ВЦИК СССР ходатайство о продлении срока следствия до 1 июля 1937 года.

Оперуполномоченный 9 отделения 4 отдела ГУГБ сержант государственной безопасности
Павловский.

Согласны. Начальник 9 отделения 4 отделения ГУГБ капитан государственной безопасности
Журбенко.

Пом. начальника 4 отдела ГУГБ майор государственной безопасности
Гатов.

Утверждаю. Зам. народного комиссара внутренних дел СССР комкор
Фриновский.
4 июня 37 года».

Для чего Журбенко и Павловскому понадобилось продлять следствие, когда уже и так все было ясно и состав «преступления» был налицо? Не для того ли, чтобы добыть у Юрия Есенина показания на Ивана Приблудного? Они и были даны 27 июня 1937 года (см. «Наш современник», 1992, № 3, с. 188—189).

А через несколько дней был допрошен «в качестве свидетеля» один из «героев» показаний Юрия — Дмитрий Гориневский.

«Постановление

Город Москва, 1937 год, июля 15 дня. Я, сотрудник резерва назначения ГУГБ, В. Колосков, рассмотрев материалы, имеющиеся в следственном деле № 12175 по обвинению гражданина Есенина Георгия Сергеевича по статье 19—58 пункт 8, 58 пункт 11 УК РСФСР, по которому проходят граждане Лисовский Игорь и Гориневский Дмитрий, изобличаются в том, что совместно с Есениным высказывали контрреволюционные взгляды, подвергали контрреволюционной критике политику партии и правительства, а также разделяли террористические взгляды Есенина.

Учитывая, что дело по обвинению Есенина следствием закончено, а в отношении Лисовского и Гориневского необходимо дальнейшее следствие, постановил:

из следственного дела № 12175 по обвинению гражданина Есенина Г. С. по статьям 19—58 пункт 8 и пункт 11 УК РСФСР материалы на Лисовского и Гориневского Д., изобличаемых в организо-

ванной контрреволюционной деятельности, предусмотренных статьями 58, 10 и 11 УК РСФСР, выделить для ведения следствия особое производство.

Сотрудник резерва назначения ГУГБ
Колосков.

Согласен. Начальник 9 отделения ГУГБ 4 отдела капитан государственной безопасности
Журбенко.

Утверждаю. Зам. нач. 4 отдела ГУГБ старший майор госбезопасности
Гендин.
3 июля 1937 года».

«В народный комиссариат внутренних дел. Главное управление государственной безопасности.

Протокол допроса 1937 года, июля месяца, 4 дня

Я, сотрудник резерва назначения ГУГБ, Колосков, допросил в качестве свидетеля
Фамилия — Гориневский.
Имя, отчество — Дмитрий Георгиевич.
Дата рождения — 1915.
Место рождения — Ленинград, место жительства — Москва, Глазовский, 10, 14.
Национальность — русский.
Гражданство — СССР.
Род занятий — студент Станкоинструментального института.
Социальное происхождение — служащий.
После революции — студент, служащий.
Состав семьи — мать Велегореневская Евгения Григорьевна, Москва, Глазовский, 10.
Брат Владимир — Ковров, брат Всеволод — Москва, Ципковский переулок, 12/15.
Образование — студент. Партийность — комсомолец с 36-го года. До революции репрессиям не подвергался. После революции — нет. Орденов не имею. Категория воинского учета — допризывник. В Красной Армии не служил, у белых не служил, в бандах не участвовал.

Показания свидетеля 4 июля 37 года.

Вопрос: Вы знаете Есенина Георгия Сергеевича?

Ответ: Знаю, он был мой товарищ. Знаком с ним с 1930 года.

Вопрос: Что вам известно об антисоветской деятельности Есенина Георгия?

Ответ: Есенин был антисоветски настроен. Это выражалось у него в разговоре, что в нашей стране жить скучно, отсутствует тема для писания стихов. А если и напишешь стихи, то их все равно печатать не будут. Что его, Есенина, зажимают. И связывал этот зажим с именем отца.

В 1930 году Есенин предлагал создать группу из молодежи для изучения различных течений, чтобы быть всесторонне развитым человеком. В эту группу вошли Есенин, я—Гориневский, Лисовский, а больше никого не привлекли. Три раза собирались и читали стихи. О террористических настроениях Есенина мне ничего неизвестно, но в очень осторожной форме Есенин говорил, что очень хорошо, если бы совершилось какое-либо событие, чтобы нас потрясло, давая этим мне понять, что он оправдал бы террористические действия.

В 1931 году у Есенина уже более наглядно выявились террористические настроения. Когда мы занимались тогда в школе, производили опыты с кислотами и взрывчатыми веществами, и Есенин это проделывал, имея террористические цели. На кого конкретно — я не стал узнавать, и он об этом не говорил.

После неудачных опытов мы к этому занятию больше не возвращались.

В 1935 году под влиянием своих антисоветских настроений — «в нашей стране скучно», как он говорил, — Есенин мне сказал, что хочет уехать за границу, на абиссинский фронт добровольцем. В последние годы наши отношения почти прервались. В 1936 году я с ним встретился случайно раза три. Больше об антисоветской деятельности Есенина я ничего показать не могу.

Добавлю, что Есенин дружил с разложившимся человеком, хулиганом Приблудным Иваном.

Записано с моих слов верно и мне зачитано
Д. Гориневский.

Нетрудно убедиться: Юрий дал на себя более жуткие показания, чем дал на него Гориневский. И надо вроде сказать об «антисоветских настроениях» и «контрреволюционных поступках» друга, но материала нет. Отсутствует в природе как таковой! Издалека видно, что все это было фантазией недовольных, измученных, замордованных жизнью мальчишек...

Но — «порядок есть порядок». Эти, с позволения сказать, «показания» аккуратно подшиваются в «дело», а само «дело» неумолимо катится к своему логическому концу.

«Дело № 12175 по обвинению Есенина Г. С.

Справка

Постановление об избрании меры пресечения и предъявления обвинения, город Москва, 1937 год, июля 7 дня.

Сотрудник резерва назначения ГУГБ Колосков отделения 9 отдела 4 Главного управления государственной безопасности НКВД, рассмотрев следственный материал по делу № 12175 и приняв во внимание, что гражданин Есенин Георгий Сергеевич достаточно изобличается в том, что, будучи контрреволюционно настроен, подготовлял совершение террористического акта против руководителей партии и правительства, постановил:

Есенина Георгия Сергеевича привлечь в качестве обвиняемого по статьям 58.8, 58.11 УК. Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей.

Уполномоченный В. Колосков.

Настоящее постановление мне объявлено 7 июля 1937 года
Г. Есенин.

Утверждаю. Начальник 4 отдела ГУГБ НКВД старший майор госбезопасности
Литвин.
13 июля 1937 года.

Утверждаю. Прокурор Союза ССР
Вышинский.
31 июля 1937 года».

«Обвинительное заключение по делу № 12175 по обвинению Есенина Георгия Сергеевича по статьям 58.8, 58.11.

В 4 отдел поступили сведения о том, что техник-авиаконструктор Есенин Георгий Сергеевич антисоветски настроен и намеревается совершить террористический акт против руководителей партии и правительства. На основании этого Есенин Г. С. 13 июня 1937 года был арестован*.

Следствием установлено, что Есенин на протяжении ряда лет в разговорах с окружающими, обсуждая политику ВКП(б), высказывал контрреволюционные взгляды о мероприятиях советской власти и партии, противопоставляя советскому строю фашистский режим.

Начиная с 1934 года Есенин в беседах с Лисовским Игорем высказывал контрреволюционные террористические настроения против руководителей партии и правительства и обсуждал вместе с Лисовским, дело которого выделено в особое производство, конкретные планы по осуществлению террористического акта. Допрошенный в качестве обвиняемого, Есенин Г. С. полностью признал себя виновным в том, что он настроен против советской власти, что в его контрреволюционной агитации активно обсуждался с Лисовским вопрос о подготовке террористического акта против руководителей партии и правительства.

Кроме того, установлено, что Есенин Г. С. в 1935 году, будучи контрреволюционно настроен, собирался под видом поездки в Абиссинию на фронт перейти границу Советского Союза с целью не возвратиться в СССР и заниматься продажей известных ему государственных тайн, то есть заниматься шпионажем.

На основании изложенного, Есенин Георгий Сергеевич, 1914 года рождения, уроженец города Москвы, гражданин СССР, беспартийный, до ареста призван в ряды Красной Армии, обвиняется в том, что:

Первое. Распространял на протяжении ряда лет контрреволюционную клевету против партии и советского правительства.

Второе. Обсуждал совместно с Лисовским Игорем вопрос совершения террористического акта против руководителей партии и правительства.

Третье. Обсуждал вопрос о переходе границ Советского Союза с целью не возвратиться в СССР, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 19—58, пункт 8, пункт 11 УК РСФСР.

Вследствие изложенного дело по обвинению Есенина Георгия Сергеевича подлежит рассмотрению Военной коллегией суда Союза ССР с применением закона от 1 декабря 1934 года.

Сотрудник резерва назначения ГУГБ

Колосков.

Согласен. Начальник 9 отделения 4 отдела ГУГВ капитан государственной безопасности

Журбенко.

«Протокол подготовительного заседания Военной коллегии Верховного суда Союза ССР

11 августа 37 года, город Москва. Председатель — корвоенюрист Л. Я. Плавнек, члены — военные юристы первого ранга Кандыбин, Климин, секретарь — военюрист первого ранга Костюшко, зам. прокурора СССР Рогинский,

Слушали: Дело с обвинительным заключением ГУГБ НКВД СССР, утвержденным зам. прокурора СССР т. Рогинским, о предании суду Военной коллегии Верхсуда СССР Есенина Георгия Сергеевича по статье 58.8, 58.11 УК РСФСР в порядке закона от 1 декабря 1934 года.

Определили:

1. С обвинительным заключением, утвержденным зам. прокурора СССР товарищем Рогинским, согласиться и дело принять к производству Военной коллегии Верхсуда СССР.

2. Предать суду Есенина Г. С. по статьям 58.8, 58.11 УК РСФСР.

3. Дело заслушать в закрытом судебном заседании, без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей в порядке закона от 1 декабря 1934 года.

4. Меру пресечения обвинения оставить прежнюю, то есть содержание под стражей».

«Протокол закрытого судебного заседания Военной коллегии Верховного суда Союза ССР

13 августа 1937 года, город Москва. Председательствующий — корвоенюрист Л. Я. Плавнек, члены — военюристы первого ранга тт. Кандыбин, Климин, секретарь — военный юрист первого ранга А. Ф. Костюшко.

Заседание открыто в 10.00.

Председательствующий объявил, что подлежит рассмотрению дело по обвинению Есенина Георгия Сергеевича по делу, предусмотренному статьями 58.8 и 58.11 УК РСФСР.

Секретарь доложил, что подсудимый в суд доставлен и что свидетели по делу не вызывались.

Председательствующий удостоверился в самоличности подсудимого и спрашивает его, вручена ли ему копия обвинительного заключения, на что подсудимый ответил, что получил. Подсудимому разъяснены его права на суде и объявлен состав суда.

Подсудимый никаких ходатайств, а также отводов составу суда не представил.

По предложению председательствующего секретарем оглашено обвинительное заключение. Председательствующий разъяснил подсудимому сущность предъявленных ему обвинений и спросил его, признает ли он себя виновным, на что подсудимый ответил, что виновным себя признает в том, что был настроен антисоветски и допускал террористические высказывания. В 1935 году он Лисовскому говорил о методах террора и рассказывал ему свои планы. Разговор с Приблудным о поездке в Абиссинию тоже имел место. Больше он дополнить следствие ничем не имеет.

Председательствующий объявил следствие законченным и предоставил подсудимому последнее слово, в котором он просил суд о снисхождении.

Суд удалился на совещание. По возвращении суда с совещания председательствующий огласил приговор.

В 10 часов 20 минут заседание закрыто.

Приговор

Именем Союза Советских Социалистических республик Военная коллегия Верховного суда Союза ССР в составе — председательствующий Плавнек, члены Военного совета Климин, Кандыбин при секретаре Костюшко в закрытом судебном заседании в городе Москве 13 августа 1937 года рассмотрело дело по обвинению Есенина Георгия Сергеевича, 1914 года рождения, красноармеец, в преступлениях, предусмотренных статьями 58,8, 58,11 УК РСФСР. Предварительным и судебным следствием установлена виновность Есенина в том, что он являлся активным участником антисоветской террористической организации. С 1934 года проводил антисоветскую агитацию, распространял клеветнические измышления против руководства ВКП(б) и советского правительства, вместе с Лисовским обсуждал вопрос о подготовке и осуществлении над ними террористических актов и о переходе границ СССР с целью невозвращения затем в Союз ССР, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58.8, 58.11 УК РСФСР.

На основании изложенного Военная коллегия Верховного суда Союза ССР приговорила Есенина Георгия Сергеевича к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Приговор окончательный и на основании постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года в исполнение приводится немедленно.

Председательствующий — Плавнек,

члены — Климин, Кандыбин.

Справка

Приговор о расстреле Есенина Георгия Сергеевича приведен в исполнение 13 августа 1937 года. Акт о приведении приговора в исполнение хранится в Особом архиве Первого спецотдела НКВД СССР, том 2, лист 192.

Начальник 12 отдела 1 спецотдела НКВД СССР лейтенант госбезопасности

Шевелев».

Георгий Есенин был расстрелян в один и тот же день с Иваном Приблудным.

Следует отметить, что мало какое «дело» после приведения приговора в исполнение лежало в архивной пыли. Это в «послереабилитационный период» они наглухо были замурованы, так, что их не касалась ничья рука, кроме рук архивных работников. В 40-е и в начале 50-х гг. оформление множества новых «дел» требовало ознакомления со старыми. «Дело» Георгия Есенина запрашивалось оперработниками в связи с необходимостью новых разработок еще трижды — в 1940, 1948 и 1951 годах. Последний раз оно запрашивалось «в связи с проверкой Филиппова, проходящего по показаниям Есенина».

А в 1956 году Александр Вольпин-Есенин обратился с письмом в Главную военную прокуратуру СССР по поводу пересмотра «дела» своего брата по отцу.

«В Главную военную прокуратуру СССР

от гражданина Вольпина Александра Сергеевича, проживающего по адресу: Москва, Е-51, Первый Волконский переулок, 11, квартира 4.

Заявление

В 1937 году органы НКВД СССР арестовали моего брата, Есенина Георгия Сергеевича, родившегося в 1914 году в Москве. Это произошло на Дальнем Востоке, где мой брат проходил воинскую обязанность. Он был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР в 1937 году. Мера наказания мне официально сообщена не была. С 1937 года о моем брате нет никаких известий.

Я убежден, что в этом случае имело место беззаконие, типичное для органов НКВД того времени. Самый акт таинственности, которым окружено обвинение, является тому верным подтверждением, не говоря уже о таком явном нарушении закона, как неоглашение приговора. Насколько я знаю моего брата, могу утверждать, что он не мог заслужить тяжкого наказания, которое понес. Я уверен, что вина его заключалась в каком-нибудь неосторожном слове и что давно настало время пересмотреть его «дело». Более чем восемнадцать лет, истекших со дня его ареста, превосходят меру всякого наказания, которое могло быть ему вынесено. Если он жив, ему необходимо вернуть свободу. Даже если его нет в живых, его «дело» должно быть пересмотрено, потому что в этом случае речь идет о памяти честного человека.

Исходя из всего изложенного, я возбуждаю ходатайство о пересмотре «дела» моего брата, Георгия Сергеевича Есенина, и о его полной реабилитации.

13 февраля 1956 года.

Вольпин».

---

* Зачем понадобилось лгать насчет «13 июня»? Не для того ли, чтобы все было шито-крыто относительно сроков следствия, с которым провозились, очевидно, больше времени, чем на него отводилось?

Чтение этого письма наводит на размышления, выходящие за рамки как самого письма, так и других реабилитационных документов. К ним мы еще вернемся.

Нетрудно заметить: имя Есенина тяжким грузом легло на его детей не только в отношении жизненных драм и трагедий, которые они пережили. Всех их неосознанно «тянуло» в литературу, каждый из них стремился сделать себе имя на ее ниве. Подобного соблазна избежал, пожалуй, лишь Константин Есенин, нашедший себя в другой области. Писал стихи Юрий. Татьяна Есенина прославилась повестью «Женя — чудо XX века». Александр также пробовал себя в поэзии. Другое дело, что ничего общего со светлым пантеистическим миром Сергея Есенина не было в его стихах. Это стихи мизантропа — человека, одержимого отвращением к жизни. Подчас это отвращение находило конкретный адрес в лице ненавистной власти («О, сограждане — коровы и быки. До чего вас довели большевики?»), но, как правило, ненависть поэта либо была безадресной, либо обращалась на самих соотечественников.

Как я много ждал! А теперь
Я не знаю, зачем я живу.
И чего я хочу от зверей,
Населяющих злую Москву.

. . . .

Эти мальчики могут понять,
Что любить или верить смешно.
Что тираны их — мать и отец,
И убить их пора бы давно.

Эти мальчики кончат петлей,
А меня не осудит никто.
И стихи эти будут читать
Сумасшедшие лет через сто.

Эти строчки Александра Есенина-Вольпина удостоились специального внимания хрущевского идеолога Л. Ф. Ильичева. Думается, впрочем, что даже ярые поклонники правозащитной деятельности Александра никак не могли быть в восторге от этих виршей.

4 апреля 1956 года в качестве свидетеля по «делу» Юрия Есенина перед его реабилитацией был допрошен Евгений Пермяк.

«Протокол допроса свидетеля
4 апреля 1956 года

Военный прокурор Главной военной прокуратуры капитан юстиции Терехов. Допрашивал нижепоименованного в качестве свидетеля с соблюдением статьи 162, 168 УПК РСФСР.
Фамилия, имя отчество — Пермяк Евгений Андреевич.
Возраст — 1902 года рождения.
Место рождения — город Молотов.
Место работы, должность и звание — писатель, член Союза советских писателей.
Семейное положение — женат.
С какого времени в Советской Армии — (прочерк).
Национальность — русский.
Образование — высшее.
В каких отношениях состоит с обвиняемым — (прочерк).
Происхождение — из служащих.
Судимость — не судим.
Партийность — беспартийный.
Постоянное место жительства и точный адрес — город Москва, Масляковский переулок, дом 71а, квартира 16.
Телефон — К-5-17-95.

На ряд заданных мне вопросов я могу показать следующее.

С Есениным Георгием Сергеевичем, сыном известного поэта С. Есенина, я познакомился в 1933—1934 году через поэта Ивана Приблудного. Мое знакомство с Георгием Есениным продолжалось около двух лет, до момента призыва его в армию. Г. Есенин чувствовал себя сыном знаменитого поэта и желал ему подражать, писал стихи, пил и вел себя несколько развязно. В нетрезвом виде Есенин высказывал недовольство жизнью, тем, что его не печатали, и тем, что мало почитали как сына известного поэта.

В нетрезвом виде Есенин высказывал желание уехать в Абиссинию, чтобы поступить там в армию и сражаться за ее независимость. Разговаривая с Есениным, я чувствовал, что его настроение не совсем здоровое (мания величия, желание стать без особой затраты труда великим человеком). Все это можно было в то время объяснить его возрастом (ему в тот период времени было 20 лет), влиянием на него его друзей, в частности И. Приблудного, который был другом его отца. Г. Есенин иногда рассказывал анекдоты, невыдержанные в политическом отношении, допускал в пьяном виде резкие высказывания в адрес существующих порядков, но за давностью времени вспомнить подробно я не могу.

Лично у меня осталось о нем впечатление как о несчастном человеке, жертве среды и времени.

С моих слов записано правильно и мною прочитано

Евг. Пермяк.

Допросил военный прокурор, капитан

Терехов».

Не будем строить никаких беспочвенных подозрений. Обратим внимание только на факты. Евгений Пермяк оказался единственным из тех, кто упоминался в показаниях Ю. Есенина, оставшимся на свободе. И. Лисовский и Д. Гориневский были осуждены. И. Лисовский, как видно из обзорной справки его «дела», получил 8 лет ИТЛ. Судьба Д. Гориневского неизвестна.

Пермяк давал показания и по реабилитационному «делу» Ивана Приблудного. Готовя «дело» Ивана Приблудного к публикации, я еще не знал, что дававший на поэта показания в НКВД Евгений Виссов и Евгений Пермяк — одно и то же лицо.

Догадываться можно о многом. Поостережемся делать выводы до той поры, пока не всплывут другие документы.

В 1956 году Юрий Есенин был посмертно реабилитирован. Мать его, Анна Романовна Изряднова, не дожила до этого дня. Она умерла в 1946 году, до последнего вздоха ожидая известий о сыне.

Публикация, подготовка текста и комментарии С. ВОЛКОВА.

ВАДИМ КОЖИНОВ

ИСТОРИЯ РУСИ И РУССКОГО СЛОВА

4. РУССКИЙ ЭПОС И ХРИСТИАНСТВО

Вполне вероятно, что предшествующие главы этого сочинения были восприняты читателями (хотя бы некоторыми) как чрезмерно «перегруженные» — перегруженные ссылками на различные работы историков, этнографов, фольклористов и т. д., выяснением идущих в их среде дискуссий, сопоставлением подчас далеко не совпадающих друг с другом концепций и т. п. Но необходимо понять, что каждый человек, стремящийся действительно узнать и осмыслить отечественную историю, никак не может обойтись без такого ознакомления с **современной** ситуацией в исторической и смежных с ней науках.

Уже из того, о чем было рассказано, явствует, что созданные в давние времена прославленные труды по истории России во многих отношениях «устарели», ибо наше знание прошедших эпох не стоит на месте, а непрерывно расширяется и углубляется. А между тем для не являющегося специалистом человека новые сведения и открытия, обретенные исторической наукой, в сущности, недоступны, ибо они (пока еще не обобщены в обращенных к широким читательским трудам книгах) «разбросаны» в очень многочисленных посвященных отдельным и подчас очень узким сторонам и периодам отечественной истории работах, изданных к тому же, как правило, весьма небольшими или даже микроскопическими тиражами (несколько тысяч либо — сейчас это бывает сплошь и рядом! — всего несколько сот экземпляров). Кроме того, прийти к обоснованным выводам возможно лишь в ходе сопоставления и, так сказать, синтезирования этих отдельных работ — чем во многих случаях и занят автор данного сочинения.

Итак, чтобы обрести знание отечественной истории (и в том числе истории русского Слова), соответствующее «последнему слову современной науки», необходимо примириться с тем далеко не всегда «легким» способом изложения, которое я предлагаю читателям. Как я убежден, конечный результат при этом будет достаточно весомым и плодотворным.

Говоря о происхождении русского эпоса, нельзя не коснуться чрезвычайно существенной проблемы соотношения эпоса и христианства. В послереволюционное время усиленно насаждалось представление, согласно которому русские былины — это выражение-де чисто **языческого** бытия и сознания. Между тем в действительности былины, — хотя в них, конечно же, присутствует мощный пласт древнейшего, дохристианского мировосприятия, — все же так или иначе проникнуты и духовным, и «фактическим», предметным (образы церкви, ее ритуалов и т. д.) содержанием христианства. Это проступает даже в считающихся наиболее архаичными и потому, так сказать, чисто языческими былинах — например, в записанной еще в середине XVIII века былине о Волхе Всеславьевиче, где герой отправляется в поход на «Индейского царя» потому, что царь этот

...хвалится-похваляится,
Хочет Киев-град за щитом весь взять,
А Божьи церкви на дым спустить.

Продолжение. Начало в №№ 6—6 за 1992 год.

В опять-таки одной из наиболее архаических былин — о битве Ильи Муромца с «нахвальщиком» (запись 1840-х годов) — герой восклицает:

Написано было у святых отцёв,
Удумано было у апостолов:
«Не бывать Илье в чистом поле убитому...».

Но дело не только в подобных прямых обращениях к христианским понятиям. Когда, например, в записанной полтора века назад былине о «первой поездке» Ильи Муромца его родители, прощаясь с сыном, избравшим богатырский удел, говорят ему:

Поедешь ты путем и дорогою,
Не помысли злом и на татарина, —

в этом, без сомнения, выражается именно православная заповедь.

Однако, настаивая на христианском содержании былин, я вроде бы подвергаю сомнению свою предшествующую систему доказательств раннего (до эпохи Ярослава) происхождения русского эпоса, ибо Крещение Руси свершилось в самом конце X века, и едва ли вероятно, что былины за столь краткий срок могли вобрать в себя дух и «предметность» христианства. На деле же определенная часть населения Руси, — притом именно Южной, собственно Киевской, Руси, где и был создан героический эпос,— начала приобщаться христианству гораздо раньше, еще в 860-х годах, то есть за сто двадцать лет до официального, государственного Крещения!

Достаточно полный свод материалов об этом собран в недавно изданном исследовании очень тщательно работающего историка О. М. Рапова «Русская церковь в IX — первой трети XII в. Принятие христианства» (М., 1988). Стоит отметить, что в этом обширном (23 авт. листа) труде половина объема отведена истории христианства на Руси еще до ее официального Крещения, хотя, казалось бы, полуторавековой период после Крещения (с конца X до второй трети XII века) должен был занять в книге значительно большее место. Отмечу сразу же, что некоторые уточнения выводов О. М. Рапова даны в позднейшей работе преподавателя Московской духовной академии иеромонаха Никона (Лысенко)[1].

Но обратимся к книге О. М. Рапова. Он, в частности, приводит почти забытое, но всецело достоверное византийское свидетельство о том, что при императоре Льве VI Мудром, правившем с 886 по 912 год, на Руси существовала христианская митрополия, подчиненная Константинопольскому патриархату (указ. соч., с. 123).

В свете этого столь же достоверным представляется и сообщение Иоакимовской летописи (о ней уже шла речь выше), которое цитирует О. М. Рапов: «Блаженный же Оскольд предан киевляны и убиен бысть, и погребен на горе, где же стояла церковь святого Николая, но Святослав разруши ее»... В «Повести временных лет», — продолжает исследователь, — о том же событии сообщается так: «В лето 6390 (882)... И убиша Асколда... и несоша на гору, и погребоша на горе... иде ныне Ольмин двор, на той могиле поставил Ольма церковь святого Николу...»

«Сопоставив отрывки,— подводит итог О. М. Рапов,— мы заметим, что автору первого ничего не известно о восстановлении церкви св. Николая, разрушенной Святославом, в то время как автор «Повести временных лет» прямо указывает, что церковь св. Николая построена вновь его современником Олмой (т. е. где-то на грани XI и XII вв.)... Следовательно, первый текст более древний... Аскольд был похоронен возле церкви... Из этого факта можно сделать вывод, что он был христианином. Спустя два с лишним столетия знатный киевлянин Олма... построил новую церковь св. Николая... над могилой Аскольда... возможно... что церковь, созданная Олмой, представляла собой храм-памятник погибшему князю-христианину» (указ. соч., с. 119).

О том, что князь Руси — а это был, очевидно, Аскольд — крестился в 860-х годах вместе со своими подданными, рассказывает в одном из своих сочинений

[1] Иеромонах Никон. Начало христианства на Руси. — «Вопросы истории», 1989, № 6, с. 36—54.

позднейший византийский император Константин VII, правивший (правда, до 945 года только номинально) с 913 по 959 год (с. 91).

Особенно важно выделить здесь сообщение о том, что в Киеве к 882 году — то есть за сто с лишним лет до официального Крещения — уже имелась церковь и, кстати сказать, во имя как раз того святого, который стал любимейшим на Руси,— Николая Чудотворца.

О. М. Рапов, естественно, приводит и широко известное место из обращенного к церковным иерархам «Окружного послания» Константинопольского патриарха (в 858—867 и 877—886 годах) Фотия, написанного в начале 867 года, о «русах»: они «переменили... нечестивое учение, которого держались раньше (т. е. язычество.— В. К.), на чистую и неподдельную христианскую веру и любовно поставили себя в ряду наших подданных (имеется в виду подчиненность русской церкви византийской.— В. К.) и друзей, вместо недавнего грабительства (речь идет о нападении Аскольда на Константинополь в 860 году.— В. К.)... они приняли епископа и пастыря и с великим усердием и ревностью приемлют христианские верования». Патриарху не было никакого смысла обманывать церковных иерархов... Поэтому известию Фотия безусловно можно доверять» (с. 79—80),— заключает О. М. Рапов, который здесь же доказывает, что описанное Фотием первое Крещение Руси произошло «летом или ранней осенью 866 г.» (с. 88).

Иеромонах Никон, опираясь на рассуждения митрополита Макария (Булгакова), датирует это первое Крещение Руси временем, когда в Византии совместно правили императоры Михаил III и начавший новую династию Василий I Македонянин, то есть от 26 мая 866 до 23 сентября 867 года (см. его указ. соч., с. 44). Поэтому впоследствии Константин Багрянородный утверждал, что Русь была крещена при его деде Василии I (а не при Михаиле III) и даже будто бы не Фотием, а сменившим его 25 сентября 867 года патриархом Игнатием (последний, возможно, отправил на Русь новую христианскую миссию).

Во избежание недоразумений отмечу, что в содержательном сочинении иеромонаха Никона есть одна явно неубедительная концепция, восходящая к историкам XIX века Д. И. Иловайскому и Е. Е. Голубинскому. Иеромонах Никон утверждает, что в 860-х годах были крещены не киевские, а «таманские» русы, жившие в дельте Кубани, которые, мол, и напали в 860 году на Константинополь. Но с этим никак невозможно согласиться, ибо непосредственный свидетель и даже участник «обороны» Константинополя патриарх Фотий говорил о нападавших: «Откуда нашла на нас эта северная и страшная гроза?.. Народ вышел от страны северной... племена поднялись от краев земли... народ, где-то далеко от нас живущий...»[2]. Про таманских русов патриарх никак не мог говорить подобным образом, ибо Таманский полуостров отстоял от границы тогдашних владений Византии в Крыму (в 833 году там был, между прочим, создан административный военный округ Империи — Херсонская фема, включавшая в себя Южное побережье Крыма[3]) всего лишь на 150—200 километров.

Византинист М. В. Левченко со всей убедительностью писал: «Решительный удар предположению о том, что на Византию напала азово-черноморская (то есть именно Таманская.— В. К.) русь, наносит и патриарх Фотий, который говорит, что «напавшие на нас были от нас отделены столькими странами и народоправствами, судоходными реками...»[4] и т. д.

Наконец, младший современник Фотия, император Лев VI Мудрый писал в своей «Тактике» о россах, названных им «северными скифами (Фотий также называет россов «скифским народом».— В. К.), которые приходят в Черное море по рекам и потому не могут использовать больших судов» (цит. по книге: Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси.— М., 1968, с. 314). Вполне понятно, что речь идет не о таманской,— то есть приморской Руси.

Довольно широко распространена точка зрения, согласно которой Русь кре-

[2] Две беседы святейшего патриарха Константинопольского Фотия по случаю нашествия россов на Константинополь. — «Христианское чтение», 1882, сентябрь—октябрь, с. 419, 421, 430.

[3] Константин Багрянородный. Об управлении империей. — М., 1989, с. 282.

[4] Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. — М., 1956, с. 62.

стили ближайшие ученики и друзья патриарха Фотия святые Кирилл и Мефодий сразу же после похода Аскольда, во время своей так называемой «хазарской миссии» 860—861 года (о ней еще будет речь).

Итак, не позже 867 года на Руси уже существовала христианская община, возглавляемая епископом, а в храме,— по всей вероятности, киевском храме св. Николая,— служил пастырь (см. цитату из Фотия). А во времена императора Льва VI (886—912) епископство, по-видимому, расширилось и превратилось в митрополию Руси. Имеются также сведения и о «промежуточной» ступени — установлении на Руси архиепископства при императоре Василии I, правившем до 886 года (указ. соч., с. 96).

О. М. Рапов опирается и на целый ряд археологических работ последних десятилетий, показавших, что весьма значительное число киевлян уже в IX веке было погребено по христианскому обряду: «Основная часть славянского населения... хоронила своих покойников путем кремации. Кремация существовала и в Киеве в IX—X вв. Но в то же самое время там была широко распространена... ингумация покойников в деревянных гробах в подкурганных ямах — типичный христианский обычай, сохранившийся на протяжении многих веков». Это ясно свидетельствует «о широком распространении христианства в Киевской земле уже в IX в.» (с. 99). В X же веке, по археологическим данным, в Киевской земле «наличие христианских погребений подтверждается и находками крестов... В больших городах в это же время существовали чисто христианские кладбища» [5].

Таким образом, христианство начало свою историю на Руси еще в IX веке. Правда, история эта была сложной и подчас драматической. Выше уже приводилось летописное сообщение о том, что Святослав разрушил построенную столетием ранее, еще при Аскольде, церковь святого Николая. Но есть веские основания полагать, что христианство на Руси ослабло и во времена князя Олега, убившего Аскольда. Это имеет свое четкое объяснение: и Олег, и Святослав начали свою жизнь в Северной Руси, куда христианство проникло значительно позже, едва ли ранее середины X века.

О. М. Рапов пишет о Новгородской и Псковской землях, что «археологические материалы по этому региону не дают возможности сделать заключение о каком-либо распространении христианства здесь в IX столетии» — да и в X веке также (указ. соч., с. 123). Ведь в высшей степени характерно, что крещение в Новгороде в 989 году происходило совершенно не так, как в Киеве. О. М. Рапов приводит сообщение Иоакимовской летописи: «В Новеграде людие, уведавше еже Добрыня (воевода, присланный Владимиром Святославичем.— В. К.), идет крестити я (их.— В. К.)... закляшася вси не пустити во град... разметавше мост великий, изыдоша с оружием» и т. д. Затем Добрыня, дабы устрашить население, повелел жечь город, откуда и пошло выражение, что Новгород «крести... Добрыня огнем».

Достоверность этого известия (как и многих других, содержащихся в Иоакимовской летописи) подвергалась сомнению, однако крупнейший археолог В. Л. Янин, посвятивший раскопкам новгородских древностей несколько десятилетий, обнаружил несомненные следы громадного пожара, происшедшего именно в 989 году и именно в тех районах города, которые указаны в Иоакимовской летописи (Софийская сторона и Людин конец) [6].

Так проходило Крещение в Новгороде, но нет никаких сведений о сопротивлении ему в Киеве, где христианство имело уже более чем столетнюю историю,— правда, историю, не лишенную борьбы и острых противоречий.

Как уже говорилось, Аскольд вместе с определенной частью киевлян принял христианство не позже 867 года. Но сменивший его князь Олег и его ближайшее окружение были и, очевидно, остались верны русским языческим богам. Это ясно из текста договора Олега с Византией, который заключен «на

[5] Русанова И. П. Курганы полян X—XII вв. — М., 1966, с. 26.
[6] См. Янин В. Л. Летописные источники о крещении новгородцев (о возможном источнике Иоакимовской летописи). — В кн.: Русский город. Исследования и материалы. Вып. 7. М., 1984, с. 49—55.

укрепление и на удостоверение многолетней дружбы, существовавшей между русскими и христианами», то есть византийцами (это четкое разграничение, в котором слово «христиане» означает именно и только византийцев, проходит через весь договор). Согласно летописи, Олег «вопрошал» о своей смерти «волхвов и кудесников», а вовсе не священников.

Однако есть все основания полагать, что христианство в начале правления Олега все же продолжало развиваться. Как уже говорилось, именно при Олеге христианское епископство на Руси переросло в митрополию. И многие из русских, посещавших тогда Константинополь, по-видимому, были или становились христианами. Согласно летописи, императоры Лев, а затем Александр дали следующее распоряжение о людях Руси в Константинополе: «Прибывающие сюда русские пусть обитают у церкви святого Маманта». Надо полагать, что речь шла о не раз приезжавших в Константинополь и так или иначе причастных христианству людях. Ведь здесь же сообщается, что император Лев, приняв послов Олега, «приставил к ним своих мужей показать им церковную красоту... уча их вере своей и показывая им истинную веру».

Распространение христианства на Руси уже в IX веке прочно подтверждено «независимым» — арабским (точнее, персидским; но Иран тогда был в составе Арабского халифата) — источником. Это «Книга путей и стран» выдающегося географа Ибн Хордадбеха, который служил начальником почтового ведомства в Джибале — северо-западной провинции Ирана, расположенной около Закавказья, и поэтому был хорошо осведомлен о положении в Восточной Европе. В его книге, написанной, вероятнее всего, в 880-х годах, сказано:

«Если говорить о купцах ар-Рус, то это одна из разновидностей славян. Они доставляют заячьи шкурки, шкурки черных лисиц и мечи из самых отдаленных окраин страны славян к Румийскому морю [7]... Если они отправляются по Танису [8] — реке славян, то проезжают мимо Хамлиджа, города хазар [9]... Затем они отправляются по морю Джурджан [10] и высаживаются на любом берегу... Иногда они везут свои товары от Джурджана до Багдада... Они утверждают, что они христиане...» [11].

Точное описание путей русских купцов (начиная с того, что названные товары приходят именно из «отдаленных окраин» — то есть из Северной Руси) побуждает не усомниться и в верности определения их религиозной принадлежности. Таким образом, купцы Руси, торговавшие с Византией, а также с городами Кавказа и Арабского халифата, уже к 880-м годам были христианами. Но, конечно, христианство распространялось тогда на Руси не в одной только купеческой среде. Поэтому нет ничего неправдоподобного в византийских сведениях (относящихся ко времени после 880 года) о существовании митрополии Руси.

Правда, позднее,— по-видимому, в 930-х годах — христианство на Руси претерпело суровое подавление (об этом еще будет речь), и русская митрополия прекратила свое существование и была возобновлена лишь в самом конце столетия, после Крещения при Владимире.

Но, зная это, мы имеем и свидетельства о том, что при Игоре, в 940-е годы, на Руси было немало христиан. Если в договоре Олега с Византией «христианами» названы именно и только византийцы, то в позднейшем договоре Игоря русские неоднократно и последовательно делятся на два «разряда»: «те из них, которые приняли Крещение», и «те из них, которые не крещены», поклоняются Перуну; «пусть клянутся наши русские христиане по их вере, а нехристиане по закону своему» и т. д.

И под 945 годом (хотя описываемые события относятся, скорее, к 944 году) в летописи сказано, что Игорь «пришел на холм, где стоял Перун... и присягали Игорь и люди его — сколько было язычников между русскими. А христиан русских приводили к присяге в церкви святого Ильи... это была соборная церковь, так как много было христиан...». Из этого ясно, в частности, что и к

[7] Черное море.
[8] Дон.
[9] Позднее — Итиль.
[10] Каспийское.
[11] Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. — Баку, 1986, с. 124.

тому времени в Киеве было уже несколько христианских храмов, ибо один из них был главный, соборный. С другой стороны, очевидно, что христиане были представлены в высшем слое киевлян, в ближайшем окружении князя, которое непосредственно участвовало в договоре с Византией.

Следовательно, христианское содержание вполне могло проникнуть в русский эпос по крайней мере не позже 940-х годов, а не только после официального Крещения Руси. Не приходится уже говорить о времени правления (или, точнее, регентства) Ольги, принявшей христианство (о чем — ниже).

Правда, в последние годы правления выросшего на языческом Севере Святослава были сильные гонения на русских христиан. Речь идет именно о самом конце его княжения; ранее он, согласно летописи, «если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем». В труде О. М. Рапова это совершенно основательно объяснено: когда Святослав, приглашенный в 967 году на помощь византийцами, в конце концов (в 970-м) оказался в состоянии войны с ними, русские христиане начали так или иначе противостоять ему, поскольку Византия в их глазах была высшим воплощением христианства.

Как пишет О. М. Рапов, «русы-христиане, заинтересованные в упрочении русско-византийских отношений... приняли участие в походе Святослава» (в 967 году). Но возникший позднее острый конфликт между Святославом и Византией «не мог быть одобрен русами-христианами, входившими в состав войска... Святослав, придя к выводу, что русы-христиане, находящиеся в его войске, по существу, являются союзниками византийцев, тайной агентурой империи, решил с ними расправиться. Он задумал уничтожить также и главные рассадники христианства на Руси — храмы... некоторые из них, в том числе и церковь св. Николая... были разрушены... Археологические раскопки в Киеве показали, что языческое святилище, возведенное князем Владимиром в конце 70-х — начале 80-х годов X в., было поставлено на месте христианского храма, остатки которого — камни и обломки штукатурки с фресковой живописью,— были найдены под фундаментом святилища» (указ. соч., с. 190, 191, 192).

Вместе с тем О. М. Рапов напоминает, что Святослав, специальные посланцы которого разрушали храмы «изменников»-христиан в Киеве, сам туда уже не возвратился, погибнув в 972 году от руки печенегов, и не смог «искоренить христианство в Киевской земле» (с. 192). А сын его Владимир, начав свой путь по языческим заветам отца, позднее крестился и крестил Русь. Тогда же, в конце X — начале XI века, завершилось формирование русского эпоса, в котором совершенно внятно христианское содержание. Но исходя из того, что известно нам о предшествующем — начиная с 860-х годов — развитии христианства на Руси, есть все основания полагать, что те или иные христианские мотивы вошли в эпос еще задолго до официального Крещения.

Нельзя, в частности, не обратить внимания на тот факт, что главная церковь в древнейшем Киеве, воздвигнутая не позже 944 года, была церковью Ильи — самого «воинствующего» из христианских пророков — и что именно богатырь по имени Илья оказался *главным героем* русского эпоса. Едва ли это «случайное» совпадение. Особое признание св. Ильи в древнем Киеве ясно выразилось и в том, что Ярослав Мудрый дал это имя своему *старшему*, первому сыну, который и должен был наследовать его власть, однако рано, около 1020 года, умер (будучи наиболее важным тогда, после Киевского, князем — Новгородским).

Уместно вспомнить здесь и о том, что один из наиболее монументальных героев русского эпоса, Микула (то есть Николай) Селянинович, носит имя святого, которому был посвящен *древнейший* из известных нам русских храмов, воздвигнутый еще при Аскольде. И трудно усомниться в том, что имена основных героев эпоса, создававшегося в течение длительного времени и при участии многих людей, не могли, повторюсь, быть случайными.

Поэтому соответствие особенной «избранности» в X веке и эпических, и русско-христианских имен Илии — Ильи и Николая — Микулы свидетельствует о глубокой связи эпического творчества с христианством, — хотя неоспорима, конечно, и достаточно мощная языческая стихия эпоса, во многом сохранившаяся в нем до нашего века. Впрочем, взаимопроникновение язычества и право-

славия присуще отнюдь не только эпосу, но и всем восходящим к древности формам русской культуры и быта [12].

Взаимопроникновение христианских и эпических Ильи и Николы отмечено (правда, весьма бегло) в книге Б. А. Успенского, посвященной теме «реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского». Автор показывает, что «выделение и соотнесение Ильи и Николы очень характерно вообще для русского религиозного сознания, ср., например, следующие свидетельства из Переславского уезда Ярославской губернии: «Чтим всех святых, а святителя Николая и пророка Илию на первом плане» ...отношения Ильи-Пророка и Николы... могут отражаться в фольклоре в отношениях Ильи Муромца и Микулы Селяниновича; весьма знаменательно в этом плане запрещение Илье Муромцу биться с Микулой и с родом Микулиным, мотивированное тем, что Микулу «любит матушка сыра-земля»...» (здесь ссылки на былины из собрания П. Н. Рыбникова). «Образ Микулы Селяниновича,— заключает Б. А. Успенский,— вообще непосредственно смыкается с образом св. Николая-земледельца... данная функция признается специфичной для Николы, который противопоставляется другим святым именно как покровитель земледелия... Достаточно выразительна и поговорка: «На поле Никола — общий Бог...» или в другом варианте: «На поле Никола один Бог» [13].

Словом, взаимопроникновение язычества и христианства лежит в самой основе эпического мира, поскольку это взаимопроникновение было жизненной реальностью во времена создания русского эпоса.

М. Н. Тихомиров говорил в своем докладе «Начало христианства на Руси» (на конференции русских и английских историков в Лондоне в 1958 году):

«Посвящение соборной церкви в Киеве X в. пророку Илье вводит нас в обстановку борьбы христианства с язычеством. Христианская церковь на Руси заменяла языческих богов соответствующими святыми... Так, пророк Илья, изображаемый на иконах едущим по небу на огненной колеснице, явно был призван заменить Перуна-громовержца. В древних русских городах мы почти всюду находим церкви в честь Ильи» [14].

Примечательно и дошедшее до нас предание о Божьем угоднике «великане и богатыре» Илье Муромце, чьи мощи еще в XVII веке находились в Антониевой пещере Киево-Печерского монастыря. Об этом сообщал, например, в своей изданной в 1638 году книге «Тератургима, или чудеса...» инок этого монастыря Афанасий Кальнофойский [15].

А. Н. Веселовский связывал это предание с былинным мотивом:

...Во Киеви богатыри ушли в монастыри... [16]

Трудно решить вопрос, насколько достоверна фигура угодника Ильи; в Киево-Печерском патерике, составленном в начале XIII века, он не упомянут. Но угодник этот еще и сегодня почитаем русской церковью (в православном календаре его память свершается 19 декабря). Возможно, что дело идет о совершенно другом человеке с именем богатыря, с которым его впоследствии отождествляли. Однако нельзя исключить и предположения о том, что в древнейшей, связанной еще с митрополитом Иларионом, пещере Лавры, начавшей свое существование к середине XI века, в самом деле был погребен реальный «прототип» героя эпоса. Во всяком случае показательно это «слияние» богатыря и печерского монаха — слияние, в котором выразилось единство языческого и чисто христианского начал.

Для более ясного понимания проблемы следует хотя бы очень сжато очертить ход «борьбы» христианства и язычества после гибели Святослава. Как уже говорилось, его посланцы в 970 (или 971) году пытались искоренить христианство в Киеве. Однако в 972 году в Киеве начал править его старший сын Яро

---

[12] См. об этом, например: Носова Г. А. Язычество в православии. — М., 1975.
[13] Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. — М., 1982, с. 35, 54, 55.
[14] Тихомиров М. Н. Древняя Русь. — М., 1975, с. 266.
[15] См. Лобода А. М. Русский богатырский эпос. — Киев, 1896, с. 15—19.
[16] Веселовский А. Н. Южно-русские былины. СПб, 1881, с. 33.

10*

полк, воспитанный своей умершей в 969 году бабкой христианкой Ольгой (Святослав ведь все последние годы провел в дальних походах) и женатый, по сообщению «Повести временных лет», на гречанке, к тому же — бывшей монахине. Поэтому вполне достоверными, как доказывает в своем исследовании О. М. Рапов, являются сведения Иоакимовской и Никоновской летописей (нередко, как известно, оспариваемые), согласно которым Ярополк «любяше» христианы, «аще сам не крестися народа ради, но никому не претяше», и «христианам даде волю велику», а, кроме того, в 975—976 годах «приидоша послы от греческого царя к Ярополку» (см. О. М. Рапов, указ. соч., с. 196—200).

Но в 978 (или, по другим данным, в 980-м) году Ярополка свергнул его младший брат Владимир Святославич, который с 969 или 970 года правил на севере, в Новгороде, куда — о чем уже шла речь — христианство еще почти не проникло. Владимир прочно утвердил язычество, создав в Киеве целое святилище, увенчанное монументальным идолом Перуна. Как говорил М. Н. Тихомиров, «проводниками языческой реакции были Владимир и его дружина, приведенная с Севера». Но «Владимир утвердился в Киеве в 980-м, а уже через 9 лет принял христианство [17]. Объяснить такой быстрый переход от язычества к христианству легче всего тем, что Владимир нашел в Киеве среду, прочно связанную с христианством» (цит. соч., с. 268, 269).

Одним из убедительнейших доказательств существенной развитости христианства на Руси еще до официального Крещения является исключительно быстрый расцвет русской Церкви после 988 года. К середине XI века, то есть при всего-навсего втором поколении после Крещения, уже был сотворен высочайший образец христианской литературы — «Слово» митрополита Илариона, начала создаваться Киево-Печерская лавра — истинный светоч новой Веры (уже в XI веке давший таких людей, как преподобные Антоний, Феодосий, Никон Великий, Нестор и др.), а к 1072 году были окончательно канонизированы (почитание их начало складываться еще в 1020-х годах) русские святые — Борис и Глеб, и готовилась канонизация равноапостольных святых Ольги и Владимира и т. д. [18].

Едва ли возможно было столь скорое становление православной Руси, если бы ему не предшествовало двухвековое (а не полувековое, если исходить из официальной даты) развитие христианства. Вместе с тем, как уже отмечалось, нельзя закрывать глаза и на тот факт, что в IX—X веках христианство тесно переплелось с язычеством, ибо не было господствующей, государственной религией. Это переплетение рельефно запечатлелось в русском эпосе.

Говоря о взаимодействии христианства и язычества, мы должны иметь в виду, что дело идет при этом о «верхних» слоях населения Киевской Руси IX—X века, непосредственно влиявших на государственную политику и приведших в конце концов к официальному принятию христианства. Но именно в этих слоях сложился, очевидно, и эпос.

Ставя вопрос о том, в какой социальной среде был создан эпос, «классик былиноведения» В. Ф. Миллер писал в своем «Очерке истории русского былинного эпоса», подытожившем его многолетние исследования:

«...эта поэзия носила аристократический характер, была, так сказать, изящной литературой высшего, наиболее просвещенного класса, более других слоев населения проникнувшегося национальным самосознанием». Былины «были слагаемы и распространялись в среде населения... по современным понятиям, принадлежавшего к «интеллигенции»... Если эти эпические песни... и доходили до низшего слоя народа — до земледельцев, смердов и рабов, то могли только искажаться в этой темной среде, подобно тому, как искажаются в олонецком и архангельском простонародье современные былины, попавшие к нему из среды... более богатого и культурного класса» [19].

К 1930-м годам эта точка зрения была более или менее общепринятой. Однако в середине тридцатых она подверглась столь сокрушительному идеологи-

[17] Даты, как уже сказано, «колеблющиеся».
[18] См.: Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации (XI—XVI вв.). — М., 1986, глава 1.
[19] Миллер Вс. Очерки русской народной словесности, — т. III. М., 1924, с. 27, 28.

ческому разгрому — как «вреднейшая» теория «аристократического происхождения» эпоса, — что и вся историческая школа изучения былин, в русле которой родилась эта самая теория, была сочтена чуждым и враждебным явлением. И только через несколько десятилетий совершилась «реабилитация» исторической школы [20].

В процитированных суждениях В. Ф. Миллера есть небрежные и слишком заостренные формулировки, но в принципе он, без сомнения, прав. Эпос сложился к началу XI века именно в наиболее «просвещенной» (разумеется, для того времени) среде, а к концу эпохи Ярослава Мудрого, когда митрополит Иларион, обращаясь к современной ему «просвещенной» среде, мог уже сказать:

...что в иных книгах писано
и вам ведомо,
то здесь излагать — пустая дерзость
и желание славы.
Ведь не к несведущим пишем,
но к преизобильно насытившимся
сладостью книжной,—

былины, так сказать, сошли с авансцены культуры в менее просвещенную среду.

Это ясно выразилось, между прочим, в судьбе культа святого Ильи. Он утвердился вначале как «замена» Перуна-громовержца и, без сомнения, не случайно имя Ильи получил (в конце X или начале XI века) первенец Ярослава Мудрого. Однако в дальнейшем неизвестен ни один князь с этим именем — едва ли не потому, что культ Ильи, в котором переплелись язычество и христианство, перешел в менее просвещенные слои населения Руси. Но такова же была, по всей вероятности, и судьба эпических сказаний об Илье. Стоит отметить, что явный отход от культа Ильи в верхних слоях киевского общества в эпоху Ярослава представляет собой еще один «датирующий» признак: эпос, в котором главный герой — Илья, сложился, очевидно, в дояславово время.

Если же говорить о доярославовом времени вообще, сплетение языческих и христианских воззрений было присуще тогда именно наиболее просвещенной, связанной с византийской культурой среде, в которой и сложился героический эпос, оказавшийся в конце концов достоянием крестьянства Поморья.

Уже шла речь о невозможности создания эпоса в самой этой крестьянской среде — хотя бы в силу того, что в былинах с полным знанием дела воссоздано вооружение древних воинов. В. Ф. Миллер (см. выше) счел нужным заявить, что былины «могли только искажаться в этой темной (крестьянской. — В. К.) среде». Его ученик и продолжатель Б. М. Соколов в рассуждении, озаглавленном «Крестьянский слой в былинах», утверждал, что эпос «отнюдь не является продуктом творчества крестьянского класса. Последний является лишь наследником поэтического былинного творчества других социальных групп. На долю крестьянства едва ли придется сложение хоть одного былинного сюжета. Не так сильно сказалась на былинах и творческая переработка и приспособление к новой социальной среде старых сюжетов. Наиболее существенным фактом этой крестьянской переработки является превращение важнейшего былинного героя Ильи Муромца в крестьянского сына из города Мурома села Карачарова вместо прежнего Муравленина из Муровийска и г. Карачева Черниговщины... Есть основания сближать некоторые черты и даже сюжеты былин об Илье Муромце... с подробностями из деятельности одного из казацких самозванцев Лжепетра Илейки, то есть Ильи Ивановича Коровина, родом из Мурома» [21] (отсюда — эпитет к Илье — «старый казак»).

В этих суждениях есть излишняя полемическая резкость, но в принципе их едва ли можно оспорить. Героический эпос сложился, без сомнения, не в крестьянской среде, но, впоследствии усвоенный ею, испытал несомненное переосмысление. Б. М. Соколов явно недооценивает факт превращения главного героя эпоса в «крестьянского сына» и «старого казака». Без этого, возможно, эпос и не сохранился бы до XX века в крестьянской среде...

Мнение о том, что первоначальный «Илья Муравленин» (другие варианты —

[20] См. об этом Емельянов Л. И. Методологические вопросы фольклористики. — Л., 1978, с. 123—163
[21] Соколов Б. М., проф. Русский фольклор. Вып. 1, М., 1929, с. 35, 36.

Моровлии, Моровец, Муровец) стал значительно позднее Ильей Муромцем, по-видимому, бесспорно. Все упоминания об этом герое эпоса до XVII века, а нередко и позже, не связаны с именем города Мурома. Да и едва ли Муром, расположенный — даже если двигаться по прямой линии — за тысячу верст от Киева и являвшийся вначале племенным центром финского племени (муромы), фигурировал в древнем эпосе. По-видимому, Илья стал «Муромцем» только после Смутного времени, когда прославился один из тогдашних самозванцев — Илейка Муромец (этот действительный уроженец города Мурома объявил себя сыном царя Федора Иоанновича), возглавивший в 1605 году отряды донских и волжских казаков. «Сплетение» героя древнего эпоса и казачьего предводителя, скорее всего, и породило представление об Илье как о муромском уроженце и «старом казаке». Во всяком случае, более достоверна версия о происхождении эпического героя из округи городка Муровийска или Моровийска (впоследствии — Моровска), расположенного между Киевом и Черниговом на реке Десне. Кстати сказать, в некоторых — даже и поздних (XX века) — записях былин Илья называется не «Муромцем», а «Муровцем».

Но важно не упустить более существенный смысл изменения имени богатыря: «перенос» его происхождения в далекий «провинциальный» Муром, да еще и в село Карачарово, без сомнения, связан с его превращением в «крестьянского сына» и «старого казака», то есть в истинно народного героя. Это, повторюсь, помогло сохранности эпоса в крестьянской среде.

Вместе с тем важно отметить, что христианское содержание эпоса было, скорее всего, изначальным. Малоправдоподобно представление, согласно которому христианскую «тему» внесли поморские крестьяне: выше уже приводились авторитетные суждения о почти полной «неизменности» эпоса в крестьянской среде. Если бы первоначальный эпос был чисто «языческим», он, вероятнее всего, сохранил бы это качество в бережной передаче, осуществлявшейся династиями сказителей Поморья.

Не исключено, что в моих суждениях усмотрят определенное противоречие: с одной стороны, я говорю об очень раннем проникновении в Поморье былин с их христианско-языческой природой, но вместе с тем полагаю, что христианство утвердилось в Северной Руси (в частности, в Новгороде) намного позднее, чем в Киевской земле. Уместно ли считать, что население Поморья могло усвоить и сохранить несущее в себе христианское (а не только языческое) содержание былины?

До недавнего времени действительно считалось, что в Северную Русь, взятую в целом, христианство продвигалось весьма медленно. Даже находя в северных погребениях XI—XII веков кресты и образки (иконки), археологи стремились доказать, что эти предметы христианского культа являли собой в глазах их владельцев либо «украшения» (то есть «чисто декоративные предметы»), либо «амулеты-обереги» (которые воспринимались только в «языческом» плане)[22]. Но в самое последнее время тщательно изучивший множество погребений в юго-западных районах Поморья археолог Н. А. Макаров обоснованно показал, что кресты и иконки (среди них образки Богоматери, Спасителя и — это существенно — святого Георгия), найденные им в древних захоронениях середины XI—XII веков, «отражают стремление новообращенных христиан найти элементы обрядности, символизирующие переход к новой религии». Притом, что особенно важно отметить, «местом изготовления крестиков с эмалью считают Киев, отсюда, же происходят, очевидно, инкрустированные образки с изображением Спаса»[23].

Общая картина вырисовывается достаточно ясно: в Северной Руси в целом и особенно в Новгороде христианство утверждалось не столь уж быстро, но в Поморье — о чем подробно говорилось — первоначально (до последней четверти XI века) шли — через Ладогу — выходцы из Киевской Руси, приносившие с собой оттуда и христианство, и героический эпос. Правда, в тех районах, которые

---

[22] См. Мальм В. А. Крестики с эмалью. — В кн.: Славяне и Русь: — М., 1968. с. 116; Седова М. В. О двух типах привесок-иконок Северо-Восточной Руси. — В кн.: Культура Средневековой Руси., Л., 1974, с. 194.

[23] Макаров Н. А. К оценке христианизации древнерусской деревни в XI—XIII вв. (погребения с крестами и образками в могильниках Белозерья и Каргополья). — В кн.: Славяно-русские древности, Краткие сообщения Института археологии. Вып. 205, М., 1991, с. 20, 18.

исследовал Н. А. Макаров, поток ладожских переселенцев был позднее, в XII веке, «перекрыт» более мощным потоком из Ростовской земли, и поэтому былины здесь почти не сохранились. Но изученные археологом погребения новообращенных христиан в этих местах (наиболее ранние из этих погребений относятся к середине XI века) свидетельствуют, очевидно, о появлении здесь переселенцев из Киевской земли (откуда были принесены и упомянутые выше иконки).

В уже цитированном труде А. Н. Насонова доказывается, что «на новгородский север (то есть Поморье. — В. К.) первоначально распространялось влияние Ладоги»; только «к концу 70-х годов XI в. Новгород уже распространил свои «становища» в Заволочье»[24]. (Заволочье — земли к востоку от Белого и Онежского озер.) Ладога же была своего рода северным филиалом Киева, и именно ладожане столь рано принесли в Поморье христианство — в том числе и христианское содержание былинного эпоса.

II. МЕСТО И РОЛЬ РУСИ И РУССКОГО ЭПОСА В ЕВРАЗИИ IX—X ВЕКА

Выше уже говорилось, что героический эпос может родиться и рождается на почве героического века, когда, в частности, государственность еще не устоялась, не отвердела так, как это свершилось на Руси в эпоху Ярослава Мудрого (кстати сказать, само это прозвание верховного правителя не соответствует веку героики; мудрость означает уравновешенность, определенное спокойствие, примиренность). И вполне закономерно, что имя Ярослава, несмотря на всю его значительность, ни разу не упоминается в былинах.

Понятие же о героическом веке (и эпосе) имеет один очень важный сопровождающий его, соответствующий ему признак. В трактате А. Н. Робинсона «Литература Древней Руси в литературном процессе Средневековья XI—XIII вв.» (1980) есть раздел «Древнерусский народный эпос в соотношениях с эпосом Востока и Запада», в начале которого приведен известный тезис А. Н. Веселовского:

«Народный эпос всякого исторического народа по необходимости международный». В этом блестящем афоризме А. Н. Веселовского заключены проблема и программа непреходящего значения»[25]. Это действительно так. Одно из условий величия эпоса состоит в том, что он не замыкался в бытии одного народа, тяготел в конечном счете к общечеловеческому, всемирному бытию, — хотя в тот или иной исторический период «мир» имеет, понятно, определенную «ограниченность», за рамки которой взор творцов эпоса не может выйти. Так, для русского эпоса «мир» — это западная часть Евразии (и то не во всей ее цельности, а, скажем, на пространстве с запада на восток от Священной Римской империи германской нации до Хорезма и с севера на юг от Скандинавии до Арабского халифата).

Историю Руси IX—X веков, а также и создававшийся в это время русский эпос, как уже говорилось, нельзя понять без осознания действовавших в непосредственном (или, во всяком случае, оказывающем прямое влияние) соприкосновении с ней исторических сил — Скандинавии с ее чрезвычайно активными отрядами викингов, Хазарского каганата, Византийской империи, а также и более отдаленных — Священной Римской империи германской нации, государственных образований Закавказья, неразрывно связанных с Арабским халифатом и культурой Ирана, и т. д. Весь этот мир, вся эта, пользуясь словом А. Н. Веселовского, «международность» так или иначе содержится в русском эпосе, хотя и воплощена нередко в специфических — фольклорных и мифотворческих — образах.

Одним из ярчайших и убедительнейших подтверждений «международности» русского эпоса является тот давно установленный факт, что Русь, а подчас даже и сами герои ее эпоса вошли в эпосы других народов Евразии. Так, объединяющий герой русского эпоса князь Владимир является (под именем Валь-

---

[24] Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. — М., 1951, с. 104—105.

[25] Робинсон А. Н. Литература Древней Руси в литературном процессе Средневековья XI—XIII вв. — М., 1980, с. 116.

демар) и героем исландского[26] эпоса, прежде всего «Саги об Олафе Трюггвассоне», записанной в XII веке, но в устной традиции возникшей, несомненно, раньше (норвежский король Олаф был современником Владимира)[27].

А в норвежской (правда, исходящей из немецких преданий) «Саге о Тидреке Бернском» Владимир (Вальдемар) выступает уже рядом с Ильей (Илиас), который представлен здесь как побочный брат Владимира. Действие саги развертывается непосредственно на Русской земле (Ruzcialand), упоминаются Новгород (Hollmgardr), Смоленск (Smaliski), Полоцк (Palltaeskiu) и т. п. Сага была записана в 1250 году, но западные исследователи относят ее возникновение ко времени не позже X века[28]. Наконец, Илья Русский (Ilias von Riuzen) — герой ряда произведений германского эпоса, прежде всего поэмы «Ортнит», записанной в 1220—1230-х годах, но сложившейся намного ранее[29].

Итак, русский эпос непосредственно проник в эпический мир Севера и Запада. На Юге, то есть в Византии, это едва ли могло произойти, так как византийская литература (в частности, эпическая) была тогда на совершенно иной стадии развития. Русь достаточно рельефно отразилась в византийской историографии IX — начала XI веков (особенно в «Истории» Льва Диакона, написанной в конце X века), а также в религиозно-поэтических сочинениях выдающегося Константинопольского патриарха Фотия (820—891). И можно утверждать, что в византийском изображении Русь тоже предстает как героико-эпическая сила, хотя речь идет о сочинениях совсем иных жанров.

Далее, что касается Востока, у нас нет сведений о наличии эпоса в Хазарском каганате; скорее всего его не было и не могло быть из-за самого характера этого государства. Но в дошедших до нас хазарских документах («письмах») Русь опять-таки является в качестве очень весомой и активной исторической силы.

Наконец, Русь заняла выдающееся место в эпосе Юго-Востока, правда, в уже не устном, а литературном эпосе — поэме Низами Гянджеви «Искендер-наме», созданной в конце XII века. Собственно говоря, речь должна идти о первой книге этого произведения — «Шараф-наме» («Книга о славе»), ибо вторая книга, «Икбал-наме» («Книга о счастье») — это по сути дела не эпос, а своего рода философский комментарий к нему.

«Шараф-наме» — повествование о деяниях и подвигах идеального правителя и полководца, которому Низами дал имя величайшего из великих Искендера (то есть Александра Македонского), что имело не столько «историческое», сколько символическое значение. И ни много ни мало шестая часть «Шараф-наме» (более 2000 строк) посвящена изображению битв Искендера с русскими[30], которые во главе с Кинтал-Русом[31] вторглись в Закавказье. Речь идет о действительно имевших место нескольких походах Руси в города восточной части Закавказья, совершившихся в первой половине X века (один из них, по-видимому, относится даже еще к IX веку)[32]. Подробность, конкретность повествования Низами о войне с русами убеждает в том, что он, создавая свою поэму через четверть тысячелетия после этих походов Руси, опирался на не дошедшие до нас предания — то есть, по-видимому, устный эпос, восходящий к X веку. Истинной героикой отмечены образы не только Искендера и его сподвижников, но и русских воинов: они предстают как настоящие «богатыри», и лишь в седьмом по счету

[26] Как уже говорилось, Исландия сыграла для скандинавского и, шире, германского эпоса ту же роль, что и Поморье для русского.

[27] См.: Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX—XIV вв. (материалы и исследования). — М., 1976, с. 27, 29, 30 и др.

[28] См. обстоятельное исследование: Веселовский А. Н. Русские и вильтины в саге о Тидреке Бернском (Веронском). — СПб. 1908, с. 1—9 и далее; в книге опубликован перевод «русских» частей саги. Тема эта породила весьма большую отечественную и зарубежную литературу.

[29] См., например, новейшую работу: Глазырина Г. В. Илья Муромец в русских былинах, немецкой поэме и скандинавской саге. — В кн.: Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. М., 1978, с. 192—202.

[30] См.: Низами. Искендер-наме — М., 1953, с. 353—423

[31] Н. Я. Половой считает, что речь шла об известном воеводе князя Игоря, а затем Святослава, Свенельде (он сопоставляет разные формы написания его имени: Свенгельд, Свангельд, Сфанкел, Свангелд с данным у Низами Кинтал, Квинтал) — см. его работу «О русско-хазарских отношениях в 40-х годах X века», — «Записки Одесского Археологического общества», т. 1 (34), 1969, с. 353, но исследователь творчества Низами Рустам Алиев утверждает что «в оригинале было слово «Киниаз-е Рус», что означает «русский князь». (см. Низами. Стихотворения и поэмы. Л., 1961, с. 763).

[32] См., например: Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда X—XI веков. — М., 1963, с. 150.

сражении Искендер побеждает Кинтала (или, согласно прочтению Р. Алиева, «киниаза Рус»), а затем заключает с ним почетный мир.

Итак, героико-эпическая реальность Руси IX—X веков нашла самое весомое воплощение в эпосах соседних и даже более отдаленных народов и племен. Кстати сказать, время создания этих эпосов либо, по крайней мере, время запечатленных в них событий так или иначе совпадает с намеченной выше датировкой самого русского эпоса (IX—X вв.)

Выше приводились произнесенные в 1049 году слова митрополита Илариона о Русской земле, которая, мол,

**ведома и слышима
всеми четырьмя концами земли.**

Но надо сказать, что в середине XI века это утверждение было уже как бы подведением итогов тех судеб Руси, которые свершились в IX — начале XI века; Русь послеярославовых времен в значительной мере замкнулась на своих «внутренних» делах. А это значит, в частности, что период после XI века не был благоприятным для творения эпоса в истинном смысле этого слова, который (вспомним слова Веселовского) есть явление принципиально «международное».

Очерченные выше проявления русской эпической «темы» на громадном пространстве от Норвегии до Византии и от германских земель до границы Ирана (если обозначить на карте «круг» распространения этой «темы», его диаметр будет равен 3000 км) достаточно ясно говорят об энергии и активности исторического бытия Руси в героическую эпоху ее юности.

Далее, судьба Руси в это время неотделима от трех чрезвычайно мощных (каждая — по-своему) исторических сил тогдашнего мира — Византийской империи, Хазарского каганата и динамической, движущейся через земли и страны силы викингов, или, иначе, норманнов, а в древнерусском словоупотреблении — варягов (сравнительная малочисленность и раздробленность этого скандинавского феномена как бы компенсировалась его ни с чем не сравнимым в то время динамизмом, который позволил викингам оказывать существенное воздействие на жизнь почти всей Европы и в определенной степени даже за ее пределами).

В последние десятилетия представления о значении, а нередко и самом фактическом участии этих трех сил в истории Руси IX — начала XI веков были во многом расширены, углублены или даже подверглись существенному пересмотру (в крайнем случае, такой пересмотр начался, открывая новые перспективы). Между тем в изучении литературы и культуры в целом это более объективное и глубокое историческое видение пока еще не нашло должного выражения. Поэтому необходимо обратиться к самой реальности истории, породившей те или иные тенденции и явления в искусстве слова и культуры в целом.

РУСЬ И ВАРЯГИ

Начать уместно с викингов, с варягов, поскольку они прямо и непосредственно внедрились в историю Руси (как, впрочем, и целого ряда других государств). Общеизвестен текст из «Повести временных лет» о «призвании» варяга Рюрика в 862 году. Но виднейшие исследователи русского летописания А. А. Шахматов, а за ним М. Н. Тихомиров[33] доказывали, что наиболее древняя (восходящая к 60—70-м годам XI века), не заслоненная позднейшими «переосмыслениями» редакция этого текста представлена в так называемом «Архангелогородском летописце». Эта в сущности поморская летопись побуждает к сопоставлению ее с древней былинной традицией: есть основания полагать, что ее первоисточник был занесен на север, как и былины, начальными переселенцами из Киева через Ладогу в Поморье, где летописец сохранил древнейшие подробности.

В этом летописце, в частности, княжение Кия в Южной Руси отнесено ко времени правления византийской императрицы Ирины, то есть к рубежу VIII—IX веков, а о племенах Северной Руси сказано: «Во времена же Кия (раз-

[33] См.: Шахматов А. А. О начальном Киевском своде. СПб. 1897, с. 52—56; Тихомиров М. Н. Начало русской историографии. — В его кн.: Русское летописание. М., 1979, с. 49—51; а также Васильев Ю. С. Летописное наследие Поморья. — Вспомогательные исторические дисциплины, вып. XI. — Л., 1979, с. 19—22.

рядка моя. — В. К.)... словени свою власть имуще, а кривичи свою, а меряне свою, и кождо своим родом живяше, а чюдь... свою власть имуще и дань даяху за море варягом, от человека по беле векшице на год; а иже (которые. — В. К.) у них живяху вврягн, то те насилия деяху им, словеном, и кривичем, и меряном, и чюди...

И восташа словене, и кривичи, и меря, и чюдь на варяги, и изгнаша их за море, и начаша владети сами в себе, и городы ставити. И восташа сами на ся, и бысть меж ими рать велика и усобица, и восташа город на город, и несть меж ими правды (справедливости. — В. К.). И начаша меж собою пословати (вести переговоры. — В. К.), и снидошася вкупе, и реша (сказали. — В. К.) в себе: «Поищем себе князя, иже бы нами владел и судил по правде»...

Придоша за море к варягом словени, и кривичи, меря, чюдь и реша варягом: «Земля наша добра, и велика, и обилна, а нарядника (начальника, руководителя. — В. К.) в ней нет, поидите к нам княжити и владети нами» [34].

Первое, на что важно обратить внимание, — многозначительное противоречие: до XVIII века это сообщение о призвании варягов воспринималось, как правило, в безусловно положительном плане, а затем вокруг него начались резкие споры. Многие историки и публицисты, обладающие заостренно патриотическим сознанием, усматривают в этом предании заведомо или даже крайне унизительный для Руси смысл и стремятся всячески опровергать летописные тексты, — в том числе и самый факт существования норманской династии.

Все это является, несомненно, очень прискорбной чертой исторического самосознания, ибо представляет собой одно из ярких выражений своего рода комплекса *национальной неполноценности*, присущего, увы, достаточно большому количеству русских людей (в предисловии к этой книге отчасти уже шла речь об этом свойстве).

Ведь, скажем, в Англии, где с 1066 года также правила именно норманская династия, восходящая, кстати сказать, к прямому современнику Рюрика викингу Рёгнвальду и его сыну Рольфу-Роллону (к тому же норманны здесь вовсе не были добровольно «призваны», а завоевали, поработили коренное население страны) [35], этот факт не вызывает подобного чувства унижения и, естественно, не оспаривается, — хотя некоторые патриотически настроенные историки настоятельно стремились доказать, что завоеватели-норманны почти сразу «растворились» в английской среде [36]. В русской же историографии «норманский вопрос» вызвал продолжающуюся более двух веков ожесточенную полемику.

Между тем сей «вопрос» давным-давно нашел истинное решение в размышлениях крупнейшего деятеля отечественной исторической науки В. О. Ключевского. Но в высшей степени характерно, что он в 1870—1890-х годах четырежды начинал записывать мысли об этом «вопросе», однако так и не завершил свои записи и, естественно, не опубликовал; его наброски были обнародованы лишь в 1983 году, через столетие!

Вполне естественно предположить, что историк не высказал открыто свою оценку споров вокруг «норманнского вопроса» из-за его крайней, даже болезненной остроты. В прочитанном публично и напечатанном «Курсе русской истории» Ключевский высказался о «варяжском вопросе» гораздо более смягченно, приглушенно, даже недостаточно определенно (см. Лекцию IX), чем в своих неопубликованных размышлениях.

В одной из рукописей, представляющей собой набросок текста лекции, Ключевский заявлял без обиняков:

«Я знаю, Вы (то есть слушатели. — В. К.) очень недовольны, что все эти ученые усилия разъяснить варяжский вопрос я назвал явлением патологии... такой поворот в умах есть несомненно симптом общественной патологии... [37]. Я охотно готов читать разыскания о том... славянин или немец был дед кн. Владимира и откуда взяты его мать, бабушка и т. д. ...Но когда исследователь подобных вопросов идет прямо в область настоящей, научной истории и говорит, что он разрешает именно вопрос о происхождении русской национальности и русского государства, будет жаль, если он не остановится на границе и не вспомнит, что национальности и государственные порядки завязываются не от этнографического состава крови того или другого князя... Итак, повторяю еще раз, — я совсем не против вопроса о происхождении... первых русских князей... а только против того положения, что в этом вопросе — ключ к разъяснению начала русской национальной и государственной жизни» [38]. Ключевский заметил еще, что наиболее «грубые» суждения сторонников «варяжского происхождения» Руси «задели щекотливое национальное чувство и надолго лишили русскую историческую мысль способности с научным спокойствием отнестись к вопросу» (с. 123).

И в самом деле: «спокойствия» в данном вопросе недостает даже на то, чтобы просто заметить совершенно очевидный факт: «приглашение» или какой-либо иной способ внедрения в ту или иную страну «чужеродных» династий — это чрезвычайно широко распространенное явление. Так, в тех же IX—X столетиях, когда варяги-норманны оказались князьями Руси, германская династия Каролингов (потомков Карла Великого) правила не только в Германии, но и во Франции и Италии; в целом ряде государств Европы занимала позднее престолы знаменитая династия Бурбонов (французов по происхождению); не менее характерны «чужие» династии и для стран Азии и т. д. и т. п.

И более того, правление «пришлых» династий не только типичное, но и *закономерное*, а в определенных ситуациях даже необходимое явление. Достаточно четкое объяснение одной из причин «призвания варягов» дано в самом летописном тексте, из которого явствует, что формирующаяся на Севере русская государственность с самого начала была многоэтничной, многоплеменной, и власть, во главе которой находился представитель одного из «туземных» племен, с легкостью оказывалась или хотя бы казалась несправедливой («и не было среди них справедливости, и встал род на род»...) по отношению к остальным славянским и финским племенам. Отсюда и приглашение «беспристрастного» с этой точки зрения «чужеродного» князя.

Очень многое проясняет здесь основанное на целой цепи фактов суждение из недавнего фундаментального трактата Г. С. Лебедева, отметившего, что феномен «призванного» князя «полностью соответствует позднейшей новгородской традиции приглашения князей, с сохранением основных контрольных функций в руках вечевой администрации» [39]. То есть традиция «призвания» продолжалась в Северной Руси несколько веков.

Но дело отнюдь не только в этом. Когда институт власти еще лишь формируется, народу необычайно трудно выделить главу государства из своей собственной среды, ибо нужна, даже необходима определенная *отчужденность* власти; именно этим и объясняется, по-видимому, такое *обилие* чужеземных династий (проблема эта затронута, между прочим, в трудах М. М. Бахтина). Можно с большими основаниями предположить, что в истории *любой* государственности имеет место такой момент, когда наиболее вероятен именно «чужеродный» правитель, в лице которого государство предстает как нечто с очевидностью «отделенное» от населения. И, при условии соблюдения, пользуясь словами Ключевского, «научного спокойствия», в факте призвания варягов следует, без сомнения, увидеть и этот очень существенный и, так сказать, всеобщий смысл.

Нельзя не обратить внимания и на то несомненное обстоятельство, что феномен «пришлого» властителя давал возможность высоко поднять статус династии — и «удревнить» ее, и воспринимать ее как изначально достойную иметь власть: Рюрик, согласно летописным известиям, был князем (конунгом) и до

[34] Полное собрание русских летописей, т. 37. — М., 1982, с. 56.

[35] Любопытно, что Гита, дочь свергнутого и убитого норманнами в 1066 году короля Англии Гарольда II, нашла прибежище в далекой Руси. В 1068 году Гита вместе с семьей эмигрировала в Данию, ко двору тамошнего короля Свена (его мать была из английского королевского рода), который тогда же или вскоре обвенчался с дочерью Ярослава Мудрого Елизаветой (ранее она была супругой норвежского короля Гаральда III, погибшего как раз в 1066 году). Елизавета, очевидно, и сосватала Гиту и своего племянника Владимира Мономаха, обвенчавшегося с этой английской принцессой (в 1074 или 1075 году).

[36] См. об этом, например, статью М. А. Варга «Нормандское завоевание Англии» в «Советской исторической энциклопедии», т. 10. — М., 1967, с. 343—344.

[37] Это и есть именно то, что можно назвать комплексом национальной неполноценности.

[38] *Ключевский* В. О. Неопубликованные произведения. — М., 1983, с. 113, 114, 115. Редактор книги М. В. Нечкина отметила в предисловии к этой книге, что в прочитанных и опубликованных лекциях «варяжский вопрос» ...«сильно, почти неузнаваемо изменен по сравнению с публикуемыми нами отрывками. Исчезли почти все резкие, острые определения»... (с. 7).

[39] *Лебедев* Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. — Л., 1985, с. 214.

прихода на Русь, и, таким образом, его «право» на власть как бы уходило корнями в некое неведомое, неизмеряемое прошлое, между тем как князь «из своих» неизбежно представал бы в качестве потомка «обычных» людей, из среды которых в сравнительно недавнем, обозримом прошлом был выдвинут его предок — родоначальник династии.

Именно поэтому, как уже говорилось, в допетровские времена «чужеродность» Рюрика высоко ценилась; она ведь даже открыла возможность для создания в начале XVI века версии (разумеется, всецело вымышленной) о происхождении властителей Руси от императорской династии Древнего Рима! И хорошо известно, что очень многие знатные роды Руси стремились утвердить свое «чужеземное» происхождение, хотя это далеко не всегда соответствовало действительности.

Словом, династия, начатая князем, пришедшим из другой страны, имела как бы врожденное, заранее данное право на власть. Именно это было важнее всего и затмевало, делало не столь уж существенным вопрос о «чужеродности» династии.

Что же касается, так сказать, объективной оценки «национальной» стороны вопроса, Ключевский высказался о ней, на мой взгляд, исчерпывающе ясно, полностью отвергнув представление, согласно которому «состав крови того или другого князя» есть «ключ к разъяснению начала русской национальной и государственной жизни». Достаточно, я думаю, оценить тот факт, что уже третий (по летописи, Святослав был внуком Рюрика) или — это гораздо достовернее — четвертый[40] представитель династии Рюриковичей имел русское, а не скандинавское имя.

И, если уж на то пошло, намного более существенной, нежели вопрос о династии, является проблема самого присутствия сотен или даже тысяч варягов-норманнов ва Руси в IX — начале XI века. Достоверно известно, что они многократно приходили на Русь как воины (нередко — наемные), купцы или просто грабители-пираты и оказали весьма значительное воздействие на историю страны.

Сразу же следует сказать, что и эта проблема не может (при условии «научного спокойствия») иметь сколько-нибудь «унизительный» для Руси смысл, ибо норманны, с их не сравнимой в тогдашние времена ни с чем динамичностью, сыграли очень большую роль в истории многих стран Евразии. Этот кочующий, точнее, плывущий по миру этнос пробивал любые преграды и границы.

Вообще при изучении истории становится ясно принципиальное различие человеческих общностей, находящихся в статическом и в динамическом состоянии. Так, совсем, казалось бы, малочисленное население городов-республик Генуи и Венеции, перейдя в «динамическое состояние», подчинило своему влиянию в XII—XIV веках громадную территорию от Гибралтара до Кавказа и в определенных отношениях одерживало победы над большими и даже громадными (как Византийская империя) государствами.

Роль норманнов также способна поразить воображение. Их человеческие ресурсы (то есть население скандинавских стран) составляли на рубеже I и II тысячелетий нашей эры, по всей вероятности, немногим более одного миллиона, между тем как население всей Европы — примерно 45 млн. человек[41]. Тем не менее «норманны, — говорится в специальной работе на эту тему, — подчиняли себе отдельные области Запада, заселяли их, оказывали свое воздействие на их общественный и политический строй». При этом, кстати сказать, в сопоставлении с Западом, «данные топонимики свидетельствуют об относительной немногочисленности скандинавов на Руси (в особенности, если сравнить ее со скандинавской топонимикой на Британских островах)». Вот конкретные данные: «...в среднем в Англии встречается не менее 150 датских названий на 10 тыс. кв. км. На Руси число топонимов скандинавского происхождения, установленное М. Фасмером и Е. А. Рыдзевской, оказывается каплей в славянском море — в среднем 5 названий на 10 тыс. кв. км» (то есть в 30 раз меньше)[42]. И еще: «Одним из важнейших результатов их (норманнов. — В. К.) набегов явилось основание ими государств на территории Англии, Франции, Ирландии...» В XI веке они «захватили, помимо Англии, Сицилию и Южную Италию, основав... «Королевство Обеих Сицилий». Они продолжали играть огромную роль в истории Франции...»[43]

Таким образом, и роль норманнов вообще (а не только династии) в истории Руси ни в коей мере не может как-то «принизить» эту историю, — во всяком случае, не в большей или, точнее, даже в значительно меньшей степени, нежели историю Англии и ряда других стран Западной Европы. И «патриотическое» негодование по поводу призвания и немалого значения норманнов-варягов в ранней отечественной истории — это, по справедливому определению Ключевского, «патологическое» явление, которое следует отмести самым решительным образом.

Уместно сказать здесь же и о другом, также диктуемом «патриотизмом» (уже совершенно «неразумным» и ущербным) поветрии, выражающемся в стремлении как можно более «удревнить» начало Руси (в последнее время это, в частности, связано с не имеющем ни грана достоверности «текстом», называющимся «Влесова книга»). Полная неразумность этих притязаний очевидна: бессмысленно пытаться «превознести» свой народ, свое государство, свою историю «удлинением» их существования во времени.

Во-первых, историческое время — это сложнейшая реальность человеческого бытия, которую нельзя мерить «абстрактным», изучаемым физикой, «временем вообще». Это хорошо показано в недавно изданной (посмертно) книге философа Н. Н. Трубникова (1929—1983) «Время человеческого бытия» (М., 1987). Для человечества и для отдельного народа действительно «свое» время, не сопоставимое прямо и непосредственно с физическим временем.

Во-вторых, даже если мыслить в аспекте «времени вообще», тот факт, что определенный народ и государство сложились ранее, до рождения другого народа и государства, не имеет ценностного значения. Ведь нелепо полагать, что человек, родившийся за столько-то лет до другого человека, в силу самого этого обстоятельства обладает, в сравнении с этим другим, некой дополнительной ценностью. Но точно так же и «ценность» народа никак не зависит от общехронологической даты его формирования. Ценность эта определяется содержанием его собственной истории, его собственного времени. И, наконец: как бы ни удлинять в глубь всеобщей хронологии дату рождения Руси, все равно эта дата будет на тысячелетие и даже несколько тысячелетий более поздней, нежели даты рождения древней Эллады или Ирана, не говоря уже о Шумере или Египте.

Но вернемся к варягам-норманнам. Нет сомнения, что они сыграли весьма и весьма существенную роль в первоначальной истории Руси, хотя роль эта была менее или даже гораздо менее значительной, чем, скажем, в истории Англии, и, помимо того, она была принципиально иной — в частности, в большей степени совпадала с самостоятельной, собственной судьбой страны (между тем как в странах Западной Европы действия норманнов нередко шли как бы наперекор местному «образу» жизни).

Это показано в уже цитированной работе специалиста по «норманской проблеме», который, в частности, полагает, что пришедшим в земли Руси норманнам пришлось «включиться» в исторический «процесс на Руси и принять в нем участие, не изменив существенно ни его хода, ни форм, в которых он протекал»[44].

Речь должна идти, в частности, о том, что «плывущий этнос» норманнов-варягов соприкоснулся на Руси с людьми, для которых движение по рекам и озерам было привычным и необходимым. Восточно-славянские племена, как согласно утверждают современные исследователи проблемы, расселились на своей огромной, почти сплошь лесной территории не ранее VII—VIII веков(то есть

---

[40] Я имею в виду, что Святослав, родившийся около 940 года, приходился правнуком, а не внуком Рюрику, умершему за 60 лет до Святославова рождения.

[41] Козлов В. И. Динамика численности народов. — М., 1969, таблица 12 (между с. 240—241).

[42] Ловмяньский Х. Русь и норманны. — М., 1985, с. 17.

[43] Гуревич А. Я. Походы викингов. — М., 1966, с. 85, 128, 135, 172.

[44] Там же, с. 87.

сравнительно незадолго до появления варягов) и, по-видимому, прежде всего и главным образом по водным путям.

Византийский император Константин Багрянородный, который четко разграничивал варягов и восточнославянские племена, писал в середине X века о последних, что они повсеместно и каждый год «рубят... моноксилы (однодеревки. — В. К.) во время зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы». Далее говорится и о том, что эти однодеревки продают варягам.

Очень характерна своего рода общая картина ранней Руси, обрисованная в «Повести временных лет»:

«...славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами... тут был путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру, а в верховьях Днепра — волок до Ловоти, а по Ловоти можно выйти в Ильмень, озеро Великое; из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево (Ладогу. — В. К.), и устье того озера (река Нева. — В. К.) впадает в море Варяжское (Балтийское. — В. К.)... Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, а Двина из того же леса течет, и направляется на север... Из того же леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское (Каспийское. — В. К.)... А Днепр впадает устьем в Понтийское (Черное. — В. К.) море, это море слывет Русским...»

Поскольку как бы в центре всего здесь находится восточнославянское племя полян, перед нами явно древнее представление о Руси, в основе которого — система рек, озер и, далее, трех морей. Из этого ясно, что, осваивая пути «из варяг в арабы» по Волге и, позднее, «из варяг в греки» по Днепру, скандинавские пришельцы тем самым входили в уже сложившуюся систему бытия «туземных» племен, хотя норманны, несомненно, увеличили, усилили и продолжили в пространственном отношении то движение по водным путям, которое играло первостепенную роль и д о и х п о я в л е н и я.

В. О. Ключевский выдвинул в качестве ядра своей концепции известное положение: «Колонизация страны как основной факт русской истории» [45]. Впоследствии была показана односторонность этого тезиса, но невозможно отрицать существеннейшее значение в истории Руси того явления, которое историк назвал «колонизацией». И она началась за столетие или более до появления варягов, которые только придали ей больший динамизм и размах.

О сравнительно позднем «включении» варяго-норманнов в сложившуюся на Руси систему путей основательно, опираясь на многие отечественные и зарубежные исследования, писал в 1981 году известный историк И. П. Шаскольский: «В IX в. уже существовал путь по Днепру в Черное море... Но... данные археологии делают очевидным, что этот путь еще не был в IX в. варяжским, он не был (как предполагали до недавнего времени многие ученые) проложен норманнами, а использовался... местным восточнославянским населением. «Путь из варяг в греки» как транзитный путь установился не ранее рубежа X столетия» [46]. И у нас нет оснований сомневаться, что князь Кий «ходил» к «Царюгороду» задолго до появления варягов в южной Руси.

Варяги-норманны, появившись на Руси, сыграли роль, которую уместно определить общеизвестным химическим термином, — роль к а т а л и з а т о р а, существенно ускоряющего и интенсифицирующего такой процесс, который развивался бы и сам по себе. Это определение роли варягов — «катализатор» — употребляет Д. А. Мачинский, но, к сожалению, почему-то использует и другое определение — «дрожжи», которое в данном случае неадекватно, ибо это такой компонент, без которого «тесто» навсегда осталось бы «тестом», не превратилось бы в «хлеб». Это особенно странно потому, что сам Д. А. Мачинский здесь же замечает: «Правда, все социально-экономические предпосылки для возникновения государственности имелись к IX в. и в чисто славянской среде, и можно было бы обойтись и своей закваской, но с варяжскими дрожжами получилось бы-

[45] Курс русской истории. Лекция II. — В кн.: К л ю ч е в с к и й В. О. Сочинения в восьми томах, т. 1. — М., 1956, с. 30. Термин «колонизация» во времена Ключевского отнюдь не имел «негативного» значения (в смысле «колониальной политики»). Ср. статью П. Н. Милюкова «Колонизация России» в XV томе «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона, изданном в 1895 году.

[46] Летописи и хроники. 1980. — М., 1981, с. 52—53.

стрее и лучше». Оценочное «лучше» тут, пожалуй, неуместно; достаточно сказать «быстрее», а также «энергичнее».

Роль варягов, без сомнения, была не только очень важная, но и очень заметная: сторонние наблюдатели, скажем, арабские или византийские, нередко замечали прежде всего варягов. При этом весьма быстро протекавшая ассимиляция варягов, их «ославянивание» нарушалось тем, что из Скандинавии в течение IX—X веков время от времени являлись новые волны пришельцев. Важно только оговорить, что в большинстве случаев дело шло о н а е м н ы х воинских отрядах, которые не могли сколько-нибудь существенно влиять на движение истории.

Тем не менее вполне уместно полагать, что в ранней истории Руси имела место «варяжская эпоха», начавшаяся во второй четверти IX века и завершившаяся к середине X века, во время правления княгини Ольги, которая, кстати сказать, согласно летописи, происходила, несмотря на скандинавское имя, из псковских кривичей. Это оспаривалось рядом историков, начиная еще с Татищева, на том основании, что город Псков будто бы возник позднее рождения Ольги. Но новейшие археологические исследования показали, что поселение городского характера сложилось в устье реки Псковы не позднее IX века [47]. Что же касается имени Ольги, сохранилось известие об ее первоначальном имени Прекраса, которое было заменено, когда она обручилась с варягом Игорем (известие это иногда рассматривалось как поздний «патриотический» домысел некоего летописца, но ведь никто из летописцев не пытался придумать славянские имена ни Рюрику, ни Олегу, ни Игорю; не следует забывать также, что сын Ольги получил имя Святослав). Вместе с тем, конечно же, в государственном образовании в Северной Руси, возникшем после «призвания» Рюрика, варяги-норманны играли весьма существенную роль.

По летописной традиции начало правления Рюрика и теперь обычно относят к 862 году. Однако давно установлено, что ранние летописные даты, появившиеся, как это доказано, п о з ж е составления первоначальной летописи, заведомо неверны: датируемые события на самом деле по большей части происходили р а н ь ш е (хотя в некоторых случаях, напротив, позднее).

Так, в «Повести временных лет» утверждается: «В год 852..., когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля». М. Н. Тихомиров писал по этому поводу, что «первое известие о начале Русской земли взято было (русским летописцем. — В. К.) из греческого летописца» [48]. Однако, во-первых, сама эта дата была спутана, ибо византийский император Михаил «начал царствовать» не в 852-м году, а на целых десять лет раньше — в 842-м. Во-вторых, летописцы посчитали необходимым все другие собственно русские события относить ко времени не ранее 852 года. Поэтому, например, в Новгородской Первой летописи время княжения Кия отнесено к 854 году, хотя тут же сказано, что «в си же времена бысть в Гречько земли цесарь, именем Михаил и мати его Ирина» [49]; на самом же деле Ирина была матерью цесаря Константина и правила на полвека ранее, до 802 года. Тот же М. Н. Тихомиров, как уже было отмечено, пришел к очень естественному выводу, что имя Михаила оказалось в этом тексте о Кие из-за сложившегося в какой-то момент прочного убеждения о начале Руси именно во времена Михаила, но в тексте сохранилось и имя правившей на полстолетия ранее Ирины. И время правления Ирины представляет собою, по мысли М. Н. Тихомирова, действительно верную основу для датировки княжения Кия, ибо — это очевидно из летописи — Михаил был современником вовсе не Кия, а позднейшего киевского князя Аскольда и его соправителя Дира, до начала правления которых Кий умер, а его прямые преемники подпали под власть хазар.

Но вернемся к судьбе Северной Руси. События, предшествующие вокняжению здесь Рюрика (дань, наложенная варягами, их насилия над местными племенами, изгнание варягов и т. д.), начались — как явствует из цитированной выше Устюжской летописи, сохранившей древнейшие сведения, — еще во времена Кия, то есть не в середине, а в начале IX века. И «призвание» Рюрика произошло, очевидно, намного ранее, чем в 862 году, ибо уже в 838 (или в 839-м) году из Северной

[47] См. С е д о в В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. — М., 1982, с. 52—57.

[48] Т и х о м и р о в М. Н. Русское летописание. — М., 1979, с. 52.

[49] Новгородская Первая летопись. — М.-Л., 1950, с. 20.

Руси прибыли в Константинополь послы «русского кагана», которые оказались норманнами (шведами). Еще через три десятилетия, в 871 году (когда даже и согласно традиционной датировке, в Северной Руси давно уже правил Рюрик) на Западе были осведомлены, что в Восточной Европе имеются два правителя с титулом кагана (хагана) — хазарский и норманский, — о чем известно из дошедшего до нас письма германского короля (в 843—876 годах) Людовика к византийскому императору Василию I (867—886) [50]. В очень многих работах утверждается, что и в 838, и в 871 годах речь шла о южнорусском, киевском правителе. Однако крупнейший востоковед В. В. Бартольд еще в двадцатые годы доказал, что «каганом» назывался правитель именно Северной Руси; к сожалению, эти его рассуждения почти не стали достоянием историков Руси (о мешающей делу «разобщенности» востоковедения и русистики нам еще придется говорить).

Рассматривая известие о прибытии в 838—839 году послов кагана Руси в Византию, В. В. Бартольд говорил, в частности, следующее: «В 1916 г. Шахматов писал: «Едва ли можно усомниться в том, что эта Русь прибыла в Константинополь из Южной России». Мне это мнение тогда же показалось ошибочным: я был убежден, что имеется в виду то же русское каганство... о котором говорят арабы и которое можно искать только на севере. Известно, что к этому мнению пришел и сам Шахматов в своей работе 1919 г.; там сказано, что послы русского кагана возвращались к себе на родину, т. е. на северо-запад России»... [51]

В. В. Бартольд открыл по-своему замечательное совпадение, согласие двух известий о русском кагане, пришедших из Византии одно за другим в Германию и в Арабский халифат. Дело в том, что в Константинополе с 837 по 845 год находился высокообразованный араб Муслим ал-Джарми, который написал затем фундаментальное сочинение о Византии и соседних с ней странах, включая Русь. Оно не дошло до нас, но послужило основой для множества позднейших произведений арабских географов и историков [52]. Сведения о «русах», восходящие к ал-Джарми, таковы: «... они живут на острове среди озера, причем остров занимает пространство в три дня пути... и покрыт лесами и болотами... У них есть царь, которого называют «каганом русов» (В. В. Бартольд, указ. соч., с. 821). Ученый писал об этом: «Наиболее правдоподобно предположение, что автор IX в. имел в виду область русов у Ильменя... Древнейшее поселение в этом месте — Городище при выходе Волхова из Ильменя, в местности, окруженной со всех сторон болотами и речными протоками. Слова о «трех днях пути» объясняются, конечно, только ошибкой арабского автора; таково было, вероятно, пространство не острова, но всей области русов». (Там же, с. 823—824).

Мне представляется естественным предположение, что под «островом», занимающим «пространство в три дня пути», имелась в виду вся лесная и болотистая территория, расположенная между озерами Ладога и Ильмень (с севера на юг двести двадцать километров по соединяющему их Волхову). И уж во всяком случае речь шла, конечно же, не о Киеве, не о Южной Руси.

Ныне ранняя история Северной Руси, в частности, глубоко исследована и осмыслена в ряде работ археолога и историка Д. А. Мачинского, известных, к сожалению, только очень узкому кругу специалистов. Независимо от В. В. Бартольда он пришел к тем же выводам в решении вопроса о «русском кагане» IX века. Д. А. Мачинский показал, что послы русского кагана в Константинополь, возвращавшиеся оттуда домой через Рейн, двигались этим путем, без сомнения, не в Киев, а через Балтику в Ладогу: «...возвращаться через Нижний Рейн из Константинополя в Киев (как полагают некоторые) [53] было бессмысленно, в то время как путь из низовьев Рейна в Ладогу был уже проторен. Город Дорестад в

[50] См. об этом, например: Ловмяньский Х. Русь и норманны. — М., 1985, с. 195.
[51] Бартольд В. В. Арабские известия о русах. — В его кн.: Сочинения, т. II, ч. 1. — М., 1963, с. 819. Речь идет об известных исследованиях А. А. Шахматова «Введение в курс истории русского языка» (Ч. I, Пг., 1916) и «Древнейшие судьбы русского племени» (Пг., 1919).
[52] См. об этом, напр.: Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX—X вв. — М., 1962, с. 38—39.
[53] Вернее было бы сказать не «некоторые», а почти все историки...

низовьях Рейна, как явствует из данных археологии, с середины VIII века был связан прямыми торговыми связями со Швецией и Ладогой, и с конца 830-х гг. (т. е. как раз во время посольства из Руси. — В. К.) его «держал»... Рорик Ютландский, чье вероятное тождество с русским Рюриком, обоснованное еще в XIX в., подкреплено соображениями ряда исследователей [54]. Послы хакана «народа рос» при проверке оказались «свеонами» (шведами. — В. К.), что опять же говорит о Северной Руси, так как для 830-х гг. присутствие заметной прослойки скандинавов в Киеве исключено, а в Ладоге они археологически улавливаются с 750-х г... коррективы вносит отражающее реальность середины IX в. древнейшее арабское сообщение... о «русах», которые торгуют с халифатом через Хазарию и характеризуются как «вид славян», живущих «в отдаленнейших частях Славии» [55] («отдаленнейших», с арабской — южной — точки зрения, — это, безусловно, означает наиболее северные, то есть ладожские. — В. К.). И именно правитель Северной Руси, заключает Д. А. Мачинский, «принял, в подражание хакану Хазарии, высокий титул «хакана» и отправил послов в Константинополь» (там же).

Речь идет вроде бы об «отдельных» фактах, но они с очевидностью складываются в единую общую картину: не позднее конца 830-х годов в Северной Руси сформировалось государство, «призвавшее» варяжскую династию, которая присвоила себе тюркско-хазарский титул «кагана». Южная же Русь в это же самое время (что четко определено в летописях) оказалась — при преемниках Кия — под властью Хазарского каганата.

Очень многозначителен сам тот факт, что скандинавская династия на Руси называла своих представителей не «конунгами», а «каганами»; это ясно говорит о ее вхождении в местный, восточно-европейский контекст (а не об отстаивании ею своего, скандинавского происхождения). На Западе, где нарастала в те времена грозная экспансия норманнов, в послах Руси с опасением увидели шведов, а самого кагана Руси определили как «норманского». Между тем в многоплеменном, полиэтническом государстве, чья основная территория располагалась между Ладогой и Ильменем, где соединились в одно целое славяне, финны и скандинавы (заложив основу многонациональной на всем ее протяжении русской истории), каган был именно и только «русским», так или иначе противопоставившим себя владевшему южной Русью хазарскому кагану, у которого он с середины IX века начал отвоевывать приднепровские земли.

В имевшейся в распоряжении одного из первых русских историков В. Н. Татищева составленной в XVII веке Иоакимовской летописи (вскоре утраченной) сохранилось известие о том, что поляне (то есть киевляне), притесняемые хазарами, послали на север к «Рюрику предний (знатные. — В. К.) мужи и просити да послет к ним сына или ина князя княжити, он же вдаде им Оскольда и вои с ним отпусти» [56].

Многие (хотя и далеко не все) «иоакимовские» сведения те или иные историки считают домыслами (вернее, интерпретациями) Татищева или же вымыслами самих составителей Иоакимовской летописи. Однако данное сообщение едва ли можно рассматривать как татищевское истолкование, ибо оно никак не «использовано» историком, который к тому же, как известно, склонен был видеть в хазарах одно из славянских племен, а потому от него нельзя ожидать домысла о киевских славянах, ищущих у «варяжского» кагана защиты от кагана славянского...

Нет оснований предполагать здесь и вымысел летописца, ибо он знал, что Аскольд впоследствии был низложен и убит Олегом как «незаконный» властитель, и сообщение о прямом «назначении» Аскольда в Киев самим Рюриком слишком очевидно подрывало авторитет Олега (как я попытаюсь показать в дальнейшем, Аскольд, сумев утвердиться в Киеве, вскоре оказался вассалом хазарского кагана и, в частности, именно потому, вероятно, был низвергнут Оле-

[54] Д. А. Мачинский ссылается здесь на работы Х. Ловмяньского, В. А. Рыбакова, Г. С. Лебедева и др.
[55] Культура Русского Севера. — Л., 1988, с. 47 (работа написана совместно с А. Д. Мачинской). См. также работы Д. А. Мачинского в сборниках: Формирование раннефеодальных славянских народностей. — М., 1981, с. 31—52; Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. — Л., 1982, с. 7—24; Археологические исследования Новгородской земли. — Л., 1984, с. 5—25; Русский Север. — Л., 1986, с. 3—29; Археологический сборник. Вып. 29. — Л., 1988, с. 117—128; а также другие его работы.
[56] Татищев В. Н. История Российская, т. 1. — М.-Л., 1962, с. 50.

гом, стремившимся сбросить власть хазар над южной Русью); в сохранившем (по убеждению А. А. Шахматова и М. Н. Тихомирова) древнейшие сведения «Архангелогородском летописце» сказано, что после свержения Аскольда «иде Олег... на козары» (цит. изд., с. 57).

Словом, вполне возможно, что рассматриваемое «иоакимовское» сообщение запечатлело реальный факт южнорусского посольства к Рюрику с просьбой помочь освободиться от хазарского господства. Сообщение это свидетельствует, в частности, о том, что киевская ветвь восточнославянских племен воспринимала власть северорусского кагана не как нечто чуждое, «норманское», но как родственную — в конце концов, «свою» — государственность, под рукой которой она стремилась оказаться.

Необходимо отметить, что правитель южной, собственно Киевской, Руси с самого начала назывался, очевидно, не каганом, а князем. Об этом свидетельствует тот факт, что в уже упомянутом выше труде арабского географа Ибн Хордадбеха «Книга путей и стран», написанном, скорее всего, в 880-х годах, при перечислении *титулов* правителей различных государств «владыка славян» назван словом «кназ» (а «владыка хазар» — «хаканом»). Трудно усомниться, что речь идет о правителе Киева, ибо к 871 году (см. выше) относится германское известие о «кагане» в Северной Руси. По-видимому, Олег, овладев Киевом, стал называться не каганом, а князем (как назывался и свергнутый им Аскольд). Титул «каган» утвердился в Киеве только после разгрома Хазарского каганата (как известно, каганами звались Владимир и Ярослав).

Итак, варяги, появившиеся в Северной Руси с середины VIII века, вошли в движение русской истории как стимулирующая (о чем уже шла речь), а отчасти и возглавляющая это движение сила, но вошли в него, по сути дела, вовсе не как сила чужая, «внешняя», имеющая свои *собственные* (то есть некие «скандинавские») цели, но как одна из «внутренних» сил, вплетенных в жизнь именно *этой* многоплеменной страны. О том же, что варяжская династия возглавляла государство Руси лишь *отчасти*, лишь в определенной мере, убедительно писал выдающийся польский историк, указавший на необходимость учитывать «роль знати — «мужей» в славянском обществе. Власть фактически была в их руках, без их решительного участия нельзя было прийти к соглашению»[57]. Именно эти местные «мужи» призвали, — вступив с ним в соглашение, договор, — Рюрика в Ладогу, а позднее — согласно сообщению Иоакимовской летописи — Аскольда в Киев.

Нельзя не сказать и о том, что скандинавы, оказавшись на Руси, присоединились к славянским языческим верованиям, а не сохранили свои, германские. Об этом недавно писал историк О. М. Рапов. Тексты договоров с Византией «свидетельствуют, что «варяжский» князь Олег (то есть уже первый преемник Рюрика. — В. К.) и «варяжская» знать клянутся перед византийцами не Одином и Тором — скандинавскими богами, а Перуном и Волосом — чисто славянскими божествами»[58]. Это, без сомнения, очень существенный показатель, убеждающий, что варяги действительно влились в собственное бытие Руси.

Вместе с тем варяги в течение долгого времени были, конечно, особенным, существенно отличным от славянских племен феноменом. И это должно было запечатлеться и запечатлелось в русском эпосе, — в том числе в одной из самых значительных былин — о Вольге и Микуле. Сопоставление и, более того, противопоставление воина и собирателя полюдья Вольги и, с другой стороны, оратая, пахаря Микулы истолковывалось в ряде работ (особенно послереволюционных) в чисто социальном или даже заостренно «классовом» плане. Казалось бы, для этого есть все основания, ибо Вольга — приближенный князя, а Микула, при всей эпической монументальности его фигуры, — «простой» крестьянин. Однако в мире былины они явно *равноправны*, Микула ни в коей мере не выступает в роли подчиненного лица. Речь идет скорее о героях с разными «образами жизни», под которыми просматриваются в конечном счете различные *этносы*. В арабских известиях о варягах на Руси утверждается, что они «ходят в дальние места с целью набегов, а также плавают на кораблях в Хазарское море, нападают на корабли и захватывают товары... у них нет посевов и пашен. И они пользуются обычно славянскими посевами»[59].

[57] Ловмяньский Х. Русь и норманны. — М., 1985, с. 159.

[58] Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. Принятие христианства. — М., 1988, с. 118.

А в былине, записанной в 1860 году П. Н. Рыбниковым от упомянутого выше Т. Г. Рябинина, о Вольге говорится:

Щукой-рыбою ходить ему в глубоких морях,
Птицей-соколом летать ему под оболока,
Серым волком рыскать во чистых полях...

Микула же, хотя ему иногда волей-неволей приходится обрушить свою мощь на каких-либо напавших на него «разбойников», занят все время одним:

Орат а поле ратай, понукивает,
Сошка у ратая поскрипывает...
Орет в поле ратай, понукивает,
С края в край бороздки пометывает;
В край он уедет — другого не видать...

Вместе с тем по просьбе Вольги (опасающегося «разбойников»):

— Ай же, оратай-оратаюшко,
Поедем со мною во товарищах, —

Микула без всяких споров отправляется в путь, то есть речь в былине идет о согласном взаимодействии столь разных героев. И едва ли будет натяжкой видеть в этой стороне содержания былины эпическое воссоздание соотношения варяжского и славянского «составов» Руси.

Правда, основная тяжесть смысла былины в другом — в утверждении безграничной мощи пахаря, в котором воплощена как бы мощь самой возделываемой им земли, и все тридцать молодцев «дружинушки храброй» Вольги даже

...не могут сошки с земельки повыдернути, —

— сошки, которую Микула легко «повыдернул» одной рукой. И это, конечно, тоже эпическое осознание исторического соотношения варяжских воителей-наездников и пахарей-славян.

Но Вольга говорит Микуле:

— Божья ти помочь, оратаюшко!
Орать, да пахать, да крестьянствовать, —

и, при всем высшем утверждении Микулы как основной и несравненной мощи эпического мира, былина тем не менее запечатлела и прочное сотрудничество, взаимодействие двух этнических сил. А именно это призвано в конечном счете сделать и современное историческое осознание соотношения варягов и славянских племен.

В былинном мире эти различные силы уже *объединены* в цельном понятии «Русь», «русский» — между тем как в многочисленных источниках, восходящих к IX — первой половине X века, «русью» называются главным образом варяги, сопоставляемые (или даже противопоставляемые) «славянам». Здесь невозможно (да и не необходимо) рассматривать эту очень сложную лингвистически-исторически-этнографическую проблему, вокруг которой уже два столетия идут споры; для нас существенно то, что в былинах, сформировавшихся к XI веку, эти различные силы уже *слиты воедино* в образе-понятии «Русь».

Но об одном аспекте проблемы названия «Русь» (повторяю, очень сложной) все же следует высказаться. Ныне более или менее общепринято считать, что слово это восходит к финскому «ruotsi», которое означало (в устах представителей финских племен) пришельцев из Скандинавии, прежде всего шведов. При этом надо учитывать, что финны познакомились с этими пришельцами очень рано — задолго до того, как скандинавы начали внедряться в земли будущего русского государства. Финское название, в свою очередь, исходило из северогерманского слова «rods», означающего «гребец, весло, плавание на гребных судах», — поскольку так называли себя пришельцы в своей массе, обозначая не национальность, а так сказать свою профессию, или, шире, образ жизни[60].

[59] Новосельцев А. П. Восточные источники о славянах и Руси VI—IX вв. — В кн.: Древнерусское государство и его международное значение. — М., 1965, с. 399, 400.

[60] См. новейшую работу: Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Название «Русь» в этнокультурной истории древнерусского государства (IX—X вв.). — «Вопросы истории», 1989, с. 24—28.

Далее, слово «ruotsi» перешло и к славянским племенам в форме «русь». Но вот что в высшей степени примечательно: сами пришельцы, оказавшись в той же Ладоге или около будущего Новгорода, стали называть себя именно этим словом. Об этом — как о по-своему даже странном факте — писал интереснейший историк-эмигрант В. А. Мошин: «Почему норманны в 839-м году в Царьграде и в Западной Европе сами себя называют «Rhos» — именем, которым их звали финны?» [9] (и, добавим, славяне). Речь идет о послах кагана Руси; трудно представить, чтобы они называли себя так, имея в виду, что они — гребцы... И, следовательно, эти шведы уже к 839 году так или иначе слились с тем населением, которое они представляли в качестве послов, — слились настолько, что называли себя не собственным, а присвоенным им в финском и славянском языках именем.

А когда через двадцать лет, в 860 году, войско с севера осадило Константинополь, патриарх Фотий говорил о напавшем на его страну «народе»: «так называемые русы». То есть слово, вначале обозначавшее определенную «прослойку», уже перешло на народ в целом.

Трудно обойтись здесь без еще одного соображения. Вполне вероятно, найдутся читатели, которые увидят в этом изложении истории слова «Русь» лишний повод для патриотической «ущемленности». Как же так — скажут они — гордое название нашей великой страны происходит, оказывается, от северногерманского словечка «гребцы», да еще в его неточном финском произношении?! Однако подобная реакция засвидетельствует только незнакомство с реальной историей человеческих слов и названий вообще. Произвольность, случайность, а подчас даже и прямая нелепость лежит в основе происхождения множества терминов и наименований.

«Америка» — тоже ведь, согласимся, не лишенное гордости слово. А между тем произошло оно от имени банковского служащего Веспуччи, который организовал финансирование второго путешествия Христофора Колумба к берегам Америки. Позднее, через семь лет после Колумба, Веспуччи сам отправился по тому же пути (кстати, в качестве всего лишь второстепенного участника экспедиции), но, в отличие от Колумба, он много раз повествовал об этом в письмах к влиятельным людям. После кончины Колумба письма эти были опубликованы, и вся слава открытия досталась Америго Веспуччи. Распространено мнение, что последний, не в пример Колумбу, считавшему достигнутые им земли «Индией», якобы знал об открытии им «Нового Света». Но это не так. Идея «Нового Света» и предложение назвать его «Америкой» по имени мнимого первооткрывателя принадлежит видному картографу XVI века Вальдземюллеру.

Итак, в истории гордого имени «Америка» есть нечто явно сомнительное и даже, прошу извинения, анекдотическое... Поэтому не будем огорчаться не лишенной «странностей» историей слова «Русь»...

---

[9] Мошин В. А. Варяго-русский вопрос. — «Slavia» (Praha). Rocnik X (1931), с. 130.

Продолжение следует

ДНЕВНИК СОВРЕМЕННИКА



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

Россия: попытка самопознания

СТАТЬЯ III

«ЕРЕСЬ ЖИДОВСТВУЮЩИХ»

Интеллигенция уходит со сцены. Предельно тривиально: мавр сделал свое дело — должен уйти. Российским интеллигентам снова предназначено играть незавидную роль этого обреченного представителя нацменьшинства. Текст заучен назубок, но, похоже, учение впрок не идет. Все, как на премьере в 1905-м, как в 1917-м — революционный пафос, энтузиазм вселенской ломки, минутное торжество и... оглушительный провал. Спектакль идет своим чередом, на сцене блистают новые актеры, а на долю «мудрецов» и «пророков» — одиночество, обреченность, ожидание гибели.

Интеллигенция уходит — как и семьдесят пять лет назад, ее провожают проклятия народа («это вы все напридумывали на нашу голову»), презрение патриотов, насмешки тех, кого интеллектуалы своими руками вознесли к высотам власти. Реплики Ельцина, Гайдара и закулисного дирижера, мадам Боннэр, недвусмысленны.

Признаем — большинство упреков заслуженно (разве только Ельцину не следовало бы с презрением цедить: интеллигенция — ну, да сами же избирали). Кто шумел на манежных массовках, требуя развала Союза, сокрушения командно-административной системы? Кто по звонку районных активистов спешил в пикеты с плакатами «Демроссии»? Кто, млея от приобщенности, зачитывался «Москоу ньюс» и прочим «джентльменским набором» прогрессивной общественности?

Помню, в теледискуссии я сказал столичным газетчикам: развалите Союз, ваши издания потеряют тираж, станут вестниками какого-нибудь удельного княжества. Думал, хоть это дойдет до сознания: все-таки личная заинтересованность... Так нет, сразу несколько бросились в крик: и ладно, и пусть, согласны хоть на уездный листок — только бы развалить империю.

Невольно вспомнишь слова из философских диалогов Сергия Булгакова «На пиру богов»: «Проклятая русская интеллигенция! Сначала одурила свою собственную голову, а потом отравила и развратила весь народ. И ведь посмотрите, какое самодовольство, самовлюбленность, напыщенность какая, даже и теперь, когда уже совершенно провалилась с треском. Как же может устоять государство, если у него отравлена вся нервная система? Соль земли! гонимая, идейная, мученическая интеллигенция! Да это проказа, чума на теле России!»

Реплика генерала. Слово честного и прямолинейного служаки. Показательно, что оно не встречает особого отпора у идеологов — участников Пира. Да и с мнением самого отца Сергия, высказанным еще в сборнике «Вехи», во многом совпадает.

Осмысляя судьбу России, мы сталкиваемся с необходимостью понять характер и роль ее интеллигенции. Без этого не уразуметь трагедию страны в XX столетии. Пронзительное восклицание: «Как же может устоять государство, если у него отравлена вся нервная система»,— обращает к самой сути проблемы. Тут одно из объяснений загадочного краха могучей империи, чье коренное население (в отличие от других подобных государств) составляло большинство, было деятельно, смело, хранило в душе принципы справедливости, Божьей правды.

Нет, я далек от того, чтобы все беды России записывать на счет ее мыслящего сословия. Но нельзя и закрывать глаза на слишком очевидную роль интеллигенции в русских революциях: в начале нашего столетия и в его печальном конце. В осмыслении этой роли заинтересована прежде всего сама интеллигенция. В конце концов, нельзя же до бесконечности повторять одни и те же ошибки, горячо увлекаться губительными идеями, а потом расплачиваться вместе со страной — свободой, совестью, а подчас и жизнью.

Роковая повторяемость революционных процессов бросает нам интеллектуальный вызов. Неспособность к рефлексии, само-

оценке и самокритике будет означать профессиональиую насостоятельность сословия, претендующаго жить умственным трудом. На карту поставлен ие только престиж, но и «хлеб насущный» — первой социальной жертвой революционероз девяносто первого года оказались врачи, учитепя, инженеры, ученые. Это они получают самую мизерную зарплату, это они первыми встают в очереди на биржи труда. Им прежде всего отказывают в этих (да и во всех других) очередях.

Переоценить социальное поведение, пересмотреть политическиа симпатии и жизненные установки, те идеи, которые впитывают с детства, с воздухом квартиры, заставленной книжными шкафами (мы с вами энаем, как дивно пахнет воздух в таких квартирах),— придется. Как бы ни страшила такая операция. А она не может не страшить, ибо надо будет отказаться от слишком многих привычных представлений, предрассудков, от гордости за слова и поступки, дававшей сознание собственной значимости и правоты. Однако если мы не пожертвуем предрассудками, нам придется потерять нечто более значигельное — жизненную перспективу.

Самое страшноа: порядок, недавно установленный усилиями многих из нас, лишает перспективы наших детей. За гроши, получаемые современным интеллигентом, он не сможет обеспечить своих детей не только необходимым питанием, всеми этими витаминами и углеводами. Ои не сможет дать им привычного в аго кругу образования. У нынешних инженеров и профессоров дети будут в лучшем случае официантками и мойщиками машин. Эти русые головки не склонятся над вузовскими учебниками, эти длинные музыкальные пальцы не коснутся клавиш и струн — дорого, дорого, дорого!

Значит, надо что-то делать. Прежде всаго думать. Мысленно пройти весь исторический путь и найти ошибки. Собственные ошибки — достаточно указывать на чужис, занося ногу над пропастью.

Для начала следует признать неоднородность интеллигенции. Не социальную (она очевидна), а идейную. Наряду с интеллигентами-«демократами» (их, как правило, и имеют в виду, говоря о сословии в целом) есть интеллигенты-патриоты. Кумиры недавнего времени — Сахаров и Солженицын — личностные символы этих групп.

Когда патриоты бранят интеллигенцию, хочется воскликнуть: от интеллигента слышу. Мы должны осознать, что интеллектуалы в «демократическом» лагере — наши братья. Заблудшие (таперь это ясно даже им самим), и все-таки братья. С которыми — несмотря на идейные разногласия — мы делим судьбу.

Когда интеллигенты-«демократы» раздраженно отзываются о патриотах, я хочу сказать им: вы обкрадываете свми себя, страшно сужаете собстванную традицию. Вам доставляет мстительиое удовольствие отказывать в интеллекте всем, «обвинанным» в патриотизме,— Белову, Распутииу, даже Шафаревичу. Но асли быть последовательным, вслед за ними придатся вычеркивать Солженицына, Мандальштамв и Пастарнака, Блока, Толстого, Достоавского, Тютчева, Лермонтова, Пушкина.

Вы лишаате сабя не только славных имен. Не только великого наследия культуры, созданного трудами прежде всего этих художников и мыслителей. Вы лишаетесь возможности выбора. Драгоценной возможности, синонима человеческой свободы. Кому-кому, а интеллигенту слова «свобода» и «выбор» должны говорить многое.

Вы покорно идете по узкому пути так назывваемого «демократического» развития, ведущего вас — сейчас это совершенно очевидно — к профессиональной деградации и нищете. Поднимите голову — вы увидите другой путь, дающий возможность, не отрекаясь от родового имени, от того богатейшего духовного мира, который обозначается именем «интеллигент», повернуть от пропасти. Вы обретете ту внеположную, как говорят философы, лозицию, с которой только и можно увидеть и оценить прежний путь.

Не предлагаю сразу же вступить на него. Знаю, здесь нужно время и пример людей решитальных и сильных. Вот на такой пример я и хочу указать. На поучительную эволюцию авторов двух знаменитых сборников начала века — «Вехи» и «Из глубины». Недавно, в 1991 году, они были переизданы под одной обложкой в серии «Из истории отечественной философской мысли» (приложение к журналу «Вопросы философии»).

Замечу — до этого сборник «Вехи» был растиражирован несколькими кооперативами. Значение нового издания в том, что впервые две книги вышли вместе. Повторю: эволюция от работ 1909 к статьям 1918 года сама по себе не менее знаменательна, чам идеи, в них высказанные.

История «Вех» хорошо известна. На студенческой скамье зубрили ленинскую версию: либералы-интеллигенты, ошеломленные поражением революции 1905 года, покинули передовые позиции, отказались от борьбы с самодержавием. Что же, в общеизвестной версии много злобы, но исходные данные обозначены верно. Выделю опорные: авторы — видные русские мыслители и общественные деятели Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Струве, С. Франк, М. Гершензон, А. Изгоев, Б. Кистяковский — либералы, единомышленники сегодняшней «демократической» интеллигенции. Основная идея, подчеркнутая в названии,— пересмотр прежних позиций. Лишь в одном характеристику придется существенно уточнить — не поражение революции и последовавшие репрессии, а несостоятельность идеологии, приведшей к революционному взрыву «интеллигентской веры» (С. Франк), произвела гнетущее впечатление на авторов.

Они отважились на мучительный процесс пересмотра «самих осиов ее (интеллигенции.— А. К.) мировоззрения, которые до сих пор принимались слепо на веру»,— как провозглашал в предисловии М. Гершензон. Книга стала первой за много десятилатий попыткой рефлексии, нравственеым прозранием российской интеллигенции.

Главное, в чам предстояло дать отчат

собственной совести,— не то, почему революция потерпела поражение (она могла победить — и победила в семнадцатом, что оказалось еще страшнее!), а то, почему воплощение заветных мечтаний нескольких поколений обернулось насилием, кровью. Философ Семен Франк, чья статья «Этика нигилизма» завершает сборник, задался роковым вопросом: «...Отчего такая проповедь (революционного насилия.— А. К.) могла иметь успех и каким образом в интеллигентском обществе ие нашлось достаточно сильных и устойчивых моральных традиций, которые могли бы энергично воспрепятствовать ей».

Вспомните прошлогодние призывы к расправе над «консерваторами», публичные доносы, печатавшиеся на страницах «ЛГ», газеты писателей, и поймете, насколько актуальны уроки «Вех». И насколько совестливее были авторы сборника, которых ужаснула проповедь насилия, прозвучавшая из их собственной среды и не встретившая в ней должиого отпора!

Они не ограничились фарисейским морализаторством — честно пересмотрели весь идейный багаж, все кумиры, которым и сами недавно поклонялись.

Безоговорочному осуждению подверглась родовая доблесть российского интеллигента — его нацеленность на лолитическую борьбу. Свойство, хорошо знакомое и нам, демонстрируемое неизменно и повсеместно — от митингов до разговоров во время перекура на лестничной клетке какого-нибудь КБ. Та наэлектризованность политикой, внутренняя неуравновешенность, а зачастую просто одержимость, которая создает особое поле, где только и могут бытовать примитивные юморески штатных смехачей, пошлые разговоры о «русском рабстве», бородатые анекдоты, где иэ всего этого хлама рождается элементарное и тем более неудержимое желание разрушить все до основанья.

Пересматривался и весь нравственный кодекс интеллигенции, который получил уничтожающее определение: «этика нигилизма» (С. Франк). «Этика», основанная на фанатизме, нетерпимости, сектантской элементарности. Позднее, уже в 20-е годы, Франк с горечью вспоминал: «Добро и зло было отождествлено с левым и правым, с освободительно-революционным и консервативно-реакционным политическим направлением».

Настрою нетерпимости авторы сборника пытались противопоставить дух сотрудничества. Они декларировали: не борьба с государством, а работа в его структуре; не революционная фраза, а ответственное осмысление происходящего; не слом традиции — ее творческое развитие. Говоря о значении «Вех», современный западный исследователь подчеркивает: сборник знаменовал возвращение к «истинно либеральной русской традиции, понимавшей, что, когда произошло какое-то великое общественное изменение, главным союзником либерализма становится консерватизм, а не революционизм» (L. Schapiro. Russian studies. L., 1986).

К сожалению, подобная традиция слишком слабо влияет на русское обществанное сознание. Нам еще предстоит научиться спасительному сотрудничеству либералов и консерваторов. В сущности, только так и можно проложить маршрут, соединяющий пути двух групп русской интеллигенции, о которых я говорил.

Но если «Вехи» и намечают подобный маршрут, судьба сборника показывает, насколько трудно даются шаги в этом направлении, как неохотно интеллигенция изживаат свои родовые недуги.

«Вехи» — это свод диагнозсв, констатация различных болезней интеллигентского сознания. Частично они уже были названы здесь. Некоторые диагнозы кратко переформулировал главный критик «Вех» П. Милюков в статье «Интеллигенция и историческая традиция» (она была воскрешена из забвения журналом «Вопросы философии», 1992, № 1).

Как это нередко бывает у опытных полемистов, Милюков в нескольких словах изложнл основные положення оппонентов: «По мнению авторов «Вех», русская интеллигенция оказалась отлученной от национального общения вследствие трех основных своих свойств, тройного «отщепенства». Она безрелигиозна, антигосударственна и космополитична».

В то же время он умолчал об отмеченных в сборнике внутренних болезнях интеллигентского сознания. О душевной раздвоенности, безбытности. «Жизнь русского интеллигента — личная, семейная, общественная — безобразна и непоследовательна,— горестно отмечал М. Гершензон.— В целом интеллигентский быт ужасен, подлинная мерзость запустения: ни малейшей дисциплины... праздность, неряшливость, гомерическая неаккуратность в личной жизни, наивная недобросовестность в работе, в общественных делах необузданная склонность к деспотизму и совершенное отсутствие уважения к чужой личности».

Последнее наблюдение особенно интересно — публицист сумал разглядеть зародыш того страшного явления (интеллигентского деспотизма), которое спустя несколько лет проявилось во всем своем отвратительном размахе в деятельности так называемых «кожаных курток».

Причины болезни Гершензон усматривал в неумении интеллигенции сосредоточиться на внутренней работе, в «жизни вне себя», подчиненной политическим лозунгам и общественным целям.

Неутешительны и констатации других участников сборника. Н. Бердяев прямо говорит об «антикультурности» интеллигенции, о ее неспособности заниматься серьезными духовными проблемами. «Нигилизм», «несерьезность» — расширяет этот список С. Франк. Он же отмечает любопытную деталь: в экономической сфере увлеченность идеей распределения в ущерб производству («производство благ.. ценится ниже, чем распределение»). Сегодня та же интеллигенция связывает идею распределения с командно-административной системой. Стоило бы задаться вопросом: кто привил ее этой системе, кто деятельно участвовал в формировании государственной идеологии и государстванного аппарата, впоследствии объявленных та-

ками же «священными» врагами, как когда-то «царское самодержавие»?

Размышляя об этом, уместно вспомнить слова Франка, подводящие итог наблюдений над состоянием российской интеллигенции: то, что она «оказалась не только в партийном соседстве, но в духовном родстве с грабителями, корыстными убийцами... этот факт все же с логической последовательностью обусловлен самим содержанием интеллигентской веры... и это необходимо признать открыто, без злорадства, но с глубочайшей скорбью».

Но самым сокрушительным подтверждением духовной болезни мыслящего сословия оказалась его реакция на сборник, где о недугах говорилось отнюдь не враждебно, поистине с глубокой скорбью.

Появление «Вех» вызвало целый шквал публикаций. Краткая библиография, прилагаемая к новому изданию, насчитывает сотни названий — от газетных заметок до книг. В подавляющем большинстве — критические отзывы. В ответ на призыв к свободе мысли и незашоренности взгляда интеллигенция спешила продемонстрировать групповую солидарность, кастовую замкнутость, не допускающую обсуждения ее воззрений.

Пожалуй, самым авторитетным был отклик Павла Милюкова, профессора, видного масона, лидера партии конституционных демократов. Он возглавил кампанию по дискредитации «Вех». Предпринял лекционное турне по России, опубликовал обширную статью, по существу, программный манифест, с торжественностью папской энциклики озаглавленную «Интеллигенция и историческая традиция».

Характер этого документа обнаруживается с первых же страниц. Не анализ — пропагандистская война. Навешивание ярлыков, создание образа врага, мифологизация противника. Выдвигаются убийственные, с точки зрения правоверного интеллигента, обвинения — в родстве со славянофилами. Хуже того — с патриотами. И — о, ужас! — с «крайне правыми».

Проведя сокрушительную атаку, Милюков великодушно демонстрирует готовность учитывать нюансы: «Проповедуя религиозность, государственность и народность, авторы «Вех» тем самым еще не усвояют себе всецело начал самодержавия, православия и великорусского патриотизма». Проявив великодушие заведомого победителя, не удержался от яда в конце пассажа, упомянул о «великорусском патриотизме». После такого укола противники должны были нескоро оправиться. Тем более что сличение «Вех» с писаниями патриотов заканчивалось грозным предостережением: «Однако точки соприкосновения есть, и довольно многочисленные».

На случай, если такая характеристика не отвратит от сборника прельстившихся и сочувствующих, Милюков с мастерством тонкого психолога приберегает другой тезис. Профессор пренебрежительно роняет: речь идет о «сведении счетов между двумя соседними поколениями русской интеллигенции».

Как видим, с самого начала выявились две установки: безнадежно скомпрометировать оппонентов в глазах публики; лишить спор значимости. Уже эта пропагандистская разработка показывает, что Милюков (и шире — либеральная интеллигенция — «ходячим общественным мнением либералов» остроумно назвал его Франк) не намерен вести честный поединок.

Выдержать рыцарский турнир либералам было не под силу, он требовал соответствующей вооруженности. Попытка спора с «Вехами» выявила интеллектуальную несостоятельность российской интеллигенции. Вопиющую неспособность к рефлексии и самокритике. Милюков попросту отказывался замечать реальность в тех случаях, когда она не соответствует привычным схемам. Бомбометателей, запятнавших себя кровью сотен людей, он деликатно именует «левой интеллигенцией», твердит о ее «быстрой эволюции в направлении серьезной политической ответственности». Уверяет, что «эволюция эта обещает привести к поразительным результатам». Действительно, восемь лет спустя, в 1917-м, результаты были поразительными!

Автор статьи «Интеллигенция и историческая традиция» даже не пытается осмыслить обвинения в антигосударственности, безрелигиозности, космополитизме. С бессильным упрямством он повторяет эти формулы, механически заменяя отрицательную оценку положительной. Да, соглашается Милюков, интеллигенция антигосударственна. Потому что государство полицейское. Да, безрелигиозна, потому что поднялась в своем развитии над уровнем массы. Самодовольно декларирует: «Разрыв интеллигенции с традиционными верованиями массы есть постоянный знак для всякой интеллигенции, если только интеллигенция действительно является передовой частью нации, выполняющей принадлежащие ей функции критики и интеллектуальной инициативы».

Лишь по поводу обвинения в космополитизме Милюков позволил себе втянуться в настоящий спор. Еще бы: свою позицию он заранее считал беспроигрышной. Конечно, для либерала достаточно было гордо воскликнуть: да, интеллигенция безнациональна, и я горжусь этим! Однако Милюков ведет полемику изобретательнее. Он с сожалением пишет об отсутствии у русских патриотизма. Что поделать, это чувство невозможно в неразвитой России. «Национализм и патриотизм, вообще говоря, не есть простой, элементарный инстинкт любви к «своему»... Это есть более сложное чувство, сообща осознаваемое в процессе культурного развития наций и прикрепленное к чему-нибудь осязательному, что для всех является одинаково понимаемым символом».

Таких символов у русских нет: «Символика слаба». Нет исторического предания. Словом, тысячу лет Россия прожила как младенец, ничего не создав и не накопив никакого капитала. «Воспоминаний непропорционально мало,— ехидно констатирует Милюков и не может удержаться от откровенного сарказма,— а чистому «пророчеству» никто не поверит».

Тут же, в статье, упоминается о «националистической реакции», возникающей будто бы всякий раз, когда народ выходит на сцену.

Вот истинное отношение Милюкова к русскому патриотизму — неприязнь, страх и желание запугать других «националистической реакцией».

Он и участников сборника пытается заразить этим чувством. «И я совсем не знаю, где будет искать своих духовных предков недовольный Петром Великим Гершензон». Еще одна кокетливо заостренная концовка полемического пассажа. Автор так увлекся, что не заметил страшного саморазоблачения, заключающегося в отточенной фразе. Получается, что, если Гершензон не найдет в Московской Руси «духовных предков», ее историю следует рассматривать «яко небывшую» — бедную символами и воспоминаниями.

Чудовищный эгоизм! Милюков даже не задумывается о том, что миллионы русских знают, помнят своих предков, черпают силу и стойкость в поистине священных преданиях об их подвигах и трудах, которыми воздвигнута не безликая абстракция — могучая держава, распростертая от океана до океана!

Этот эгоизм страшен не только своей гипертрофированностью. Он так глубоко внедрился в сознание либерального интеллигента, что не замечается им. И, соответственно, оказывается недоступным для анализа, а тем более корректировки. Человек, увлекаемый кастовым эгоизмом, утрачиват способность к осмыслению опыта, к развитию. Становится и впрямь «ходячим мнением» своей касты.

Пример самого Милюкова выразителен. Первая революция не заставила его, в отличие от авторов «Вех», по-новому взглянуть на привычных кумиров. Вторая революция выбросила на чужбину. Там, во Франции, в православной церкви он вместе с другими вождями либерализма принес принародное покаяние. Но прошло два десятилетия, и в «Воспоминаниях»—прежние идеи, прежний тон, никаких следов пережитого.

Столь же характерно и предисловие к публикации статьи в «Вопросах философии», написанное В. Кантором. Давние читатели нашего журнала помнят, что я упоминал об этом философе, напористо утверждавшем в начале перестройки своеобразную формулу нестабильности: «Не является ли стабильность самым страшным, что может быть?»

Процесс разрушения общественной устойчивости пошел именно так, как мечтал В. Кантор, в результате мы имеем нынешний развал. Но ни каяться, ни пересматривать разрушительные идеи философ не собирается. Куда там — призывным жестом указывает на знамя либеральной интеллигенции, осеняющее любую смуту, предлагает в качестве руководства работу Милюкова.

Кантор как будто претендует на роль беспристрастного комментатора полемики Милюкова с «Вехами». После того, как самые мрачные прогнозы авторов сборника подтвердились, однозначно становиться на сторону их оппонентов по крайней мере неразумно. Сегодня комментатор просто вынужден упомянуть о «точных диагнозах общественной ситуации».

Но то, что нельзя перечеркнуть, можно «перефразировать» — с точностью до наоборот. Из краткой статьи Кантора мы узнаем, что пафос «Вех» заключался в критике «российского неумения работать, критике праздности, желания потреблять не давая, уравниловка вместо творчества». Болезни интеллигентов, добросовестно отмеченные в сборнике, ловким маневром списываются — на кого же? — на русский народ.

Еще одна подмена мишени — и объектом критики объявляется «преобладание стихии коллективизма в менталитете русской культуры». И, наконец, вынужденный вслед за С. Булгаковым и С. Франком выговорить слово «православие», манипулятор объявляет, что веховцы стремились создать «на основе православия этику наподобие протестантской».

Если враг не сдается... его перефразируют. Используют в своих целях. И все равно он остается врагом. Упомянув о «точных диагнозах», Кантор спешит заявить о «двойственности» «Вех» и ставит в вину его авторам «жестокие и малосправедливые инвективы» (так характеризуется основной пафос книги!). Стоит ли упоминать, что ни одного примера «несправедливости» не приводится. Не объясняется, почему тут следует говорить именно о ней, а не о прозорливости, например. Зато мелькают истертые штампы: «консервативно-религиозная», «реакционные настроения», «патриархальная» и пр. А рядом сочувственно цитируется призыв лидера кадетов к «сближению русских либералов с русскими социалистами для достижения общей цели — политической свободы». И это после того, как мы могли сполна насладиться такой «свободой»!

Представьте, между статьями Милюкова и Кантора не просто восемь десятилетий. Эти годы наполнены страданиями сотен миллионов людей. Это временное пространство завалено горами трупов. И что же — зрелище чудовищной катастрофы не смогло пробудить мысль, совесть! Аргументы старые. Словесные штампы все те же. Тут даже не твердолобость апологета — бесчувственность зомбированного сознания!

И наверное, руки бы опустились в бессилии и слова застряли бы в горле от сознания бесполезности диалога, если бы... Если бы — повторю — те же «Вехи» и сборник «Из глубины» не убеждали: анализ ошибок возможен, возможно усвоение печальных исторических уроков и серьезная эволюция взглядов. Путь от первого сборника веховцев к их второй совместной работе — впечатляющий пример духовного возмужания, бескомпромиссной переоценки собственных воззрений, уточнения и углубления фундаментальных позиций.

В первом сборнике еще сильны родовые связи с либерализмом. Веховцы с настороженностью относятся к славянофилам — естественным союзникам в критике интеллигенции. Подчеркнуто дистанцируются от Достоевского, Леонтьева, Розанова. Даже Александр Блок кажется им слиш-

ком радикальным в своих ообличаниях интеллигенции — Петр Струве отказался печатать его знаменитую статью, посвященную этой теме в своем журнале.

Отмежевался Струве и от наиболее резких высказываний авторов «Вех». В том же 1909 году он объявил, что размышления С. Булгакова и М. Гершензона ближе к славянофильству, чем к той умеренной позиции, которую он считал приемлемой для себя.

Все эти оговорки указывают на внутреннюю противоречивость воззрений. Едва ли не в первую очередь участники сборника осуждали народолюбие интеллигенции, «народобожие», якобы обнаруживающееся во взглядах и деятельности российских либералов. Опытный полемист Милюков тут же указал на двойственность веховской позиции: «...Именно народолюбие и даже народопоклонство русской интеллигенции нельзя обличать с точки зрения ее «отщепенства».

Авторам казалось: достаточно преодолеть гипертрофированный пафос общественного служения, перестать «жить вне себя», заняться воспитанием души и организацией быта — и интеллигенция обретет внутреннюю гармонию, займет достойное место в русском обществе. Неполные десять лет, отделяющие появление сборника от национальной катастрофы, выявили наивность подобных воззрений. К чести мыслителей, они не уклонились от вызова времени.

Сборник «Из глубины» родился в первые месяцы победы большевизма. В марте 1918 года П. Струве обратился к своим коллегам с предложением принять участие в новом издании. Круг авторов значительно расширился. Новые сотрудники: С. Аскольдов, Вяч. Иванов, С. Котляревский, В. Муравьев, П. Новгородцев, И. Покровский — существенно повлияли на характер сборника. Расширилась и его география: он стал голосом не только столиц, но и городов срединной России — Саратова, Казани.

Первоначальная установка была элементарна: «...Должны были дать принципиальное обоснование своего отрицания большевизма»,— сформулировал ее С. Франк. Но серьезный анализ ситуации побудил вернуться к основной теме предыдущего сборника. Приходилось вспомнить о колоссальной роли интеллигенции в подготовке роковых событий. Принципиально высказывание Франка: «Вытесненные этими демагогами (большевиками.— А. К.) слабонервные и слабоумные интеллигенты-социалисты должны, прежде чем обвинять народ в своей неудаче, вспомнить всю свою деятельность, направленную на разрушение государственной и гражданской дисциплины народа, на затаптывание в грязь самой патриотической идеи...»

Процитированное высказывание выразительно не только по смыслу, но и по тону. Авторы более не боятся с пафосом говорить о «патриотической идее». Это одно из бесчисленных отражений их общего мировоззренческого сдвига.

Новые участники с молодым максимализмом отвергли заявления вождей российской интеллигенции о том, что их идеи в ходе революции опошлены, высокие цели искажены. «Умственная игра превратилась вследствие стихийного движения народа в действительность,— резко писал В. Муравьев.— Позвольте, возопили теоретики и мыслители, когда рабочие, крестьяне и солдаты начали осуществлять то, чему их учили. Ведь мы только мыслили. Вы не соблюдаете условностей и вовлекаете нас в совершенно непредвиденные последствия».

Справедливо отмечалось, что разрушительные последствия можно было предвидеть, более того — они прямо предсказаны в «Вехах». Но, возвращаясь к своим прежним наблюдениям и пророчествам, авторы уже не ограничивались критикой интеллигентского быта. Сам характерный тип личности, его идеология и деятельность стали объектом серьезного анализа.

Проблема личности — одна из центральных в сборнике.

Прежние упреки в народопоклонстве хотя и звучат, но на периферии. Новые участники вообще пересматривают привычные представления о так называемом «народничестве». Они видят в нем попытку вождей из среды интеллигенции навязать свою индивидуальную волю массе, которую не понимают и не любят. «Народничество,— проницательно замечает С. Котляревский,— несмотря на свое название... видело в народе лишь массу отдельных людей». Оно, добавляет ученый, «отправлялось от узкого круга личной психологии». Поэтому «никогда народничество не поднималось до идеи нации».

«Чудовищный культ своеволия» — так определяет С. Котляревский революционную атмосферу. Схожую мысль высказывает С. Аскольдов, чьей статьей открывается сборник: «Все зиждется на психологии самоутверждения и... создает хаос самоутверждающихся воль, т. е. ад».

Там, где поверхностным (а зачастую и корыстным, заинтересованным скрыть свою роль в событиях) наблюдателям виделся лишь всесокрушающий порыв масс, вдумчивым аналитикам открылась страшная картина зарождения диктатуры личного произвола. Экспансии самодостаточной воли, захватывающей, заражающей своим пафосом миллионные толпы. «Во времена революций,— читаем у Аскольдова,— мираж личной автономии в деле общественного устроения... гораздо сильнее и соблазнительнее, чем когда-либо. Этот соблазн своеволья (разрядка моя.— А. К.) с заразительной быстротой и силой распространяется в революционных мятежах на миллионы душ».

Это принципиально новый взгляд на революционные события, позволяющий выявить причины и истинных виновников трагедии. В его спрвведливости убеждают многие свидетельства. Возьмите предреволюционные декларации творческой интеллигенции — вас поразит дух агрессивности, который спустя несколько лет пропитает декреты большевиков.

Вот текст эстета, пропагандиста и переводчика новейшего западного искусства Бенедикта Лившица: «Мир лежит, куда ни глянь, в предельной обнаженности: хватай, рви, вгрызайся, комкай, создавай его заново,— он весь, он весь твой».

Под страшной кожаной курткой коммунистического комиссара авторы сборника открыли духовного наследника респектабельных интеллигентов, предпочитающих красоваться во фраке или в артистической хламиде. Само по себе серьезное открытие! Важное не только для установления «степени родства» и справедливого распределения ответственности за произошедшее.

Еще большее значение оно имеет для формирования стратегии нравственного сопротивления тех, для кого неприемлемы произвол и насилие. Наиболее проницательным умам в 1918 году открылась истина, о которую мы расшибли лоб в 1991-м. Простая смена «большевизма» «антибольшевизмом» ничего не даст. Прилежней бы читали философское наследие, может, лоб остался бы цел!

Итак, повторим старую мудрость: опасность хаоса не в большевиках как таковых — в претензиях агрессивного индивидуализма создавать мир «заново». Опасность в устремлениях самодостаточного индивида «перестроить жизнь по-своему и силой человеческой мысли привести ее к безусловному совершенству» (П. Новгородцев). Вот он, истинный «герой» революционного процесса. Реальность, создаваемая им, обособлена, как свидетельствует П. Новгородцев, «от органических основ общественного порядка, от животворящих святынь народного бытия».

Выдающийся правовед ставит диагноз болезни, критическую фазу которой ему довелось наблюдать: «Основным проявлением интеллигентского сознания, приводящим его к крушению, является рационалистический утопизм». Новгородцев выявляет исходную точку катастрофического процесса: «...Индивидуальный разум человеческий объявляется всесильным и самодовлеющим...»

В сборнике впервые предложена трактовка русского кризиса как глобального катаклизма.

Авторам удалось выявить всю глубину «духовных корней большевизма». В докладе под таким названием (хронологически он совпадает с работой над сборником) С. Булгаков называет некоторые из истоков коммунизма: «рационалистические настроения XVIII века»; еврейское мессианство; российская радикальная интеллигенция XIX века. Всемирная история предстает ареной борьбы двух сил: Христа и Антихриста. «Надо выбирать, с кем идти»,— заключает С. Булгаков.

Та же тысячелетняя перспектива присутствует в статье П. Новгородцева. Автор воссоздает один из моментов вечной борьбы — полемику Сократа и Платона с софистами. На заре человечества его величайшие умы обличали «именно это (наблюдаемое и в новейшей русской истории.— А. К.) отпадение разума человеческого от его вечной и универсальной основы». Новгородцев уточняет: «Сами они (Сократ и Платон.— А. К.) были так же носителями критической мысли и так же подвергали своему суду существующее и установленное». В статье дано принципиальное разграничение, позволяющее отделить плодотворный традиционализм от личного произвола. «Но они совершали этот суд в сознании высшего божественного порядка, господствующего в мире, связующего «небо и землю, людей и богов».

Дивное определение органической мысли и шире — органического начала в общественной жизни! Велико значение сборника «Из глубины» в том, что он заменяет ложный, поверхностный выбор: большевизм — либерализм сущностным: органическое развитие — индивидуальный произвол. Божественный порядок, связующий «небо и землю, людей и богов» — жесткие схемы человеческого разума, впадающего «в утопизм, в безрелигиозное отщепенство и самопревознесение» (П. Новгородцев).

В свете этих прозрений умеренные западники из числа авторов сборника вынуждены были пересмотреть свои взгляды. Живым биением ищущей мысли привлекает статья Франка. В ней, а также в работах двадцатых годов «Смысл жизни» и «Крушение кумиров» философ подвел итог напряженной работы и внутренней борьбы. В Европе, верной принципам либерализма, ему открывается картина столь же безрадостная, как и в коммунистической России: «...Взаимная ненависть, озлобление, страх перед врагом, беспощадная эксплуатация слабых».

«Крушение кумиров» — название звена этого своеобразного цикла глубоко символично. Последним рушился кумир европейского интеллектуализма. «С изумлением,— пишет Франк, стремясь передать чувство, охватывающее российского интеллигента, пришедшего, по традиции, поучиться у лучших умов Европы, — узнаем, что, собственно, учиться нам не у кого и нечему и что даже, наученные более горьким опытом наших несчастий, испив до дна чашу страданий, мы, пожалуй, сами можем научить кое-чему полезному человечество».

Чему же? Обобщения впереди. Выделю пока как характерные проникновенные слова Франка о необходимости отказа от «разрушительной дерзости чисто отрицательной самочинности и отщепенства» и сознательного возрождения «просветленного мужества... творческого мужества, основанного на смиренном сознании своей зависимости от вышних сил и укорененности в них».

Тот, кто имеет представление о национальном идеале личности (я писал о нем в предыдущей статье), увидит, насколько соответствует мысль Франка этому идеалу. Если бы потребовалось дать философское определение образа любимого народного героя Ильи Муромца, не нашлось бы ничего лучше этих слов: «Мужество, основанное на смиренном сознании своей зависимости от вышних сил и укорененности в них».

Разумеется, такое усвоение (и освоение) русского духовного наследия должно было изменить отношения авторов сборника к наиболее ярким представителям национальной мысли. Франк открыто отождеств-

ляет видевшуюся ему перспективу преображения России с мечтой «славянофилов об органическом развитии духовной и общественной культуры из глубоких исторических корней всенародного религиозно-общественного жизнепонимания,— мечтой, которую Достоевский позднее определил в понятии почвенности».

Это предел — переступить его правоверный интеллигент не решился бы! Перед нами уже не либеральные — национальные мыслители. Таков финал эволюции взглядов большинства авторов «Вех».

Соответственно их противостояние традиции либеральной российской интеллигенции приобретает иной характер. Не реакция на практику революционного насилия, не частичный пересмотр теоретической базы, — утверждение принципиально иных основ, национальных по своей сути.

Осмысляя это противостояние, авторы не раз обращались к истории, стремясь выявить истоки современного прогрессизма. Чаще всего назывались имена Белинского, Бакунина и других общественных деятелей первой половины XIX века. Дальше генеалогическая линия превращалась в пунктир, становящийся все более отрывистым по мере углубления в прошлое. Связи между разрозненными явлениями устанавливались весьма произвольно...

Почему-то не привлекла внимания история интеллигенции как сословия. Авторы даже не попытались осмыслить такие интереснейшие явления, как импорт профессиональных кадров — в петровскую эпоху (из Западной Европы) и в середине XVII веке (из ополяченной Украины). Дважды российская интеллигенция не просто пополнялась иностранцами — формировалась из них (поэтому я и не могу назвать ее русской, — только российской, «по месту службы»). Не в этом ли один из истоков ее космополитичности, равнодушия к русским интересам.

Впрочем, только ли равнодушия. А как же не раз прорывавшаяся ненависть к народу? Значит, нужно идти дальше — к самому началу, к тому мгновению, когда мыслящее сословие сознательно выделило себя из народа. Определило позицию по отношению к русской традиции.

Вот этот момент — конец XV века. «Душа самовластна. Заграда ей вера». «Лаодикийское послание» Федора Курицына. Дерзкое подражание апостольским проповедям. Громогласное: «Я есмь!», возвещающее рождение нового мироотношения, в основе которого — самовластье. Самовластье души и разума.

Сразу же подчеркну — в средневековой России существовала живая традиция любомудрия. Она достигала мировых высот в творчестве и деятельности Илариона Киевского, Климента Смолятича, Кирилла Туровского, Сергия Радонежского, Нила Сорского, Максима Грека. Русские мыслители и даже простолюдины (уровень общей образованности был весьма высок) умели ценить мысль. Но знали и пределы ее, сознавали ограниченность «афинейской», как писали в старину, мудрости.

«Лаодикийское послание» примечательно не как первый опыт мысли, а как первая попытка объявить мысль самодостаточной. Разрывается связь с традицией православного любомудрия, и новая вера — в собственную самовластность — выдвигается в противовес. «Послание» Федора Курицына стало первым криком жизни нового «мудрствования», из которого вышла впоследствии российская интеллигенция.

Историография XIX века признала это родство. «...Стригольники (еретическая секта середины XV столетия.— А. К.) предоставили себе такое же право толковать религиозные догматы, какое принадлежит только пастырям церкви; у жидовствующих это право разрослось в обширное либеральное слово: разум самовластен, стесняет его вера» (Н. Тихонравов).

Правда, советские историки, в частности А. Клибанов, наиболее деятельный исследователь еретических учений русского средневековья, поставили под сомнение трактовку слова «заграда» у Тихонравова. Вполне возможна, однако, намеренная двусмысленность формулировки. Она была бы весьма естественна в сочинении ловкого дипломата: Курицын занимал высокое (министерское по нынешним меркам) место дьяка и «курировал» внешнюю политику России.

Теперь наконец следует объяснить, кто же такие «жидовствующие» и какая роль принадлежала в их группе хитроумному дьяку. Первое упоминание о «ереси жидовствующих» (таков научный термин) содержится в Послании Геннадия Новгородского к епископу Прохору и относится к 1487 году. Однако о церковных нестроениях, первоначально ограниченных Новгородом, стало известно с 1471 года, после того, как в городе побывали еврейские купцы. Видимо, коммивояжеры оставили местным книгочеям литературу: ветхозаветные тексты, сочинения средневековых еврейских рационалистов Моисея Маймонида и Иммануэля бен Якова, знаменитый «Дионисий Ареопагит», книги античных авторов, в частности сборник, затейливо озаглавленный «Мудрость Менандра Мудрого».

В сущности, ничего особенного, школьная схоластика. «Логика», скомпилированная из сочинений Маймонида и Аль-Газали, и выполняла роль учебника. Но история русского «мудрствования» показывает — чаще всего неискушенное сознание прельщалось именно школьными прописями! Если только были в новинку, если обещали не одни знания — могущество, связанное с ними. А литература, оставленная доверчивым новгородцам, сулила власть, равную божественной! «...Ум наш себе комуждо в Бога место», — прельщал книгочеев лукавый Менандр.

О трактатах, имевшихся у еретиков, мы узнаем из Послания новгородского архиепископа Геннадия. И, любопытный штрих, высший иерарх официальной церкви вынужден был Христа ради просить книги по монастырям, чтобы, пользуясь первоисточниками, опровергать мудрствующих. А у тех все было! Как показателен этот расклад для последующей борьбы против всякого рода ересей...

Характерна и судьба «оппозиционеров».

Московские власти их поощряли! Новгородский священник Алексей был поставлен протопопом столичного Успенского собора, кафедры московских митрополитов. Другой собор Кремля — Архангельский — отдали еретику Денису. Так «жидовствующие» перебрались в Москву. Государственная элита спешила удовлетворить страсть ко всяким новациям. В 1487 году вокруг дьяка Федора Курицына собирается кружок, в который вошли дьяки Сверчок и Истома, подьячие, переводчик Иван Черный, иностранцы, жившие в Москве. Близка к нему мать наследника престола, дочь молдавского господаря Елена Стефановна.

Да, видно, не сегодня и не сто лет назад в первый раз возникло в верхах претенциозное желание избавить Россию от «парадигмы несвободы». Желание, вызванное самодовольным упоением властью и вопиющим незнанием отеческого духовного наследия. Иной раз закрадывается озорная мысль: уж не хромал ли всесильный дьяк («...того бо державный во всем послушаше»), подобно главному архитектору нашей перестройки.

Во всяком случае, до смерти Курицына все шло, как у нас. Ревнители официального учения призывали власти к искоренению «жидовства», а еретики беспрепятственно насаждали свое учение. Единственное, чего добились их противники,— заслужили печальную славу гонителей свободомыслия, реакционеров. Скажите комунибудь о преподобном Иосифе, от вас отшатнутся в ужасе...

Несколько раз — с 1488 по 1504 год в Москве созывали церковные соборы на еретиков. Завершались они по сути ничем. Зато после них гонениям подвергались церковные ортодоксы. Тот же Иосиф писал, предчувствуя опалу: «Възвеяша бо пагубнии жидовьстии тлетворьнии ветри...» Лишь после смерти Курицына еретики были осуждены.

В материалах, подготовленных Иосифом и Геннадием, подробно освещалась деятельность «жидовствующих»:

Хулили Иисуса Христа и Богоматерь.

«Молились по-жидовскы» и прельщали людей «жидовским десятословием».

Надругались над иконами и крестами.

Хвалили «жидовскую веру», «мудрствовали жидовски».

Впрочем, для нас, в отличие от Иосифа, интересны не церковные преступления еретиков, не степень уклонения их в иудейство.

«Ересь жидовствующих» интересует меня как симптом важной болезни духа. Болезни, столь же характерной для XV века, как и для последующих веков. Первый ее признак: отвержение своего. Самого дорого для человека — отеческих преданий, веры. Второй признак: искание чужого. Ибо, оставшись наедине с «самовластным» разумом, человек тотчас должен был испытать ужас вселенского одиночества. Путь назад заграждало самомнение, оставалось одно: лихорадочные поиски чего-то нового, внешнего. Школьные учебники запасливого купца Схарии, книжки французских вольнодумцев, брошюрки женевских типографий казались в подобных ситуациях божественным откровением.

(Между прочим, здесь одна из разгадок пресловутого «западничества» российской интеллигенции. «Священными камнями» она, в большинстве своем, не так уж и дорожила — говорю не об иностранцах. Запад, его идеи и быт привлекали как форма «инакости». Оказавшись в Европе, русские возмущались ее порядками так же, как до того российской «азиатчиной». Примеры, начиная с Котошихина до Герцена, можно приводить сколько угодно.)

«Ересь жидовствующих» обнажила духовное отпадение части мыслящего слоя от народного единства. Обособление личности, упивающейся своим «самовластьем». Именно отдельность, автономность оказываются опорными понятиями для определения личности.

Сочинения «жидовствующих» (за немногими исключениями) не сохранились. Однако А. Клибанов весьма убедительно реконструирует их представления, используя тексты польского реформатора Анджея Вишоватого. «Личность есть субстанция совершенная, отдельная и мыслящая,— провозглашал Вишоватый.— И то, что представляет субстанцию совершенную, отдельную и мыслящую, то есть личность. Все, что единично... различается от других (имеет) сущность не общую с другими».

Не знаю, точно ли соответствовала взглядам Курицына эта ранняя декларация индивидуализма. Но показательно ее совпадение с канонической для русского либерализма формулой (столь отличной от народных представлений о человеке). Достаточно вспомнить схожие определения у В. Соловьева, Чичерина, да и у Кистяковского, одного из авторов «Вех».

Проповедь индивидуализма провозглашала обособленность человека не только от себе подобных, но и от Бога. Независимый и равный — таков вызов, брошенный небу бунтующим индивидом. Излагая взгляды еретиков, Иосиф Волоцкий негодовал: «Уже не образ был бы Божий человек, но сам Бог». Мотив человекобожия обнаруживают во взглядах «жидовствующих» многие исследователи.

И, наконец, логическое завершение этой помпезной, но несложной конструкции. Метафизический произвол прорывается общественным. Феодосий Косой, ближайший наследник «жидовской» ереси, в своих проповедях делит человечество на обладателей «разума духовного» и «псов».

Любопытнейшая эволюция учения о самовластности разума. Исходный момент — констатация своей отдельности, независимости от традиции. Затем, уже у Феодосия, агрессивное отрицание самой традиции: «...Тии же вси иже приходять к церквам и внимают человеческим преданиям пси суть и внешнии и заблудиша от истины».

Очевидна связка самоопределения личности с попыткой построения новой иерархии, основанной не на «человеческих преданиях», а на «истине». Кто же объявляется ее носителем? Конечно же, сам отпавший: «Истину никто же тако позна яко же мы». Еще один маленький шажок, связанный с грандиозной мистификацией,—

познавшие истину провозглашаются «сынами божьими». Соответственно замена иерархических конструкций получает как бы «религиозное» обоснование: следует слушать не «человеческие предания», но проповеди «сынов божьих».

И не только слушать! Пружина самовозвеличивания и самообожествления выскакивает тут же: «И чада (божии.— А. К.) мы есмы, яко познахом истину, занеже у нас разум духовный... И к нам подобает приносити имениа, яко же пишеть в Деяниях, яко приношаху имениа и полагаху пред ногама апостол».

Только теперь окончательно раскрывается истинный смысл красиво звучащего девиза: разум самовластен. В отличие от церковного понимания «самовластья» (а православие никогда не отказывало в нем человеку, мысля его положительный идеал как свободу во Христе), средневековые интеллектуалы провозглашали самовластье, ни на каких заповедях и законах не основанное. Свободу личного произвола. Претензию на г о с п о д с т в о над остальными людьми.

Эти «пси», как нужны они детям разума! Не только для службы. Без них немыслима иерархия: есть «пси» — есть «сыновья божии». Кастовая спайка определяется отношением к отверженым: чем острее неприязнь, даже ненависть к ним, тем полнее чувство единения со «своими».

Исследователи отмечают, что Феодосий и его последователи рассматривали себя, «подобно древним евреям, как народ «сынов божиих», как общество «верных» (Клибанов). С той лишь разницей, что объединяющим критерием служила не кровь, а разум. По существу, «народ» Феодосия, выделенный из массы «псов» (рабов в позднейшей терминологии), это и есть «малый народ», о котором так много пишут сегодня.

Итог развития взглядов «ереси жидовствующих». Исток четырехвековой традиции «мудрствования».

В этом зерне нетрудно прозреть плоды, которые оно принесло в XX веке. Крестьяне и ремесленники века XV, естественно, понятия не имели об этих плодах, однако оказались сообразительнее своих далеких потомков — отвергли решительно. Ересь «жидовствующих» сумела захватить лишь верхний слой жителей нескольких крупных городов. Учение Феодосия Косого распространялось от Новгорода не в центр России, а на Запад, в литовские земли, куда он бежал к родичам жены-еврейки.

«Мудрствованию» «малого народа» русские простолюдины противопоставили подлинную мудрость (они умели делать эти тончайшие различия!). Мудрость, основанную на отеческой традиции. В «Слове на новоявльщююся ересь новгородскых еретиков» запечатлено столкновение искусителя с народным сознанием. Еретик, «жидовскаа мудръствуя», хулит иконы, называя их идолами. На это следует поразительно простой и достойный ответ: «Яко же святый апостол и еуангелист Лука явлеется написавый прежде образ на иконе Господа нашего Иисуса Христа и Пречистыя Его Матери... и мы тако же пишем и почитаем». То есть соблюдаем апостольскую традицию. И тут выясняется, что для православного сознания традиция — не мертвая буква, которую затверживают без раздумий,— живое дело, дающее простор мысли. «Не вещь чтем,— следует пояснение, — но яко от вещного сего зрака взлетает ум наш и мысль к Божественному желанию и любви...»

Отвергнутая народом, ересь так и осталась учением узкой группы людей. К тому же стремительный рост государства в XVI—XVIII веках «растворил» индивидуальный бунт в колоссальном напряжении сил всей страны. Каждому находилось дело и место в решении грандиозных задач, вставших перед Россией. Однако яд, попавший в государственный организм, отравлял его. И когда в XIX веке имперская динамика затухает, старый яд неожиданно легко разрушил общество.

Так что же делать современному интеллигенту перед лицом позднего торжества древней ереси? Осознать нынешнюю фазу ее развития именно как ересь — фанатичную, косную. И преодолеть ее! Решительно отклонив ее соблазн, вернуться на дорогу русской мысли, указанную Пушкиным, Достоевским, Менделеевым.

В последний раз обратимся к сборнику «Из глубины». Его авторы открыли для себя этот путь. Они призывают на него всех, кому дорога интеллектуальная и личная свобода. «Мы должны наконец сознать свою нерасторжимую связь с историей и народом, творящим историю»,— писал В. Муравьев. Он, как и П. Новгородцев, предупреждал от «механического» соединения с народом. От «внешнего» изучения его. Почти дословно повторяя вдохновенные слова Блока о призвании интеллигенции, Муравьев провозглашал: «Мы — его (народа.— А. К.) вестники и глашатаи. Через нас творит он свое дело...»

Участники сборника мечтали об органическом развитии русского общества. «Не в отрицании и нивелировке, не в упрощении и рационализировании, а наоборот, в любовно-внимательном, бережном охранении и развитии всей органической сложности и полноты исторических форм жизни... путь к развитию»,— отмечал Франк. Они призывали к «осуществлению подлинного идеала демократии». Не западного «универсального средства», импортированного к нам, а именно русской демократии, основанной «на живом духе, конкретных нуждах и идеальных устремлениях народа» (С. Франк).

Итог многолетних исканий, обретенный заново «символ веры», радость надежды на возрождение страны — все слилось в страстном обетовании Валериана Муравьева: «Скоро русский народ предстанет перед миром в великом единстве и цельности. Против России грабежа, насилия и разнузданности встанет грозной ратью Россия самопожертвования, строгости и подвига».

Нам выпало воплотить это пророчество в жизнь.

КРИТИКА



ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

У ЖИЗНИ НА КРАЮ

И признаваться не хочется, но все чаще хочется написать что-нибудь застойно-счастливое, какую-нибудь восторженную рецензию, благодарную статью, где сошлись бы дорогие сердцу книги и сами собой сложились в оправдывающую и благословляющую мир систему, так что и читатель, добравшись до конца текста, с укором сказал бы себе: действительно, чего это я — ведь вот есть же спокойный свет и уверенная чистая жизнь! Да только нет — не получается такая статья. Не дает матушка-литература повода к устойчивой радости. Разве стариков почитаешь... Но они как раз еще больше запустение-то нынешнее и обнаружат, словно жирной чертой подчеркнут и увеличительное стекло в руки сунут.

Вот выкроил наконец час открыть «Хранителя древностей» Ю. Домбровского. «Факультет»-то его давно прочел, а с «Хранителем» пришлось дожидаться, пока «Новый мир» вместо четырех номеров не вышедшего в 1990 году журнала обидит подписчиков синенькой книжкой толщиной поменьше одного среднего номера. Открыл поглядеть, чем первая книга предваряет вторую, да так, не отрываясь, до конца и дошел.

И опять, как в «Факультете», это поражающее чувство радости! Ну откуда, скажите, взяться ему, когда 37-й год, когда петля уже теснит лучших героев, так что руки не подсунуть? А вот поди ты... Не синий же воздух Алма-Аты причиной, не светозарное цветение садов, настойчиво протягивающих свои пышные ветви в окно каждой страницы. Хотя и это, конечно. Но люди — люди живые! Может быть, только подлецы мертвы, и то не потому, что автор их таковыми пишет (он-то как раз и к ним вполне бережен), а потому, что ложь «выела» в них «середину», и тут, как ни тщись, а живой полноты не напишешь. Но зато дорогие-то сердцу автора каковы! Всяк с особинкой и даже порой тяжелой, не сулящей добра особинкой, но все высмотрены и выслушаны с такой любовью, что сразу и видно, что автора не «идейные задачи» интересуют, не прозекторское желание «вскрыть» нутро немеющего времени, а сами эти любимые люди во всей цветистой непредсказуемости жизни.

Более всего поразительна эта тревожная радость. И видно, что кольцо вокруг ума и свободы сжимается, а будто и самим автором еще никакие лагеря не пройдены и друзья еще не зарыты в безымянных могилах, словно он и сам отодвигает неприятную неизбежность — пусть потом, потом, а пока все живы, талантливы и даже в сомнении и страдании еще счастливы, и узор мира не изувечен безумием времени. Жизнь сверху донизу еще кажется пронизанной смыслом, разумно упорядоченной, внутренне логичной, как логична всякая исторически устойчивая жизнь.

Выпадают из нее только словно налетающие из тьмы и во тьму уходящие нетопыри НКВД. Не зря при свете дня героям так трудно поверить в подлинность случающегося с ними ночью — да не может быть, примерещится же! И это не малодушие жизни, прячущейся от зла, а оборона здравого смысла, оборона Божьего промысла о человеке. И «воронки» и вороны чуяли это, боялись дня, и когда бы Господь ни лишил их разума, должны были почувствовать неизбежность своего поражения именно в том, что днем человек начинал считать их привидениями.

Ну, положим, это книга, написанная «потом», именно уже при свете сбывшегося дня, когда черный туман поднялся и свет в романе — только следствие воспоминания молодости, всеспасающего счастья юности. Но вспомните год назад напечатанную платоновскую «Счастливую Москву». Ведь она-то написана т о г д а. Боюсь, что мы нарочито сужаем и искривляем Платонова, делая из него изощренного «антиутописта», поэта сопротивления, который только и делает, что «бичует» сбившееся с пути общество. Это уж мы от бедности ума, от ослабленного в нас чувства жизни, от настигшего наконец и нас отвлеченного мышления.

Надо сказать, что родное христианство, которое мы предали и перед которым теперь только заискиваем, вместо того чтобы его исповедовать, дольше всех берегло нас от европейской пагубы обобщения. У нас и философия так и не выучилась отвлеченности и строгой систематике, потому что до конца оставалась дочерью богословия. А уж литература — тем более.

Это уже потом наш брат идеи-то в текст «вживлял», а писатель русский только смотрел на человека, любил и жалел его, не забывал, что человек — это тот же бог, только с маленькой буквы, и не оскорблял его всеведением и иронией.

Ведь даже и в «Чевенгуре» и «Котловане», если не ослепляться богатым сегодня задним умом, а читать текст со всем доверием и беспристрастной свободой, Платонов не сатиры пишет, а «пейзаж» нового человека, природу нового общества во всем органическом единстве этого понятия, по своему обыкновению неделимо соединяя живую и мертвую ткань мира в какую-то небывалую первоматерию, словно мир еще только создается и не весь завершен, а человек едва начерно вылеплен из глины и еще не знает в себе духа Божия, а только чувствует колеблющуюся непроясненную томящую магму и не находит себе прочного места. Ведь в «Счастливой Москве» молодая и подлинно счастливая Москва не зря носит фамилию Честнова. Они и все у Платонова вполне Честновы и так естественны в своем счастье, что как мы их своим высокомерным знанием ни жалеем, а знание наше отскакивает от них, и мы временами с ужасом чувствуем, что завидуем им.

Платонов вопреки нам и, может быть, вопреки себе разглядел в этой «глине» обещание нового человека, обещание чего-то совсем нового, небывалого в мире, возможность другого качества жизни. И очень прав С. Залыгин, предваряя «Счастливую Москву», что в мире Платонова «ни религия, ни социальные идеи, ни эгоизм, ни альтруизм не играют первой изначальной роли — роль эта принадлежит, по Платонову, самому явлению жизни, природе этого всеобъемлющего явления, которую каждая эпоха испытывает на прочность все новыми и новыми, только ей присущими средствами».

Кажется, это верно не только по отношению к Платонову — у него это только лабораторно ярко, — а касается-то каждого настоящего мастера, который только тогда и мастер, когда до социальных идей и религий его повлечет «природа» жизни. Тут даже и Достоевский не исключение, разве что у него природа петербургская, где и ум — ум, и плоть — ум, да и дух — тоже ум. Можно было бы сказать, что герои Платонова — это второстепенные герои Достоевского, все эти Лебядкины и маляры Николки, явившиеся в новую историческую пору и измучившие нас своим ощупывающим мир первородным косноязычием.

И если своим именем назвать эту томящую и радостную «природу» — у Платонова, Домбровского, если уж именно эти писатели оказались сведены произволом случая, то, как ни неуместно и, может быть, ни безумно покажется это на первый взгляд, это природа христианская. Только в нем, в христианстве, нет общего «типического», а все единичное, личностное, поражающе полное и всему определяющее смысл. У Платонова герои могут не знать Бога, у Домбровского умом отдвинуть Его на периферию жизни, но и в том, и в другом случае это не они сами отказались от Бога, а их «отказали», и они немым, отлученным, вернее сказать, разлученным (ибо всегда на время, на время — не навсегда) знанием остаются Его детьми, и это-то и придает им пьянящую живость, радостную органичность.

Я не устаю повторять это слово «радость», ни на минуту не упуская из виду, о каком времени говорю. Настоящее художественное произведение, даже о такой тьме, как допросные терзания Злобина в «Факультете» Домбровского или пустеющий Чевенгур, непременно в высшем смысле радостно, ибо угадывает замысел жизни и тем умножает жизнь, увеличивает ее «количество». Как старая великая литература умножала население земли на капитанов Мироновых и майоров Ковалевых, на Безуховых и Болконских, Базаровых и Обломовых, каждый из которых был живее и реальнее своих прототипов, так большая литература последнего времени если и не прибавляла великих нарицательных характеров, то умножала это самое «количество» жизни, обогащала ее «вещество». И об этом было весело думать и хорошо писать.

Но что же сейчас-то, как себя ни возгревай, а все больше трудом приходится брать, за шиворот тащить себя к столу, потому что неожиданная радость не толкает — нет ее в обмелевшей нашей словесности.

Обычно в таких случаях говорят: «Да ладно вам — всегда неблагодарные современники так говорили, всегда у них кризис, еще с пушкинской поры, а потом оглянешься — оказывается, все цветет, и на месте кризиса — сад». Всегда-то всегда, а все-таки разбуди нас десяток лет назад среди ночи, и мы могли назвать несколько объединяющих имен, даже и не являясь специалистами. Тут опять готово возражение, что это от бедности, от насилия сужавшей наш горизонт уравнивающей идеологии, а теперь зато все течения вольны — выбирай по разумению и вкусу, никакого тебе диктата. От этого, мол, критика-то и растерялась и, не поспевая со своими прокрустовыми линейками за богатством жизни, не видит привалившего разнообразия. Только обернись — глаза разбегаются: Набоков и «третья волна», «митьки» и домашние иронисты, «Анжелики» и «Санины», а не нравится, так ведь и прежние авторитеты никуда не делись — Проханов и Есин работают, Крупин и Белов — куда еще богаче.

Совсем вроде недавно я с досадой читал статью Латыниной, где она говорила, что пора бы и нашей литературе перестать миссионерствовать, а занять, как в Европе, положенное ей 158-е место посреди остальных человеческих забот и занятий. Так хотелось верить, что этого не случится никогда, что это будет равносильно смерти самого понятия «русская литература». А вот поди ты — кажется, и впрямь дожили. И как скоро! Все-то у нас есть. И только радости и изумления перед настоящим человекопознанием нет, только открытия нет.

Может быть, идеология и впрямь теснила нас, держала порознь жизнь и литературу. Человек не то чтобы не доверял себе, но все время чувствовал, что простоват для своей идеологии. И читал книги как меру, как предлагаемый ему путь роста, как мечтаемого себя. И вот, стыдно признаться, а кажется, это был не самый худший род литературы. Сегодня, когда человек легализован во всех своих отправлениях, он странным образом пустился прежде всего обнажать свои мелкие, заурядные, часто пошлые стороны. Читатель обрадовался банальности прозы и вызывающей развязности поэзии (тоже мне, стращали Барковым — у нас вон свой Кибиров не хуже) — «слава Богу, все как у меня!». Но он не заметил при этом самого «пустяка» — что он выходит после чтения этих книг «при своих интересах», если не беднее того, каким был до чтения.

Посмотрите лучшего из ряда — С. Довлатова, такого свободного, тонкого, так полно одаренного, с его чудесным даром здравого смысла, с его мягкой иронией. Эту прозу с ее улыбкой и грустью так хорошо читать, но закрыв последнюю страницу, вдруг остановишься в печали и растерянности: «Ну, что, ребята, вот вы говорили — жизнь, поэзия, Бог, истина, а оказывается, эта ваша жизнь — только «чемодан» барахла, который мы проносили все лучшие годы, и вот это-то и есть жизнь, и это-то и есть всё, для чего человек был зван на пир жизни. Больше ничего не покажут». И вместе с ним подумаешь об этом без суда, а с каким-то горьким удовлетворением: действительно, ведь все вокруг просто, обыденно, заурядно и даже поэзия какая-то во всем этом есть и, может, жизнь-то и правда кончается в нашем квартале, а человечество в том кругу, в котором мы вращаемся. В таком чтении мира не одна «третья волна» на редкость единодушна, но и наши родные Венички Ерофеевы большие спецы написать пожирающую пошлость быта: Петра ли Кожевникова поглядеть, Т. Толстую, В. Болтышева, Л. Петрушевскую. У кого зло, у кого добродушно, но у всех — неисходно. И как писатели хорошей старой закваски прибавляли «количество» жизни, так эти расплескивают и без того замутившиеся остатки.

Хуже всего, что и сильные из прежних опорных имен порядочно обессилели. В. Белов уходит в съездовские заметки и ослабляет руку художника, что сразу сказывается в рассказе «В кровном родстве». С. Есин, некогда безупречно вскрывший механизм «имитаторства» жизни, сам отравился имитированием, так что в последней повести «Стоящая в дверях» качается на опасной грани сатирической журналистики. Фазиль Искандер в «Ленине на «Амре» решает такую открыто бедную задачу, сует читателю такую откровенную «ложку к обеду», что делается жалко больших сил, пущенных на ветер. В. Пьецух в «Заколдованной стране» вроде и искренне хочет разглядеть, что же это за жребий такой — быть русским человеком но будто и стесняется: прилично ли теперь об этом без иронии говорить, и вот мается — подойдет к самой границе искренности, да и вон от нее! Что читатель-то с нами делает — в какое безволие может вогнать.

Похоже, это общий недуг — стыдиться своей вопрошающей души, достигая в этом стыде настоящих чудес скрытности. Вон как талантливейший Д. Галковский в «Бесконечном тупике» тоскует по единому, полно утоляющему высказыванию о мучении живой души посреди рассыпающейся реальности, а оказывается только перед толпой примечаний, окружающих невысказанный текст, обступивших какое-то неподъемное для слов миропонимание. Горы песка вокруг зияющей немотой ямы. Он неутомимо пересыпает этот песок и никак не определит, для чего вырыта эта странная яма—не могила ли это для его сжигающего, тоскующего, ненасытного, но как будто так и не примененного ума. Опять, как уже много раз в нашей словесности, литературу хотелось преодолеть, выскочить из художественного текста в страшный простор жизни. А ум не пустил. Замечательный ум, не вооруженный любящим сердцем.

Все чаще писатели делаются «умнее жизни», слишком знают ее и, по существу, знанием-то и замещают собственно жизнь. Кажется, писатель еще и за стол не сел, а ему уж скучно, и это равнодушие не скроешь, оно из всех пор прозы сквозит. Не потому ли и «образ автора», прежде такой таинственный и такой привлекательный для исследователя, почти перестал занимать критику. И как сразу померк культ писателя в России. С ним не ищут встреч, им не гордятся. И не потому, что читатель поумнел и «сам все знает». К Толстому-то, Чехову, Короленко разве только праздные или полуобразованные люди тянулись? Лучшие люди России искали встречи, чтобы ободриться, укрепиться в понимании мира, просто выправить свою сбитую «систему координат», потому что чувствовали в писателе высшее знание, разрешающую ясность. А теперь он вполне уравнялся с читателем, «сделался ремесленник», чиновник книжного ведомства, достиг желанного 15В-го места в иерархии европейских человеческих ценностей.

Давно ли У. С. Моэм, к нашей гордости, говорил: «...писать о художественной прозе, не учитывая русской, — значит попусту тратить время. Если мы хотим понять человеческую душу и сердце, где еще мы найдем их изображенными с такой глубиной?» Давно ли он в каждом русском писателе различал черты святого, движимого любовью и состраданием к человеку? И вот уж мы застеснялись своего мессианства, сочли его провинциальным преувеличением, идеологической обузой и наперегонки помчались учиться европейской свободе, литературному «маркетингу», профессиональному «всезнайству».

И это в конце века, в конце тысячелетия — «под занавес». Нечего сказать — достойное завершение! Только и надежды, что где-то помалкивают, но спокойно делают свое несуетливое дело люди, которыми всегда матушка-Россия была не бедна. Кто-то вышел из строя, из нашего марафонского стадного бесцельного бега, и увидел свою бессмертную душу под бесконечным небом. Ведь это мы только в со-

циальной (не нарочитой ли!) мути, в ослепляющих заботах о возможности бесконечного заработка, в сузившемся до одного дня горизонте не можем увидеть, что мир-то подлинно к краю подошел. И сейчас, чтобы пророчествовать о конце света, не надо быть ни деревенским юродивым, ни городским астрологом, ни монастырским старцем. Довольно поглядеть на экологическую статистику да на свое тараканье разбеганье из родной истории и разваленного Отечества — одно это скоро убедит, как мало в человеке осталось разумного и как, несмотря на свои клятвы, позабыл он свое божественное сыновство. Тут старыми-то методами действительно мир не оглядишь и привычными мерками не перемеришь. Тут одного и замечательного художественного дара мало, а потребно могучее мирознание, системное проницание происходящего, властный дар небывалого слова, чтобы человек остановился, как от удара, и хотя бы для начала только повторил с детства известное: «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так.., как мы бежали, кричали и дрались... Как же я не видел прежде этого высокого неба?..» А там, Бог даст, услышит и свое потерявшееся время и обнимет разумом его много переменившиеся, но ведь не утратившие же смысла человеческие устремления.

Мы-то ослепли — понятно: слишком были защищены привычной, однообразием осмеянной, но такой надежной для ленивого сознания идеологией. Но художник-то на то и художник (и, значит, мыслитель), чтобы не терять из виду великую учительницу — смерть, которая страшно приблизилась к духовным источникам и вот-вот отравит или высушит их. Мы можем как угодно обманывать себя ложной полнотой социальной жизни, близостью желанной свободы (от чего?), но нам никуда не деться от необходимости осмысления мира. От себя не спрячешься.

Еще недавно самым коротким путем к выправлению сбившегося мировоззрения была родная литература, и мы не зря звали ее учительницей. И вдруг она решила уйти в «массовку», стать улицей, «отдохнуть» от прежних громоздких обязанностей, от неподъемных требований традиции. Но отдохнула, и будет! Если она не хочет переродиться, если не хочет удовлетвориться 158-м местом, если еще хочет зваться русской литературой во всем обязывающем величии этого понятия, пора бы после затянувшихся европейских командировок и иронических каникул и домой. Никто за русского художника его работы не сделает. Наше место в мировой культуре незамещаемо.

Псков

ИГОРЬ ШТОКМАН

Слово и судьба

(ЛЕОНИД БОРОДИН: ИДЕИ И ГЕРОИ)

И неподкупный голос мой...
А. Пушкин.

Эта статья о писателе, слово которого воистину не расходится с его жизнью, поступками — судьбой. Она — о человеке, ценящем верность собственным идеям и принципам столь высоко, что за них можно пойти за колючую проволоку Гулага, в тюремные камеры... Леониду Бородину дважды пришлось побывать там — в шестидесятых и восьмидесятых годах, и общий срок предназначенной ему неволи переваливал за два десятка лет.

Он и писать начал там же, в камерах и зонах, и все вещи его были вначале известны лишь зарубежному читателю: печатались в «Посеве» и «Гранях». У нас Леонида Бородина начали публиковать совсем недавно. Перед нами открылся писатель подлинно серьезный, истинно честный и глубокий. Его проза часто горька, но горечь эта выстрадана и не служит никаким конъюнктурным целям... Она рождена авторской болью за свою страну и народ.

Мир писателя ярко раскрылся уже в его первой книге «Повесть странного времени» («Посев», 1978).

Идея ответственности и ответа — одна из самых важных и принципиальных для Бородина... Погруженный в то глухое «странное время», он не то чтобы разводит меж собой злодеев и их жертвы (тут как раз все просто и однозначно ясно) — нет, он иным озабочен.

Он словно пытается очистить жуткие, фантомные ситуации от идеологических и социальных «наростов», вернуть вещам и понятиям их изначальный и простой смысл. Он хочет знать, чего не должен человек, восставая и противясь, как бы ни давили на него время и ситуации...

Драматизм этой прозы — в соединенности несовместимого. В абсолютной, безусловной и для героев, и для автора незыблемости, святости личной совести, чести и — в относительности этих категорий в мире конкретных социально-исторических обстоятельств... Дерзость, воспарение стремлений, помыслов и — неумолимое притяжение «земли»: времени, в котором живут герои, его социальных, политических рамок и правил.

Здесь главная мýка, главная боль лучших бородинских героев, их метания и — поражения, которые можно (и нужно!) считать победами. Над самими собой, над собственным страхом, инстинктом самосохранения, соблазном не видеть, не слышать и жить, «как все».

Лучшие, излюбленные герои Леонида Бородина строят свои поступки, биографии (сами строят, вот что важно!) по определенным и жестким правилам. «Правила» — вообще одно из ключевых слов и понятий этого писателя. Они синонимичны для него «норме» и то и дело самоустанавливаются... Это, если угодно, самодисциплина, спасительный, хотя и суровый тренинг, без которого уж никак не сыграть выбранную роль до конца.

В случае же поражения они позволяют опять-таки не отдать последнего, неразменного и самого дорогого для бородинских героев — своего символа веры, своих принципов... «Умираю, но не сдаюсь!»

Отсюда — прямой путь к рассказу «Вариант», лучшему, полагаю, в сборнике «Повесть странного времени», рассказу динамичному и подлинно драматическому.

В нем действует пятерка молодых людей, живущих в «городе революции», в Ленинграде, и занимались эти ребята, коли говорить прямо, подрывной, антигосударственной деятельностью.

Пятерка вольнодумцев была, конечно же, очень разной, пестрой, но у нее имелся центр — «цемент и железо», «командор» Андрей, главный герой «Варианта».

«Он всегда (даже в детстве.— И. Ш.) играл всерьез... Всегда был приверженцем строго соблюдаемых правил игры (опять правила! — И. Ш.) и никому не прощал их нарушения...»

Подобная модель легко может дать трещину и рухнуть именно в силу (или же слабость?) своей индивидуалистической замкнутости, самоуглубленного стоицизма и аскезы... Тут всё уже жизни, беднее ее и потому способно невольно, но неизбежно нанести окружающим урон, глубокие и болезненные раны. Нанести, как бы не имея (!) иных мерок и «правил». Тепло и непосредственность жизни, ее мудрая и глубокая, «со всячинкой» реальность безвозвратно теряются тогда, и возможны ли без них простое и обычное человеческое счастье, щедрая ответная любовь к кому-то, а не только к «идее», «борьбе» и «правилам»?!

Бородин и в «Варианте», и в «Расставании» вплотную ставит своих героев перед последней и, похоже, самой серьезной, самой каверзной для них проверкой... Проверкой живой жизнью.

Они не выдерживают обычно такой проверки, и я склонен полагать, что неспроста... Это сам автор, «железный и лагерный» Леонид Бородин, испытывает своих героев — лучших, заметим, излюбленных! — голосом и теплом реальной жизни. Простой, близкой — лишь руку протяни. Но они, стойкие и беззащитные одновременно, не тянут ответно рук, бессильно и отрешенно опуская их. Они проигрывают при этом... жизни, предпочитая ей, то есть всему остальному на свете, единственную и ненасытно требовательную возлюбленную — борьбу.

В «Варианте» Бородин пристально и трезво вглядывается в святая святых его героев — в сам процесс «борьбы», ее течение и, наконец... результативность, итог.

Что же мы видим?

«...Они (те пятеро.— И. Ш.) любили народ! Точнее, очень хотели любить народ, хотя подозревали, что любовь эта будет без взаимности. ...Оптимизм юности столкнулся с действительностью, которая не торопилась меняться и преобразовываться, народ не просыпался, и зарождалось сомнение, *спит ли он*» (подчеркнуто мной. — И. Ш.).

На этом впадали в разочарование, в скепсис и неверие, в крайности и куда более умудренные опытом, тертые жизнью люди!

И потому — как разрыв «круга банальностей», как спасительный и единственный выход из него — террористический акт. Дело. Настоящее Дело, а не пропаганда, не листовки... Убийство бывшего сотрудника органов, зверя и садиста. Идея терракта предлагается пятерке именно Андреем. Этот «вариант» — его, от начала до конца. Выстрелив и убив, Андрей уезжает на Урал, к деду, убрав с лика земли одного (пусть лишь одного!) гада, «отколов маленький, крохотный кусочек подлости».

...Самая сильная, на мой взгляд, самая глубокая и горько-мудрая главка рассказа — последняя. Называется она — «Один» (!).

Эти страницы трудно, больно читать: и сердце щемит за героя, и слепит глаза безжалостный, бесконечно уверенный в себе свет Большой Правды... Той, которая всегда видела и ныне видит, соотносит Андрея и — остальное. Той, что постоянно была вокруг героя, рядом с ним, от его рождения и до самой смерти (а она уж близка — вот-вот найдут, дотянутся!). Правды, имя которой — Родина, Россия... Главка начинается с крохотного, двухстрочного абзаца:

«В окне проносилась, проплывала, пролетала и растворялась в далях Россия». Далее: «Какой жалкой мышиной возней представлялась ему отсюда вся его деятельность в Питере... Казалось, не километры от центра отсчитывает поезд, а годы прочь от настоящего времени к какому-то временному постоянству, которое и раньше и теперь, и всегда по отношению к ним, людям столиц, всегда за их спиной, всегда им чужое... Остается одно: *он не понял Россию*» (подчеркнуто мною. — И. Ш.). И наконец, как последний кивок готового замереть маятника, как первая горсть прощальной земли в уже зияющую могилу, готовую принять тело, как гвоздь в гробовую крышку,— неоспоримое и убийственное: «Если вдуматься, то безумство храбрых — это всего лишь храбрость безумцев!»

Она, Россия,— сама по себе; он, Анд-

рей, борец и стоик,— сам по себе. Она, «пролетая» и «растворяясь», стояла и будет стоять, как бы ее ни мордовали, мучили и растлевали, а Андрею, недавно еще готовому к эффектной гибели за нее, — утренний, по ранней зорьке арест на дедовом подворье, короткая, обреченная перестрелка и — своя пуля в сердце...

Это все, что осталось Андрею напоследок.

Хочу верить, что Бог принял душу этого самоубийцы... Он и точно был не в меру самонадеян, горяч и грешен, как и все мы, если не более. Но, принимая смерть, он стал чист. Чист смирением гордыни и покаянием перед несчастной Родиной своей, перед Россией.

Единственное из всех ныне вышедших произведений Леонида Бородина, рассказывающих о жизни «там», в лагере, — повесть «Правила игры». В ней описан всего один день заключенного Юрия Плотникова, отбывающего семилетний срок в некоем «Кедролаге», причем до освобождения остался лишь месяц.

«Каким в колыбельку, таким и в могилку» — гласит русская пословица... Да, так в обычной действительности, когда принцип аутентичности (верности самому себе), столь излюбленный экзистенциалистами, срабатывает без особого напряжения, словно бы сам собой. Эти же «могилки», тюрьмы и лагеря, и впрямь могли похоронить в своих пределах попавшее в них человеческое «я». Они могли уничтожить его физически и могли выплюнуть в мир по отбытию срока совсем иную личность, смятую, изуродованную и внутренне опустошенную. Что страшнее — трудно сказать...

Нужно было очень уважать, ценить в себе свою честь, независимость, принципы, свой «задор» (Гоголь), чтобы сохранить все это в неволе.

Надо сказать, что главный герой «Правил игры» не сразу, похоже, пришел в лагере к такому выводу. Ему помог в этом старый зэк, отсидевший «за веру» более тридцати лет с небольшим перерывом (Бородин, кстати, определяя различные лагерные группы и типы, с особым уважением отзывается именно об этих заключенных, подчеркивая их стойкость, честность и несгибаемость).

Старый зэк из «Правил игры» был еще и несомненно мудр... Он сказал Юрию: «Ты, поди, думаешь, что тебя здесь будут перевоспитывать? Если бы они этого хотели и могли, они не сажали бы тебя. Плевать им на твои убеждения. Тебя будут ссучивать! ...Власть, она не глупа. Она умней всех умненьких... Она понимает, что если у ней что-то не получается, так в нее веры быть не может, и тогда ей народ нужен не из верных людей чтобы он состоял, а хотя бы из сукиных сынов. С ними тоже долго царствовать можно».

Монолог видится мне замечательным по простоте и точности мысли, в нем изложенной... Это та простота, что вроде бы у всех под ногами, стоит только вглядеться и нагнуться. Но почему-то далеко не всем это удается. Видимо, потребно какое-то особое, пристальное, со своим постоянным приглядом и прицелом внутреннее зрение, чтобы обнаружить воистину очевидное.

Такова же, кстати сказать, и природа всех бородинских вещей... Главная их особенность — внутренний мир и жизнь текста. Они не откроются беглому, поверхностному и невнимательному глазу. Такого читателя бородинские произведения могут, думаю, даже разочаровать, поскольку внешне очень скромны, почти аскетичны и лишены беллетристической броскости, игры стиля, самоценного и самодемонстрирующегося... Этого абсолютно нет в бородинских вещах. Сила их в другом — в напряженном, тугом потоке внутренней мысли-идеи, непрерывающейся и неослабевающей.

Леонид Бородин принадлежит к тому типу писателей, которые должны до всего дойти сами, ничего не беря на веру, ничего не утверждая и не отрицая с порога... Все познается, все исследуется. Потому главное у этой прозы — ее внутренний шаг, авторский ход к Истине и Правде. Зачастую они при сем неожиданны и нагружают сознание, душу новым видением мира и жизни, новым отношением к ним.

День, описанный в «Правилах игры», труден и ответственен для главного героя... Юрий начинает «сбоить». Он вдруг, неожиданно для самого себя, совершает поступки, которых раньше бы никогда и ни за что не сделал.

Главный из них — отказ принять участие в голодовке остальных политических, хотя до описанного в повести дня герой присоединялся к подобным акциям мгновенно, не рассуждая и не расспрашивая о мотивах...

Что же и почему происходит?

Вот что говорит некоему Осинскому, отказываясь принять участие в голодовке, Юрий:

«— Вы боретесь за права зэков, да и я, собственно, тоже... но не в этом дело... Вы не признаете государство и в то же время требуете, чтобы оно соблюдало какие-то правила по отношению к вам... Я считаю, что если пошел против государства, если попался, так неси крест и не хныкай».

Самое существенное в этом монологе — это, конечно, его последняя фраза... Насчет креста, который нужно нести, не хныкая. Не строча протестов (герой считает их просто унизительными жалобами), не делая заявлений иностранным корреспондентам (это из романа «Расставание», но суть — одна), не пытаясь, словом, искать облегчения и прикрытия на войне, которую ты сам и добровольно объявил государству. На войне как на войне...

В иной, противоположной модели, считает Юрий, все будет «как-то не по-русски»... Он так и говорит Осинскому, поскольку привык не прятать собственные взгляды, и тут же, немедленно, получает клеймо... антисемита.

Еврею Осинскому беспроигрышно выгодно так считать, так обвинять... В сущности, он, споря и как бы защищаясь от соображений и выводов Юрия, называя его антисемитом, молниеносно переходит к прямому и действенному нападению — никто же не знает, что антисемитизм низок, гадок и недостоин «интеллигентного человека»! (Замечу в скобках, что эта метода часто и с успехом применяется и по сей день: чуть что — обвинения в «антисемитизме» и «великорусском шовинизме»! Очень удобно, а главное — безотказно.)

Осинский знает, что делает, когда таким образом выходит из спора-поединка, и прав, полагаю, был в повести некий Моисеев, толкуя с Юрием о проблеме русско-еврейских отношений.

«Мы (русские.— И. Ш.),— говорил он,— сегодня знаем, чего мы не хотим, да и всегда мы только и знаем, чего мы не хотим. Евреи же всегда знают, чего они хотят».

На мой взгляд, это сформулировано безукоризненно точно, и Осинский, закончивший спор с Юрием обвинением в антисемитизме, тоже прекрасно знал, чего хотел... Простейшего — морального уничтожения оппонента безотказным, многажды проверенным оружием.

Плотникову трудно понять и принять эту логику... Его русская (или же антисемитская, по определению Осинского) позиция и модель — отвечать самому за все и перед всеми, отстаивая свое мировоззрение и «правила игры». Нести крест и не хныкать...

Настоящий человек вообще определяем для Леонида Бородина такой вот слитной и неразрывной триадой: Цель. Верность ей. Ответственность за совершаемое.

Это очень «мужской» расклад, и потому столь естественна «прописанность» бородинских героев в ситуациях искусов, напряженных испытаний.

...Истинный и несомненный патриотизм Леонида Бородина не мог не привести его к созданию такой повести, как «Третья правда» (1979). В ней встает перед нами в процессе, в динамике трагедия русского человека, чей корень, что дворянский, что мужицкий, был беспощадно выкорчеван, истреблен в сече классовых битв.

Удивительна глубина зрения этого повествования... На малом пространстве (жизнь и судьба двух сибирских мужиков, Андриана Селиванова и Ивана Рябинина), ширясь, разрастаясь, пробрасывая мост от дней минувших в сегодняшнее, повесть эта сопрягает индивидуальное с поистине всенародным. Сопряжение стóит дорогого...

Никаких посредников меж судьбами Ивана Рябинина, Андриана Селиванова и колесом истории, тяжко, с хрустом проехавшим по ним, не было да и быть не могло... Бородин пишет в «Третьей правде» о реализации революционных теорий и идей, о том, как мерил русский человек кафтан, придуманный и сшитый для него «кремлевским мечтателем», и насколько же в том кафтане оказалось удобно, свободно да ловко!

Два типа перед нами, две ипостаси народного характера, взращенные простором Сибири, ее вольной волей...

Андриан — человек, как бы самой природой и Богом созданный для жизни при советской власти, ибо только такие характеры могли выжить при ней, выжить «чудом», свободолюбием, хитростью, бесстрашием, пронеся свое «я» через все, что щедро подваливало им новое государство!

Подобное свободомыслие и свободолюбие не в малом, конечно, взращены Сибирью, ее волей, ее просторами... Селиванов — не беловский Иван Африканович, в котором вся прелесть и особица — в приятии всего сущего, каким бы оно ни было. Все снесет терпеливо и молча, все вынесет без бунта и ропота, коли так «жизь» велит!..

Это истинно национальная черта многих и многих иван-африкановичей; у ней, черты этой, много исторических причин и нравственных обоснований, но — так ли уж она хороша? И — так ли уж нам всем с ней хорошо? Что до меня, то куда более приспособленным для жизни в стране Советов видится мне бородинский Андриан Селиванов!

Он твердо убежден в том, что, будь «рылом позлее, так любую власть в свою пользу направить можно!..» Он кричит запальчиво Ивану Рябинину: «Твой отец с твоими братьями воевал! Где написана такая правда, чтоб отцу с сыновьями воевать?!. Я тоже имею право войну объявлять! И каждый имеет право, если жизни нету! Убиец тот, кто жизни лишает, чтоб чужое иметь! А я за свое! А мужики? Что им с той правды, за какую друг другу мозги вышибали!» (подчеркнуто мной. — И. Ш.).

В упрямом и непреклонном, простом и здравом селивановском мировоззрении много от русской и древней, как сама Русь (увы, не советская!), тяги к воле и правде-справедливости. От пугачевщины, разинщины, от мужицких бунтов, теряющих постепенно, с ходом отечественной истории, свой размах и силу, вспыхнувших грозно — не в последний ли раз? — в пору коллективизации, когда новая, «народная» власть подавила их страшно, кроваво... Способности возразить, не согласиться, взбунтоваться все менее в русском человеке, поскольку все менее... самого русского человека — истреблен, насильственно изведен он за годы советской власти! Распад и гибель самого главного в любом государстве — его национального духа, типа, его генофонда как раз и запечатлен в «Третьей правде»... Уверен, что ради того она и писана.

Судьбы Селиванова, Рябинина — типичные мужицкие судьбы послереволюционной России, да вдобавок случай свел этих мужиков с другим крылом русского, еще жившего в ту пору общества — с офицерством, с дворянством.

В пору гражданской войны, захватившей и Сибирь и Дальний Восток, появились в родной деревне Селиванова и Рябинина трое... Двое мужчин и одна девушка. Отец ее, один из двух офицеров, носящий древнюю, славную на Руси фамилию Оболенский, захотел умереть на Родине, а не в Китае и не в Европе, куда забросили его безжалостные российские революционные бури.

Оболенский, безнадежно больной чахот-

кой, так и умирает в сибирской тайге, и хоронит его Андриан Селиванов, взявший на себя по последней воле покойного заботу о его дочери.

Он отводит ее в дом егеря Ивана Рябинина, и Людмила Оболенская, «благородиева дочка», становится женой этого могучего, как кедр-дубняк, сумрачного, но чистого и наивного душой мужика.

Могла ли счастливо сложиться жизнь этих двух при новой, советской власти?.. Не думаю. Рябинину вряд ли бы простили подобную женитьбу, избранницу «из бывших», хотя в самом Иване, заметим, гораздо менее, нежели в Селиванове, желания противоборствовать властям.

Рябинин скорее исповедует по отношению к власти Советов известную русскую терпимость к власти «вообще»... Нынешняя для него не то чтобы от Бога, но просто, коли уж есть, так, стало быть, надо с ней считаться... Иное дело — вековые правила и нормы, существующие в рябининской душе свято и неприкосновенно. В них — общечеловеческая мораль, нравственность и то природное, от Бога, от прежней русской жизни, еще помнившейся в те поры, стремление не уронить, не испоганить себя, жить, «как положено».

Это в Рябинине — почти на инстинктивном уровне, существует естественно, как дыхание, и отнять подобный кодекс у него можно лишь вместе с жизнью.

Вот и берет егерь за шиворот властью облеченного браконьера, пакостившего в тайге... Берет — и платится за это. Пришивают Ивану террор и связь с бандой и закатывают в те края, с которыми у русского человека издавна и прочно связан некий Макар с его телятами.

Двадцать лет (!) отбухивает там Рябинин... Он возвращается домой, и вот встречаются два друга, два человека, прошедшие — каждый по-своему — через то, что принесла им революция да советская власть... У обоих, и у Андриана, и у Ивана, жизнь — к закату, и впору подводить черту, оценить прошлое. Удалась ли жизнь, сложилась ли так, как мужикам хотелось?

У Селиванова, пожалуй, да... Уж очень настырен да упорен был он, отстанвая — всегда и во всем — свое. Жизнь Селиванова была вечной борьбой, вечным — так ли, этак ли, но— противостоянием. Оно не только против «власти»; оно и «общества», как раньше говорили на Руси, своих, таких же, как Селиванов, мужиков в упор не видит. Нет и не было у Андриана союзников в борьбе за свою «третью правду» — одни враги.

Ну, а Рябинин? Каким он вернулся из мест отдаленных?

Религия, глубокая вера в Бога стали там Правдой Ивана, но какой же ценой далась она, какой горькой и дорогой ценой!.. Порушили молодую семью, вычеркнули из бытия двадцать лет, и внутренне выжить, найдя душе свет и успокоение, оказалось можно лишь после того, как сам отрешившись от многого, научишься воспринимать как не с тобой происшедшее... Какая горькая наука, какое горькое успокоение!

Оно пришло Рябинину не от хорошей жизни, а от пустоты, возникшей в нем после ареста и заключения... Душа кричала и металась, и успокоилась наконец, утешив себя приятием других, чужих страданий, их разделением.

«Соборность» в страдании — явление чисто русское, сформированное в русском человеке самим путем исторического его развития, когда выносить приходилось такое, что одному — не осилить, не снести... Разделенное горе — полгоря, а способность почувствовать боль, печаль другого, как свою, облагораживает и просветляет душу. Все это так, но отчего же надо приходить к замене простого человеческого счастья в миру, в обыденной жизни и непременно — через страдание?!

Для России, для русского человека это — вопрос риторический... Судьба Ивана Рябинина в «Третьей правде» принадлежит во всяком случае этому руслу.

Горько это? Да, горько. Несправедливо? Да, несправедливо.

Что же в итоге?

А то, что судьбы двух этих российских мужиков, внутренне во многом столь несхожих, одинаково... обделены. «Третья» их правда не далась в руки ни тому, ни другому... Да и только ли их счастье было таковым в те грозные и роковые для многострадального русского человека годы!

Отец Людмилы, офицер Оболенский, вернулся на родину, в Россию, как тать ночной, как вор, чтобы хоть помереть да в родных краях!.. Он и лег в русскую землю, в таежную могилу без креста, что вырыл ему Андриан Селиванов.

Сама Людмила сгинула без вести, пытаясь отыскать след арестованного мужа своего... Она была в ту пору беременна: ждали сына, как сказал Селиванову, вернувшись из заключения, Рябинин.

Сын и впрямь родился — Селиванов вдруг догадывается, что вечно грязный, вечно беспробудно пьяный местный тракторист, всеобщее посмешище и притча во языцех, и есть сын Рябинина и пропавшей Людмилы... Этот несуразный, вконец опустившийся, потерявший себя парень действительно носит громкую, славную фамилию Оболенский, столь смехотворно не соединяющуюся со всем его обликом и стилем жизни.

Этот «бич» Оболенский — последняя точка в жуткой картине распавшейся русской жизни, русского народа... Вдумаемся: по материнской линии — Оболенские; по отцовской — крепкая физическая и нравственная основа Ивана Рябинина. И что же в итоге? Вконец опустившийся алкаш, почти идиот, не видящий в жизни своей — если можно именовать подобное жизнью — ничего, кроме спиртного дурмана. И — все!.. И ничего более. Какая страшная судьба, какой жуткий, но и закономерный финал для русской жизни, растоптанной, измордованной и бесконечно униженной!

В «Третьей правде» очень отчетливо, явственно видно «русское ядро» прозы Леонида Бородина, истинный и глубокий патриотизм авторских чувств и идей.

В этом рассказе об историческом сломе некогда подлинно великой России, когда стал в ней устанавливаться закон, которому «соблюдаться нету мочи без револьвера», нельзя не заметить авторскую и отнюдь не благостную, но требовательную любовь к русским людям.

Я ощущаю «Третью правду» как дань памяти страданию русского народа... «Третья правда» — это кровь сквозь бинты. Кровь народа, который давно уже существует не «благодаря», а «вопреки»... Кровь все сочится, тяжело, мстительно сказываясь в судьбах новых российских поколений, и «Третья правда» написана как раз — об этом...

Сугубо городская, а не сельская, не сибирская, как в «Третьей правде», жизнь существует и царит в романе «Расставание» (1982). В нем же есть свой внутренний секрет... Многое гадательно, неоднозначно в этом произведении — от первоначального варианта названия до авторского отношения к изображаемой действительности и главному герою.

О названии... Первоначально роман был назван «Другая жизнь» и так и попал за рубеж к Георгию Владимову, который занимался его подготовкой к публикации. Владимов оценил роман вполне положительно, но резонно заметил, что ставить на титуле после Юрия Трифонова «Другая жизнь» несколько странно, если не невозможно. Так возникло иное название — «Расставание».

Вот здесь-то и начинается двузначность... «Другая жизнь». То ли это несостоявшееся стремление Геннадия, главного героя, к решительному повороту в своем существовании, когда желанный берег — женитьба на дочери попа Василия, покинутая столица и тишина, покой, уравновешенность успокоившейся души.

То ли как раз иное... Суетливое, несколько раз на дню меняющееся, как картинка в калейдоскопе, московское бытование, которое, точно, напрочь «другое» по отношению к жизни отца Василия, его дочери Анастасии, вообще всех, живущих у тихого, зачарованного озера, далеко в стороне от столичного шума и гама, личной раздерганности и рефлексии.

Ясно, что термин «другая жизнь» найден в романе прежде всего для Геннадия. Это его внутренний мир, его поиски, метания определяют развитие и ход произведения. Это Геннадий бросается от одной жизни к иной, ищет и здесь и там, пытаясь закрепиться, внутренне укорениться то возле озера, то в Москве.

Кто же он, этот молодой человек и наш современник, как относится к нему автор?

Бородин рассказывал мне, как настороженно и даже неодобрительно отнеслись диссидентские зарубежные круги к тому, в каком нравственном ракурсе и свете был изображен главный герой «Расставания».

Сказано было примерно следующее:

«Я в это время уже сидел, уже был как бы полностью «их» и, соответственно, герой... И вдруг такой тип, как Геннадий. Они почувствовали (и справедливо!) неодобрение, осуждение, насмешку даже...

Оно и было так... Я всегда ненавидел (I — И. Ш.) подобный сорт людей, этаких столичных трепачей, лишь скользящих по поверхности действительности, ни за что внутренне серьезно не зацепляющихся...»

Получился ли герой именно таким?

На мой взгляд — и да и нет... В его изображении, безусловно, ощутим авторский негативизм, но все же Геннадий, полагаю, воплотился перед нами отнюдь не столь однозначно непривлекательным.

Отчего так произошло? Думаю, что реализм письма, столь присущий, по моему твердому убеждению, Леониду Бородину, властно проявился и в «Расставании».

Этот реализм не то чтобы отменил исходные авторские намерения — для такого «прицельного» писателя, как Бородин, органически верного своей идейной и нравственной «шкале», это вообще невозможно! Просто сами собой внеслись коррективы в раскрывающуюся перед нашими глазами натуру, диалектику характера, который однозначно прям и прост лишь у безнадежно ограниченных людей. Геннадий же, безусловно, к таковым отнюдь не относится...

Впрочем, само начало романа дарит нам такой букет убийственных самохарактеристик героя, что только руками развести... Как он себя только не честит, живя там, подле озера, рядом с отцом Василием и его дочкой!

«Я никого не могу осчастливить. И ничего не имею дать. При мне только моя вечная суета и трепыхание. Я носитель путаницы и непостоянства. Разрушить могу многое, а что создать?»

«Я грязен и искривлен, как засушенный червь! Я не знаю истины и не верю в нее, у меня нет ни самолюбия, ни благополучия».

И наконец — наотмашь, точно пощечину самому себе... «...Я дерьмо из дерьма. Да я за жизнь свою ни одного доброго дела не сделал, какое бы мне совсем без выгоды было».

Убийственно... Как жить человеку при подобных самооценках, где силы взять? Ведь остается, кажется, лишь одно — найти веревку попрочнее да и повеситься.

Но отчего же плачет герой, расставшись с Анастасией?

«Я сжимаю ее крепко, до стона, целую лицо, разжимаю руки, спрыгиваю на землю, бегу, взлетаю на чердак по приставной лестнице, падаю на постель и плачу без звука. Потом, завтра или позже, я все это отрефлектирую и разложу на составные, но сейчас у меня редкий счастливый миг искренности, я так рад ему, я верю, что миг этот может быть продлен, что он может быть вечен».

Читая роман и в первый раз, и перечитывая его, дойдя до этого места, ощутил я один и тот же толчок, услышал один и тот же отзвук, одно эхо... Печорин! «Княжна Мери», уехавшая Вера, ее письмо, сумасшедшая скачка на запаленной, задыхающейся лошади, слезы...

«Ноги мои подкосились... Я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал.

И долго лежал я неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и

рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли как дым; душа обессилела, рассудок замолк, и если бы в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

...Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, всему причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета (дуэль с Грушницким, как помним, уже состоялась.— И. Ш.) и пустой желудок».

Разум и сердце, душа и рассудок, две вечные и раздирающие нас силы, правящие человеческой судьбой... Какая из них сильнее, справедливее и важнее для жизни нашей? Романтик и поэт помянет сердце; скептик и материалист кивнет на рассудок. Спор этот бесплоден и схоластичен—все перемешано в человеческой судьбе, обоим этим божествам, их власти подвержена она равно, и лишь мнится нам, в наивной и детской гордыне нашей, что можем мы выстроить жизнь свою, руководствуясь либо разумом, либо сердцем.

Тщетно!.. Что истиннее в признании Печорина — слезы или старательно и привычно циничные рассуждения о ночи без сна да пустом желудке? Слезы, конечно!.. Но цинизм-то, но поза тоже в крови, в самой натуре, и тоже формуют судьбу.

Вот и герой «Расставания», беззвучно плача, уж знает, как «отрефлектирует» он позже это чувство, эти слезы, но плачет же!.. Этот плач, как и слезы Печорина, исходит из самой глубины души, из потаенного, не ведомого до конца никому, даже самому герою, дна ее, и здесь надобно верить, надобно понять и принять!

Все самоуничижительные аттестации героя «Расставания» ничто для меня против этих слез, я вижу искреннего, страдающего человека, отнюдь не дурного от Бога и природы... Что же до рефлексии, разложения на составные, то тут он, право, может дать даже фору Печорину, зная, что это произойдет «завтра или попозже», в то время как байронический лермонтовский герой принимается делать это немедля, тотчас же после рыданий — «расстроенные нервы, пустой желудок»...

Но есть, повторяю, есть для меня нечто общее в этих эпизодах, их внутренней и страстной жизни, их порыве и рефлексии! Бородин вообще, на мой взгляд, подчас бывает неожиданно созвучен (для него самого, скорее всего,— тоже) лермонтовской прозе... В «Расставании», в «Женщине в море» * (у Лермонтова — «Тамань»). Тема эта особая, требует специального подхода, текстологического сопоставления, пока же не могу не удержаться от того, чтобы хоть намекнуть, обозначить ее.

Ведь и само внутреннее построение романа «Расставание», исповедь главного героя — почти дневник, подробный и искренний монолог, созвучный в этом смысле журналу Печорина... И тут и там — «исповедь сына века», рассказ о жизни души, о том, как мыкается она в миру, неприкаянная, как ищет гармонии и лада, и все они не даются ей, проскальзывая мимо пальцев!

Это, так сказать, сходство самого типа повествования; изображенная же действительность, конечно же, совершенно разная...

Что же в московском бытовании героя и его знакомых, как оно изображено?

Вот комната Геннадия... Икона прошлого века рядом с фотографией Солженицына (авторская ремарка: «это вполне по-московски»), репродукция «Дон-Кихота» Пикассо и Библия. Все—вперемешку... Эклектика всеобщего, а стало быть, ничейного вкуса, всеобщей моды, отсутствие сокровенного, только своего, которое исчерпывающе говорило бы о пристрастиях, вкусах хозяина, именно его и — только его. Все — как у всех.

Как же живут обитатели этих комнат и квартир, как соотносятся с миром? А вот как...

«Не важно, что завтра он выйдет с флажком «по среднесдельному» на ненавистный Калининский проспект встречать представителей враждебно-дружественной державы, не важно, что послезавтра на партсобрании будет докладывать о готовности своего отдела принять повышенные соцобязательства в честь предстоящего съезда, это все не важно, потому что дома у него на полке «Мастер и Маргарита», а в прошлом году один диссидент оставил у него на хранение пишущую машинку, а в позапрошлом некоторая часть гонорара за статью ушла ни больше ни меньше в фонд помощи... «Ах, Арбат, мой Арбат!»

Это даже не уютная, безопасная, тихая фронда, фига в кармане... Это жирное, самодовольное сибаритство, всегда способное совместить что угодно с чем угодно, лишь бы было по-прежнему покойно и мирно. Это дряблость души, не позволяющей себе распрямиться, пойти хоть на какой-то рискованный шаг.

Леонид Бородин, превыше всего, я уверен, ставящий верность человека самому себе, писал в «Расставании» подобный стиль существования, отвергая и ниспровергая его... По-иному и быть не могло! Изображалась жизнь, люди, в «ядре» которых было бесконечное, так ли, этак ли, но — приспособление. Пристроиться, уцелеть, и притом комфортно уцелеть, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, чтобы и на рожон не переть, и душа бы не болела, уязвленная — она ведь всегда про себя все знает! — собственной ничтожностью, постоянной стыдной компромиссностью.

Верный способ при сем — находить и создавать отдушины, этакие социальные и нравственные микрооазисы, когда социум, бушующий за их пределами, как бы в стороне, никого не касается и почти ничего не значит... Отсидеться, отъединиться!

Эта среда, этот стиль жизнедействия был уловлен Леонидом Бородиным в «Расставании» очень точно. Ниспровергающе точно... Я, ровесник писателя, знающий, следовательно, те времена и нравы вовсе не из вторых рук, могу поручиться: портрет верен. Портрет целой генерации, характеристика того слоя общества, которая именовала себя интеллигенцией, была ею в той степени, в какой критически относилась к окружающей действительности (а как к ней можно было еще относиться?), но вполне комфортно и бесконфликтно сосуществовала с ней.

В «Расставании» — двойное течение... Будто мчит мощный, сильный поток времени, жизни страны над хилой, вяло пульсирующей струйкой придонного течения, в котором как раз и существует московское бытование героя, всего его окружения. Изредка верхний мощный поток вторгается в придонное шевеление-мельтешение, тревожит его. Тогда (например, арест Люськи, сестры героя, за диссидентские игры) — разрушение уютной комфортности, охи, ахи, запоздалые размышления, рефлексия и ощущение страшного неуюта — будто голые на сквозняке... Отчего, почему это с нами случилось, ведь мы же ничего не хотели, ничего себе не позволяли, ничего и никого не трогали!

Отторгаясь от тотальной, как всеобщая воинская повинность, идеологической завербованности, от всепроникающей, как чума, заполитизированности («В Москве даже случайный чих есть событие политическое...»), люди строили в душах своих башни, баррикады, сквозь которые с годами все труднее и труднее было пробиться живому человеческому чувству, подлинному и искреннему... Может быть, это было самой страшной метой того времени, самым страшным его проклятием — человеческие души выжигались, опустошались. «Уже испепелилась, обуглилась душа...»

И что может такой человек, что способен он породить в окружающих, подле себя? Только пустыню, только себе подобное... Так что Геннадий вовсе не злодей, не изверг — он, скорее, достоин скорби и сожаления.

Как почти и во всех остальных своих произведениях, Бородин пишет в «Расставании» не частный случай, а время, его сцепление с человеческой душой, судьбой.

Он живет внутри этого «дневника», этой исповеди сына века, пишет и судит ее по своим меркам, своим суждениям и принципам.

Оттого роман этот так внутренне напряжен, наэлектризован — в нем ток отторжения, неприятия... И не огульного, бравадно размашистого — я, дескать, сам никогда таковым не был! — а вглядывающегося, сострадающего и — понимающего.

Диссидентские западные круги, ознакомившись с «Расставанием», не случайно были не в малом шокированы — их, полагаю, раздражала и отпугивала откровенная жесткость взгляда и анализа, нелицеприятность оценок. Бородин, как и всегда, хотел смотреть в корень и безжалостно сдирал красивые и сомнительные одёжки туманных, «общегуманных» намерений и поползновений.

В сущности, действительность, жизнь, изображенная Бородиным в «Расставании», была, конечно же, чудовищной... Она формировала нравственных калек. Отцы, дети, близкие люди (можно ли ближе!) спасались от действительности неучастием в ней, и неучастие это, защитный и глухой панцирь, нарастал так мощно, так непробиваемо, что они и друг друга-то, оказывается, толком в упор не видели! Какой печальный итог, какие изломанные судьбы, какой страшный знак времени...

Все опадает, как гнилая, отжившая листва, все — осторожная, умеренная и безопасная фронда, иронизм, служивший щитом и маской, и стоит перед нами растерянный человек, социальный и нравственный банкрот, крупно и непоправимо задолжавший близким, обществу, самому себе.

Герой еще пытается защититься, как-то оправдаться... «Мы (советские люди.— И. Ш.), положим, не ах как чисты, но зато кротки. Мы живем своей странной жизнью, не нами придуманной, но разве у нас есть выбор? И разве он возможен — выбор?»

Леонид Бородин, хорошо знающий, убежденный, что выбор есть всегда, не мог принять такого героя, не мог быть к нему лоялен и добр. И если Геннадий и получился все же в чем-то привлекательным (а он таков в романе и вышел), то, думаю, потому, что к нему, как и к Печорину, вполне приложима характеристика из прощального письма Веры (все та же «Княжна Мери»)... Вера писала там, в частности: «...ни в ком зло не бывает так привлекательно».

Герой «Расставания» вовсе не чудище, не монстр; он — пустая, охладевшая душа, которая самоубийственно утратила себя на ветру времени... Она рассталась с самой собой — «Расставание»! — и не может дать окружающим ничего, кроме собственной пустоты и сирости. Потому роман этот не только осуждение, но и — сожаление.

Как и всегда, Бородин не натягивает на себя в «Расставании» судейскую мантию... Он держит перед нами честное, льдисто сверкающее зеркало, и мы видим в нем потерянное, искаженное лицо. То облик, нравственный портрет целого поколения, и похоже, что отзвук и продолжение его, иные геннадии, долго еще будут бродить, неприкаянные, внутренне опустошенные, по русским градам и весям... В «Расставании» обрисована та напасть и болезнь, та сиротская «странная жизнь», которой я, полагаю, долго еще, увы, не будет конца.

Что же под занавес?..

Как-то я спросил Бородина, какими качествами, по его мнению, должен обладать современный русский писатель... «Многими,— ответил он.— И в первую очередь — строгой и, быть может, даже сердитой любовью к своему народу».

Это отнюдь не было просто эффектной фразой, поскольку именно такое чувство живет в произведениях писателя. Гордая пушкинская формула: «И неподкупный голос мой был эхо русского народа» здесь уместна и очень, очень точна.

* В настоящей статье разговор об этой повести опущен — мне уже доводилось писать о ней (см. «Наш современник», 1990, № 9).

Обзор почты

«Есть общая идея...»

Просматривая поступившие в редакцию письма, пытаясь их как-то систематизировать, разложить по «полочкам»-темам, все больше понимаю — это невозможно: почта последних месяцев во многом иная, нежели в предыдущие два года.

Листаю страницы писем — боль-гнев, уязвленность-растерянность, ярость-ненависть, жалоба-тщета... И хоть бы одно светлое, радостное. Нет таких, и это страшно. Я вспоминаю первые месяцы своей работы в «НС», начало 1990 г., — много, как правило, анонимной ругани и поношений, с одной стороны, но с другой — в неизмеримо большем числе — добрые, светлые письма друзей, единомышленников, еще надеющихся, еще верящих в свою Россию, которая не может не устоять, не может не защитить (это в основном в письмах «мигрантов-оккупантов», русских в республиках), не может пропасть за понюшку табака. Теперь же как лейтмотив по всей почте (из самых разных регионов СССР):

«Хватит писать, действовать надо! Надоела демократическая болтовня! Россия гибнет!.. Какими беспомощными выглядят ельцинисты. Но хотелось бы задать вам вопрос: если вы такие умные, то ПОЧЕМУ ВЫ НЕ У ВЛАСТИ? Сердце кровью обливается за Россию, гнев заполонил душу! А демократы правят!..» (А. Кошелев, г. Кременчуг).

Автор процитированного письма задается вопросом, причем выписывает его аршинными буквами: «если вы такие умные, то почему не у власти?». И, ох, как хочется ответить: мы, «такие умные», не у власти потому, что вы — «такие глупые».

А если серьезнее, то одну из причин победы «демократов» раскрывает наш читатель О. Чащин (г. Новосибирск):

«...«Демократы» на том сыграли, что сознание обычно воспринимает как «плюс» все, что не «минус». Коль скоро они против большевистского «минуса», многие подумали, что у них «плюс». Реального же «плюса» у победившей «демократической» стороны и не было, ибо они сразу же бросились делить, точнее, переделивать. Ринулись к дележу с такой стремительностью, что со стороны это порою напоминает бегство с награбленным».

Но обратимся впрямую к письмам, написанным людьми, доведенными «демократией» и «свободой» до отчаяния:

«Иногда мне кажется, что лучше бы оглохнуть, ослепнуть и онеметь на время всей этой вакханалии, торжества бесов, праздника идиотов и негодяев. Откуда они, где прятались? Как Бог допустил, что такое случилось с нами? За что? Я же всю жизнь (мне уже 47-й год) работаю по 20 часов в сутки. Живу честно, учу этому своих детей. Они оба — золотые медалисты, умом природа наградила их сполна, я дала воспитание, а теперь моя жизнь полна страхом за их судьбу!..» Т. С. Петрова, г. Пенза)

«...За свою пенсию в 130 р. в 1985 г. я мог купить за 100 р. костюм, который стоит сейчас 1 800 р. На оставшиеся 30 р. я мог пить чай ежедневно с маслом, сыром, сахаром, хлебом и колбасой. Сейчас же, чтобы мне купить такой костюм, я должен (получаю 450 р.)[1] четыре месяца ничего не есть, а 450 р. мне хватает только на хлеб, сахар, чай. Я обносился, нет ботинок, для себя абсолютно ничего не покупаю — из вещей. ...Нас, 90% народа, обокрали демократы ради 10% предпринимателей и миллионеров. Да, по «Радио России» часто говорят: каждый может стать предпринимателем. Какая чушь! Кто же тогда будет работать, гнуть спину? И второе: не каждый может грабить ради своего благополучия другого. Хотя обработка такая идет по средствам массовой информации — человек человеку волк, зверь, выживает только сильный, изворотливый, спекулянт, вор, убийца» (Гурченко, г. Владивосток);

«Недавно «Радио России» обнадежило, что за короткое время должно вымереть 50—60 миллионов. Вот у них задача, и они выполняют... Но сейчас помереть-то проблема. Гроб стоит таких денег, что лет десять назад за них можно было купить фазенду и в ней жить... Выступают по радио, ТВ советологи-политологи и проч. и проч. абалкины-трепалкины, и вот все учат: вот так будет через год и далее. А по-моему, сплошное вранье, не знают они, что через неделю будет!» (Б. И. Артенюк, г. Ржев).

Кратко прокомментирую последнее письмо. Во-первых, «Радио России» в силу своей направленности, целей и задач великолепно осведомлено — и не считает нужным это скрывать — о планах геноцида в отношении русского народа (шире — всех россиян). Вот цитата из показаний В. Крючкова, бывшего шефа бывшего КГБ, данных 17.12.91 в «Матросской тишине»: «Поступали сведения о глубоко настораживающих задумках в отношении нашей страны. Так, по некоторым из них, население Советского Союза якобы чрезмерно велико и его следовало бы разными путями сократить. Речь не шла о каких-то нецивилизованных методах. Даже производились соответствующие расчеты. По этим расчетам, население нашей страны было бы целесообразно сократить до 150—160 миллионов человек. Определялся срок — в течение 25—30 лет»

Речь у Крючкова идет о Союзе, а на долю России, то есть, прости Господи, РФ, как раз и выходят те самые 50—60 млн. потенциальных трупов — наших, заметьте, трупов — наших отцов, матерей, детей, погибающих «цивилизованно» — «естественная» убыль от голода, холода, отсутствия медикаментов и медицинской помощи и т. п. Плюс катастрофическое снижение рождаемости, грозящее депопуляцией, вымиранием нации.

---

[1] Письмо получено в апреле 1992 г.

Во-вторых, наш читатель высказывает сомнение в том, что экономические «светила», а также власть предержащие не знают, что «через неделю будет». Это так, быть может, они не скажут, что будет «через неделю», но они хорошо знают, что будет «в принципе», и оттого лихорадочно сколачивают грандиозные капиталы (вспомним хотя бы Г. Попова, входящего в пятерку самых богатых людей бывшего СССР — по информации «Коммерсанта»), и оттого скупают на наши, господа-товарищи, деньги землицу в разных райских уголках, дабы после неизбежной катастрофы, а вернее — в ее преддверии, покинуть «неблагодарное отечество». Тому пример — уверена, что это лишь верхушка айсберга, — 1200 гектаров, принадлежащих ныне московскому муниципалитету в США (штат Теннесси), где предполагается построить 1000 коттеджей. Для кого — спросите? Ну, конечно же для детей Чернобыля, а также для инвалидов, чьи права и интересы клялся защищать тот же И. Заславский, входящий ныне в структуры муниципалитета. Интересующиеся подробностями, могут почитать заметку П. Холодкова в «Правде» (9.05.92), к ней, кстати, и планчик приложен, дабы не заблудились будущие рамоны меркадеры[2], а они, я уверена, будут, так что «райские уголки» следует уже сейчас огораживать минными полями и кусачей проволокой.

Все, кто читает демпрессу, знают, что основной мотив ее публикаций сводится к тезису: «Только богатые спасут нас». Как они нас спасают — каждый ощущает на собственной шкуре, и с каждым днем — все сильнее. А вот как богатеют, иллюстрируют, например, следующие выдержки из письма Владимира Т. из г. Каунаса (по понятным причинам фамилию не называем):

«...Я работаю в одной частной конторе, чьи боссы отнюдь не дремлют и только в текущем году пригнали из глубин России десятки вагонов рафинированной меди, алюминия, черных металлов, минеральных удобрений, цистерн бензина (ах, как много его в России, хоть залейся). Медь покупали по цене 800—900 долларов за тонну (с доставкой в Литву), а продали в Польшу за 1 500. За тонну алюминия платили по 400 «зелененьких», а продали по 800. Еще бо́льшую норму прибыли имели от продажи селитры и карбамида. А таких контор только в Каунасе сотни, а по всей Литве их — тысячи. Сколько же перекупщиков содержит за свой счет русский медеплавильщик, задыхающийся и дома, и на работе от нищеты, грязи, неустроенности! ...Такие редчайшие металлы, как ниобий, цирконий и т. п., привозятся в портфелях вообще без всякого документального оформления, а ведь их стоимость — сотня тысяч долларов за килограмм!»

Приведу также несколько цитат из письма Л. Точковой (г. Барнаул):

«Некий господин «У» обратился к алтайскому биржевику «Х» — дай мне 160 млн., и я привезу из Европы товары легкой промышленности для нашего любимого, несчастного народа. Господин «Х» дал, господин «У» помахал ручкой. Насовсем. Газета алтайских «деловых» — «Свободный курс» охарактеризовала этот эпизод как «досадный промах»... На местном радио отчаянные призывы: «Спасите наши души!» Провалились полы и потолки в больнице — надо 500 тыс. руб.; ликвидировать экологическую беду — надо 5 млн., организовать бесплатный суп для самых-самых (хотя бы на 1000 чел.) — надо 1 млн.! А господин «Х», «досадно» потеряв 160 млн., из оставшегося миллиона уже сделал цифру с семью нулями, по новой.

Только богатые спасут нас! ...Внук легендарного дедушки и сын цековского функционера, круглолицый Егор Тимурович — большой оптимист: «Социальных взрывов нет, все идет как задумано». СМИ дружно советуют «терпеть и не мешать правительству. Зори комм..., простите, светлого капитализма придут своевременно или слегка попозже...»

Что касается «круглолицего» и «вкусно» чмокающего внука А. Гайдара (NB! Того Гайдара, что по младости лет и твердости рев. убеждений отправил в 1922 г. на тот свет сотни **добровольно сдавшихся в плен** русских солдат и офицеров, нисколько не озаботившись — не в пример внуку — цивилизованностью методов: банальный расстрел), то его голубой оптимизм в отношении отсутствия социальных взрывов трезво и реалистично опровергает наш читатель рабочий Ю. Рожков (г. Набережные Челны):

«Мне непонятна — не побоюсь сказать — тупость наших политиков, непонимание ими того, что происходит и будет происходить. Последнее время по радио, ТВ, в печати наблюдается некая эйфория по поводу неоправдавшихся опасений относительно беспорядков на почве высоких цен и нехваток продуктов. Гадают, называют разные причины, мол, у людей были запасы и положение их не так уж плохо и т. д. Наши политики в упор не видят главной причины, которая вытолкнет людей на улицы и побудит их к решительным действиям. Причиной этой может стать безработица. Безработный мужчина не будет в состоянии реализовать своего стремления быть мужем и отцом. Семьи начнут разваливаться. Мужчинам, потерявшим свое место в семьях, нечего будет больше терять. Вот когда они пойдут на улицы, вот тогда начнется все то, чего так боятся наши демократы».

Житель Алтайского края А. Федоров жестко и нелицеприятно подводит итоги деятельности правительства Ельцина—Гайдара:

«Это руководство РФ за 7 месяцев триумфального правления ввергло русский народ в пропасть нищеты, предоставив неограниченные возможности обдирать честных тружеников коррупционерам, ворам, уголовникам — безнаказанно».

Не менее категоричен и А. Русаков (Тульская обл.):

«Невменяемые реформаторы типа Гайдара и Бурбулиса проводят свои грабительские реформы как бы в безвоздушном пространстве — при разрушенных дотла государстве и экономике. Эти новоявленные «спасители» должны немедленно сойти со сцены», поскольку их действия антинародны и антинациональны».

А вот что пишет И. А. Ефремов из г. Санкт-Петербурга:

«Сейчас события развиваются по африканскому сценарию: поделили страну вне зависимости от проживающих национальностей, разрушили конкурентоспособные научно-производственные комплексы. А зачем они? Копать уголь можно и лопатой... Семь лет перестраивается промышленность и не может перестроиться, тогда как в блокадном Ленинграде за два месяца промышленность перешла на военные рельсы. Патриотизм народа сделал тогда невозможное... Я не против реформ и рынка, я против разбазаривания леса, нефти, с тем, чтобы просто их проесть, как уже проели золотой запас».

---

[2] Рамон Меркадер — троцкист, разуверившийся в учении вождя и решивший «партийный спор» ударом ледоруба по светлой голове Льва Давидовича.

К слову сказать, если кто и «проел» золотой запас, так же, как лес, нефть и т. д. за последние годы, особенно последний год, то вовсе не «мы». Как свидетельствуют многие публикации как в российской, так и в зарубежной прессе, на счетах западных банков находятся весьма значительные суммы, вложенные «нашими гражданами». Процитирую лишь одну публикацию («Гласность», 26.03.92), опирающуюся на сообщение корреспондента Франс Пресс: «В конце января вклады компаний и частных лиц, нелегально хранящиеся за границей, достигли, по сведениям, полученным из некоторых источников, от 12 до 20 млрд. долларов. Три года назад их не было вообще, а после неудачной попытки государственного переворота летом 1991 года эта цифра постоянно увеличивается. В августе объем вкладов оценивался в 8—10 млрд.». То есть за неполные полгода — двукратный скачок!

Заметим, что автор последнего письма, говоря о военном времени, сделал упор на патриотизм народа, что, конечно, более чем справедливо, однако вовсе не объясняет тот факт, что в годы войны произошла мгновенная переориентация промышленности — по всей стране. Этот жизненно необходимый переход совершился — нравится это кому-то или нет — благодаря жесткой административно-командной системе, установившейся в государстве. В экстремальной ситуации эта система сослужила воистину спасительную службу. И если вспомнить не столь давнее заявление Ельцина, что сейчас страна находится в состоянии очень схожем с ее состоянием в годы войны, остается только поражаться недальновидности (или безответственности) президента. Ну сами посудите (пример взят из радиовыступления Вадима Кожинова): что было бы, если бы тот же Сталин этак в конце 1941 или же в 1942—1943 гг. вдруг объявил бы о начале реформ, занялся бы конвертируемостью рубля (NB! Ведь получаем же помощь по ленд-лизу! А это, между прочим, 11 млрд. долл., в нынешних ценах — 150 млрд.!), снижением бюджетного дефицита и прочими милыми фискальными мероприятиями. Справка для непосвященных: конвертируемой денежной единицей в мире обладают лишь 17 стран, то есть многие «цивилизованные» лишены этой «роскоши», однако на уровне жизни населения сей факт не отражается. Кроме того, понятие бюджетного дефицита знакомо многим «цивилизованным» странам, в первую очередь тем же США, дефицит бюджета которых в годы ранней горбачевщины превышал наш дефицит. Другой вопрос, что Америка имеет возможность гасить его за счет всего мира. Отмечу, что всем, кто сколько-нибудь интересовался путями выхода из экономических кризисов, известно, что те же США, пережив годы великой депрессии (1929—1933), сумели выйти из нее лишь благодаря **государственному регулированию.**

Отчего же не ведают об этом наши властители? И в чем же дело? Может быть, прав наш читатель В. Живилин (Московская обл.), так обращающийся к властям:

«Толчете воду в ступе, господа «демократы»! Мечете громы и молнии в адрес патриотов, коммунистов, русских людей, а по сути — всех честных тружеников, а за дело взяться или не умеете или сознательно не хотите».

Или же прав Н. И. Калашников (г. Актау Мангистауской обл.), приславший объемное и аргументированное письмо «Гитлер сгнил. Дело Гитлера живо», из которого процитирую небольшие отрывки:

«...Новые хозяева прикончат как раз те предприятия, которые способны конкурировать с аналогичными предприятиями Запада. Россию наверняка ждет жалкая участь — добывать сырье и поставлять его в страны — победительницы СССР. За смирение Россия (как и все СНГ) получит от доброго дядюшки валюту. Для создания фонда, какого-то там, скорее всего — Похоронного[1]. ...Хочется сказать ельциным-бурбулисам и иже с ними... происходит нечто такое, что похоже на реализацию гитлеровских задач». (NB! Недаром в народе расшифровывают СНГ: Сбылись Надежды Гитлера).

И может быть, действительно права наша читательница Т. А. Джалалян (г. Кисловодск), утверждающая, что

«Правительство, которое ненавидит свой народ, свою Родину и опирается на коррумпированные и мафиозные структуры, на воров и рэкетиров, является противозаконным и антинародным, оно будет развеяно в прах, и чем быстрее, тем спасительнее для народа и Отечества».

И писем, подобных вышецитированным, много: можно сказать, что они отражают умонастроения подавляющего большинства читателей, обратившихся в редакцию. Но вот письмо, исполненное того же справедливого негодования, что и вышеприведенные, заставляет, если хотите, принять «брошенную перчатку»:

«Почти все средства информации за 30 сребреников работают на мафиозную демократию, восхваляют господ — жульеменов, дворян-зэков, прочих мародеров... По разворовыванию богатства страны демократы превзошли цекистов брежневско-андроповского времени во сто раз. Демократы узаконили в стране воровство, спекуляцию, похабщину. Демократы во главе с Горбачевым и Ельциным катастрофически снизили уровень жизни трудового народа, развалили страну, ведут политику геноцида русского народа... сейчас, как никогда в истории России, у власти скопилось одно ничтожество. Не без вашей помощи, «НС» и «ЛР», которые дворян бывших хвалили» (Л. Мещеряиова, г. Самара).

Л. Мещерякова, и не одна она (иначе не стоило бы и вести разговор в печати), ополчилась на «бывших дворян», «дворян-зэков» (!), видя в них, спустя 75 лет (!) чуть ли не главную причину сегодняшней гибели страны и чудовищного обнищания населения. Трудно ответить в двух словах (а большего объем обзора не позволяет), тем более что «НС» никогда не «хвалил» дворян, а стремился объективно показать

[1] Читатель прав: так называемый стабилизационный фонд в 6 млрд. +18 млрд кредитов (знаменитые 24 млрд. — муха, раздутая демпрессой в слона) — это похоронный фонд, ибо, практически во всем уступая требованиям наших «новых друзей», мы получаем (?) ничтожнейшую сумму, почти равную годовому экспорту нефти одной только Тюмени (в годы «застоя»)! Кроме того, всех, кто еще способен производить элементарные арифметические действия, призываю обратить внимание на тот факт, что США переводят еврейскому агентству «Сохнут» 80 млрд. долларов в качестве безвозмездной помощи для абсорбции новых репатриантов (населения Израиля — 4 млн человек, население России — около 150 млн. человек).

как саму трагедию этого сословия, так и ее истоки. Думаю, в данном случае у читательницы проявилась некая аберрация сознания — вполне понятная, ибо вызвана не столько публикациями патриотической печати, сколько выступлениями сплошь и рядом кишащей демпрессы, поднимавшей на щит тему «белой России» в исключительно конъюнктурных, политиканских целях, ибо нынешние «демократы» ни по роду, ни по племени, ни по духовному складу, ни по самосознанию не имеют ничего общего с этим сословием.

Давайте, обращаюсь ко всем здравомыслящим людям, наконец прекратим гражданскую войну по линии «красные»—«белые». Ибо прошло 75 лет, сменилось 3 поколения, и, в сущности, не может быть среди большинства людей «чистых» белых и «чистых» красных, а есть народ — граждане Великой России, наследующие всю ее тысячедвухсотлетнюю историю, и есть население, обитающее на ее территории. И водораздел сегодня лежит именно здесь — между народом (а это все классы и все сословия) и населением, уровень «самосознания» которого прямо пропорционален степени набитости кошелька либо желудка, иные мировоззренческие категории населению невнятны.

Еще раз повторю: «демократы» не имеют никакого отношения к «белой идее». Даже символика, украденная у России нынешней властью, не отражает ни смысла, ни существа погубленного в 1917 г. государства. Тот же ущербный гербовый «орел», которого навязывают нам бурбулисы, не может вызвать у нормального «белого» ничего, кроме презрения и горечи. В качестве эмблемы сегодняшней российской власти в гораздо большей степени подошли бы скрещенные «ножки Буша» — так именуют «гуманитарных» американских курей москвичи, а над ними —чья-нибудь «правительственная» голова.

И сегодня, когда кошмарная логика разрушительных процессов естественно приводит к созданию объединенной народной оппозиции, условно говоря, «красных» и «белых», всех здоровых и государственно мыслящих сил общества, было бы весьма недальновидно, если не преступно, «зацикливаться» на прежних кровавых баталиях и идейных разногласиях, ибо на карту (на геополитическую карту!) поставлена судьба общего для «белых» и «красных» Отечества — надклассовой, духовной и государственной святыни.

Конечно, создание объединенной оппозиции дается нелегко; помню, как на московском «бело-красном» митинге 5 апреля «красные» согнали с трибуны известного деятеля патриотического движения скульптора В. Клыкова, лишь только услышали из его уст слова о том, что 75 лет страна была под гнетом антинародной клики и т. п. И, если честно, сегодняшних «красных» можно понять, так как Советская власть за семь десятилетий приобрела черты легитимности и, создав мощную сверхдержаву, сохраняла мир и спокойствие в стране, обеспечивая стабильность и возможность жить в относительном достатке. Не в пример нынешней власти, доконавшей индустриальный и научный потенциал, отбросившей страну в разряд стран третьего мира, ввергшей людей в нищету.

А легитимность президентства Ельцина опирается лишь на 42% голосов (вспомните, что на выборы не явилось 25% населения), то есть нынешний президент — в момент своего триумфа — не собрал и половины голосов населения страны, руководить которой он назначил людей, вообще не прошедших какую-либо процедуру избрания. Повторю, сегодняшних «красных» можно и должно понять, ибо глубоко справедливы слова В. Распутина о том, что наш народ сумел «переварить» атомную бомбу коммунизма; перейти от тоталитаризма к авторитарной форме правления, позволявшей проводить аккуратно и последовательно, постепенно и целенаправленно реформирование структур государственного управления, промышленных структур и корректировать экономический вектор развития страны — без катаклизмов и крушений.

Другой вопрос, как эти возможности использовались и кем. Тот же Горбачев, доказывая свою якобы бескорыстность, везде и всюду трубил, что обладал невиданной властью. Да, обладал (так была построена система управления) всеми возможностями, и он их использовал: за 6 лет великая держава перестала существовать. И хотя в нашей почте уже мало писем, посвященных «подвигу» Горбачева, я все же приведу одно из немногих, обращенных к нему, так как, пожиная плоды, не стоит забывать и о семени:

«Вы не раз повторяли, что должность генсека Вам давала неограниченную власть, а значит... все остальные блага... Тогда непонятно, для чего вы уничтожили страну и предали свой народ... Чтобы выслужиться перед Западом и получить от них злополучную нобелевскую медальку?.. Да и сейчас вы ее не можете нацепить, так как она в понимании порядочных людей являет не что иное, как символ невиданных тщеславия, предательства и глупости... Давно известно, что человека по-настоящему может чтить и помнить в веках лишь его собственный народ. Не станут же немцы говорить через года, что они соединились — в неописуемый ущерб России — благодаря добрейшему Горбачеву, или американцы, что социализм на Земле уничтожил гений человечества Михаил Сергеевич. Они скажут, что были в ту эпоху выдающиеся политики Коль и Буш, которые обвели вокруг пальца русского правителя-дурака и т. д. Не станут они вас благодарить и восхвалять. Предатель для любого народа предатель... Я надеялся, что вы, уходя в отставку, в последнем слове скажете обо всем этом, покаетесь перед народом, встанете на колени и попросите прощения. Признаетесь, что не было никакого «путча», о чем все хорошо знают... Вот тогда бы я вас, наверное, простил бы, как и многие другие» (Н. Щербуха, г. Керчь).

Честно говоря, я готова преклониться перед благородством нашего читателя, способного простить Горбачева в случае его покаяния. Это очень по-русски: простить покаявшегося злодея, но Михаил Сергеевич вовсе не собирается каяться, не собирается пускать себе пулю в лоб (что сделал бы любой честный, но преступно заблуждавшийся лидер) и говорит о том, что дело его жизни осуществилось!

Слышите, люди русские, слышите, россияне, — ваша сегодняшняя нищета, ваша

боль, ваше унижение, ваше бесправие, ваша исковерканная судьба и ваша пролитая кровь — это дело жизни вашего президента, предавшего и продавшего все и вся в пользу в первую очередь США. Недаром в достопамятном августе 1991 г. американский журнал «Тайм» писал: «СССР уступил столь много, и Соединенные Штаты Америки ответили на это столь немногим, что это можно объяснить так: революция Горбачева — это крупнейшая в истории распродажа по дешевке».

В последние годы Горбачев любил делать акцент на своих русских и украинских корнях; что ж, он человек скорее всего этнически русский — как Смердяков; как смердяковцы — все эти «демократические тусовки» биологически русской массы (не будем пространно говорить о тех, кто на трибуне, хотя, по данным, приведенным латвийской газетой «Атмода», 83 процента руководящего состава российских демократических движений представляют лица еврейской национальности)[4]. Почему я об этом заговорила? Да потому, что в почте есть письма, подобные нижецитируемому:

«... Неудачливые искатели врагов, не там ищете! Их надо искать не среди «инородцев» и «малого народа», а среди нас, русских!.. Наша Родина нами же, русскими, разрушается, продается оптом и в розницу. Приведу слова «царя всея Руси»: «Берите столько самостоятельности, сколько сможете проглотить!». Вчерашний партаппаратчик, а сегодня «престолонаследник», это Вы нас, русских, превратили в оккупантов! Один матерый Серый в Москве, а второй из этой стаи в Киеве грызутся, не поделив никак многострадальную Отчизну!.. Мне все время чудятся слова песни: «...человек проходит как хозяин необъятной родины своей...», а ныне оглянитесь: кто проходит по бывшему СССР как хозяин? Не Бейкер ли? А наши «спасители» разъезжают по белу свету с протянутой рукой, готовые на любые услуги, но считают это «блестящей дипломатией». Где же наша национальная гордость, наша мощь, наше умение самим строить свою жизнь? Страшно, что мы, русские, своими руками рушим все — прошлое, настоящее и будущее» (И. К., г. Рига).

Что тут возразишь? Да, нами, да, русскими, — как многими стоящими у власти, так и (косвенно) теми, кто пишет, например, такие письма в редакцию некогда любимого «НС»:

«Семья моих родителей, а теперь и моя с мужем семья всю жизнь честно работали, но всегда только-только сводили концы с концами... Скажу одно: любить власть большевиков у нас никогда не было основания. Такая страна, как наш Союз, была выгодна кому угодно, только не рядовым русским людям... А вы обливаете грязью Ельцина, выбивая тем самым последнюю опору из-под ног русского человека... Мы считаем нашего Президента надежным русским человеком, сохранившим совесть, а вот опереться ему не на кого, кроме евреев, — в чем и трагедия» (Н. Н. Сизова, Мурманская обл.).

Странная, однако, картина получается — «большевиков» автор письма не любила по причине скудности своих доходов; неужели ныне разбогатела жена офицера? Да так разбогатела, что не желает видеть нищеты и унижения подавляющего большинства сограждан? И как понимать слова о «надежности» и «совестливости» «русского человека» Ельцина, если он — по логике хотя бы того же письма — является лишь марионеткой в руках определенных кругов?! Хороша «последняя опора», которая «опирается» не на тех, кто, по мнению Сизовой, способствует трагическому развороту событий.

В свою очередь ветеран войны и труда Л. М. Еремин (г. Астрахань), не замечая — в отличие от автора вышецитированного письма — специфики президентского окружения, восклицает:

«Сейчас в результате демократической революции, сбросившей семидесятичетырехлетнее иго мирового жидомасонства, Россия вступила на путь возрождения. Но это не нравится вашему журналу и вы льете потоки грязи на демократов... демократы недавно появились в органах власти, а до этого они сидели по тюрьмам да по ГУЛАГам...» (отмечу, что автор письма случайно прочел пару номеров «НС», но счел нужным высказаться. — М. Б.).

Не правда ли, в пору за голову схватиться — это в каких же таких ГУЛАГах — в годы правления «жидомасонов» Брежнева, Косыгина, Подгорного, Черненко и др. — сиживали декан экономического факультета МГУ (номенклатура ЦК) Г. Попов, доктор юрид. наук А. Собчак, секретарь Свердловского обкома Б. Ельцин, секретарь ЦК Украины Л. Кравчук, доктор филос. наук, преподаватель научного коммунизма Г. Бурбулис, доктор экон. наук, член редколлегии газеты «Правда» Е. Гайдар и прочая, и прочая?

Читая подобные «откровения», сочиненные на фоне невиданного национального позора и унижения, развала и разора, невольно приходишь к мысли, что слово «демократ» уже отражает не мировоззрение «рядового русского человека», но является диагнозом.

Хочу обратить внимание читателей, все еще прижимающих к груди портрет Бориса Николаевича (как та старушка, в отчаянии от этой жизни выбросившаяся из окна, — о чем сообщала пресса), на такой хотя бы факт. В драматические дни VI Съезда народных депутатов России, на котором впервые громко прозвучали слова в защиту национальных интересов России и народа, создавшего ее, Ельцин получает документ, спешно подготовленный С. Шахраем, в котором представлен анализ состояния российского общества и возможная реакция президента на ситуацию в стране. «АиФ» помещает его тезисы на своих страницах под символичным заголовком «Новый курс Президента?». Новизна первых же тезисов потрясает: из них Ельцин, — уже более полутора лет (!) находящийся у власти в России (!), — должен наконец узнать, что «самая большая нация в мире оказалась во многом обездолена. Развал Союза явился психологической травмой для значительной части русского населения. Появились русские беженцы из бывших республик Союза. Развал России ведет к тому, что в ряде регионов уже в самой России русские становятся национальным меньшинством и пополняют ряды беженцев». Далее Шахрай обозначает желательный вариант развития событий: «Законная власть возглавит новый курс на возрождение русского народа и России в целом, ее государственности». Не правда ли, интересно: президенту, чьи предвыборные плакаты пестрели громким словосочетанием «Россия возродится», предлагается — спустя полтора года! — взять курс на возрождение России, ее государственности. Ну чем не сказка про белого бычка? Да, в тезисах еще есть слова о возрождении русского народа... Очень своевременная мысль — на фоне творящегося геноцида заставляющая вспомнить высказывание Ельцина двухлетней давности: «...предложения, в которых предусмотрен рост цен и переход к рынку в основном за счет народа, — то есть это антинародная политика, Россия не должна ее принимать».

Свой взгляд — пусть в чем-то и спорный — на путь возрождения России высказывает Р. Буйглишвили (г. Нижний Тагил):

«Возрождение требует центра и лидера. Сейчас нет ни того, ни другого. Москва и Санкт-Петербург сегодня — центры сионизма. Такова реальность. На мой взгляд, духовное возрождение России должно произойти через разъединение. (Не пугайтесь аналогии: «Прежде чем объединиться, надо размежеваться».) Важно не угодить в «государство», живущее (?) по ельцинской конституции. А ее примут, заставят принять. Учитывая это, можно понять и Татарстан. Давно пора заявить о независимости, самостоятельности и В. Федорову, пока Сахалин Ельцин и иже с ним не подарил вымогателям. Уверен, Русское Освободительное Движение возникнет (умышленно избегаю слова «вспыхнет») в Твери, Архангельске, Новгороде, Краснодаре, Ростове, Омске, Красноярске и в других местах России. И вокруг этих мест снова начнет собираться государство, и вернутся в него братья-славяне и другие (когда-то бывшие не только на словах) братские народы».

В этом письме отразились и наметившиеся тенденции — регионы и области, а не только республики, готовы разбежаться от нового, «демократического» центра, не способного не то что отстаивать общенациональные и общегосударственные интересы, но даже сформулировать их. Вспоминаются слова из выступления Бориса Николаевича от 9 марта 1991 года: «Давайте мы действительно в эти боевые ряды вольемся и объявим войну руководству страны, которое ведет нас в болото...».

Объявляя «войну руководству страны», нельзя (и здесь я позволю себе не согласиться с Буйглишвили) объявлять войну центру как таковому: если взять не правительство, а парламент, то в нем есть лидеры; ни одно государство в мире не существует и не может существовать без центрального руководства (так что речь может идти только о формах и методах действий Центра, а также о кадровой политике, не допускающей «опоры» на силы, враждебные государству, его подлинной, а не бумажной независимости). И лично мне ближе позиция, выраженная в письме А. С. Кириллова (г. Липецк):

«...Все беды России — от недостаточного развития в русском народе национального самосознания и ответственности перед историей России... Есть общая идея, которая должна объединить и «правых», и «левых», — это идея Российской государственности. Да! — полную свободу всем народам, живущим в России, — для развития своей культуры, языка, образования и т. д., но целостность России должна быть незыблемым принципом... Не Россия для демократии, а демократия — для России. Кому нужна демократия на развалинах России?.. Демократическая Америка три года воевала за свое единство. Север воевал с Югом за сохранение единства, а уже потом — за отмену рабства. Демократия не стоит 1200-летней истории Руси, это не религия, а одна из форм политической жизни общества. Но жизни! А не краха и развала России!»

На этой ноте, на словах об «общей идее», я и закончу обзор почты.

Марина БЕЛЯНЧИКОВА.

[4] См.: «Лит. Россия». № 15. 10 апреля 1992 г., с. 3.

Из зарубежной почты

НИ ПЯДИ!

С Южного Сахалина поступают сообщения, что жителей ждет изгнание. Неизвестно, кто сеет панику, но известно, что Япония претендует на свои бывшие колонии — Южный Сахалин и Курилы.

Курильских островов много, и все они принадлежат России. Около десяти наиболее крупных составляют Малую Курильскую гряду. Острова стали известны русским с 1639 г., когда их наблюдали казак Наседкин, а в 1648-м — Дежнев. Казак Иван Козыревский с 1711 по 1713 г. обследовал и составил карту всех Курил. Царь Петр Великий включил их в состав России, а в 1727 г. Екатерина I узаконила это указом. Екатерина II в 1778 г. приказала, чтобы «приведенных в подданство мохнатых курильцев оставить свободными», налогами не облагать и не принуждать. Указ также относился к северной части острова Хоккайдо, где не было японцев, а жили эти же курильчане.

В 1805 г. посол Резанов подтвердил это представителю Японии Тойяма.

День 6 июня 1778 г. позже был объявлен праздником в честь принятия курильчан в русское подданство и крещения желающих в православную веру.

Юридических прав у Японии на наши восточные приграничные территории не существует. У нас же есть права естественные, исторические, наследственные, права на основе приоритета, написанные человеческой кровью. Бумажные договора, написанные чернилами, нарушались Японией военными действиями без объявления войны.

В 1855 г. Россия, находясь в трудном положении (Крымская война 1853—1856 гг.), по предложению Японии и в целях безопасности на своих восточных границах подписала с Японией договор о мире, дружбе, торговле и границах. По договору Япония получила 4 острова Малой Курильской гряды, ближайших к Хоккайдо. Если почтенные претенденты считали эти территории своими, каких прав на их владение они искали у России?

В преддверии русско-турецкой войны 1877—1878 гг. было подписано в 1875 г. второе соглашение с Японией о границах. Все Курильские острова отходили Японии.

Зародившаяся мания величия толкала Японию на попытку создания континентальной империи. В 1894 г. Япония впервые высадила свои войска в Корее. Через год она захватила китайский остров Тайвань. В феврале 1904 г. она односторонне аннулировала оба договора с Россией о «мире, дружбе, границах», напав на нее и разгромив русский флот у Порт-Артура. Этим нападением на Россию она восстановила до-договорное состояние — принадлежность всех Курильских островов России.

В 1904—1905 годах, используя трудности транспорта в военное время, в России были созданы забастовки и беспорядки. На организацию их Япония не жалела

денег. Незадолго до войны японский военный атташе в Петербурге полковник Акаши Мотоиро организовал сеть шпионов, снабдил их деньгами, а сам, в интересах безопасности, перебрался на такой же пост в Вену для руководства японским военным шпионажем в Европе. В июле 1904 года полковник появился в Швейцарии, где через террористку Веру Засулич установил связь с Лениным и Плехановым. План подрывной работы в России был разработан. Полковник ассигновал 750 тысяч иен на покупку оружия. На деньги полковника японской разведки 4 января 1905 года Ленин выпустил первый номер подпольной газеты «Вперед», призывая к революции. 40 тысяч японских иен было отпущено на организацию восстания на Черноморском флоте.

Истощенная затянувшейся захватнической войной, Япония в сентябре 1905 г. просила президента США уговорить Россию прекратить войну. По его настоянию в Портсмуте (США) был заключен договор о мире. Россия, переживавшая внутренние беспорядки, вынуждена была согласиться (несмотря на то, что обстановка была подготовлена к победе; позже сами японцы признавались, что их ожидало поражение) на невыгодные условия, по которым все Курильские острова и Южный Сахалин уступались Японии. Этот договор Япония нарушила через 4 года, включив Корею в свои владения, подбираясь к границам России.

В 1918 г. она ввела свои войска во Владивосток с целью захвата Приморья и продержалась там 4 года.

С целью захвата Сибири Япония в 1931 г. ввела свои войска в Маньчжурию, превратив ее в свою колонию. Все годы она нарушала Портсмутский договор вооруженными действиями на границах России с Монголией, Маньчжурией и Кореей. Этими нападениями она аннулировала Портсмутский договор о мире и восстанавливала до-договорное состояние к 1805 году.

В 1945 году, после безоговорочной капитуляции, Япония лишилась всех своих колоний — в Китае, Корее и России. Все получили и получают компенсацию, кроме России. Россия тоже имеет такие же права на компенсацию с 1906 по 1945 гг. — за 40 лет 40 млрд. американских долларов. Компенсацию за годы войны 1904—1905 гг. должны подсчитать эксперты.

История полувековой японской экспансии на материк с конечной целью завоевания территории восточной России изложена в очерках моих воспоминаний в книге «Под знаком Восходящего Солнца в Маньчжурии» (Сидней, 1990 г.). В ней я ставил вопрос о признании жертв, понесенных российскими эмигрантами в зоне так называемой «Великой восточной Азии». Все они, как и корейцы, китайцы, монголы, живые и мертвые, были невольниками японской колониальной политики.

Закончить надо словом и делом — «ни пяди!»

Виктор САНИКОВ,
юрист, экономист.
(Сидней, Австралия).

СУДЬБА АРХИВА

Этот архив попал целиком в руки маршала немецкой армии Ф. фон Бока, которая взяла Смоленск 16 июля 1941 года. Чекисты не смогли вывезти свои архивы. Был дан приказ их взорвать и поджечь. Одна часть была спасена от уничтожения тем, что сотрудник НКВД Афон Энгельгард, получив приказ взорвать архив, этого не сделал.

Здание же, где хранилась другая часть, чекисты подожгли, но пожар был потушен, и архив мало пострадал. Здесь хранились дела польских офицеров, расстрелянных в Катынском лесу. В них немцы нашли имена чекистов, которые руководили расстрелами. Эти имена приведены в книге Фитцвильямса «Катынь» (1963 г., стр. 142). Главным организатором был Л. Берия, а его правая рука, полковник Райхман, польский еврей, член компартии, прибыл в Польшу с Красной армией в конце войны. В 1951 году он, уже будучи генерал-лейтенантом, был арестован при попытке уехать в Израиль с драгоценностями на несколько миллионов долларов. Его помощниками были офицеры Хадас, Лейкинд, Сироцкий.

Смоленский архив содержит важнейшую документацию, необходимую для беспристрастного изучения деятельности ЧК—ОГПУ—НКВД.

В материалах архива я видел «дело Щербатовых» (1921 г.): арест, допросы и приговоры к расстрелу брата моего отца кн. С. Б. Щербатова, его жены Елизаветы, урожденной Плаутиной, их дочери Ирины семнадцати лет и сына Димитрия четырнадцати лет. Мать кн. Щербатовой была англичанкой, и они были арестованы как английские шпионы. Ирина на допросе назвала чекиста Павла Нейберга «предателем моей родины». Все они были расстреляны и зарыты в Козьих Горах на территории кладбища ЧК в Катынском лесу.

В архиве я читал газеты для служащих ЧК: «Красный меч» и «Новости Чека». В «Новостях Чека» была опубликована телеграмма от 21 июля 1918 г. под грифом «совершенно секретно», адресованная зав. оперативной частью Смоленской губчека т. Рубинштейну: «Николай Романов и семья расстреляны в Екатеринбурге по приказу ЦИКа». Телеграмма была подписана Ф. Дзержинским.

В газете «Красный меч» (№ 4) опубликован приказ Ф. Дзержинского, запрещающий чекистам играть в азартные игры на золотые обручальные кольца. Их было у чекистов десятки тысяч, и они их использовали как деньги.

Интересна судьба Смоленского архива. Немцы в конце 1943 г. перевезли его в Баварию. Когда кончилась война, архив находился в огромном сарае, в нем было больше 20 тонн документов.

Он попал в руки командующего армией генерала Патона и был передан в центр документов разведки в Бамберге. Я работал в этом центре в мае—июне 1945 г. и потому имел возможность ознакомиться с частью этого архива, в чем мне очень помог Афон Энгельгард.

Американцы знали о существовании этого архива уже в сентябре 1941 г. благодаря известному шведскому журналисту Г. Ансельсону, который был корреспондентом лондонского «Ивнинг Стандарт», шведских газет «Сюдвенска дагбладет» и «Алтонбладет», но также и «Нью-Йорк таймс» (во время гражданской войны в Испании). Ансельсон был приглашен в Смоленск немцами, и оттуда он послал в «Нью-Йорк таймс» две длинные статьи, в которых описал архив и кладбище в Козьих Горах, где чекисты хоронили расстрелянных ими с 1918 по 1941 год. «Нью-Йорк таймс» эти статьи не напечатала.

Получив после войны в свои руки Смоленский архив, американцы не знали, как с ним поступить. Начался Нюрнбергский процесс, и было ясно, что, если опубликовать хоть маленькую его часть, пришлось бы судить советских лидеров за зверства военного коммунизма, коллективизации и убийство польских офицеров в Катыни. Смоленский архив был официально забыт. Его перевезли во Франкфурт; в 1948—1949 гг. он там был сильно профильтрован, и биографии чекистов-невозвращенцев были украдены или пропали.

Профессор Гарвардского университета Мерл Файнзод написал две книги: «Смоленск под Советами» и «Как управляется СССР». Автор в обеих книгах не затронул зверств военного коммунизма, заявив, что в его распоряжении было мало материалов за те годы. Это явная ложь, тысячи дел за 1918—1924 гг. и биографии чекистов занимали 10 огромных ящиков!

Часть документов, содержащих биографии чекистов, была передана Советам в 1949—1950 годах. Это было сделано под давлением охотника за нацистами Симона Визенталя, которому в обмен была предоставлена возможность получить сведения о нацистах из архивов «советского блока» и КГБ.

Кн. А. ЩЕРБАТОВ
(Нью-Йорк, США).